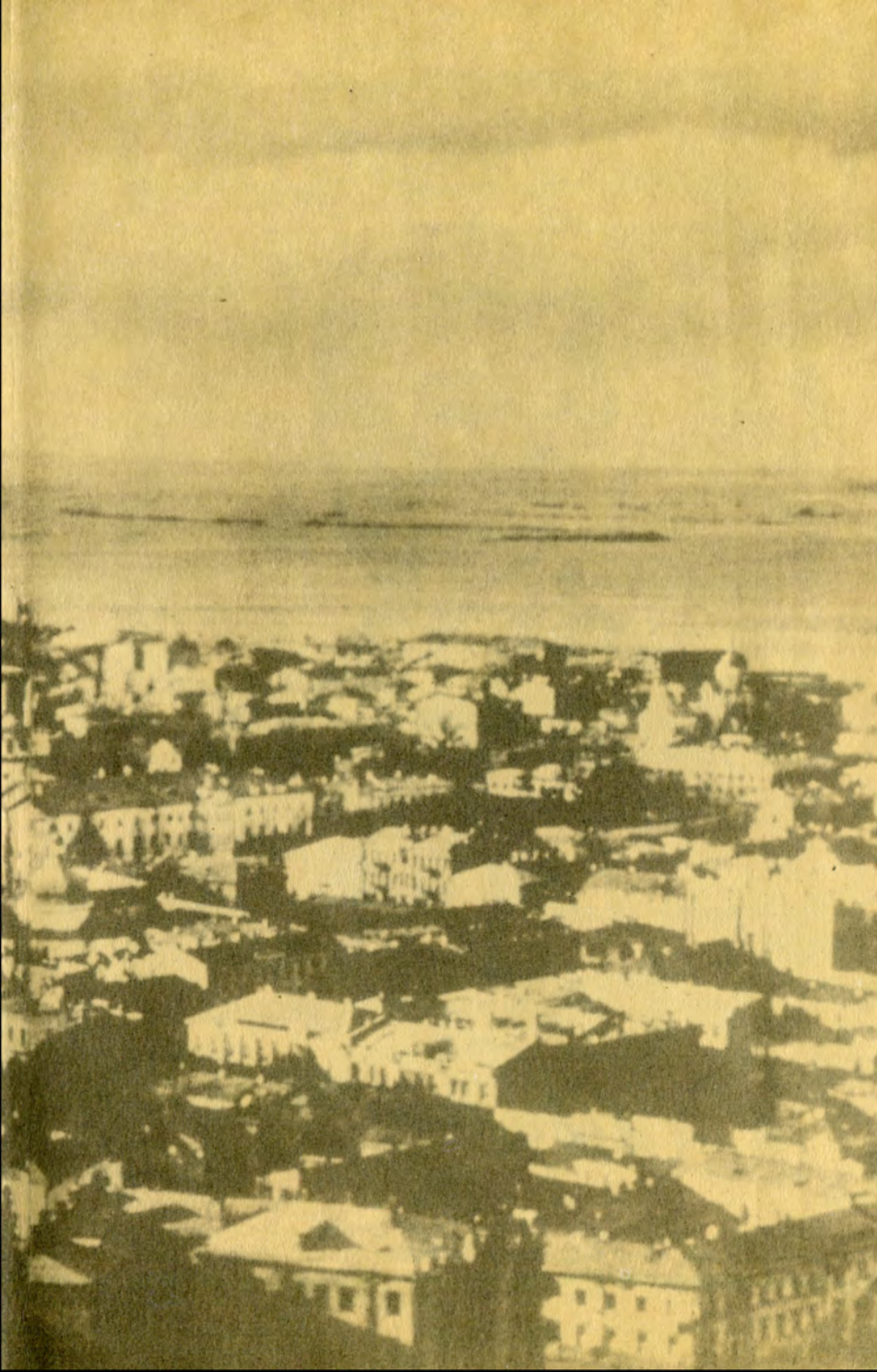


МИХАИЛ БУЛГАКОВ

Дьяволиада







М. С. Суриков

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ
В ДЕСЯТИ ТОМАХ



МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ДЕСЯТИ ТОМАХ

ВИКТОР ПЕТЕЛИН

Составление,

предисловие, подготовка текста

1

ДЬЯВОЛИАДА

2

РОКОВЫЕ ЯЙЦА

3

СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ

4

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ

5

БАГРОВЫЙ ОСТРОВ

6

КАБАЛА СВЯТОШ

7

ПОСЛЕДНИЕ ДНИ

8

ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН

9

МАСТЕР И МАРГАРИТА

10

ПИСЬМА

МИХАИЛ БУЛГАКОВ

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

ТОМ
ПЕРВЫЙ

ДЬЯВОЛИАДА



ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ
ФЕЛЬЕТНЫ, ОЧЕРКИ
1919 — 1924

Москва
«ГОЛОС»
1995

УДК 882
ББК 84(2 Рос-Рус).6
Б 90

Редакционный совет:

АЛЕШКИН П. Ф. — председатель,
КОНОВКО А. В., КУЗЬМИН Г. М., МЕНЬКОВ А. Т., САВЧЕНКО В. В.,
ТИМОФЕЕВ В. В., ФОМИН И. Р., ФОМИНА Л. Р.

Художник РАСТОРГУЕВ Г. Д.

ISBN 5-7117-0305-6 (т. 1)
ISBN 5-7117-0304-8

© Составление. Петелин В. В. 1995
© Оформление.
Издательство «Голос», 1995

ЧАСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

1

«Часы жизни и смерти»... Так Михаил Булгаков назвал свой репортаж из Колонного зала Дома Союзов, где лежал навечно упокоенный В. И. Ленин. «В Доме Союзов, в Колонном зале — гроб с телом Ильича. Круглые сутки — день и ночь — на площади огромные толпы людей, которые, строясь в ряды, бесконечными лентами, теряющимися в соседних улицах и переулках, вливаются в Колонный зал.

Это рабочая Москва идет поклониться праху великого Ильича...

Лежит в гробу на красном постаменте человек. Он желт восковой желтизной, а бугры лба его лысой головы круты. Он молчит, но лицо его мудро, важно и спокойно. Он мертвый. Серый пиджак на нем, на сером красное пятно — орден Знамени. Знамена на стенах белого зала в шашку — черные, красные, черные, красные. Гигантский орден — сияющая розетка в кустах огня, а в середине ее лежит на постаменте обреченный смертью на вечное молчание человек.

Как словом своим на слова и дела подвинул бессмертные шлемы караулов, так теперь убил своим молчанием караулы и реку идущих на последнее прощание людей.

Молчит караул, приставив винтовки к ноге, и молча течет рска.

Все ясно. К этому гробу будут ходить четыре дня по лютому морозу в Москве, а потом в течение веков по дальним караванным дорогам желтых пустынь земного шара, там, где некогда, еще при рождении человечества, над его колыбелью ходила бессменная звезда...»

Эти короткие зарисовки «с натуры», опубликованные в газете «Гудок» 27 января 1924 года, полные горечи и размышлений, полные точных, правдивых подробностей и деталей тех дней, передают не только отношение народа к смерти Ленина, но и отношение самого репортера Михаила Булгакова, услышавшего голос: «Братики, Христа ради, поставьте в очередь проститься. Проститься!»

Или запечатлевшего в памяти целый диалог двух соседей по очереди:

«— Все померем...

— Думай мозгом, что говоришь. Ты помер, скажем, к примеру, какая разница. Какая разница, ответь мне, гражданин?

— Не обижайте!

— Не обижаю, а внушить хочу. Помер великий человек, поэтому помолчи. Помолчи минуту,образи в голове происшедшее...»

Предлагасмый том, как читатель, надеюсь, уже заметил, начинается со статьи «Грядущие перспективы», опубликованной 13 ноября 1919 года в газете «Грозный» и подписанной теми же инициалами «М. Б.», что и «Часы жизни и смерти»... Но между этими произведениями Михаила Булгакова — длинная дорога поисков и творческих мучений, истинные часы жизни и смерти, когда самая настоящая Смерть смотрела ему в лицо, когда человеческое его достоинство подвергалось испытаниям, а он, сначала как земский врач, потом как военный доктор, не раз спасал от смерти своих пациентов. И столько насмотрелся за два года гражданской войны, что не выдержал и по дороге во Владикавказ, «как-то ночью, в 1919 году, глухой осенью, едучи в расхлябанном поезде, при свете свечечки, вставленной в бутылку из-под керосина, написал первый маленький рассказ. В городе, в который затащил меня поезд, отнес рассказ в редакцию газеты. Там его напечатали. Потом напечатали несколько фельетонов. В начале 1920 года я бросил звание с отличием и писал. Жил в далекой провинции и поставил на местной сцене три пьесы. Впоследствии в Москве в 1923 году, перечитав их, торопливо уничтожил. Надеюсь, что нигде ни одного экземпляра их не осталось.

В конце 1921 года приехал без денег, без вещей в Москву, чтобы остаться в ней навсегда. В Москве долго мучился, чтобы поддерживать существование, служил репортером и фельетонистом в газетах» — так вспоминал М. А. Булгаков начало своего творческого пути.

А «Грядущие перспективы» и некоторые сохранившиеся письма его свидетельствуют о жизненной и гражданской позиции, о его чувствах, мыслях, настроениях. Да и собранные здесь произведения — это честные, искренние попытки понять свое время, понять причины и следствия происходящего на его глазах бурного и страшного в своей несокрушимости потока исторических событий.

Испепеляющая боль пронизывает его при мысли о судьбе «несчастной родины», оказавшейся «на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция»...

Мысли о настоящем как-то не очень волнуют Михаила Булгакова: недавнее прошлое им проклято, как и многими его современниками и единомышленниками, а настоящее таково, что хочется закрыть глаза, чтобы не всматриваться в него. Греют его лишь мысли о будущем. А будущее ему рисуется в самых мрачных тонах: на Западе кончили восвать, начали зализывать свои раны. «И всем, у кого, наконец, проявился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества».

«А мы опоздаем, — размышляет Булгаков, — потому что нам еще предстоит тяжкая задача — завоевать, отнять свою собственную землю».

«Герои добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю».

И все, все — и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жмется сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, все ждут страстно освобождения страны.

И ее освободят.

Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла.

Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одуроченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба».

Читаешь эти строки Михаила Булгакова и поражаешься дару его предвидения: действительно Запад строил, исследовал, печатал, учился, а мы в это время продолжали драться... Булгаков выражает уверенность, что «негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны и уничтожены», война окончится, страна, окровавленная и разрушенная, начнет восстанавливать свою силу и могущество. И пусть не жалуются те, кто не привык испытывать трудности: «Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном и в буквальном смысле слова».

Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег... за все!»

Нет, Булгаков не надеется увидеть светлые дни, когда могучая Россия как полноправная снова будет вершить делами Европы.

Пусть хоть дети, а быть может, и внуки дождутся столь радостного дня: «И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:

— Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!»

Скорее всего, это тот самый «рассказ», который Булгаков написал «в расхлябанном поезде, при свете свечечки» и напечатал в газете «Грозный», издававшейся, естественно, при белогвардейском правлении в том городе, куда «заташил» его поезд.

Читатель, скорый на выводы, подумает, что я преднамеренно «столкнул» здесь разные произведения Булгакова для того, чтобы показать «пропасть» между ними... Ничуть не бывало! Да, столкнул преднамеренно, но лишь для того, чтобы показать творческую цельность Михаила Булгакова, цельность его мирозерцания, его взглядов. А если его чувства могут показаться противоречивыми, то лишь потому, что жизнь-то досталась ему уж больно пестрой, многогранной, когда «окаянных дней» выпадало гораздо больше, чем это может выдержать нормальный человек.

И не случайно, читая «Грядущие перспективы» Булгакова, вспоминаешь «Окаянные дни» Ивана Бунина. По мыслям, по накалу страстей, по провидческому дару молодой Михаил Булгаков в чем-то весьма существенном близок маститому академику, прошедшему, в сущности, те же пути и перепутья, что и Юный Врач, с записками которого читатели должны быть давно знакомы, но о них — речь впереди.

Но, возможно, и не «Грядущие перспективы» — первая публикация М. Булгакова. Недавно Григорий Файман напечатал в «Литературных новостях» (№ 5, 1994 г.) три репортажа под общим названием «Советская инквизиция. Из записной книжки репортера», подписанные «Мих. Б.» в газете «Киевское эхо» в августе—сентябре 1919 года...

В конце августа 1919 года деникинцы вошли в Киев и обнаружили чудовищные злодеяния Чрезвычайной комиссии, творившей расправу над инакомыслящими и просто случайно попавшими под руку негодяев.

Мих. Б. — этим псевдонимом Михаил Афанасьевич впоследствии подписывал свои фельетоны, репортажи в «Гудке», в других изданиях. Вполне возможно, что Булгаков написал эти репортажи сразу же после того, как Киев был освобожден от большевиков.

«Последнее, заключительное злодеяние, совершенное палачами из ЧК, расстрел в один прием 500 человек, как-то заслонило:

собою ту длинную серию преступлений, которыми изобилвала в Киеве работа чекистов в течение 6—7 месяцев...»

Мих. Б. называет факты, подлинные фамилии расстрелянных... «Молодой студент Бравер, фамилия которого опубликована четырнадцатой в последнем списке, был приговорен к расстрелу в порядке красного террора как сын состоятельных родителей. Над несчастным юношей беспощадно издевались как над «настоящим, породистым буржуем», в последние дни его несколько раз в шутку отпускали домой, а в самый день расстрела дежурный комендант объявил ему об «окончательном, настоящем» освобождении и велел ему собрать вещи. Его выпустили на волю...

Но лишь только обрадованный и просветлевший юноша переступил порог страшного узилища, его со злым хохотом вернули обратно и повели к расстрелу.

Подобных фактов, надо думать, десятки и сотни. И комиссия по расследованию кровавых преступлений чекистов должна раскрыть их, собрать воедино и дать полную картину инквизиторской «работы» советской опричнины».

И еще одна цитата из репортажей *Мих. Б.*: «Достойна внимания совершенно новая для нашего времени, но известная история средних веков, чисто инквизиционная, процессуальная форма расследования, широко практиковавшаяся следователями из ЧК. Обвинение предъявлялось не только за то или иное реально совершенное деяние, не только за покушение или обнаруженный умысел, но также за совершенно несодержательное преступление, которое, по некоторым предположениям, лишь «могло быть совершено» данным лицом...»

А теперь вспомним главу «Как прокуратор пытался спасти Иуду из Кириафа» из романа «Мастер и Маргарита»... Афраний, начальник тайной службы, уверяет Пилата, что у него нет сведений, что Иуду зарежут сегодня ночью. У Пилата тоже нет этих сведений, но у него есть предчувствие, что так может случиться, сведения «случайны, темны и недостоверны», но предчувствие его никогда не обманывает. Не только зарежут, но и подбросят первосвященнику деньги, полученные за предательство, с запиской: «Возвращаю проклятые деньги!»

Начальник тайной службы быстро сообразил, что ему нужно делать, чтобы Пилат был им доволен: «— Выследить человека, зарезать, да еще узнать, сколько получил, да ухитриться вернуть деньги Каифе, и все это в одну ночь? Сегодня?

— И тем не менее его зарежут сегодня, — упрямо повторил Пилат, — у меня предчувствие, говорю я вам!..

— Слушаю, — покорно согласился гость, поднялся, выпрямился и вдруг спросил сурово: — Так зарежут, игемон?

— Да, — ответил Пилат, — и вся надежда только на вашу изумляющую всех исполнительность...»

А через несколько часов, когда Иуду действительно зарезали люди начальника тайной службы, Пилату вдруг пришла в голову мысль, что Иуда сам покончил с собой. На этом и порешили два служителя «закона».

Не это ли имеет в виду Мих. Б., когда упоминает «новую для нашего времени, но известную историю средних веков, чисто инквизиционную, процессуальную форму расследования, широко практиковавшуюся следователями из ЧК?...»

Беспощаден Мих. Б. к Раковскому и Мануильскому, которые играли роль «культурных и гуманных» деятелей революции, беспощаден и к известному садисту Лацису, сделавшему карьеру на убийствах и расстрелах ни в чем не повинных людей. Но бывало и так, что Лацис освобождал людей... за взятку. Так произошло, когда он устроил побег польской графини М., ее слегка подстрелили, потом отвезли в больницу, сделали перевязку, и она благополучно «скрылась при помощи поджидавших ее друзей...

Одновременно с бегством графини М. из кабинета Лациса пропало также большинство документов по ее делу... Злая молва среди заключенных по этому поводу утверждала, что Лацис, ставший в результате загадочного приключения с графиней М. обладателем большого состояния, смягчился душой и первый опыт своего милосердия проявил на одном из любимых опричников своих Никифорове...»

Так что Булгаков имел все основания опасаться мести чекистов, если бы они разгадали псевдоним...

Вполне возможно, что не только «Советская инквизиция» принадлежит перу М. Булгакова. Некоторые биографы и исследователи утверждают, что Булгаков мог выступать и под другими псевдонимами в «киевский» период жизни. Исследования продолжаются, но уже сейчас можно сказать, что настроения Булгакова этого времени почти целиком и полностью совпадают с записями И. Бунина в «Окаянных днях». Он так же, как и Бунин, ненавидел большевиков, что превосходно передано в «Грядущих перспективах»; так же, как и Бунин, верил в огромные потенциальные силы русского народа, который может воспрянуть ото «сна», одумается и сбросит ярмо большевизма... «Большевистские дела на Дону и за Волгой, сколько можно понять, плохи. Помогите нам, Господи!» — писал Бунин. Булгаков мог сказать так же...

Михаил Афанасьевич Булгаков родился 3 мая 1891 года (по старому стилю) в Киеве в семье доцента Киевской духовной академии Афанасия Ивановича и Варвары Михайловны, в 1890 году начавших совместную жизнь. Афанасий Иванович, сын священника Ивана Авраамьевича, получил духовное образование, сначала учился в семинарии, затем в академии. Перед поступлением в академию ему пришлось дать подписку в том, что после окончания курса в академии он обязуется поступить на «духовно-училищную службу». Только после этого обязательства ему выдали «прогонные и суточные на проезд, а также на обзаведение бельем и обувью». После академии, в 1886 году, Афанасий Булгаков успешно защитил магистерскую диссертацию и получил звание доцента. Преподавал в академии общую древнюю гражданскую историю, историю и разбор западных исповеданий, в Институте благородных девиц преподавал историю, занимал «должность Киевского отдельного цензора по внутренней цензуре». Хорошо знал греческий, английский, французский, немецкий языки. Знания языков емугодились в должности цензора по иностранной цензуре. При обыске и аресте изымали книги на иностранных языках и посылали в цензуру, Афанасий Иванович их просматривал и давал свои рекомендации. Приходилось ему читать и «Коммунистический манифест». Но это — ради денег: семья разрасталась, один за другим появлялись дети (Вера в 1892, Надежда в 1893, Варвара в 1895, Николай в 1898, Иван в 1900 и Елена в 1902 году), росли потребности, жалованья доцента академии не хватало, вот и брался за сверхурочную работу. Но главным для Афанасия Ивановича все же было преподавание и научная работа. А. С. Бурмистров подсчитал, что за свою недолгую жизнь А. И. Булгаков написал более 250 авторских листов, в том числе и такие книги, как «Старокатолическое и христианско-католическое богослужение и его отношение к римско-католическому богослужению и вероучению» (Киев, 1901) и «О законности и действительности англиканской иерархии с точки зрения православной церкви» (вып. 1. Киев, 1906). За эти книги А. И. Булгаков получил степень доктора богословия. (А. С. Бурмистров. К биографии М. А. Булгакова (1891 — 1916). Контекст. 1978. См. также: Лидия Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983.)

Варвара Михайловна, урожденная Покровская, была на десять лет моложе своего мужа. В брачном свидетельстве протоиерей Казанской церкви в городе Карачеве Михаил Васильевич Покров-

ский, ее отец, венчавший Булгаковых, отметил, что Варвара Михайловна была «преподавательницей и надзирательницей» женской прогимназии.

«Мама, светлая королева» — такой запомнилась она своему старшему сыну Михаилу Афанасьевичу Булгакову.

Крестили Михаила Булгакова в Кресто-Воздвиженской церкви на Подоле 18 мая. Крестной матерью была его бабушка Анфиса Ивановна Покровская, в девичестве — Турбина. Крестным отцом — Николай Иванович Петров, пятидесятилетний ординарный профессор, автор множества статей по истории западных литератур, а также книг по истории украинской литературы XVII — XIX веков.

В биографических исследованиях о М. А. Булгакове упоминается и его бабушка Олимпиада Ферапонтовна Булгакова, мать Афанасия Ивановича...

Естественно, меня интересовало происхождение Михаила Афанасьевича, и я расспрашивал Елену Сергеевну, вдову писателя, чуть ли не при первом же нашем свидании. Но она могла сообщить мне лишь самое малое: продиктовала из книги «Историческая летопись Курского дворянства» (т. I. 1913. С. 452) следующее: О Булгаковых здесь говорится, что «выехали из Немец. Один из потомков выехавшего назвался Булгак (Иван), от которого род называется». И еще одно важное упоминание в той же «Летописи»: «В родословной рода Воейковых... указывается, что этот род породнился с благородным родом Булгаковых, которому в этой родословной отведено 6 листов...»

Но вот, видно, род постепенно оскудевал, и Булгаковы пошли по духовной линии...

Детство и отрочество Михаила Булгакова было радостным и безмятежным. Родители жили дружно, взаимная крепкая любовь освещала их совместную жизнь, рождение детей прибавляло им забот и хлопот, но вместе с тем укрепляло чувство ответственности за их судьбы.

Афанасий Иванович засиживался допоздна в своем кабинете. И чаще всего Михаил Булгаков впоследствии будет вспоминать лампу с абажуром зеленого цвета, очень важный для него образ, возникший из детских впечатлений: это образ моего отца, пишущего за столом, скажет он П. С. Попову в конце 20-х годов. Часто Михаил Афанасьевич будет вспоминать и пианино с раскрытой партитурой какой-нибудь популярной вещи. Варвара Михайловна любила в минуты отдыха поиграть что-нибудь для себя. И вся многочисленная семья жила музыкой. Вспомним: ведь ни одно произве-

дение Муханла Афанасьевича не обходилось без музыкальных образов...

Работая еще в архиве Елены Сергеевны Булгаковой, я получил от нее документ, озаглавленный так: «Копия написанного рукой Ксении Александровны Булгаковой» (Елена Сергеевна в августе 1968 года встречалась с вдовой Николая Афанасьевича Булгакова, и Ксения Александровна многое ей рассказывала со слов, конечно, своего покойного мужа). Прочитую начало этого прелюбопытнейшего документа: «Семья Булгаковых — большая, дружная, культурная, музыкальная, театральная; могли стоять ночь, чтобы иметь билет на какой-нибудь интересный спектакль. Был домашний оркестр. Отец играл на контрабасе, Николай (юнкер Николка) на гитаре, сестра Варвара и мать играли на двух роялях. Вера пела. Летом они переезжали все на дачу, их ближайшие соседи — Лерхе, Ланчя, Семенцовы, Лисянские, немного дальше — имение Красовских Балановка. Семья Лерхе была тоже большая, тоже семья детей. У них на даче был большой балкон, и на этом балконе ставили спектакли. Руководил и сам играл старший брат Михаил Булгаков. Уже тогда проявилась его театральная любовь и умение ставить спектакли. Зимой они жили в большой квартире на Андреевском спуске, где продолжалась их музыкальная и литературная жизнь. Старшие сестры занимались младшими братьями...»

Есть письмо Николая Афанасьевича Булгакова, в котором он вспоминает ту любовную атмосферу, которая формировала их нравственный мир. И даже не вспоминает, а скорее выражает боль и тоску, потому что этот прекрасный и волшебный мир отношений человеческих уж никогда не вернется.

Внезапно этот прекрасный мир дружной семьи был разрушен: летом 1906 года смертельно заболел Афанасий Иванович. И поездка в Москву не дала положительных результатов: гипертонию почек еще не умели лечить. Семья осталась без кормильца. И тут на помощь пришли друзья и коллеги Афанасия Ивановича, сделавшие все для того, чтобы обеспечить семью полной пенсией.

Лидия Яновская подробно рассказывает об этих событиях в жизни семьи Афанасия Ивановича Булгакова и о роли его друзей: не было звания ординарного профессора и тридцатилетней выслуги лет, дававших право на полную пенсию, а было семь человек детей, наемная квартира, не было сбережений, и старший из детей, Михаил, пошел лишь в шестой класс гимназии... «Думаю, что Варвара Михайловна свою незаурядную силу воли проявила уже тогда. Многие взяли на себя друзей отца, и прежде всего А. А. Глаголев, молодой профессор духовной академии и священник церкви

Николая Доброго на Подоле, тот самый «отец Александр», который так тепло запечатлен на первых страницах романа «Белая гвардия». В декабре 1906 года совет академии срочно оформил присуждение А. И. Булгакову ученой степени доктора богословия и отправил в Синод ходатайство о назначении А. И. Булгакова «ординарным профессором сверх штата». Срочно была назначена денежная премия за последний его богословский труд, хотя представить этот труд на конкурс А. И. уже не мог (представили задним числом, нарушив все сроки, друзья), — это была форма денежной помощи семье. В конце февраля пришло постановление Синода об утверждении А. И. Булгакова в звании ординарного профессора, и, нисколько не медля, в марте, за два дня до его смерти, совет академии рассматривает «прошение» А. И. об увольнении его по болезни с «полным окладом пенсии, причитающейся ординарному профессору за тридцатилетнюю службу», хотя прослужил он только двадцать два года, и успевает решение об этом принять и направить на утверждение в Синод. Пенсия — три тысячи рублей в год — отныне останется в семье...» (Лидия Яновская. Творческий путь Михаила Булгакова. М.: Советский писатель, 1983. С. 23).

И сам Михаил Афанасьевич в своих воспоминаниях и автобиографических произведениях не раз скажет доброе слово о своей семье; и его сестры, отвечая на вопросы биографов писателя, расскажут о той неповторимой дружественной атмосфере, которая царила в их семье.

Не забудем вспомнить и «Белую гвардию», в которой, несомненно, Михаил Булгаков описывает некоторые детали быта Турбиных — Булгаковых: «...Бронзовая лампа под абажуром, лучшие на свете шкапы с книгами, пахнущими таинственным старинным шоколадом, с Наташей Ростовою, Капитанскою Дочкою...» Много-много раз Булгаков вспомнит этот абажур, раскрытое пианино с партитурой «Фауста» на нем, мать, светлую королеву, вспомнит свое беспечальное детство и отрочество: «Все же, когда Турбиных и Тальберга не будет на свете, опять зазвучат клавиши, и выйдет к рампе разноцветный Валентин, в ложах будет пахнуть духами, и дома будут играть аккомпанемент женщины, окрашенные светом, потому что Фауст, как Саардамский Плотник, — совершенно бесмертен». А какие восторженные строки посвятит Михаил Булгаков родному Киеву, где он родился, вырос, учился в гимназии и университете: «Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах, зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Дне-

пру... Времена, когда в садах самого прекрасного города нашей родины жило беспечальное юное поколение».

До 18 августа 1900 года Михаил Булгаков учился дома. А в этот день он был зачислен в подготовительный класс Второй гимназии, где учителем пения и регентом хора работал дядя Михаила, Сергей Иванович Булгаков, вскоре издавший книгу «Значение музыки и пения в деле воспитания и в жизни человека» (Киев, 1901). Через год, 22 августа 1901 года, Михаил Булгаков был принят в первый класс Первой гимназии, которую чаще называли Александровской, потому что именно Александр I предоставил преобразованной из Главного народного училища гимназии «особый устав» — она готовила учащихся для поступления в университет. А поэтому в Александровской гимназии были сосредоточены, может быть, лучшие преподаватели того времени. Во всяком случае, те имена, которые называет А. С. Бурмистров, проследивший творческий и научный путь самых заметных преподавателей гимназии того времени, когда там учился Булгаков, производят большое впечатление.

К столетию Александровской гимназии вышел сборник «Столетие Киевской первой гимназии» (Киев, 1911), в котором в числе выдающихся воспитанников гимназии называются такие громкие имена, как Н. И. Стороженко, Н. М. Цытович, академик скульптуры П. П. Забелло, академик живописи Н. Н. Ге; в числе преподавателей директор гимназии Е. А. Бессмертный — переводчик Геродота; П. Н. Бодянский — автор нескольких книг, в том числе «Римские вакханалии и преследования их в VI веке от основания Рима», Н. А. Петров, М. И. Тростянский, Ю. А. Яворский, А. Б. Селиханович, преподававшие русский язык и русскую словесность; Г. И. Челпанов, Н. Т. Черкунов...

Сведений об этом периоде жизни М. А. Булгакова сохранилось не так уж много. Известно, что в 1907 году семья Булгаковых переехала в дом № 13 по Андреевскому спуску и заняла второй этаж. На первом этаже жил владелец дома, инженер Василий Павлович Листовничий, послуживший в какой-то степени прототипом одного из персонажей «Белой гвардии» (Василиса).

Варвара Михайловна давала частные уроки, некоторое время служила инспектрисой на вечерних женских общеобразовательных курсах, потом — казначеем Фребелевского общества. И как-то сводила концы с концами.

В архивах гимназии, по свидетельству Л. Яновской, сохранилось «множество» прошений об освобождении Михаила, Николая и Ивана от платы за обучение: «Оставшись вдовой с семьей мало-

летними детьми и находясь в тяжелом материальном положении, покорнейше прошу ваше превосходительство освободить от платы за право учения сына моего...» Серьезным аргументом освобождения от платы за обучение Николая и Ивана она считала: «Кроме того, сын мой Николай поет в гимназическом церковном хоре; «Кроме того, мои сыновья Николай и Иван оба поют в гимназическом церковном хоре».

Заслуживает внимания и тот факт, что Варвара Михайловна приняла в свою семью на время учебы двух сыновей Петра Ивановича Булгакова, который служил в Китае и Японии, и племянницу, поступившую на Высшие женские курсы. Так что было трудно и весело.

Запомнились веселые журфиксы по субботам, когда в доме Булгаковых собиралась молодежь. Праздновались именины детей, всегда звучала музыка. Ставились шуточные сцены, пели хоровые песни, Михаил пел хорошим баритоном. Театр, особенно опера, давно вошел в жизнь Михаила Булгакова. Надежда Афанасьевна много лет спустя, вспоминая свое детство и отрочество, говорила в одном из выступлений, записанном на магнитофон, что Михаил «видел «Фауст», свою любимую оперу, 41 раз — гимназистом и студентом. Это точно. Он приносил билетки и накалывал, а потом сестра Вера, она любила дотошность, сосчитала... Михаил любил разные оперы, я не буду их перечислять. Например, уже здесь, в Москве, будучи признанным писателем, они с художником Черемных Михаил Михалычем устраивали концерты. Они пели «Севильского цирюльника» от увертюры до последних слов. Все мужские арии пели, а Михаил Афанасьевич дирижировал. И увертюра исполнялась. Вот не знаю, как с Розиной было дело. Розину, мне кажется, не исполняли, но остальное все звучало в доме. Это тоже один из штрихов нашей жизни» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. М.: Советский писатель, 1988. С. 53).

Надежда Афанасьевна рассказывала о всесторонней одаренности своего старшего брата, он писал сатирические стихи, рисовал карикатуры, играл на рояле, пел, одно время увлекался футболом, был превосходным рассказчиком, очень рано начал писать, сочинял и устные рассказы.

И еще одно важное свидетельство Надежды Афанасьевны: «Уже гимназистом старших классов Михаил Афанасьевич стал писать по-серьезному: драмы и рассказы. Он выбрал свой путь — стать писателем, но сначала молчал об этом. В конце 1912 года он дал мне прочесть свои первые рассказы и тогда впервые сказал мне твердо: «Вот увидишь, я буду писателем» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 60).

И после окончания гимназии в июне 1909 года Михаил Булгаков не случайно колебался, куда пойти учиться дальше. Варвара Михайловна мечтала, чтобы сыновья стали инженерами путей сообщения. Самого Михаила манила не изведанная в семье дорога артиста или литератора, но не было уверенности, что его таланта окажется достаточно, чтобы связать с этими «прельстительными» профессиями всю свою жизнь. И он выбрал путь, уже известный в семье: два брата Варвары Михайловны, Михаил и Николай Покровские, служили врачами. В отцовском роду тоже были врачи. Да и отчим Михаила Булгакова, Иван Павлович Воскресенский, был врачом. Так что Михаил Булгаков тоже решил связать свою судьбу с этой благороднейшей профессией.

21 августа 1909 года М. А. Булгаков стал студентом медицинского факультета императорского университета св. Владимира.

Почти семь лет учился Булгаков в университете. В 1910—1913 годах числился на втором курсе. Университетский устав разрешал повторять программу того или иного курса. Скорее всего сложные причины общественно-политического и личного характера «вмешались» в плавное течение жизни студента-медика.

Много острых политических событий происходило в Киеве в те годы. И чаще всего зачинщиками обострения политической обстановки в городе были студенты университета. Не раз Министерство народного просвещения прерывало занятия в университете. То в связи с участием студентов в беспорядках, вызванных смертью Льва Толстого. То в связи с забастовкой студентов, протестовавших против запрещения студенческих сходок. А 5 сентября 1911 года в городском театре произошло покушение на председателя Совета Министров П. А. Столыпина. То Ленские события, то годовщина Кровавого воскресенья, то процесс Бейлиса в сентябре 1913 года... Студенчество университета, Политехнического института, Коммерческого института принимало активное участие во всех этих событиях, пользуясь каждым случаем протестовать против ханжества и лицемерия властей, против царского правительства.

В это время Булгаков вновь задумывается о правильности своего выбора: снова манила его жизнь актеров, чувствует он тягу к искусству. Но ограничивает себя тем, что слушает лекции известных театральных деятелей, таких, как Михаил Медведев, известный оперный певец, антрепренер, руководитель курсов, таких, как режиссер В. Э. Мейерхольд, искусствовед П. П. Муратов, публицисты Л. Н. Войтоволский и А. А. Яблоновский. В журнале «Маски» (1911. № 1—4) подробно говорится об этих лекциях в Киеве и о практических занятиях по темам: «Музыка и искусство актера», «Живопись и

искусство актера»... Как раз по таким темам, которые так влекли юного Булгакова. Да и тяга к сочинительству тоже порой пробуждалась с неистовой силой. Именно в эти годы он показывал Надежде Афанасьевне свои рассказы, заверяя ее, что станет писателем. А позднее П. С. Попову признается, что первый рассказ — «Похождения Светляка» (Надежда Афанасьевна называет этот рассказ — «Похождения Светлана». См.: Воспоминания... С. 63) — он писал в семь лет, писал все юношеские годы юморески для домашнего театра, а «День главного врача» — скорее всего, в студенческие годы, но эти пробы пера не сохранились в архивах семьи.

К тому же именно в студенческие годы, как раз на втором курсе, Михаил Булгаков влюбился в приехавшую из Саратова Татьяну Николаевну Лаппа. В разделе «Знакомство с Татьяной Николаевной Лаппа и женитьба» Е. А. Земская приводит многочисленные свидетельства из переписки родных, воспоминаний близких, из которых можно с полной достоверностью воспроизвести все перипетии этой любовной истории и женитьбы, воспроизвести все сложности ее и противоречия, которые переживали родные и близкие влюбленных. Из дневниковых записей Надежды Афанасьевны можно узнать, когда возникло это чувство, развитие отношений между Михаилом и Татьяной, отношение матери к этой неожиданности для нее, мужественный ход ее размышлений и переживаний. Из этих записей сначала становится ясно одно: Миша зачастил в Саратов, где живет Татьяна. «Мишино увлечение Тасей и его решение жениться на ней. Он все время стремился в Саратов, где она живет, забросил занятия в университете, не перешел на 3-й курс... Как они оба подходят друг другу по безалаберности натур! Любят они друг друга очень, вернее — не знаю про Тасю — но Миша ее очень любит...» Из последующих записей ясно, что и Тася очень любит Михаила. Вопрос о свадьбе может быть решен, если Михаил сдаст все предметы за второй курс и перейдет на третий.

«Дело идет к свадьбе, — реконструирует этот период жизни Михаила Афанасьевича Е. А. Земская по воспоминаниям и письмам своей матери и ее близких. — Перед свадьбой М. А. сочиняет шуточную пьесу «С миру по нитке — голому шиш». В ней действовали: Бабушка — Елизавета Николаевна Лаппа, Доброжелательница солидная — мать (Варвара Михайловна), Доброжелательница ехидная — тетя Ириша (Ирина Лукинична Булгакова...), Доброжелательница — тетка Таси — Софья Николаевна Лаппа-Давидович, близкая подруга матери; Просто Доброжелательница — тетя Катя Лаппа-Давидович; Хор молодых доброжелате-

лей— братья, сестры и друзья. В пьесе был такой диалог: «Бабушка: Но где же они будут жить?

Доброжелательница: Жить они вполне свободно могут в ванной комнате. Миша будет спать в ванне, а Тася — на умывальнике».

По письмам Варвары Михайловны можно понять, что самые тяжкие испытания выпали на ее долю. 30 марта 1913 года, незадолго до свадьбы, в письме дочери Надежде она сообщает: «...Давно собираюсь написать тебе, но не в силах в письме изложить тебе всю эпопею, которую я пережила в эту зиму: Миша совершенно измочалил меня... В результате я должна предоставить ему самому пережить все последствия своего безумного шага: 26 апреля предполагается его свадьба. Дела стоят так, что все равно они повенчались бы, только со скандалом и разрывом с родными; так я решила устроить лучше все без скандала. Пошла к о. Александру Александровичу (можешь представить, как Миша с Тасей меня выпроваживали поскорее на этот визит!), поговорила с ним откровенно, и он сказал, что лучше, конечно, повенчать их, что «Бог устроит все к лучшему»... Если бы я могла надеяться на хороший результат этого брака; а то я, к сожалению, никаких данных с обеих сторон к каким бы то ни было надеждам не вижу, и это приводит меня в ужас... Ты, конечно, можешь себе представить, какой скандал шел всю зиму и на Марининско-Благовещенской (там жили родственники Таси. — *Е. А. Земская*). Бабушка и сейчас не хочет слышать об этой свадьбе...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 76 и др.)

Варвара Михайловна называла «безумцами» Михаила и Татьяну, решившихся на брак в таком положении (он — студент, она только что окончила гимназию). Но свадьба состоялась, разыграли даже пьеску, о которой уже сообщалось здесь. Однако мать слегла и в письме к Наде сообщает о некоторых подробностях: «...только что поднялась с одра болезни, куда меня уложила Мишина свадьба. У меня еще хватило сил с честью проводить их к венцу и встретить хлебом-солью и вообще не испортить семейного торжества. Свадьба вышла очень приличная. Приехала мать Таси... вся наша фамилия в торжественном виде... А потом у меня поднялась температура до 39 градусов, и я уже не помню, как упала в постель, где пролежала 3 дня, а потом понемножку стала отходить. Сейчас у меня сильная слабость деятельности сердца, утром температура — 36 градусов, и я шатаюсь, когда хожу».

Но был и положительный итог этого свадебного «скандала»: Михаил Булгаков должен был представить отцу Таси свидетельство о переходе на третий курс университета, а посему пришлось

много заниматься перед свадьбой и сдать все свои задолженности за второй курс.

К счастью, в ванной молодым жить не довелось, они сняли комнату, а обедать ходили к матери. В декабре 1913 года выехали на каникулы к родителям Татьяны.

Вернувшись в Киев, молодожены засели за учебники. Пора увлечений миновала, нужно было браться за учебу, и так отстал на два года... И Михаил Булгаков с удовольствием занимается полубившимся делом. Бывает на лекциях, а в это время читали лекции выдающиеся профессора: Стефанис, Образцов, Яновский, принимает участие в практических занятиях в госпитальной терапевтической клинике, в анатомическом театре, ставит диагнозы, вскрывает трупы...

Блестящие диагностиксы, крупнейшие терапевты, патологоанатомы, анатомы и физиологи, акушеры и гинекологи были учителями М. А. Булгакова. Об одном из них, Феофиле Гавриловиче Яновском, академик В. Н. Иванов писал: «Феофил Гаврилович был замечательным лектором. Его лекции отличались глубоким содержанием и вместе с тем удивительной ясностью и простотой. Он придавал большое значение объективному исследованию и анамнезу, а также современным лабораторным и рентгенологическим данным. Анализ и обобщение полученных данных отличались стройностью и последовательностью. Образные сравнения, яркие примеры из практики и порой тонкий юмор оживляли лекцию. Аудитории всегда были переполнены. На лекции стремились попасть не только студенты, но и многие врачи». (См.: Контекст. 1978. С. 262.)

19 июля 1914 года началась первая мировая война, оказавшаяся серьезным испытанием и для всей семьи Булгаковых. Университет, кроме медицинского факультета, был эвакуирован в Саратов. Многие учреждения тоже были эвакуированы, приближался фронт, а многие здания были переоборудованы под госпитали и лазареты. Появились первые раненые, беженцы с запада...

Михаил Булгаков вместе с Татьяной работают в госпитале. Война вошла в семью Булгаковых, изменила их быт и мечты. И как только получил временное свидетельство «шлякera с отличием», Михаил Булгаков добровольцем Красного Креста попросился на фронт. Вскоре он действительно оказался на Юго-Западном фронте, перешедшем под командованием Брусилова в наступление. Русские войска переправились через реку Прут, потом Серет, захватили Черновцы... И, конечно, русские войска несли потери, в госпиталях и лазаретах появилось много раненых... Из Каменец-Подольского Михаил Булгаков переезжает ближе к фронту — в Чернов-

цы. И все лето 1916 года работает в прифронтовом госпитале, приобретая врачебный опыт под руководством опытных военных хирургов. Рядом с ним работала сестрой милосердия Татьяна Николаевна, его верная жена.

И тут вспомнили, что Михаил Булгаков — военнообязанный, и отозвали в Москву, мобилизовав его в «ратники ополчения второго разряда».

22 сентября 1916 года Надежда Афанасьевна записывает в своем дневнике: «Вечер. Миша был здесь три дня с Тасей. Приезжал призываться, сейчас уехал с Тасей (она сказала, что будет там, где он, и не иначе) к месту своего назначения «в распоряжение смоленского губернатора». Привез он с собой дикое и нелепое известие о мамином здоровье (подозрение, что у нее рак. — Е. З.). Привез тревогу, трезвый взгляд на будущее, на жену, свой юмор и болтовню, свой столь привычный и дорсгой мне характер, такой приятный для всех членов нашей семьи. И, как всегда чувствовалось перед лицом серьезного несчастья, привез заботу о семье, и струны нашей связи — моей с ним — и нашей общей, семейной — вдруг зазвучали, перед лицом серьезного несчастья, очень громко...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове. С. 83).

Из Смоленска Булгаковы отправились в Никольскую земскую больницу, где они прожили больше года, не зная ни сна, ни отдыха, страдая и мучаясь от недостатка лекарств, инструментов, от темноты и невежества ставших близкими и родными ему односельчан. Скорее всего, здесь он сделал первые наброски будущих «Записок юного врача».

Булгаковы писали письма о своем житье-бытье, но писем сохранилось мало. Потому-то так велико значение оставшихся. В письме А. П. Гдешинского Надежде Афанасьевне есть такие фразы: «Киев, 14.X.1916. Недавно был у Ваших. Варвара Мих. лежит, но чувствует себя, по-видимому, бодро. От Миши получили письмо, полное юмора над своим сычевским положением. Он перефразировал аверченковское: «Я, не будучи поэтом, расскажу, как этим летом поселился я в Сычевке, повинуюсь капризу судьбы-плутровки...» А спустя много лет, уже после смерти М. А. Булгакова, Гдешинский сообщает Надежде Афанасьевне, что он действительно получал письмо Михаила Булгакова из Никольского, под Сычевкой, Смоленской губернии, но оно не сохранилось, хотя он и помнит, что Булгаков писал об этом месте как о дикой глуши как по местоположению, так и по окружающей бытовой обстановке; помнит он и о том, что Булгаков признавался, что больничные дела были поставлены очень скверно, что очень распространен сифи-

лис, и ему пришлось изучать средства его лечения. Помнит Гдешинский и фразу Булгакова, в которой он искренне завидовал другу, который может в эти тяжкие для него дни пойти в театр: «Перед моим умственным взором проходишь ты в смокинге, пластроне, шагающий по ногам первых рядов партера, а я...»

В конце сентября 1917 года Михаила Булгакова переводят в Вяземскую городскую земскую больницу. В феврале 1918 года он вместе с Татьяной возвратился в Киев, где прожил до осени 1919 года, испытывав все тревоги, сомнения, боль, противоречия, душевные муки, которые впоследствии воплотятся в художественную ткань романа «Белая гвардия» и другие его художественные произведения.

Михаил Булгаков увидел, какие огромные перемены происходят в его любимом городе. То правила большевики, то власть переходила к Петлюре, то под диктовку немцев была объявлена власть гетмана Скоропадского, то в город входили денikinские войска.

Письма, дошедшие до нас, передают некоторые обстоятельства его жизни. Чаще всего эти письма адресованы Надежде Афанасьевне Земской, бережно сохранившей их и передававшей в библиотеку им. Ленина. 30 октября 1917 года Татьяна Николаевна сообщала ей: «Мы живем в полной неизвестности, вот уже четыре дня ниоткуда не получаем никаких известий». А Михаил Афанасьевич в конце декабря сообщает: «Недавно в поездке в Москву и Саратов мне пришлось видеть воочию то, что больше я не хотел бы видеть. Я видел, как толпы бьют стекла в поездах, видел, как бьют людей. Видел разрушенные и обгоревшие дома в Москве. Видел голодные хвосты у лавок, затравленных и жалких офицеров...»

Напомним: несчастный Октябрьский переворот уже свершился, в Москве он был особенно кровопролитен, разрушено было действительно очень много. Война и революция все перевернули в некогда спокойном и благополучном быте Булгаковых. Надежда вышла замуж за филолога Андрея Земского, а он стал прапорщиком-артиллеристом; брат Николай, с золотой медалью окончивший Александровскую гимназию и мечтавший о поступлении в университет на медицинский факультет, неожиданно для матери и для себя надумал поступать в военное училище... А чуть раньше, весной 1917 года, Вера вышла замуж за офицера... Дружную семью разбросало в разные стороны, и Булгаков тоскует от невозможности быть всем вместе, как прежде. 3 октября 1917 года из Вязьмы он пишет Надежде: «Дорогая Надя, вчера только из письма дяди я узнал, что ты в Москве, где готовишься к экзаменам. Я был уверен, что ты в Царском Селе (там служил ее муж. — В. П.), и все хотел тебе написать, да не знал твоего адреса. Напиши, когда у тебя государственные?»

Вообще обращаюсь к тебе с просьбой: пиши, если только у тебя есть время на это, почаше мне. Для меня письма близких в это время представляют большое утешение. Пожалуйста, напиши мне также адрес Варн...» (См.: Михаил Булгаков. Письма. М.: Современник, 1989.)

В Киеве Михаил Булгаков открыл частную практику: лечил венерические болезни. В доме № 13 по Андреевскому спуску он оборудовал кабинет с отдельным входом, повесил табличку о часах приема. Это стало возможным только потому, что мать, Варвара Михайловна, переехала к мужу, И. П. Воскресенскому, с пятнадцатилетней Лелей. Но жили они совсем недалеко — по Андреевскому спуску, 38, где некогда снимали комнату Михаил и Татьяна Булгаковы.

«Кончая университет, — вспоминала Надежда Афанасьевна, — М. А. выбрал специальностью детские болезни (характерно для него), но волей-неволей пришлось обратить внимание на венерологию. М. А. хлопотал об открытии венерологических пунктов в уезде, о принятии профилактических мер. В Киев в 1918 году он приехал уже венерологом...» В письме мужу от 6 декабря 1918 года она пишет: «В августе были сведения из Киева, что... Миша зарабатывает очень хорошо» (Воспоминания... С. 87).

В биографии М. А. Булгакова была некая неясность, куда он подевался после 31 августа 1919 года, когда в Киев вошли денкинские войска? Все биографы смущенно замалчивали несколько месяцев его жизни, а именно с начала сентября 1919 года и до февраля 1920-го, когда он оказался во Владикавказе, где прожил до лета 1921-го.

3

В автобиографии, написанной в октябре 1924 года, Булгаков не называет город, куда «затащил» его поезд и где началась его литературная судьба. Но все биографы, начиная с В. Лакшина, называют этот город — Владикавказ.

В. Чеботарева (Уральский следопыт. 1970. № 1. С. 74—77), Д. Гиреев (Михаил Булгаков на берегах Терека. Орджоникидзе, 1980), Л. Яновская (Творческий путь Михаила Булгакова. М., 1983) рассказывают о пребывании М. А. Булгакова на Кавказе, приводят биографические факты, литературные материалы, найденные ими в газетах, афишах того времени. Е. А. Земская, извлекая «из семейного архива», тоже приводит некоторые данные о начале творческого пути Булгакова. Кое-что дополняют и проясняют воспоминания

Татьяны Николаевны о годах молодости, записанные и обработанные М. О. Чудаковой. И жизнь, и литературный дебют начинающего писателя отчетливо и полно предстают перед нами.

Во Владикавказе Михаил Булгаков оказался не по собственной воле. Трудно восстановить сейчас подлинные причины и мотивы его скитаний, многое утрачено, а может быть, просто пока не найдено. Но, пожалуй, наиболее убедительно говорится об этом периоде жизни писателя на страницах книги Д. Гиреева «Михаил Булгаков на берегах Терека». Полемизируя с В. Чеботарской, Д. Гиреев писал: «В действительности все было гораздо сложнее и значительнее. События в жизни Булгакова носили глубоко драматический характер. Ему приходилось не только спасаться от гибели, но и решать очень важные вопросы как личного, так и общественного плана. Принятые решения выражали отношение молодого писателя к политическим явлениям современности, указывали место в том великом противостоянии социальных сил, которое привело к гражданской войне в России. Они определяли дальнейший путь его как человека и гражданина.

Именно в это время в жизни М. Булгакова завязался сложный узел мировоззренческих противоречий и трудных обстоятельств. Он настойчиво и мучительно пытался их разрешить, колебался, метался из стороны в сторону и страдал. Однако огромная любовь к родине, внутренняя честность и искренность, зачастую очень осложнявшие его быт, в конце концов помогли ему выбраться из потока бурных социальных потрясений на широкие просторы обновленной жизни» (с. 34).

Вспомним... Булгаков вернулся в Киев из Вязьмы, чтобы чуточку успокоиться на родной земле, в родном кругу семьи, пожить в мире, открыл частную практику, оборудовал кабинет, принимал больных... И казалось, что окружающие его примут правила, по которым он хотел жить. В свободное от работы время он собирался писать: пережитое переполняло его душу, и он уже делал наброски к роману «Недуг», к «Запискам земского врача». Он не хотел вмешиваться в политическую жизнь, в которой трудно было разобратся. А в Киеве власть менялась часто. Через несколько лет в «Белой гвардии» Булгаков опшет тогдашнее положение в Киеве: «И вот, в зиму 1918 года, Город жил странною, неестественной жизнью, которая, очень возможно, уже не повторится в двадцатом столетии. За каменными стенами все квартиры были переполнены. Свои давнишние исконные жались и продолжали сжиматься дальше, волею-неволею впуская новых пришельцев, устремлявшихся в Город... Бежали седоватые банкиры со своими женами, бежали та-

лантливые дельцы... Бежали журналисты... Бежали князья и алтынники, поэты и ростовщики, жандармы и актрисы императорских театров... а в самом Городе постоянно слышались глухонькие выстрелы на окраинах: па-па-пах.

Кто в кого стрелял — никому не известно. Это по ночам. А днем успокаивались, видели, как временами по Крещатику, главной улице, или по Владимирской проходил полк германских гусар... Увидев их, радовались и успокаивались и говорили далеким большевикам, злорадно скаля зубы из-за колючей пограничной проволоки:

— А ну, суньтесь!

Большевиков ненавидели. Но не ненавистью в упор, когда ненавидящий хочет идти и драться и убивать, а ненавистью трусливой, шипящей, из-за угла, из темноты. Ненавидели по ночам, засыпая в смутной тревоге, днем в ресторанах, читая газеты, в которых описывалось, как большевики стреляют из маузеров в затылки офицерам и банкирам и как в Москве торгуют лавочники лошадиным мясом, зараженным сапом. Ненавидели все — купцы, банкиры, промышленники, адвокаты, актеры, домовладельцы, кокотки, члены Государственного совета, инженеры, врачи, писатели... Были офицеры. И они бежали и с севера, и с запада — бывшего фронта... Были среди них исконные старые жители этого Города, вернувшиеся с войны в насиженные места с той мыслью, как и Алексей Турбин, — отдыхать и отдыхать и устраивать заново не военную, а обыкновенную человеческую жизнь...»

Обыкновенную человеческую жизнь попытался наладить в своем доме и Михаил Афанасьевич Булгаков. Но жизнь, беспокойная, бурная, противоречивая, вмешалась в эти планы и намерения: Николай и двоюродный брат Константин Булгаковы, увлеченные идеей спасти «единую и неделимую» Россию, ушли в Белую гвардию и надолго пропали без вести. А Варвара Михайловна сходила с ума от беспокойства: живы ли? «Велик был год и страшен год по рождестве Христовом 1918, но 1919 был еще страшней», — писал Булгаков в «Белой гвардии», вспоминая пережитое им и его близкими в Киеве. Не раз врываются в его жизнь беспокойные силы времени: шла война, и петлоровцам, и большевикам, и белогвардейцам нужны были врачи. Но как-то удавалось Михаилу Афанасьевичу избегать серьезного участия в этом противоборстве антагонистических сил, хотя не раз попадал в драматическое положение, рисковал жизнью.

Читатели этого тома прочтут рассказы «Необыкновенные приключения доктора», «В ночь на 3-е число», «Неделя просвещения»,

«Красная корона» и поймут, что в этих и в других рассказах воплощен жизненный опыт самого автора. Вот рассказ Татьяны Николаевны: «...Его мобилизовали сначала синежупанники... Потом дома слышу — синежупанники отходят. В час ночи — звонок. Мы с Варей побежали, открываем: стоит весь бледный... Он прибежал совершенно невменяемый, весь дрожал. Рассказывал: его уводили со всеми из города, прошли мост, там дальше столбы или колонны... Он отстал, кинулся за столб — и его не заметили... После этого заболел, не мог вставать... Наверно, это было что-то нервно...» (Воспоминания... С. 118.)

Это как раз и происходило в ночь на 3-е число марта 1919 года, а более подробно об этих событиях расскажет сам Михаил Булгаков в рассказе «В ночь на 3-е число».

А война между тем продолжалась... Петлюровцев прогнали полки Красной Армии. Однако борьба против белогвардейцев, петлюровцев, махновцев и других мятежников, затаившихся в Киеве контрреволюционеров оказалась пока непосильной для советской власти, и Красная Армия потерпела поражение. В Киев снова пришли белогвардейцы.

«В первых числах сентября семья Булгаковых пережила новое потрясение», — повествует Д. Гиреев. И далее рассказывает о приезде капитана Бориса Андреевича Корецкого в дом Булгаковых и о письме Константина Булгакова, которое и процитируем здесь: «Дорогие мои, милая и единственная Варвара Михайловна! Случайная встреча с давнишним другом капитаном Корецким, который в ближайшие дни направляется в Екатеринослав, подает мне надежду, что эта записка найдет вас. Николка жив, хотя и не совсем здоров. У него сыпной тиф. Кризис миновал. Поправляется. Лежит в пятигорском госпитале. Я имею возможность его навещать. Бог даст, все обойдется, канут в Лету наши страдания, и мы вновь соберемся за круглым столом... Да хранит вас Бог. Остальное расскажет капитан. Очень тороплюсь. Всегда ваш Константин Булгаков».

Варвара Михайловна успокоилась, но ненадолго. Мысли ее все продолжали кружиться вокруг Николая и Константина, попавших, как ей все время казалось, в беду. Кто может спасти их? Только старший брат... Михаил Булгаков дал клятву матери, что он поедет на Кавказ и поможет братьям выбраться из «омута».

«Через несколько дней Михаил Афанасьевич с помощью капитана Корецкого получил нужные документы. В предписании киевского коменданта говорилось, что М. А. Булгаков, врач военного резерва, направляется для прохождения службы в распоряжение штаба Терского казачьего войска в город Пятигорск... Больше не-

дели ушло, чтобы добраться до Пятигорска. Измученный теплушками, толпами спекулянтов и беженцев на всех станциях и вокзалах, стычками с комендантами и начальниками застав, которые вылавливали дезертиров, голодный, грязный, провисев, как репс-ник, на подножке вагона последние сутки, Булгаков, наконец, поздно вечером оказался в офицерской гостинице при пятигорской комендатуре» — так, по словам Д. Гиреева, Михаил Булгаков прибыл на Кавказ. (См.: Михаил Булгаков на берегах Терека. С. 27.)

Все, казалось бы, ясно. Но через три года, в 1983 году, в книге Лидии Яновской снова возникает все тот же вопрос: «...тогда, ранней осенью 1919 года, Булгаков выехал на белый юг — по мобилизации, при белых? Или, может быть, при советской власти, сам?»

Этот вопрос Л. Яновская задала Татьяне Николаевне. И вот ответ: «Ее глаза вспыхнули гневом. Вот уж чего не было! Конечно, он был мобилизован! Конечно, при денкинцах... Из Киева Булгаков выехал в Ростов-на-Дону. Там получил назначение в Грозный. Во Владикавказе дождался приезда жены, и в Грозный они отправились вместе».

Как видим, биографы Булгакова по-разному толкуют вроде бы простейший вопрос: как и когда М. А. Булгаков оказался на Кавказе.

По словам Л. Яновской, Татьяна Николаевна все время пребывания Булгакова на Кавказе была с ним вместе. Более того, и во время болезни его тифом она все время была с ним: «Он плавал в жестоком жару, чередовались недели беспамятства и просветлений, и несколько раз Татьяна Николаевна, боясь, что он до утра не доживет, бежала за врачом в ночь, замирая от ужаса перед каждой тенью, которая могла оказаться вооруженным человеком... Был невероятно яркий, сухой и солнечный апрель. Булгаков неуверенно вышагивает с палочкой, голова после тифа обрита. Татьяна Николаевна, Тася, слева осторожно придерживает его за локоть...» (См.: Творческий путь Михаила Булгакова. С. 48—49, 58—59.)

А между тем Д. Гиреев сообщает нам следующее: «Перепуганные Лариса Леонтьевна и Татьяна Павловна мечутся у постели больного. Их добрый приятель доктор Далгат каждый день навещает больного. Приносит нужные лекарства, делает уколы...» И только летом 1920 года приехала Татьяна Николаевна: «И еще потрясающая радость. Уже стемнело, когда раздался звонок в парадную дверь. На пороге стояла Татьяна Николаевна. Будто с неба свалилась. Измученная, худая, грязная, с мешочком, перевязанным веревкой, и маленьким узелком, в котором оказался кусок черствого хлеба, сухари, две луковички и несколько огурцов. У Булгакова

язык онемел. Долго еще не мог шевельнуться и слова сказать. Потом вскочил и, обнимая жену, засыпал вопросами...» (Д. Гиреев. Михаил Булгаков на берегах Терека. С. 99.)

Думаю, что со временем, когда будет восстановлена биографическая канва, удастся выяснить, выбегала ли Татьяна Николаевна в ночную тьму, «замирая от ужаса перед каждой тенью», или она приехала гораздо позднее, летом, и при виде ее Булгаков «онемел», потом «вскочил» и «засыпал вопросами». Конечно, это существенно.

От Татьяны Николаевны Булгаков узнал, что Константин — в Москве, Ивана забрали белые еще в декабре, о Николае ничего не известно, мать «все плачет».

Но это все происходило в 1920 году. А пока Булгаков, прибыв в Пятигорск, попросил, чтобы его направили в ту часть, где служил Николай Булгаков, в Третий Терской полк. В середине октября 1919 года он догнал свой полк. И все, что с ним происходило, запечатлено в «Необыкновенных приключениях доктора». Естественно, Булгаков представляет эти приключения как приключения доктора N, излагает их в форме записок самого доктора, исчезнувшего в неизвестном направлении. Но совершенно ясно, что эти записки, искренние и откровенные, точно и психологически глубоко, по горячим следам событий, передают собственные переживания Михаила Афанасьевича, своими глазами видевшего и испытывавшего все те «приключения», которые якобы происходили с доктором N. И дело даже не в событиях, как бы исторически важны они ни были, а в тех мыслях и чувствах, драматических испытаниях и переживаниях, которые воспроизведены в этом автобиографическом повествовании. Военные приключения — не для Булгакова. Он столько всего насмотрелся, столько крови, тяжких ран, мучительных, нечеловеческих страданий, что душа его, переполненная доблестями мира, просто возопила: «За что ты гонишь меня, судьба? Почему я не родился сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился». Почему он, доктор, человек самой мирной профессии, должен куда-то уезжать из своего дома, ставшего таким привычным и родным, уезжать Бог знает куда в поисках неизвестно чего... Его не влекут приключения в духе Фенимора Купера, а тем более в духе Шерлока Холмса, его не интересуют выстрелы, погони, рукопашные схватки... «Моя любовь — зеленая лампа и книги в моем кабинете». Ему хочется писать, а судьба потащила его по военным дорогам, полным злодейской опасности и бесприютства. Почему его мобилизовала «пята по счету власть»? Он никак не может разобраться в этой противоре-

ственной «суматохе», когда нужно почему-то убежать, прятаться, скрываться, «висеть на заборе»... Если правдиво рассказать обо всем, что с ним приключилось, могут не поверить, могут сказать, что все это он «выдумал». Но «погасла зеленая лампа», вместо книг в своем кабинете он видит в бинокль «обреченные сакли», пожара, скачущих чеченцев, преследующих их казаков, «лица казаков в трепетном свете» горящих ночью костров; вместо декораций оперы «Демон» он видит, как самделишные «отдельные дымки свиваются в одну тучу», как самые настоящие чеченцы, «у которых спалили пять аулов», скажут ему навстречу, в черкесках, с газырями, с винтовками и саблями... Оказалось, что это чеченцы, которые замирились с белой властью, и на этот раз все обошлось благополучно... А могло кончиться скверно. «Но с этой мыслью я уже помирился. Стараюсь внушить себе, что это я вижу сон. Длинный и скверный». «При чем здесь я?!» — тоскует Булгаков. В редкие минуты отдыха он заваливается на брезент, закутавшись в шинель, и смотрит «в бархатный купол с алмазными брызгами»...

И все чаще мысленно он вспоминает фельдшера Голендюка, который как-то ночью скрылся в сторону станции, незаметно ушел в свой городок, где ждет его семейство. Начальство приказало Булгакову провести расследование. Сидя на ящике с медикаментами, доктор с удовольствием пришел к выводу: «фельдшер Голендюк пропал без вести».

Нет, такая жизнь не для него, и он уже хочет последовать примеру фельдшера Голендюка, но тут же отбросил свое решение: «Но куда к черту! Я интеллигент».

И все-таки в феврале решение окончательно созрело. Не мог он больше служить в белой гвардии, не мог больше мотаться по военным дорогам, не мог он больше видеть кровь, боль, страдания... «Сегодня я сообразил наконец. О, бессмертный Голендюк! Довольно глупости, безумия. В один год я перевидал столько, что хватило бы Майн Рида на десять томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом... Довольно!... /

Проклятие войнам отныне и вовеки!»

Так заканчиваются «Необыкновенные приключения доктора». Историки подтверждают достоверность описанных здесь событий, а биографы, широко цитируя их, убедительно показывают, что настрояния доктора Н и доктора Булгакова в основном совпадают.

С обозом из двадцати пяти подвод, по сведениям Д. Гиреева, Булгаков прибыл во Владикавказ, сдал раненых в госпиталь и пошел разыскивать кузину Татьяны Николаевны, которая, по ее

словам, должна проживать во Владикавказе по Петровскому переулку, 8.

Так Михаил Афанасьевич познакомился с супружеской четой Пейзулаевых, а через них — с Юрием Львовичем Слезкиным, Леонидом Андреевичем Федосеевым, редактором «Кавказской газеты», Николаем Николаевичем Покровским, писателем и журналистом «Русского слова», женой Слезкина актрисой Жданович, врачом Магометом Магометовичем Далгатом, юристом по профессии и поэтом в душе Борисом Ричардовичем Беме... Вскоре, используя новые знакомства, он подал рапорт о том, что по состоянию здоровья не может продолжать службу в полку. А более опытный в делах Константин Петрович Булгаков, пользуясь родственными связями, которые обнаружились в сферах командования, доставил Михаилу Афанасьевичу предписание, в котором говорилось, что доктора Булгакова надлежит перевести в войсковой резерв и можно использовать в отделе военной информации в новой газете «Кавказ».

Это «чудо» свершилось благодаря усилиям нового редактора газеты Николая Николаевича Покровского. И уже 15 февраля 1920 года Михаил Афанасьевич вместе с сотрудниками рассматривал первый номер газеты «Кавказ». В качестве возможного автора в газете назван и Булгаков. Только не суждено было этой газете продлить свое существование: вскоре белые оставили Владикавказ, а Булгакова свалил возвратный тиф.

Через месяц горькие дни миновали, и Михаил Булгаков начал выходить на улицу. Пришла весна, а вместе с ней во Владикавказе обновлялась жизнь: советская власть по-новому переделывала общественное устройство, призывая к сотрудничеству учителей, инженеров, адвокатов, всех грамотных людей вообще...

Вскоре Михаил Булгаков был назначен заведующим литературной секцией подотдела искусств наробраза. Заведовал подотделом искусств уже известный нам Юрий Слезкин, автор нескольких романов и повестей. В «Записках на манжетах», набросанных, скорее всего, по горячим следам событий, Булгаков с юмором рассказывает о первых шагах в качестве заведующего: «Солнце!» За колесами пролеток пыльные облака.. В гулком здании входят, выходят... В комнате, на четвертом этаже, два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами то на машинке громко стучат, то курят.

Сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него. И денег требуют.

После возвратного — мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь...»

Юрий Слезкин стал заведовать подотделом искусств Терского наробраза с 27 марта 1920 года. А 9 апреля местная газета «Коммунист» дала объявление: «Подотдел искусств организует ряд лекций по теории и истории литературы, а также лекций, посвященных произведениям отдельных русских и иностранных писателей, приглашает лекторов, каковых просит явиться в подотдел искусств... не позднее 14 апреля...» Подписано объявление заведующим литературной секцией М. Булгаковым и секретарем К. Туаевым.

Владикавказ — город с добрыми литературными и театральными традициями. И не все успели уехать, опасаясь красных. А некоторые просто ждали их прихода. Так что ожили два городских театра, опера, цирк, по-новому стали работать клубы, устраивая концерты, спектакли самодеятельных коллективов.

4 мая «Коммунист» дал информацию о первом майском митинге-концерте: «Как всегда, Юрий Слезкин талантливо читал свои политические сказочки; как всегда, поэт Шуклин прочел свою «Революцию». В общем, все артисты, все зрители и ораторы были вполне довольны друг другом, не исключая и писателя Булгакова, который тоже был доволен удачно сказанным вступительным словом, где ему удалось избежать щекотливых разговоров о «политике». Подотдел искусств определенно начинает подтягиваться».

В эти первые дни советской власти во Владикавказе Булгаков брался за любую работу, какую только предоставлял «господин случай». Делился всем, что умел и что знал, горячо, активно, со всем жаром своей души он отдавался новому для него делу. Ничуть не приспособляясь ко вкусам тех, кто только приступал к освоению великой культуры прошлого, он говорил всегда то, что думал, что накопилось за годы самостоятельного чтения, за годы увлечений литературой и искусством. И все было бы хорошо, если б эта новая аудитория спокойно внимала умным речам и мыслям. Но жаждущая культуры молодежь, подстрекаемая «вождями» местного футуризма и вульгарного социологизма, воинствующе диктовала свои мнения и суждения. Конфликт между Булгаковым и новым читателем и зрителем назревал...

В «Записках на манжетах» Булгаков вспоминает о том, как разгорелся спор вокруг наследия Пушкина, как самому ему пришлось выступить против тех, кто пренебрежительно отмахивался от всего, что было достигнуто человечеством за многовековую творческую деятельность.

В «Коммунисте» подробно информировали о ходе этой дискуссии.

Но началось все гораздо раньше. 4 июня 1920 года газета «Коммунист» поместила следующую информацию: «Второй исторический *подотдел* искусств был посвящен произведениям Баха, Гайдна, Моцарта; «писатель» Булгаков прочел по тетрадочке вступительное слово, которое представляло переложение книг по истории музыки и по существу являлось довольно легковесным. Более сносно пели местные артисты... Недурно вышел и квартет подотдела искусств, исполнивший в заключение сонату Моцарта...»

6 июня в той же газете был напечатан «Ответ почтенному рецензенту»: «В № 47 вашей газеты «рецензент» М. Вокс в рецензии о 2-м историческом концерте поместил следующий перл: «недурно вышел и квартет подотдела Искусств, исполнивший в заключение сонату Моцарта». Ввиду того, что всякий квартет (подотдела ли Искусств или иной какой-нибудь) может исполнить только квартет (в смысле камерного музыкального произведения) и ничто другое, фраза М. Вокса о квартете, сыгравшем сонату, изобличает почтенного музыкального рецензента в абсолютной безграмотности. Смелость у М. Вокса имеется, но поощрять Воксову смелость не следует».

Естественно, эта отповедь М. Булгакова ничуть не образумила «музыкального рецензента», и он продолжал выступать на страницах «Коммуниста», в частности, заявляя в очередной филиппике: «... мы против лирической слякоти Чайковского».

Редактировал газету Георгий Андреевич Астахов, он же был, скорее всего, и идейным вождем цеха пролетарских поэтов. От имени пролетарских поэтов Астахов выступал с докладами о Гоголе и Достоевском, яростно отрицая творчество великих художников России и предлагая начисто изгнать эти имена из своей памяти.

И доклад о Пушкине подготовил все тот же Астахов. Наконец, 29 июня в Доме артиста, или Летнем театре, в девять часов вечера состоялся литературный диспут на тему: «Пушкин и его творчество с революционной точки зрения». Среди оппонентов афиши называли Булгакова, Беме и других, приглашали участвовать в диспуте всех желающих.

Диспут длился несколько вечеров. В «Записках на манжетах» Булгаков подробно описывает и предысторию диспута и ход его самого. Сейчас почти невозможно восстановить все нюансы диспута, хотя по материалам тех лет отчетливо можно понять и представить тезисы противоборствующих сторон. Если Астахов говорил: «И мы со спокойным сердцем бросаем в революционный огонь его полное собрание сочинений, уповая на то, что если там есть крупинки золота, то они не сгорят в общем костре с хламом, а останутся», то Булгаков, естественно, говорил о великом значении Пушки-

на для развития русского общества, о революционности его духа, о связях его с декабристами, о новаторстве его как стихотворца и как великого гуманиста. «В истории каждой нации есть эпохи, когда в глубине народных масс происходят духовные изменения, определяющие движения на целые столетия. И в этих сложных процессах качественного обновления нации немалая роль принадлежит искусству и литературе. Они становятся духовным катализатором, они помогают взреть новому знанию миллионов людей и поднимают их на свершение великих подвигов. Так было в разные эпохи истории Италии, Франции, Германии. Мы помним, какую блистательную роль сыграло творчество великих художников слова — Данте, Шекспира, Мольера, Виктора Гюго, Байрона, Гете, Гейне... Мы помним, что с «Марсельзой» поэта Руже де Лилиа народ Франции вершил свои революционные подвиги, а в дни Парижской коммуны Эжени Потье создал «Интернационал»... Великие поэты и писатели потому и становятся бессмертными, что в их произведениях заложен мир идей, обновляющих духовную жизнь народа. Таким революционером духа русского народа был Пушкин...» Так говорил Булгаков на диспуте о Пушкине.

Но, однако, в заключительном слове докладчик Астахов пообещал этот спор продолжить, а пока он призвал кинуть «в очистительный костер народного гнева всех так называемых корифеев литературы. После этого костра вся их божественность, гениальность, солнечность должна исчезнуть, как дурман, навеянный столетиями».

Через несколько дней после диспута, 10 июля, в «Коммунисте» была опубликована статья М. Скромного «Покушение с негодными средствами», в которой резко осуждалась позиция Булгакова и Беме, осмелившихся выступить в защиту Пушкина.

«Русская буржуазия, не сумев убедить рабочих языком оружия, вынуждена попытаться завоевать их оружием слова, — писал М. Скромный; под этим псевдонимом легко угадывается сам редактор газеты Астахов. — Объективно такой попыткой использовать «легальные возможности» являются выступления г.г. Булгакова и Беме на диспуте о Пушкине. Казалось бы, что общего с революцией у покойного поэта и этих господ. Однако именно они и именно Пушкина как революционера и взялись защищать. Эти выступления, не прибавляя ничего к лаврам поэта, открывают только классовую природу защитников его революционности... Они вскрывают контрреволюционность этих защитников «революционности» Пушкина... А потому наш совет г.г. оппонентам при следующих выступлениях, для своих прогулок, подальше — от революции — выбрать закоулок».

Тут уж, как говорится, комментарии излишни.

Так Михаил Афанасьевич Булгаков попал под обстрел «критиков».

Вскоре, правда, Астахов, по словам Д. Гиреева, был освобожден от обязанности редактора решением Владикавказского ревкома «за допущенные ошибки», но Булгакову от этого не стало легче: его начали травить как заведующего театральной секцией подотдела искусств. Недостатков в работе, конечно, было много, их невозможно было устранить за два-три месяца, нужны были долгие годы по созданию национального театра Осетии. А горячие головы, подобные Астахову, требовали пролетарского искусства уже сейчас, сию минуту. Подотдел искусств был подвергнут критике, созданная комиссия по проверке деятельности подотдела предложила реорганизовать его работу, изгнать из числа его сотрудников Слезкина и Булгакова как не проявивших достаточной пролетарской твердости, как «бывших», как «буржуазный элемент».

Три недели после этого Булгаков болел. Снова помогли супруги Пейзулаевы — не дали пропасть. Исхлопотали ордер на комнату. А вскоре приехала измученная жена Татьяна Николаевна. «Через день переехали на Слепцовскую улицу. Из двух старых козел и досок смастерили широкую лежанку, фанерный ящик из-под папирос превратился в письменный стол. Пейзулаевы дали табуретки, старое кресло, матрац, кастрюли и посуду... Можно справлять новоселье...» — так описывает переезд в новую квартиру Д. Гиреев.

И Булгаков снова начинает свою просветительскую деятельность: выступает с лекциями, участвует в диспутах на различные темы, такие, как «любовь и смерть», участвует в вечерах, посвященных Пушкину, Гоголю, Чехову...

В «Записках на манжетах» Булгаков рассказывает об этих вечерах, о том, как они проходили, и о том, как их запретили: «...Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в позе летел с записной книжкой в редакцию... Так я и знал! На столбе газета, а в ней на четвертой полосе: «ОПЯТЬ ПУШКИН».

... Кончено. Все кончено! Вечера запретили...

Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу, что же мы будем есть? Что есть-то мы будем?!»

Во Владикавказе Михаил Булгаков начал писать для театра: в июне он представил одноактную комедию «Самооборона», в которой обыватель Иванов попадал в комические положения по своей

собственной «вине» — у страха глаза велики, а город подвергался порой нападению бандитов: во множестве породила их гражданская война, вот «самооборонцы» и пытались защитить самих себя от их нападений и грабежа.

Комедия была поставлена в театре, имела успех. И Булгаков решил написать серьезную, четырехактную драму о революционной весне 1905 года. Пьеса «Братья Турбины» не сохранилась. И лишь по рецензии все того же М. Вокса можно догадаться, что братья Турбины оказались в сложном драматическом положении, когда необходимо сделать выбор своего жизненного пути. «Пробил час» — так значилось в подзаголовке драмы.

В архиве Юрия Слезкина Д. Гиреев нашел афишу Первого советского театра: «Открытие зимнего драмат. сезона. Состав труппы (по алфавиту). Режиссеры: Аксенов, Августов, Дивов, Польша, Башкина, Боровская... Открытие спектаклей 16 октября 1920 года. 16-го. Суббота. Гоголь. Ревизор... 21. Четверг. Булгаков. Братья Турбины (пробил час). Постановка Августова...»

Прошло три года, как Д. Гиреев поделился со своими читателями радостью этой находки. Но вот через три года после публикации его книги «Михаил Булгаков на берегах Терека» Л. Яновская подробно, с «художественными деталями» описывает в книге «Творческий путь Михаила Булгакова» свои поиски театральных афиш, в которых упоминается Булгаков. А между тем фотографии двух афиш Д. Гиреев уже опубликовал в своей книге и указал адрес, где искать эти афиши — в архиве Юрия Слезкина.

Когда ж мы начнем учитывать опыт своих предшественников и ссылаться на результаты их труда?

Первые театральные успехи окрылили Булгакова, и он с изсрочным напряжением, в ночные часы, создает еще две пьесы — «Глиняные женихи» и «Парижские коммунары», текст которых тоже не сохранился. Днем он ведет занятия в драматической студии, вечером выступает с лекциями или принимает участие в диспутах. Но осенью главным образом он живет театральной жизнью, пишет пьесы, репетирует, а в драматической студии рассказывает о великих пьесах мирового репертуара и о том, как можно поставить их в театре. Театр — его любовь, его душа, здесь он находит отраду и приложение своим творческим силам.

В начале февраля 1921 года он написал письмо двоюродному брату Косте Булгакову, в котором живо и темпераментно рассказывает о своей жизни за тот год, что они не виделись: «...Помню, около года назад я писал тебе, что начал печататься в газетах. Фельетоны мои шли во многих кавказских газетах. Это лето я все

время выступал с эстрады с рассказами и лекциями. Потом на сцене пошли мои пьесы...» Михаил Афанасьевич, чувствуется, вполне доволен успехом, который выпал на долю его «Турбиных», даже послал в Москву, но побаивается, что вещь забракуют, сделана она, конечно, торопливо. Понял он и другое, что писать он может, что он опоздал с этим на четыре года: «В театре орали «Автора» и хлопали, хлопали... Когда меня вызвали после 2-го акта, я выходил со смутным чувством... Смутно глядел на загримированные лица актеров, на гремевший зал. И думал: «А ведь это моя мечта исполнилась... но как уродливо: вместо московской сцены сцена провинциальная, вместо драмы об Алеше Турбине, которую я лелеял, наспех сделанная, незрелая вещь...»

Он связывает свои творческие надежды с Москвой, но отзывы оттуда или совсем не приходят, или приходят такие, которые его огорчают и раздражают: в частности, о пьесе «Самооборона» отзывались как о «вредной», «срундовой».

«Ночью иногда перечитываю свои раньше напечатанные рассказы (в газетах! в газетах!) и думаю: где же сборник? Где имя? Где утраченные годы?

Я упорно работаю.

Пишу роман, единственная за все это время продуманная вещь. Но печаль опять: ведь это индивидуальное творчество, а сейчас идет совсем другое», — признается в своих мучениях М. Булгаков.

16 февраля 1921 года в письме тому же Константину Булгакову просит новый адрес матери, чтобы написать ей, чтобы она сохранила важные для него рукописи: «Записки земского врача», «Недуг» и «Первый цвет», над которыми он начал работать еще в Киеве: «Все эти три вещи для меня очень важны... Сейчас пишу роман по канве «Недуга». Если пропали рукописи, то хоть, может быть, можно узнать, когда и кто их взял...» Но и в апреле Михаил Афанасьевич все еще ничего не знает о судьбе оставшихся в Киеве рукописей, просит сестру Надежду «сосредоточить их в своих руках».

26 апреля в письме к сестре Вере Булгаков доверительно сообщает, «как иногда мучительно» ему «приходится» в его творческой работе: «...Я жалею, что не могу послать Вам мои пьесы. Во-первых, громоздко, во-вторых, они не напечатаны, а идут в машинописных списках, а в-третьих — они чушь. Дело в том, что творчество мое разделяется резко на две части: подлинное и вымученное. Лучшей моей пьесой подлинного жанра я считаю 3-актную комедию-Буфф салонного типа «Вероломный папаша» («Глиняные же-

нихи»). И как раз она не идет, да и не пойдет, несмотря на то, что комиссия, слушавшая ее, хохотала в продолжение всех трех актов... Салонная! салонная! Понимаешь. Эх, хотя бы увидиться нам когда-нибудь всем. Я прочел бы Вам что-нибудь смешное. Мечтаю пови-
дать всех своих. Помните, как мы иногда хохотали в № 13?

В этом письме посылаю тебе мой последний фельстон «Неделя просвещения», вещь совершенно ерундовую... Хотелось бы по-
слать что-нибудь иное, но не выходит никак... Кроме того, посы-
лаю три обрывочка из рассказа с подзаголовком «Дань восхище-
ния». Хотя они и обрывочки, но мне почему-то кажется, что они
будут не безынтересны Вам... А «Неделя» — образчик того, чем
приходится мне пробавляться». (См.: Михаил Булгаков. Письма.
М.: Современник, 1989.)

Жизнь во Владикавказе была голодной, неустроенной, прихо-
дилось бороться за каждый «кусочек» хлеба. Илья Эренбург вспоми-
нал Владикавказ осенью 1920 года: «... все было загажено, полома-
но; стекол в окнах не было, и нас обдувал холодный ветер. Город
напоминал фронт. Обыватели шли на службу озабоченные, насто-
роженные; они не понимали, что гражданская война идет к концу,
и по привычке гадали, кто завтра ворвется в город» (И. Эренбург.
Люди, годы, жизнь. М., 1961). А в 1921 году здесь побывал А. Сера-
фимович и нарисовал картину еще безотраднее: «На станции под
Владикавказом валяются на платформе, по путям сыпные впере-
межку с умирающими от голода. У кассы — длинный хвост, и все,
кто в череду, шагают через труп сыпного, который уже много часов
лежит на грязном полу вокзала...»

Вот на этом фоне и развивалась творческая жизнь Михаила
Булгакова.

По-прежнему газета «Коммунист» внимательно следит за каж-
дым шагом Булгакова, особенно «рецензент» М. Вокс. 23 марта
1921 года он писал о постановке «Парижских коммунаров»:
«Автор — новичок в драматургии. Мы не будем строго критико-
вать и указывать на неудачную архитектонику (стросние) пьесы...
Действие развивается бессвязно, скачками, которые художествен-
но не оправданы... Наши важнейшие критические замечания по су-
ществу содержания пьесы были высказаны на дискуссии с автором
после читки. Они сохраняют силу и теперь.

Но кое-что в пьесе, особенно первые сценки последнего акта, —
удачны, театральны и художественны. В постановке видна немалая
работа, но массовая сцена в основе неверна... Впечатление от I акта
осталось, как от немой, мертвой сцены, несмотря на реплики,
крики, оркестр и речи.

В исполнении отметим игру артистки Лариной в роли Анатоля. Великолепное травести!.. В ней мелькнула удалая, заядлая театральная жилка. Не пройдешь и мимо игры артистки Никольской в роли Целестины».

Так пьесой М. Булгакова Владикавказ отметил 50-летие Парижской коммуны. 8 мая все тот же «Коммунист» сообщил, что эта пьеса рассмотрена Масткомдрамой (Мастерская коммунистической драмы) Главполитпросвета и рекомендована к постановке в Москве.

И еще одно весьма важное свидетельство о деятельности Булгакова можно найти в газете «Коммунист»: 13 апреля 1921 года была опубликована его рецензия на постановку в театре трагедии А.К. Толстого «Смерть Иоанна Грозного». Булгаков дает оценку не только постановке, не только игре актеров, но, что очень важно, дает и общую характеристику пьесы, ее идейно-художественной направленности: «Она — первое звено в драматической трилогии. Это трагедия необузданного повелителя и жалкого раба страстей, истребившего дотла все, что стояло на пути к осуществлению большой фантазии, ставшего совершенно одиноким и падающего в конце концов под тяжкими ударами, подготовленными своею собственной рукой.

Колоссальная центральная фигура Иоанна, в которой уживались рядом и истинный зверь, и полный фальши отталкивающий комедiant...»

Слабо сыграл роль Бориса Годунова артист Дивов. «Ансамбль в общем безнадежно слаб. Совершенно безжизненны фигуры, окружающие Иоанна. Некоторые сцены трагедии пропадают. О внешней стороне спектакля говорить не приходится. Обстановка убогая», — писал Булгаков в заключение. Но главное в рецензии — высокая оценка актерского мастерства исполнителя роли Грозного С.П. Аксенова, актера и режиссера, его большого драматического таланта, проявившегося в целом ряде сцен и эпизодов постановки.

А 18 мая в «Коммунисте» была напечатана статья М. Булгакова, посвященная 35-летию творческой деятельности С.П. Аксенова, в которой отмечены и другие высокие актерские и режиссерские удаchi талантливого художника.

Но этими «мелочами» на хлеб не заработаешь. А только этим и был озабочен Михаил Булгаков в эти тяжкие и голодные месяцы его жизни во Владикавказе. Деньги, полученные за «Парижских коммунаров», быстро утекали. Нужна новая пьеса, еще более актуальная, чем «Коммунары». Но мыслей не было. Конечно, над «подлинным», над романом он продолжал работать, но это индивиду-

альное творчество, «а сейчас идет совсем другое», — вспомним, что он писал Константину Булгакову совсем недавно.

И вот как-то зашел к Михаилу Булгакову его давний знакомый Пейзулаев, «помощник присяжного повсрренного, из туземцев», вспоминал Михаил Афанасьевич в «Записках на манжетах», и научил его, что делать: «Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:

— У меня тоже нет денег. Выход один — пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее...

Я тупо посмотрел на него и ответил:

— Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их быта. И вообще я ничего не могу писать...

Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя в нетопленной комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее... Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить...»

Из «Записок на манжетах» читатели узнают подробности о том, как эта пьеса была написана, какой фурор она произвела в местном обществе: пьесу немедленно купили за 200 тысяч, а через две недели она уже была поставлена Первым советским театром и с успехом шла в майские дни 1921 года.

Шумный успех спектакля «Сыновья муллы» легко объясним: то, что возникало перед глазами зрителей на сцене, совсем еще недавно происходило в жизни, бурной и противоречивой. Соавторы точно уловили главный конфликт минувшей жизни и показали, как начинался и протекал «разлом» в семье, как жизнь разводила сыновей муллы по разным лагерям, противостоящим между собой: Идрис, студент, революционер, а Магомет — белогвардейский офицер. Пламенные речи Идриса о положении бедноты, о бесправии женщин, о «непроеходимой темноте и невежестве» неотразимо действовали на зрителей, которые порой сами готовы были броситься на сцену и помочь подпольщикам расправиться со злыми начальниками и стражниками. И, конечно, свершилась революция, а старый мулла Хассбот и его сын Магомет прозрели и осудили свои заблуждения.

«Написанное нельзя уничтожить». И эта пьеса сохранилась как свидетельство одной из вех в творческой биографии Михаила Афанасьевича Булгакова, сурово осудившего свою пьесу.

О «Неделе просвещения» М. Булгаков, помните, тоже отозвался как о «вещи совершенно ерундовой», как «образчике того, чем приходится» ему пробавляться. И не буду спорить с автором в оценке этого сочинения, посвященного злобе дня. Скажу лишь, что и этот рассказ интересен не только как факт писательской судьбы Михаила Афанасьевича, но и как штрих действительности того времени.

В «простодушном» рассказе красноармейца Сидорова поведано о том, как он пришел к замечательной мысли, что плохо быть неграмотным, что необходимо пойти учиться. Но это простенькое решение возникло у него после тяжелых испытаний, выпавших на его долю.

Автор с юмором рассказывает о том, как красноармеец Сидоров против своего желания ходил то в оперу, слушал «Травиату», то на концерт — «там вам товарищ Блох со своим оркестром вторую рапсодию играть будет». Сидоров в ужасе. Но, оказывается, всю неделю просвещения ему предстоит мучиться и страдать — военком пошлет его в драму, потом снова в оперу: «Довольно по циркам шляться», настала неделя просвещения. А почему ж только Пантелеева и Сидорова посылают в драму, в оперу, на концерт? Неужели всю роту будут гонять по театрам? «Осатанел» наш герой от такой перспективы. Ан нет! Грамотных не будут гонять по театрам: «грамотный и без второй рапсодии хорош! Это только вас, чертей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!» — так говорит военком.

Ушел Сидоров от военкома и задумался: плохо быть неграмотным. Думал, думал Сидоров и надумал: поступил в школу грамоты. Похвалил его военком, записал в школу. И теперь Сидоров доволен: «И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!»

Конечно, Булгаков не совсем прав, называя свой рассказ «вещью совершенно ерундовой», рассказ читается, но уж очень примитивна цель, сама идея этого рассказа, агитационно-плакатно и стилистическое решение этой темы. Но таких агитационно-пропагандистских сочинений было много в первые годы советской власти: нужно было вот таким способом внушать необходимость учиться и учиться.

Да и в этом рассказе пробивается одна из главных мыслей Булгакова: человек должен быть свободен в своем выборе, но уже начала действовать командно-принудительная система, которая опутывала человека, превращая его в послушный винтик. Пусть здесь цель прекрасна, но сам способ достижения цели чудовищен. Возможно, Булгаков не думал об этом, когда писал этот явно «выму-

чинный» рассказ (помните слова Михаила Афанасьевича о том, что ему придется заниматься «подлинным» и «вымученным?»), но объективно смысл рассказа именно в этом — и после революции человек не свободен в своем выборе. И эта мысль пройдет через все его творчество, воплотится и в «Дьяволяде», и в «Собачем сердце», и в «Роковых яйцах», а главное — в романе «Мастер и Маргарита».

Владикавказ, по всему чувствовалось, исчерпал себя: Булгаков давно подумывал оставить его. Но куда ехать? В Киев? В Москву? В Константинополь?..

Эти вопросы вставали перед ним, но он никак не мог решить. Семья разбросана по разным городам страны, сестры разбежались из Киева, живут в Москве, Петрограде, два брата, Николай и Иван, покинули Россию с денikinцами... Ехать к матери? Вот таким неустрашенным, без денег, без определенной профессии, без будущего?

В конце мая 1921 года Михаил Булгаков спешно выехал в Тифлис. Татьяна Николаевна пока осталась во Владикавказе. Он еще не теряет надежды на успех своих «Парижских коммунаров» в Москве: «Если «Парижских» примут без переделок, пусть ставят. Обращивать в «Маске» пьесы не разрешаю, поэтому возьми се обратно, если не подойдет», просит внести редакционные поправки в текст пьесы, но в любом случае он твердо убежден, что «все пьесы, «Зеленый змий», «Недуг» и т.д.» — «все это хлам». «И конечно, в первую голову аутодафе «Парижским», если они не пойдут», — писал он в письме Надежде Афанасьевне.

Перед отъездом в Тифлис он еще не знал, куда поедет Татьяна Николаевна, в Москву или с ним, в Тифлис, а затем в Батум, поэтому просит Надежду не отказывать «в родственном приеме и совете на первое время по устройству ее дел». Но 2 июня 1921 года в письме из Тифлиса сообщает, что вызывает Тасю к себе и с ней поедет в Батум, «как только она приедет и как только будет возможность». «Турбинных» переделываю в большую драму. Поэтому их в печку. «Парижских» (с переименованием Анатоля в Жака), если взяли уже для постановки — прекрасно, пусть идет как торжественный спектакль к празднеству какому-нибудь. Как пьеса она никуда. Не взяли — еще лучше. В печку, конечно.

Они как можно скорей должны отслужить свой срок...

Но на переделки не очень согласен. Впрочем, на небольшие разве. Это на усмотрение Нади. Черт с ним.

Целую всех. Не удивляйтесь моим скитаниям, ничего не сделаешь. Никак нельзя иначе. Ну, и судьба! Ну, и судьба!»

Этими горькими словами заканчивает Михаил Булгаков письмо от 2 июня 1921 года. Здесь же он высказывает предположение, что может оказаться и в Крыму. И только 17 сентября он уже из Москвы сообщает матери некоторые подробности своей «каторжно-рабочей жизни», пишет о том, что «идет бешеная борьба за существование и приспособление к новым условиям жизни». А что же он делал эти месяцы между 2 июня и 17 сентября 1921 года? Чем объяснить поспешный отъезд в Тифлис, а потом в Батум...

Очевидно, такая голодная и беспокойная жизнь, полная тревог и неожиданностей, не устраивала Булгакова, и он не раз задумывался, повторяю, о том, что делать дальше. Он всей душой отдался новому для него делу — строительству новой культуры, читал лекции, писал рассказы, фельетоны, статьи, писал пьесы, но в учреждениях он все время чувствовал на себе косые взгляды, и не раз до него доносилось — из «бывших», то есть «чужой». А приспособливаться Булгаков не мог, не тот характер. И перед ним возникало решение — уехать за границу. Но оставались мать и сестры, а он старший в семье... Да и Тася, Татьяна Николаевна, возражала, колебалась, выдвигая свои резоны против такого решения своей судьбы. И этот вопрос стоял перед ним открытым. Родным он писал: «Весной я должен ехать или в Москву (может быть, очень скоро), или на Черное море, или еще куда-нибудь...» Через два месяца, в апреле, он тоже еще ни на что не решился, но продолжает думать об отъезде как о возможном выходе из создавшегося тяжелого положения: «На случай, если я уеду далеко надолго... Если я уеду и не увидимся; — на память обо мне». Эти слова он пишет сестре Надежде и просит ее собрать в своих руках остающиеся после него рукописи и сжечь их.

Д. Гиреев цитирует весьма любопытное письмо давнего знакомого Булгакова — Николая Николаевича Покровского, редактора газеты «Кавказ», просуществовавшей недолго. Покровский жил в Тифлисе и предлагал Булгакову в спешном порядке приехать к нему: «В ближайшее время собираюсь в дорогу. Если еще не раздумали, приезжайте как можно скорее. Рад буду иметь такого спутника, как вы... Думаю, что в ближайшем будущем встретитесь с вашими братьями».

Как только Булгаков получил деньги за пьесу «Сыновья муллы», он решил отправиться в Тифлис. Но Покровского он уже не застал: тот уехал в Батум.

Только через три недели Татьяна Николаевна получила пропуск и приехала в Тифлис. Из Тифлиса Булгаковы поехали в Батум,

но и там Покровского уже не было — он писал в записке, оставленной у хозяйки, что его можно найти в Стамбуле, в редакции русской газеты.

Больше двух месяцев прожили Булгаковы в Батуме. Видел он, как возвращаются казаки из Турции в Россию. Видел и тех, кто уезжал из России. И тяжело думал о собственной судьбе. В раздумьях проходили дни, недели...

Много лет спустя Татьяна Николаевна вспомнила некоторые подробности жизни в Батуме: «...Ничего не выходило... Мы продали обручальные кольца — сначала он свое, потом я. Кольца были необычные, очень хорошие, он заказывал их в свое время в Киеве у Маршака — это была лучшая ювелирная лавка... Когда приехали в Батум, я осталась сидеть на вокзале, а он пошел искать комнату. Познакомился с какой-то гречанкой, она указала ему комнату. Мы пришли, я тут же купила букет магнолий — я впервые их видела — и поставила в комнату. Легли спать — и я проснулась от безумной головной боли... Мы жили там месяца два, он пытался писать для газет, но у него ничего не брали. О судьбе своих младших братьев он тогда еще ничего не знал. Помню, как он сидел, писал... По-моему, «Записки на манжетах» он стал писать именно в Батуме. Когда он обычно работал? В земстве писал ночами... в Киеве писал вечерами, после приема. Во Владикавказе после возвратного тифа сказал: «С медициной покончено». Там ему удавалось писать днем, а в Москве уже стал все время писать ночами. Очень много теплоходов шло в Константинополь. «Знаешь, может, мне удастся уехать...» Вел с кем-то переговоры, хотел, чтобы его спрятали в трюме, что ли.

...Потом Михаил сказал, чтоб яехала в Москву и ждала от него известий. «Где бы я ни оказался, я тебя вызову, как всегда вызывал». Но я была уверена, что мы расстанемся навсегда, плакала. Яехала в Москву по командировке театра — как актриса за своим гардеробом. Но по железной дороге было уехать нельзя, только морем. Мы продали кожаный баул, мне отец его купил в Берлине, на эти деньги яехала. Михаил посадил меня на пароход, который шел в Одессу. Была остановка в Феодосии, я пошла искать по адресу сестру Михаила, но ее там уже не было. В Одессе около вокзала была гостиница, бывший монастырь. Я продала свои платья на базаре, никак не могла сесть на поезд, день за днем. Потом один молодой человек сказал: «Я вас посажу!» Поднял меня и просунул в окно. А вещи мои — круглая картонка и тючок с бельем — остались у него. Яехала в Киев, пришла к матери Михаила. Там наши вещи тоже пропали, Варвара Михайловна сказала: «Ничего нет, я могу дать тебе только подушку...»

24 августа 1921 года Надежда Афанасьевна писала своему мужу из Киева в Москву: «Новость. Приехала из Батума Тася (Мишина жена), едет в Москву. Положение ее скверное: Миша снялся с места и помчался в пространство неизвестно куда, сам хорошенько не представляя, что будет дальше. Пока он сидит в Батуме, а ее послал в Киев и Москву на разведку — за вещами и для пробы почвы, можно ли там жить».

Конечно, и в Батуме М. Булгаков работал, работал над «подлинным», над «большим романом по канве «Недуга». И после долгих и мучительных, как представляется, раздумий он решил остаться в России.

В сентябре он был уже в Киеве, у матери, спал на диване и пил чай с французскими булками. Как о самом приятном вспоминает он о днях, проведенных у матери: «Дорого бы дал, чтоб хоть на два дня опять так лечь, напившись чаю, и ни о чем не думать. Так сильно устал», — писал Булгаков из Москвы 17 ноября 1921 года. (См.: Михаил Булгаков. Письма. Современник, 1989.)

А из Киева в Москву он уехал в конце сентября.

Булгаков давно мечтал о Москве, твердо уверенный в том, что в столице не должно быть такого бедственного для писателя положения, как в провинциях, здесь должны быть частные издательства, больше возможностей для публикации его произведений, здесь не должно быть такого положения, когда невежественные люди вкрявь и вкось толкуют творческий замысел.

Однако и Москва встретила его холодно.

5

В «Письмах» Михаила Булгакова, на которые я уже не раз ссылался, в письмах родным и близким он подробно и со всей возможной откровенностью рассказывает о первых месяцах своего житья-бытья в Москве. Кое-как нашли пристанище, кое-что он уже зарабатывает, не отказывается ни от какой работы, готов даже поступить в льняной трест, готов принять приглашение «на невыясненных условиях в открывающуюся промышленную газету»... В ноябре, то есть через полтора месяца после приезда в Москву, «мы с Таськой уже кой-как едим, запаслись картошкой, она починила туфли, начинаем покупать дрова и т.п., — писал Булгаков матери. — Работать приходится не просто, а с остервенением. С утра до вечера, и так каждый без перерыва день...»

Прочитайте это письмо матери от 17 ноября 1921 года, получите некоторое представление о той «бешеной борьбе за существова-

ние и приспособление к новым условиям жизни», которую пришлось на первых порах вести Михаилу Булгакову.

В Москве есть все. Открываются кафе. Театры полны. Но все уж очень дорого стоит, не по карману. Только спекулянты и нэпманы могут хорошо питаться и жить в свое удовольствие. Булгаков же мечтает об одном — пережить зиму, купить Татьяне теплую обувь. По ночам работает над «Записками земского врача», обрабатывает «Недуг», но много ли ночью сделашь...

В это же время у Булгакова возникла мысль «создать грандиозную драму в 5 актах к концу 22-го года. Уже готовы наброски и планы», сообщает он в Киев. Мысль эта увлекла его «безумно». И он просит Надю собрать в Киеве весь материал для исторической драмы, «все, что касается Николая и Распутина в период 16 и 17 годов (убийство и переворот)», «газеты, описание дворца, мемуары, а больше всего «Дневник» Пуришкевича — до зарезу!», «описания костюмов, портреты, воспоминания и т.д.». А в Москве «Дневника» не оказалось. Если сестра достанет «Дневник» на время, то просит ее описать все, что касается «убийства с граммофоном, заговора Феликса и Пуришкевича, докладов Пуришкевича Николаю», теперь же списать дословно и послать ему в письмах. Конечно, он понимает, насколько это сложно и обременительно, но сестра должна понять, как эти материалы для него важны и необходимы. Он опасается, что «при той иссушающей работе», которую он ведет, ему никогда не удастся написать ничего путного, но ему «дорога хоть мечта и работа над ней».

Но материалы из Киева не поступали, и Булгаков спрашивает сестру: «...чего ж ты не пишешь?» А потом, видимо, из-за отсутствия материалов он и вовсе охладил к этому «грандиозному» творческому замыслу. Да и столько забот возникало у него каждодневно, что сил на все просто не хватало. В том же письме Н. А. Земской 1 декабря 1921 года он подробно описывает, как ему удалось остаться в комнате Андрея Михайловича Земского. Контора дома попыталась выселить Булгакова, но он, доведенный «до белого каления», сдерживал себя, не вступал ни в какую войну, «дипломатически вынес в достаточной степени наглый и развязный тон со стороны зрителя», да и Андрей Михайлович проявил твердость и не дал выписать Булгаковых. «Пока отцепились», — констатирует Булгаков факт перемирия с «конторой нашего милого дома».

Пусть вспомнит читатель эти военные действия Булгакова с наглым и развязным зрителем дома при чтении «Собачьего сердца», пьесы «Иван Васильевич» и др. Швондер и Бунша скорее всего списаны «с натуры».

Из этого же письма мы узнаем, что Булгаков заведует хроникой «Торгово-промышленного вестника», частной газеты, в которой он проводит «целый день как в котле». «Я совершенно ошалел. А бумага!! А если мы не достанем объявлений? А хроника!!! А цена!» — все эти восклицания Булгакова как бы предвещали, что частная газета долго не протянет. И действительно газета скоро прекратила свое существование, вышло только шесть номеров.

Снова нужно искать работу. Булгаков надеется на то, что его корреспонденция «Торговый ренессанс», которую он отправил в Киев, подойдет какой-нибудь киевской газете, надеется стать «столбчатым корреспондентом по каким угодно вопросам», может писать подвальные художественные фельетоны о Москве... Пусть вышлют приглашение и аванс. Сестра должна понять его чувства, его настроение, когда он только что узнал, что вместе с «Вестником» вылетает в «трубу». «Одним словом, раздавлен, — заканчивает он письмо Надежде. — А то бы я описал тебе, как у меня в комнате в течение ночи под сочельник и в сочельник шел с потолка дождь... переутомлен я до того, что дальше некуда».

В своих корреспонденциях, фельетонах, «Записках на манжетах» Михаил Булгаков подробно рассказывает о первых месяцах жизни в Москве, о том, как поступил на службу в ЛИТО Главполитпросвета при Наркомпросе, как стал сотрудником «Торгово-промышленного вестника», как пытался организовывать объявления, чтобы поддержать коммерчески этот «вестник», о том, как остался без места, а значит, и без средств к существованию.

В воспоминаниях «Нас учила жизнь» А. Эрлих, прибывший в Москву осенью того же 1921 года, рассказывает о том, как он встретился с Булгаковым в ЛИТО и как они одновременно поступили на службу. А. Эрлих вошел в обширное помещение, где сидел старик и скушаяще поглаживал усы. А. Эрлих дал ему папиросу, разговорились. Старик, слушая Эрлиха, пригласил еще кого-то к своему столу: «Я оглянулся. Худошавый человек в легком летнем пальтишке, с предупредительно вежливой улыбкой на лице продвигался от порога огромной комнаты к далекому столу с такой же почтительной и удивленной настороженностью, с какой я сам проделывал тот же путь несколько минут назад... Новый посетитель объяснил в свою очередь, что ищет работу. Врач по образованию, но литератор по профессии, он недавно приехал из Киева и хотел бы быть полезен литературному отделу Главполитпросвета...»

Заместитель заведующего ЛИТО предложил написать заявки, а к завтрашнему дню договориться между собой, кто будет секретарем.

рем отдела, «правой рукой» старичка, а кто инструктором: у него оказалось как раз два места. Вскоре они вместе вышли на бульвар и договорились, что секретарем станет Булгаков.

Так Булгаков оказался «правой рукой» заместителя заведующего ЛИТО, а заведовал отделом А. С. Серафимович.

Чем же они занимались в ЛИТО? «С каждым днем становилось все яснее, что «ЛИТО» — учреждение случайное и нежизненное. Ни определенных функций, ни материальной базы у отдела не было... Ни одного из своих проектов литературного общения с рабочими на заводах и фабриках осуществить я не успел: государство отказывалось от многих излишеств недавнего времени, в том числе от таких, как «ЛИТО». Мы выбыли в разряд безработных вместе с нашим начальником-мечтателем в серой папаше. Взамен последней зарплаты и выходного пособия каждому из нас предложили по ящику спичек» (Нас учила жизнь. М., 1960. С. 11—26).

С юмором расскажет Булгаков об этом периоде жизни в «Записках на манжетах». А пока в поисках работы Булгаков «вошел в бродячий коллектив актеров», «плата 125 за спектакль, убийственно мало, — признается он в дневнике. — Обегал всю Москву — нет места». Но в письмах сестрам Наде и Вере 24 марта 1922 года он сообщает, что «очень много» работает, служит в большой газете «Рабочий» и заведует издательской частью в научно-техническом комитете у Бориса Михайловича Земского, что «устроился только недавно». 18 апреля 1922 года в письме к Н. Земской он называет еще одну свою службу: «временно конфрансье в маленьком театре», «Я веду такой образ жизни, что не имею буквально минуты».

В это время произошло событие, которое существенно отразилось на жизни Михаила Булгакова: 26 марта 1922 года в Берлине вышел первый номер газеты «Накануне» под редакцией Ю. В. Ключникова и Г. Л. Кирдецова, при ближайшем участии С. С. Лукьянова, Б. В. Дюшен и Ю. Н. Потехина. В передовой статье, так и озаглавленной — «Накануне» — Булгаков нашел мысли, которые и у него не раз возникали: «Все ценное, что мир веками накопил в непрестанном творчестве, должно быть бережно и с любовью вручено грядущим поколениям...» Вскоре Булгаков узнал, что во главе литературного приложения «Накануне» стал Алексей Николаевич Толстой, а в Москве создается московская редакция газеты, расположившаяся в знаменитом девятиэтажном доме в Большом Гнездиновском, названном по имени его строителя и владельца — дом Нирензее. Газета выходила в Берлине, но продавалась во всех крупных городах России; московская редакция должна была по-

ставлять материалы о Москве, Петрограде, Киеве, вообще о новой жизни, о переменах и событиях, которые происходили в Стране Советов... Новая экономическая политика давала обширный и разнообразный материал для остро мыслящего и зорко видящего репортера, журналиста, писателя. И Булгаков не замедлил воспользоваться еще одной возможностью публиковать свои произведения: их уже накопилось предостаточно, он ни на минуту, как говорится, не прекращал свои занятия писательством, как бы трудно ни приходилось.

Да и литературная жизнь в России постепенно возрождалась, возникали частные издательства, журналы, выходили книги, сборники, все активнее формировали новые взгляды государственные учреждения... Возникали споры, дискуссии, бурные столкновения по самым коренным, животрепещущим вопросам культурной, идеологической жизни новой России.

Булгакову уже не раз приходилось сталкиваться с молодым напором новых хозяев жизни. 14 февраля 1922 года он присутствовал на суде над «Записками врача» В. Вересаева, видел, как черные толпы студентов ломались во все двери здания бывших женских курсов на Девичьем поле. Пусть этот суд несколько отличался от того, что состоялся во Владикавказе над Пушкиным, но тенденция осуждать все «старое», якобы отжившее свой век, проявилась и на этом вечере.

Булгаков в эти месяцы 1922 года писал не только газетные фельетоны и корреспонденции. В журнале «Рупор» опубликованы два рассказа — «Необыкновенные приключения доктора» во втором номере и «Спиритический сеанс» в четвертом.

О «Приключениях» уже не раз говорилось здесь, а вот «Спиритический сеанс» заслуживает особого внимания.

Булгаков еще во Владикавказе заметил, что возникают повсюду конфликты и противоречия между «бывшими» и «настоящими» хозяевами жизни. А в Москве этот конфликт обозначается наиболее остро.

И на первых же страницах «Спиритического сеанса» этот конфликт сразу же четко обозначен: «дура Ксюшка», докладывая хозяйке, «тыкает» ей и говорит всякие глупости: «— Там к тебе мужик пришел», причем эти нелепые слова слышат и сам «мужик», Ксаверий Антонович Лисиневич, конечно, из «бывших», и сама мадам Лузина, «вспыхнувшая» при виде гостя, и ее муж, Павел Петрович, тут же вышедший в переднюю, чтобы немедленно начать «вольтынку»: «...»мужик»... хе-хе! Ди-ка-ри! Форменные дикари. Я вот думаю: свобода там... коммунизм. Помилуйте! Как можно мечтать

о коммунизме, когда кругом такие Ксюшки... Спору нет: Ленин — человек гениальный, но... да, вот не угодно ли пайковую... хе-хе! Сегодня получил... Но коммунизм это такая вещь, что она, так сказать, по своему существу... Ах, разорванная? Возьмите другую, вот с краю... По своей сути требует известного развития... Ах, подмоченная? Ну и папиросы! Вот пожалуйста, эту... По своему содержанию... Погодите, разгорится... Ну и спички! Тоже пайковые... Известного сознания...»

Все происходит на одной, пожалуй, страничке, а сколько Булгакову удалось передать: и отношение к Ксюшкину докладу, и то, как Ксаверий Антонович, при виде выплывающей Зинанды Ивановны, «свел ноги в третью позицию», уже готов был послать ей «долгий и липкий взгляд», но при виде выползающего из двери мужа этот взгляд «угас», и то, как хозяин начал угощать гостя папиросами, а папиросы оказались «пайковыми», то есть никудашными, и то, как чиркали спичками, а спички тоже оказались плохими. А на этом фоне хозяин разглагольствует о коммунизме и необходимых условиях его построения в России.

Но эти бытовые мелочи и неурядицы отступают на последний план, как только все собравшиеся сели за приготовленный столик и стали священнодействовать: так начался спиритический сеанс.

А Ксюшке интересно узнать, почему потушили свет и почему ей приказали сидеть на кухне и «не топтать пятками». А там, за дверью, что-то стало постукивать, стало страшно, но, преодолевая страх, она приникла к замочной скважине. Но ничего не поняла, только еще больше ее распирало от любопытства; как же господа за дверью кого-то спрашивали, сколько времени еще будут у власти большевики, и признавались, как они их ненавидят... Спрашивали, кто свергнет большевиков. И, конечно, помчалась к своей подружке, оказавшейся на парадной лестнице вниз, все и излила: «— Заперлись они, девоньки... Записывают про инпиратора и про большевиков... Темно в квартире, страсть!.. Жилец, барин, барыня, хахаль ейный, учительша...» А в это время спустился по лестнице «бравый в необыкновенных штанах», на бедре которого «тускло и мрачно глядело из кожаной штуки востроносое дуло». А Ксюшка продолжает рассказывать о своих впечатлениях: «— Ланпы потушили, чтобы я, значит, не видела... Хи-хи! И записывают... большевикам, говорят, крышка... Инпиратор... Хи! Хи!»

А остальное было уже, как говорится, делом техники. «Бравый» проследил за возвращавшейся к своим хозяевам Ксюшей, узнал, где ругают большевиков и вызывают «инпиратора», сбежал

за командой, и вскоре она появилась в разгар спиритического сеанса: «В дымной тьме Сократ, сменивший Наполеона, творил чудеса. Он плясал как сумасшедший, предрекая большевикам близкую гибель... Когда же нервы напряглись до предела, стол с сидящим на нем мудрым греком колыхнулся и поплыл вверх...»

Булгаков с большим искусством описывает спиритический сеанс, очумевших спиритов, обалдевшую Ксюшу, которая продолжала с замирающим интересом наблюдать в скважину за происходящим в барской комнате, и она настолько увлеклась, что не заметила, как уже за другой, наружной, дверью раздались стуки.

Спириты требовали, чтобы дух стукнул. И действительно раздался стук «будто сразу тремя кулаками». А потом так забарабанил, что «у спиритов волосы стали дыбом».

«— Дух! Кто ты?.. — дрожащим голосом крикнул Павел Петрович.

— Чрезвычайная комиссия, — ответил из-за двери гробовой голос».

Слова эти привели в шоковое состояние окаменевших спиритов. Тут уж не до игры: мадам Лузина «сникла в неподдельном обмороке». Ксаверий Антонович столь же неподдельно проклиная «идиотскую затею», а Павел Петрович трясущимися руками открывал дверь. «Перед снежно-бледными спиритами» предстал чекист, весь кожаный, «начиная с фуражки и кончая портфелем». А за этим первым «духом» виднелась еще целая вереница «подвластных духов», но уже в серых шинелях.

«Дух окинул глазами хаос спиритической комнаты и, зловеще ухмыльнувшись, сказал:

— Ваши документы, товарищи...»

И вот эпилог: «Боборицкий сидел неделю, квартирант и Ксаверий Антонович — 13 дней, а Павел Петрович — полтора месяца».

Вроде бы шутка, пустячок, спиритический сеанс, а между тем и в этом «простодушном» рассказе намечился конфликт, который трагически «аукнется» через пятнадцать лет, в 1937—1938 годах.

Здесь, как в зеркале, отразились основные конфликты эпохи. И власть, уже победившая, насаждала и теоретически обосновывала конфликт между образованной частью народа и простым человеком, верившим большевикам, умевшим разжечь самые низменные устремления простого человека.

Советская власть, некоторые ее руководители издали столько декретов, высказали столько мыслей и предложений о беспощадном подавлении образованной части народа, что полностью из-

ложить здесь решение вопроса во всем объеме не представляется возможным. Хочу лишь обратить внимание на некоторые из этих постановлений и решений. Вот лишь один Декрет ВЦИКа от 13 мая 1918 года, подписанный председателем ВЦИК Я. Свердловым, председателем СНК В. Ульяновым (Лениным) и секретарем ВЦИК Аванесовым:

«...1) Подтверждая незыблемость хлебной монополии и твердых цен, а также беспощадность борьбы с хлебными спекулянтами-мешочниками, обязать каждого владельца хлеба весь избыток, сверх количества, необходимого для обсеменения полей и личного потребления по установленным нормам до нового урожая, заявить к сдаче в недельный срок после объявления этого постановления в каждой волости...

2) Призвать всех трудящихся и неимущих крестьян к немедленному объединению для беспощадной борьбы с кулаками.

3) Объявить всех, имеющих излишек хлеба и не вывозящих его на сыпные пункты, а также расточающих хлебные запасы на самогонку, — врагами народа, предавать их революционному суду, заключать в тюрьму на срок не менее 10 лет, подвергать все имущество конфискации и изгонять навсегда из общины, а самогонщиков, сверх того, присуждать к принудительным общественным работам.

4) В случае обнаружения у кого-либо избытка хлеба, не заявленного к сдаче согласно пункту 1-му, хлеб отбирается у него бесплатно, а причитающаяся по твердым ценам стоимость незаявленных излишков выплачивается в половинном размере тому лицу, которое укажет на сокрытые излишки, после фактического поступления их на сыпные пункты, и в половинном размере — сельскому обществу. Заявления о сокрытых излишках делаются местным продовольственным организациям...» (См.: Декреты советской власти. М., 1959. Т. 2. С. 265.)

Таким образом, декретом советской власти устанавливалась слежка одной части общества за другой, устанавливалась официальная плата за доноительство — каждый доносчик получал половину того, что выявлялось в виде «сокрытых излишков», а вторую половину — сельское общество.

Кто хоть мало-мальски помнит, из книг, конечно, как развивалась революция, тот знает, что красногвардейская атака на капитал прошла успешно и почти бескровно. Сложности начались тогда, когда революция вступила во взаимоотношения с крестьянством, которое поддержало большевиков только потому, что они объявили лозунг: «Землю — крестьянам!» Но, как оказалось вско-

ре, этот лозунг был всего лишь ораторским присмком для привлечения простодушных крестьянских масс, особенно крестьян с оружием, то есть солдат...

По декрету крестьяне землю получили. Но тут же возникли комбеды, которым было поручено верховенствовать в деревнях и селах. Самая гольтепа начала давать указания хозяевам. А тут подоспели им в помощь продотряды... И началось...

Вожди революции поспешили дать теоретические обоснования своих практических акций. Надо было кормить рабочих, солдат, а вагоны с хлебом потекли в Германию как выкуп за Брестский мир. Не только хлеб, но и золото. Нужно было искать выход. Беспощадно разоблачая власть земли и собственности в крестьянине, только что получившем землю, В.И. Ленин говорил: «Я хлеб произвел, это мой продукт, я имею право им торговать» — так рассуждает крестьянин по привычке, по старине. А мы говорим, что это государственное преступление. Свободная торговля хлебом означает обогащение благодаря этому хлебу, — это и есть возврат к старому капитализму, этого мы не допустим, тут мы будем вести борьбу во что бы то ни стало» (ППС. Т. 39. С. 315). Эти слова были произнесены на I Всероссийском совещании по партийной работе в деревне 18 ноября 1919 года, когда «громадное большинство рабочих бедствует оттого, что хлеб распределяется неправильно». Ленин призывает разъяснять крестьянам политику революции, убеждать их добровольно сдавать хлеб. Но что осуществлено на практике?

Начали отбирать хлеб, заработанный крестьянином, который, естественно, не хотел отдавать свое. А это государственное преступление. Вот и получай приговор без суда и следствия, приговор военного времени.

Н. Бухарин, видный теоретик «военного коммунизма», писал, теоретически обосновывая политику беспощадного террора, связанного в то время по отношению ко всем, кто оказывал малейшее сопротивление: «Пролетарское принуждение во всех своих формах, начиная от расстрелов и кончая трудовой повинностью, является, как ни парадоксально это звучит, методом выработки коммунистического человечества из человеческого материала капиталистической эпохи».

Начиная от расстрела и кончая трудовой повинностью — вот формула, которая практически и осуществлялась в 20-е годы строительства нового общества в нашей стране.

Надо ли говорить о том, что сейчас совершенно необходимо изучить тщательнейшим образом теоретическое наследие Троцко-

го, Свердлова, Зиновьева, Каменева, Дзержинского, Бухарина и др., практическую их деятельность в период революции, тщательнейшим образом исследовать факты и события революционной поры, чтобы узнать всю правду о пролетарской революции. Тщательнейшим образом изучить деятельность ЧК, деятельность ревтрибуналов, деятельность «кожаных курток» вообще во всех селах и городах нашей страны. Выяснить, наконец, за что убивали тысячи, а в итоге сотни тысяч, миллионы мирных граждан нашей страны. Ведь расстреливали даже за то, что не донес на соседа, замешанного якобы в контрреволюции. Знаем же мы, за что расстреляли Николая Гумилева: за то, что не донес на товарища, замешанного в заговоре сенатора Таганцева. Об этом теперь рассказано со многими подробностями.

И еще несколько фактов необходимо здесь напомнить, чтобы точнее и глубже понять этот «простодушный» рассказ о спиритическом сеансе.

В начале 1922 года ВЦИК издал декрет, который предоставлял право местной власти изымать из храмов все ценности — для голодающих Поволжья, где голод был действительно чудовищный, вплоть до людоедства. Патриарх Тихон разрешил приходским советам жертвовать лишь те предметы, которые не имели богослужебного значения.

Началась травля служителей церкви в газетах. Вскоре служители церкви поняли, что нужно уступить, и решили отдать ценности, но лишь при условии контроля над их использованием, то есть иметь возможность проследить, как пожертвованные ценности будут проданы на хлеб для голодающих. Но маховик преследований церковных деятелей уже невозможно было остановить. Да и это был хороший предлог расправиться с теми, кто отравлял народ «опиумом» религиозных суеверий. Начались процессы сначала в Москве, потом в Петрограде. В мае 1922 года приговорили из семнадцати подсудимых одиннадцать к расстрелу, расстреляли пятерых. Арестовали патриарха Тихона и заточили в Донском монастыре. Через месяц начали процесс в Петрограде: митрополита Вениамина, архимандрита Сергия, профессора права Новицкого и присяжного поверенного Ковшарова в ночь с 12 на 13 августа 1922 года расстреляли.

В июне 1922 года начался процесс над эсерами, длившийся два месяца. В августе двенадцать человек приговорили к расстрелу, другим — разные сроки тюрем и лагерей. ВЦИК утвердил приговор, но с исполнением его решено подождать: на Западе волновались социалисты, с их мнением нужно считаться...

Готовилась и другая акция. И в конце 1922 года началась высылка знаменитых философов, журналистов, писателей, историков...

Борис Лосский, сын Н.О. Лосского, одного из тех, кто был изгнан в числе первых петербуржцев, со всеми подробностями, которые могла удерживать память семнадцатилетнего юноши, рассказывает о том, как арестовали его отца, продержали его сначала в здании петроградского ГПУ, а потом вместе с ректором Петроградского университета Л.П. Карсавиным и другими арестантами перегнали в тюрьму на Шпалерной улице. Вскоре милостиво отпустили тех, кому было за пятьдесят, и предложили им хлопотать о выезде в Германию. Поговаривали и о том, что всех расстреляют, как перед этим расстреляли митрополита Вениамина и других церковных деятелей. Но все обошлось. Говорят, Троцкий сказал, что высылают потенциальных друзей возможных врагов СССР.

Начали прибывать в Петроград москвичи, которым расстрел тоже заменили высылкой за границу. У Лосских остановились Николай Бердяев со всей семьей. Москвичи отбыли в ссылку в октябре, а петербуржцы лишь 15 ноября 1922 года.

Таким образом Россия лишилась около трехсот образованнейших людей своего времени, некоторые из них своими трудами вошли в элиту мировой науки, мировой культуры.

А ведь с приходом нэпа все воспринималось как начало новой эры, «военный коммунизм» уходил в прошлое как дурной сон, вся интеллигенция поверила в созидательную силу перемен, в гуманизацию общества. В «Воспоминаниях» Н.О. Лосского как раз и говорится о начале нэпа как о возрождении духовной силы русской интеллигенции: «Благодаря улучшившемуся питанию силы русской интеллигенции начали возрождаться, и потому явилось стремление отдавать часть их на творческую работу. Прежде, когда мы были крайне истощены голодом и холодом, ...профессора могли только дойти пешком до университета, прочитать лекцию и потом, вернувшись домой, в изнеможении лежать час или два, чтобы восстановить силы. Теперь появилось у нас желание устраивать собрания научных обществ и вновь основывать журналы взамен прекративших свое существование изданий. Экономисты основали журнал. Петербургское Философское общество стало издавать философский журнал «Мысль». Стали выходить и другие журналы, и начала не на шутку просыпаться издательская инициатива к великому удовлетворению деятелей культуры».

И Михаил Булгаков искренне поверил в перемены, ведущие к улучшению будущей жизни. Ведь многое было скрыто от него, а то, что происходило, действительно радовало истомившуюся душу.

Да и «Спиритический сеанс» закончился в общем-то благополучно, таким легким испугом. Так что можно преодолеть и эти трудности и опасности, нужно лишь работать и работать...

В газете «Накануне» и ее литературном приложении были опубликованы «Записки на манжетах», «Похождения Чичикова», «Красная корона», «Чаша жизни», «В ночь на 3-е число», «Сорок сороков», «Москва краснокаменная», «Под стеклянным небом», «Московские сцены», «Путевые заметки», «Бенефис лорда Керзона», «Комаровское дело», «Киев-город», «Самоцветный быт», «Самогонное озеро», «Псалом», «Золотистый город», «Багровый остров», «Москва 20-х годов», «Вечерок у Василисы» и др. — все эти произведения были опубликованы Михаилом Булгаковым с июня 1922 года по май 1924-го.

Эм. Миндлин, бывший в то время литературным секретарем московской редакции «Накануне» и ее корреспондентом, вспоминал о вхождении Булгакова в литературу: «Алексей Толстой жаловался, что Булгакова я шлю мало, редко.

Шлите побольше Булгакова!»

Но я и так отправлял ему материалы Булгакова не реже одного раза в неделю. А бывало, и дважды... С «Накануне» и началась слава Михаила Булгакова.

Вот уж не помню, когда именно и как он впервые появился у нас в уважаемой московской редакции. Но помню, что еще прежде чем из Берлина пришла газета с его первым напечатанным в «Накануне» фельетоном, Булгаков очаровал всю редакцию светской изысканностью манер... В Булгакове все — даже недоступные нам гипсовый, ослепительно свежий воротничок и тщательно повязанный галстук, не модный, но отлично сшитый костюм, выуженные в складочку брюки, особенно форма обращения к собеседникам с подчеркиванием отмершего после революции окончания «с», вроде «извольте-с» или «как вам угодно-с», целование ручек у дам и почти паркетная церемонность поклона, — решительно все выделяло его из нашей среды. И уж конечно, конечно, его длиннополая меховая шуба, в которой он, полный достоинства, поднимался в редакцию, неизменно держа руки рукав в рукав!»

О первой Всероссийской выставке сельского хозяйства, рассказывает Эм. Миндлин, писали многие московские журналисты и писатели, но Булгаков по заказу «Накануне» написал блестящий очерк — «это был мастерски сделанный, искрящийся остроумием, с превосходной писательской наблюдательностью написанный очерк сельскохозяйственной выставки». Целую неделю Булгаков изучал выставку, побывал в узбекском и грузинском павильонах, описал на-

циональные блюда и напитки, описал свое посещение чайханы, шашлычной, винного погребка... Все в редакции были довольны: может, теперь эмигрантская печать прекратит свои измышления о голоде в республиках Средней Азии и Кавказа. Очерк тут же был отправлен в Берлин, а через три дня опубликован в «Накануне».

В день выплаты гонорара Булгаков представил счет на производственные расходы. «Но что это был за счет! Расходы по ознакомлению с национальными блюдами и напитками различных республик!.. Всего ошеломительней было то, что весь этот гомерический счет на шашлыки, шурпу, люля-кебаб, на фрукты и на вина был на двоих».

— Почему же на двоих? — спросил пораженный заведующий финансами редакции.

«Булгаков невозмутимо ответил:

— ...Во-первых, без дамы я в ресторан не хожу. Во-вторых, у меня в фельетоне отмечено, какие блюда даме пришлось по вкусу. Как вам угодно-с, а произведенные мною расходы покорнейше прошу возместить» (Миндлин Эм. Необыкновенные собеседники. М., 1966. С. 115—120).

Конечно, производственные издержки были возмещены, а речь, скорее всего, здесь идет об очерке «Золотистый город», который читатели могут прочитать в этом томе.

В литературной хронике приложения газеты «Накануне» есть любопытное сообщение за 12 ноября 1922 года: «М.А.Булгаков работает над составлением словаря русских писателей — современников Великой революции. Он обращается с просьбой ко всем беллетристам, поэтам и литературным критикам во всех городах прислать ему автобиографический материал.

Важны точные хронологические данные, перечень произведений, подробное освещение литературной работы, в особенности за годы 1917—1922, живые и значительные события жизни, повлиявшие на творчество, указания на критику и библиографию каждого. От начинающих в провинции желательно было бы получить номера журналов с их печатными произведениями. Адрес: Москва, Большая Садовая, 10, М.Булгакову».

А 7 декабря в хронике литературного приложения «Накануне» сообщалось: «13 московских писателей — Ашукин, Булгаков, Зозуля, Козырев, Левин, Лидин, Пильняк, Слезкин, Соболев, Соболев, Стонов, Эфрос А. и Яковлев пишут большой коллективный роман. Роман будет состоять приблизительно из 70—80 глав, в которых развернется картина гражданской войны последних лет. Главы писатели пишут по очереди, устанавливаемой жребием. По оконча-

нии каждой главы происходит чтение ее и обсуждение всеми 13-ю. Роман должен быть закончен в начале 1923 года». (Впервые об этих эпизодах из жизни М.Булгакова сообщено в журнале «Москва», 1976, № 7.)

Неизвестно, как сложилась судьба коллективного романа, но факт остаётся фактом: к концу 1922 года Михаил Булгаков органично вписался в московскую литературную среду. И скорее всего, «В ночь на 3-е число» (из романа «Алый мах») — это и есть глава коллективного романа, который не состоялся — слишком несовместимы оказались в творческом отношении собравшиеся столь яркие индивидуальности, и попасть в «тон» друг другу было просто невыносимо. Так, видимо, коллективный роман распался на отдельные главы, самостоятельные, отделившиеся одна от другой, опубликованные каждым из тринадцати объявленных авторов.

Этот «отрывок» был напечатан в литературном приложении «Накануне» 10 декабря 1922 года, как раз тогда, когда литературное содружество поняло всю бессмысленность коллективного романа. Но это лишь догадка, предположение. Во всяком случае ясно одно: «В ночь на 3-е число» — это попытка художественного осмысления пережитого во время гетманщины и петлюровщины в Киеве. Конечно, это не фрагмент «Белой гвардии», как утверждают некоторые ученые и критики. Но по всему чувствуется, что этот рассказ — как раз канун «Белой гвардии», одна из первых попыток рассказать о том, что ему удалось пережить, и не только ему, но и его близким, которые вместе с ним переносили все тяготы гражданской войны.

Здесь нет ничего придуманного — и Варвара Афанасьевна, и Николай Афанасьевич (Колька), и Михаил, доктор Бакалсников. И все происходящее здесь тоже похоже на быль, на описание действительных фактов биографии самого Михаила Афанасьевича Булгакова.

И много пережитого в действительности потом войдет в «Белую гвардию» и драму «Дни Турбиных».

Желание Алексея Толстого — «Шлите побольше Булгакова» — полностью совпадало с намерениями самого Михаила Афанасьевича. И он писал... Материальное положение несколько улучшилось, меньше стало беготни в поисках хлеба насущного, больше оставалось времени для творческой работы. Конечно, бытовые неурядицы по-прежнему много занимали времени, не раз в фельетонах и очерках он жалуется на соседей по квартире: бранятся между собой, варят самогонку, пьют, но все эти «мелочи» отходят на десятый план, как только он закрывается в своей комнате и склоняется

над чистым листом бумаги. Оживали картины недавнего прошлого, как живые вставали перед ним его родные и близкие, сестры, братья, друзья, с которыми ему довелось пережить почти два трудных года гражданской войны в Киеве. Булгаков начал работать над романом, который вскоре получит название «Белая гвардия». Он уже написал «Записки на майжетах», в которых попытался рассказать самое интересное, что происходило с ним во Владикавказе и в первые месяцы жизни в Москве, передать переживания русского интеллигента, попавшего в непривычное для него положение, когда нужно доказывать, что Пушкин — солнце русской поэзии.

Он-то думал, что в Москве будет гораздо легче, здесь у власти более грамотные, более образованные, здесь верховная власть большевиков, а Ленин на III съезде Российского союза молодежи говорил, что коммунистом можно стать лишь тогда, когда обогатишь свою память знанием всех богатств, которые выработало человечество. Но на практике дела обстояли ничуть не лучше, чем во Владикавказе: и в Москве все время приходилось сталкиваться с теми, кто пытался строить пролетарскую культуру, отбрасывая огромные духовные богатства, накопленные человечеством.

Обнадеживало то, что в Москве и Петрограде возникали частные издательства (по подсчету историков, в Москве их было 220, в Петрограде — 99), где стали выходить такие книги, как «Переписка из двух углов» М.О.Гершензона и В.Иванова, «Закат Европы» О.Шпенглера, сборники и книги известных философов Бердяева, Леонтьева и др. Продолжали печататься Блок, Есенин, Гумилев, Ахматова, вновь стали выходить дореволюционные журналы «Былое» и «Голос минувшего», «Вестник литературы». Возник журнал «Новая Россия», «первый беспартийный публицистический орган», который провозгласил желание русской творческой интеллигенции сотрудничать с советской властью. «Жизнь раздвинулась, и пути ее стали шире», — писал в первом номере журнала Тан в статье «Надо жить». Но чуть ли не в каждом журнале непременно говорилось, что интеллигенция может сотрудничать с новой властью только при одном условии — интеллигенция должна быть независима в своих мнениях и высказываниях, интеллигенция «по одному своему существу не может служить интересам какого-либо одного класса, одной группы». Об этом в своей статье «О задачах интеллигенции» решительно заявил Изгоев в альманахе «Парфенон». (Кн. I Пг., 1922. С.36.)

А.С. Изгоев не мог предвидеть, что вскоре он будет выслан из России, а потому свободно размышлял о том, что все интеллиген-ты, независимо от партийной принадлежности, «не могут не жс-

лать определенной и ясной меры свободы для своей проповеди, для своего учительства...) «История, однако, дает жестокие уроки и гонителям и гонимым, — продолжает А.С. Изгоев. — Вчерашний гонитель сегодня сам превращается в гонимого и собственным жестоким опытом познает необходимость существования узаконенной свободы.

Очень часто бывает, что вчерашний гонимый, получив власть, сам становится гонителем. По закону реакции он тем более усердствует, чем тяжелее жилось ему в свое время. Но и ему скоро приходится убеждаться, что в вопросах учительства и пропаганды насилие приводит к совершенно обратным результатам. Иден, которые еще вчера были так популярны и влиятельны, несмотря на сильные преследования, сегодня вдруг утрачивают свою мощь, вызывают уже не любовь, а недоверие, пренебрежение и еще худшие чувства. Официальные проповедники канонизированных доктрин, не встречая ни критики, ни отпора, быстро засыпают и замирают, превращаются в заводные куклы, только и способные твердить свои «па. па. па», «ма. ма. ма», когда их дернут за веревочку. Несмотря на сильную внешнюю, и полицейскую, и финансовую поддержку, официальная доктрина начинает загнивать в сердцевине. Падение ее часто поэтому бывает внезапное и сокрушительное. Более дальновидные деятели всегда понимают опасность искусственного и насильственного единомыслия. Должно быть ересь...» (С. 35).

В марте 1922 года в редакционной статье журнал «Новая Россия» выражал надежду на возрождение России, которое должно «совершиться на определенной основе и определенными силами»: «...На синтезе революционной новизны с дореволюционной старинной строится и будет строиться новая пореволюционная Россия». Деятели «Новой России», преимущественно старые интеллигенты, писатели, журналисты, публицисты, философы, историки, «после четырех лет гробового молчания» открыто и правдиво стараются высказываться по самым актуальным проблемам современности. Нет, они вовсе не собираются вздыхать по старым добрым временам дореволюционной России, «эти черные дни канули безвозвратно», не будут также вспоминать «мучительную страду суровых революционных дней, ибо что проку в малодушии этом», они собираются говорить о будущем России. Это будущее им кажется всеобъемлющим национальным примирением, в котором каждый человек, живущий на территории прежней царской России, может обрести свое место в жизни, найдет применение своим творческим устремлениям, своим знаниям, своему опыту. Пусть земледелец об-

рабатывает землю, растит богатый урожай; пусть торговец торгует своим добротным товаром; пусть врач лечит больных; пусть рабочий производит столь необходимые машины; пусть каждый найдет удовлетворение в том, что может сказать, что думает, и делать то, к чему есть у него охота.

Свои задачи возникают и у беспартийной интеллигенции. За годы молчания у нее накопились свои суждения и о прошедшем, и о будущем. Беспартийная интеллигенция готова включиться в невданный ранее в истории процесс обновления и возрождения нового государства, она хочет и может стать строителем нового общества. Во время революции, особенно на первых ее этапах, в пору «революционной партизанщины», «страна кишела авантюристами и лоббистами поживы, горлопанами и демагогами, самодурами и персонажами трибуналов», большинство из них обанкротилось, не выдержав проверки временем, суровым и беспощадным ко всяким случайным, бездарным и злоумышленным людям. Выдвинулись люди «деловые и одаренные». «Так произошла переоценка всего живого инвентаря революции и непрерывное ее освежение. Как только дело начало устанавливаться прочно на рельсы строительства, чистые разрушители были отмечены, и им на смену начали приходить чистые строители». И главная мысль деятелей журнала «Новая Россия» заключается в том, чтобы сейчас, в период возрождения России к строительству новой жизни были привлечены не только живые силы, выдвинутые из народных глубин, но и живые силы прошлого, только в сочетании их, в неразрывном синтезе всех живых, творческих сил возможно возрождение новой могучей России.

Конечно, это сложный, противоречивый процесс, доселе никогда, ни в одной стране не происходивший. Нужна новая идеология, все старые понятия, старая тактика, старые партийные программы испепелились в огне революционного пожара: «Все были у власти, и все обанкротилось, ибо все доньше действовавшие общественные силы были повинны в грехе догматизма, оторванности от народа, от подлинной жизненной действительности. Надо подвергнуть решительному пересмотру все старые понятия, все идейные и этические предпосылки нашего интеллигентского мирозерцания, начиная от непротivления злу насилем и кончая макиавеллизмом и террором недавних дней.

И пусть официальная печать на сей раз не изображает перелома в настроениях интеллигенции в тонах какой-то смехотворной карикатуры. Это все, извольте ли видеть, кающиеся интеллигенты, порода ничтожных, покаянных и хныкающих душ, которые, нако-

ице-то, к исходу пятого года революции, начали кой-что понимать, кое-как научились плести лапти и вот теперь, отрезавшие, покаянные, дураковатым елеем мазанные, пожаловали в нашу Каноссу. К счастью, это совсем не так. Процесс пересмотра и переоценки и глубже, и значительней, и серьезней. Мы исходим из мысли о всеобщем идеологическом провале — всеобщем, значит, без изъятий» (Новая Россия. Март 1922. № 1. С. 1—3).

В статьях «Третья Россия» С. Адрианова, «Великий синтез» И. Лежнева, уже цитированной статье «Надо жить» Тана, в рецензиях, фельетонах, публикациях журнала — во всех материалах конкретизируется эта главная мысль — наступило время ответственных решений русской интеллигенции, которая молчала четыре года. Наступило время сотрудничества с советской властью, но только при условии полной гласности. И сотрудничать с советской властью — это вовсе не значит, писал С. Адрианов, возлюбить советскую власть и воспевать ей дифирамбы: «Верноподданнические чувства и овечья покорность — такой же непригодный материал для новой России, как и безответственная контрреволюционная болтовня». Ошибки советской власти чаще всего возникают из-за неосведомленности и невежества аппарата советской власти: «Канцелярии и управления кишат людьми недобросовестными и подкупными». Преступно не обратить на это внимание и не предложить свои честные услуги в административной службе. К этому призывают деятели «Новой России». Широкое привлечение старой интеллигенции в административный аппарат повысит культуру страны; введение независимого суда и гласности поможет вовлечь демократические слои страны, которые все еще не вовлечены в ее трудовой ритм. «Новые элементы оживающей России чувствуют себя по-иному. И прежде всего по-иному чувствует себя интеллигенция.

Та интеллигенция, о которой три года говорили, как о чем-то ненужном, обсуждали серьезно вопрос, кормить ли ее или не кормить, и если кормить, то как ее заставить работать — непременно заставить силком, — которую обзывали и злой, и худосочной, саботажной, буржуазной и ленивой, трясушей, как студень, и вместе непримиримой, как сам сатана. И вот оказалось, что интеллигенция тоже изменилась. Она прокипела в волшебном котле революции и вдруг помолодела, сбросила с костей два пуда ненужного сала и вместе с салом сбросила хилость и старость. И места под солнцем она уже не ищет, она его имеет, как свое неотъемлемое право, ибо она тоже есть часть революции, кость от ее костей, плоть от ее плоти», — писал Тан (Новая Россия. 1922. № 1. С. 37).

Верой в то, что Россия возродится, встанет из пепла, заканчивает старый писатель В.Г.Тан (Богораз) свою статью «Надо жить».

Таковы лишь некоторые литературные новости, с которыми мог познакомиться Михаил Булгаков, читая журналы, газеты, сборники, альманахи, количество которых значительно увеличилось по сравнению с прошлым годом. И, судя по всему, значительно расширилась сфера идеологических поисков, творческих устремлений прозаиков и поэтов, публицистов и драматургов, историков и философов...

И снова как яблоко раздора чаще всего возникал Пушкин. Одни по-прежнему восхищались им, его творчеством, его гением, другие видели в нем лишь помещика, эксплуатировавшего крепостного мужика.

В первом номере «России» (август 1922 года) был напечатан отрывок из повести Вл. Лидина «Ковыль скифский», в которой как раз и столкнулись эти разные точки зрения на культурное наследие Пушкина. В самые тяжкие годы революции, когда холод и голод царствовали чуть ли не в каждой московской квартире, историк литературы Илья Николаевич Старушенцев работает над книгой о Пушкине. Как раз третья глава книги должна дать ответ, в каком доме на Арбате поселился Пушкин, вернувшись из ссылки, из Михайловского. Он ходит по домам, расспрашивает, сверяет данные с письмами и воспоминаниями близких Пушкина.

Это занятие удивляет военспеца Гоголева, который говорит «по поводу Пушкина»:

«— Вот вы все: Пушкин, Пушкин... А что Пушкин такого написал. Все природа, природа, помещики... помещиков звон — тью, дым остался, природу тоже на топливо... Это так — одного почитания ради.

Старушенцев: (Глухо-торжественно) Россия не может погибнуть, если есть Пушкин.

— Не только не может, но и погибла отлично, и стерженька не осталось.

— Это самое ужасное, что я слышал за всю революцию» (Россия. 1922. № 1. С.5).

Старушенцев, продолжая спор с военспецом Гоголевым, завершает свой поиск дома: «ибо дом, где жил Пушкин по присезде из Михайловского, становится судьбой родины».

Одновременно с этим, а скорее, вслед за этими выступлениями старых русских интеллигентов, выразивших свою готовность сотрудничать с советской властью, но при условии полной гласности, с грозными статьями выступил заведующий агитпропотделом

ЦК РКП(б) А.Бубнов, в которых выявил полную неуступчивость большевиков. В статье «Политические иллюзии нэпа на ущербе», опубликованной в журнале «Коммунистическая революция» (1922. № 9—10), он писал: «С нэпом началось частичное восстановление капиталистического «базиса». Это действовало как живительный бальзам на старых, сохранившихся в стране идеологов капитализма. Им не надо было вырабатывать какой-то новой идеологии, она у них имелась в готовом виде, требовалось только некоторое приспособление ее к условиям места, времени и пространства». Ясно, кого имел в виду А.Бубнов: тех самых старых русских интеллигентов, которые с охотой отдавали весь свой опыт и знания новой России, но желали сохранить полную свободу выражать свои мнения и суждения. А в статье «Возрождение буржуазной идеологии» прямо призывал советскую журналистику бороться с буржуазной идеологией: «...Столичная советская журналистика должна пулеметным огнем самого высокого напряжения обстреливать буржуазную идеологию». (См.: А.Бубнов. Буржуазное реставраторство на втором году нэпа. Пг.: Прибой, 1922. С. 54, 27.)

Пулеметным огнем обстреливать... Вспомним процессы над церковниками, над эсерами и др., которые как раз начались в середине 1922 года, вспомним Карсавина, Лосского, Бердяева, Изгоева и др., которым принудительно пришлось покинуть Россию, а иначе им грозил расстрел, вспомним высказывания видных вождей революции, призывавших разжигать классовую ненависть ко всем образованным людям, вспомним и поймем, что это высказывание о пулеметном обстреле звучит не только метафорически, но и самым прямым образом.

Алексей Максимович Горький, как и в 1917—1918 годах, сделал попытку остановить разжигание классовой ненависти к образованной части русского общества. 21 сентября 1922 года в газете «Накануне» было опубликовано его письмо: «...Распространяются слухи, что я изменил мое отношение к советской власти. Нахожу необходимым заявить, что советская власть является единственной силой, способной преодолеть инерцию массы русского народа и возбудить энергию этой массы к творчеству новых, более справедливых и разумных форм жизни.

Уверен, что тяжкий опыт России имеет небывало огромное и поучительное значение для пролетариата всего мира, ускоряя развитие его политического самосознания.

Но, по всему строю моей психики, не могу согласиться с отношением советской власти к интеллигенции. Считаю это отношение ошибочным, хотя и знаю, что раскол среди русской интеллигенции

рассматривается — в ожесточении борьбы — всеми ее группами как явление политически неизбежное. Но это не мешает мне считать ожесточение необоснованным и неоправданным. Я знаю, как велико сопротивление среды, в которой работает интеллектуальная энергия, и для меня раскол интеллигенции — разрыв одной и той же — по существу — энергии на несколько частей, обладающих различной скоростью движения. Общая цель всей этой энергии — возбудить активное и сознательное отношение к жизни в массах народа, организовать в них закономерное движение и предотвратить анархический распад масс. Эта цель была бы достигнута легче и скорей, если бы интеллектуальная энергия не дробилась. Люди науки и техники — такие же творцы новых форм жизни, как Ленин, Троцкий, Красин, Рыков и другие вожди величайшей революции. Людей разума не так много на земле, чтобы мы имели право не ценить их значение. И, наконец, я полагаю, что разумные и честные люди, для которых «благо народа» не пустое слово, а искреннейшее дело всей их жизни — эти люди могли бы договориться до взаимного понимания единства их целей, а не истреблять друг друга в то время, когда разумный работник приобрел особенно ценное значение.

Но договориться до взаимного понимания единства цели всей русской интеллигенции так и не удалось. В «Правде», «Известиях» и других официальных органах печати появились прямолинейные, упрощенно толкующие сложнейшие вопросы творческой, художественной, научной жизни статьи, в которых шельмовали искреннюю заинтересованность в сотрудничестве старой русской интеллигенции. Упрощение дошло до того, что всю творческую интеллигенцию разделили на коммунистов и врангелевцев, а всех, кто не попадал в эти две категории, заносили в сменовеховцы... И Пильняк, и Серапионовы братья, и журнал «Россия», и многое другое лево-революционное зачислялось в сторонники буржуазной реставрации и прислужников нэпа.

Звонкие, но пустые фразы словно бы повисали в воздухе, на них словно бы и не обращали внимания, настолько они были смехотворны и безграмотны. Но эти обвинительные фразы были уже произнесены, диктующий их тон уже становился заметен в общественной жизни, к ним начинает прислушиваться малограмотная молодежь. Пока раздаются слова в защиту свободы, самостоятельности и предприимчивости, но начавшиеся процессы предупреждали об опасности, которая неотвратимо надвигалась, хотя и мало кто предвидел будущее развитие событий.

Михаила Булгакова привлекали те статьи, где говорилось о свободе совести, слова, о свободе печати и праве личности высказы-

зывать собственные суждения, каких бы вопросов общественной и политической жизни они ни касались. Права человека и гражданина гарантированы провозглашенными законами и установлениями. Так что писатель может писать все то, что наболело, что просится на перо.

«Я живая свидетельница того, с каким жадным интересом воспринимались корреспонденции Михаила Булгакова в Берлине, где издавалась сменовеховская газета «Накануне».

Это были вести из России, живой голос очевидца», — вспоминала много лет спустя Любовь Евгеньевна Белозерская (Москва. 1981. № 9).

В начале 1923 года Михаил Булгаков — уже признанный писатель и журналист. Его печатают не только в «Накануне» и литературном приложении газеты, но и в некоторых московских газетах и журналах: сначала газета «Труд», несколько позднее «Гудок», «Голос работника просвещения»... Но главное — это «Накануне», в московской редакции которой он часто бывает.

Большая часть фельетонов, очерков, рассказов М.Булгакова — это зарисовки с натуры, отклик газеты или журнала на конкретные события, явления будничной жизни. Как репортер Булгаков бывал на сельскохозяйственной выставке, в студенческих общежитиях, в МУРе, в магазинах, в детской коммуне, в ресторанах, бродил по московским улицам. Всюду его острый художнический взгляд замечал характерные явления, изменения в будничной жизни. Читая его ранние фельетоны, рассказы, очерки и все время думаешь, насколько несправедливы были критики, упрекавшие его в поддержке всего буржуазного и новобуржуазного. Его позиция очень определена: он резко выступает против нэпманов, этих нуворишей, выскочек, приспособленцев, радуется всему новому, что так стремительно входило в жизнь. Москва пробуждалась к новой жизни. Самые мрачные времена миновали, но сколько возникало конфликтов и противоречий между старым и новым. Возникали и лопались эфемерные организации, которые должны были, по замыслу их создателей, помогать населению бороться с голодом, а по существу ничем не помогали. Один из первых своих фельетонов М. Булгаков посвятил нэпу. На глазах Москва стала менять свой облик, как только начали действовать законы новой экономической политики:

«Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали отваливаться деревянные щиты, и из-под них глянули на свет, после долгого перерыва, запыленные и тусклые магазинные витри-

ны. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибывать, чинить, распаковывать ящики и коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные круглые лампы под выставками или узкие ослепительные трубки по бокам окон» (Торговый ренессанс. Москва в начале 1922-го года).

Всего лишь полгода назад Москва казалась нищей, голодной, убогой, а сейчас словно какие-то таинственные шлюзы открылись и полноводная река товаров хлынула на полки Кузнецкого, Петровки, Неглинного, Лубянки и пр. «Магазины стали расти, как грибы, окропленные живым дождем нэпо».

Булгаков лаконичными и вместе с тем разнообразными средствами передает тот экономический подъем, который последовал вслед за провозглашением нэпа: здесь и точные характерные детали («На оголенные стены цветной волной полезли вывески, с каждым днем новые, с каждым днем все больших размеров»), здесь и естественные волнения человека, одобряющего действия новой власти. Толчея на улицах, гомон бесчисленных торговцев, вереницы извозчиков, хриплые сигналы автомобилей, переполненные товарами магазины, вместо витрин, сделанных на скорую руку, все чаще появляются прочные, красивые — «надолго, значит». Все появилось в магазинах — белый хлеб, торты, сухари, баранки, горы коробок с консервами, черная икра, словом, все, что только можно пожелать. И это, естественно, радует репортера.

Булгаков приветствует нэп, видит мудрость и своевременность новой экономической политики. Отмечает, с какой поразительной быстротой и щедростью раскрылись доселе наглухо закрытые магазины, как оживились до сих пор молчавшие московские улицы. Извозчики, мальчишки с газетами, приодевшаяся толпа — все заpestрело, зацвело веселой деловой жизнью. Приметы времени, точные детали, колоритные подробности быта... Особенно интересны такие очерки, как «Москва краснокаменная» и «Столица в блокноте». Булгакова по-прежнему поражает обилие товаров, но он замечает и другое — нового покупателя, нового персонажа своих будущих фельетонов — господина Нэпмана; замечает яркие контрасты в жизни, видит новое и старое. С одной стороны, обилие всяческих товаров, но многие еще ходят в старом, особенно омерзительны френчи, оставшиеся в память о войне. Большинство ходит в «стоптанной рвани с кривыми каблуками. Но попадаетея уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях».

Среди обилия афиш, плакатов — «на черном фоне белая фигура — скелет руки к небу тянет».

Помоги! Голод. В терновом венке, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотографиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотрись, представишь себе, и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо стен, не оглядываются...

Бегут нувориши, а Булгаков полон сострадания к чужому горю.

С первых шагов в литературе Булгаков заявил о себе как художник, обладающий оптимистическими взглядами на мир, душевным здоровьем. Уж как его мотала жизнь в последние годы, а он никогда не впадал в отчаяние, раз и навсегда себе усвоив, что жизнь — это борьба за существование, за то, чтобы быть самим собой.

«Столица в блокаде» — наиболее, пожалуй, интересный очерк начинающего писателя: очерк напечатан в «Накануне», в трех номерах, 21 декабря 1922 года, 20 января и 9 февраля 1923 года.

«Каждый бог на свой фасон. Меркурий, например, с крылышками на ногах. Он — нэпман и жулик. А мой любимый бог — бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой, от него пахнет махоркой», — так начинает свой очерк Булгаков. И читатель, заинтригованный столь необычным началом, уже не отрывается от столь многообещающих строк. Нет, Булгаков не скрывает недостатков развивающейся жизни, рассказывая о «целом классе» «так называемой мыслящей интеллигенции и интеллигенции будущего», которая почему-то считает «модным ходить зимой в осеннем». Легкая ирония по адресу «мыслящей интеллигенции» сменяется открытым сарказмом по отношению к «спецам», которые, пользуясь доверчивостью неискушенных работников учреждений, берут большие деньги, не оставляя расписки в надежде «облапошить» простофилю. Но Бутырка ждет таких проходимцев. И Булгаков явно доволен этим исходом, пусть только за границей не кричат о жертвах «большевистского террора»: наказание подлецов и проходимцев — это торжество законности и справедливости, торжество возмездия.

И снова Булгаков обращает внимание на главное, что происходит в Москве — и зимой орудует бог Ремонт, «бог неутомонный, прекрасный — штукатур, маляр, камешник». Его радует, что на месте «какой-то выгрызенной плешки» возникает здание. Хорошо, если в отремонтированном здании размещается полезное предприятие, но бывает и так, что во вновь ожившем здании красуются чиновничьи плешивые головы, склонившиеся над бумагами. Такие

учреждения Булгаков терпеть не может. С чувством наслаждения он проходит по Петровке и Кузнецкому, где наладилась нормальная жизнь, где магазины полны товарами, где торжествуют «буйные гаммы красок за стеклами». Радует его, что лифты пошли; вздрагивает «от радостного предчувствия», что скоро-скоро наступят такие времена, когда будут не подновлять, штукатурить, подклеивать старое, но будут строить новые здания. Он верит, что наступит Ренессанс в новой России. А пока: «Московская эпитафия: Пою тебе, о бог Ремонта!»

Заканчивается очерк «Столица в блокноте» гимном порядку, который «каким-то образом рождается» из вчерашнего хаоса. Процесс создания этого порядка непросто, не каждому по душе введение железных законов порядка. Сказано, например, не курить в вагонах, а некоторые с презрением отнеслись к новым установлениям большевиков и продолжали курить: штраф тридцать миллионов. И строгий человек с квитанционной книжкой появляется всегда неожиданно, но непременно наказывает виновника беспорядка. Так и в театре всюду повесили плакаты «курить строго воспрещается». И стоило одному несознательному гражданину с черной бородкой сладко затянуться, как тут же вырос блюститель порядка и лаконично сказал: двадцать миллионов. Но «черная бородка» не желала платить, и тут же за спиной блюстителя порядка словно «из воздуха соткался милиционер»: «Положительно, это было гофманское нечто. Милиционер не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста. Нет! Это было просто воплощение укоризны в серой шинели с револьвером и свистком. Черная бородка заплатила со сверхъестественной гофманской же быстротой».

Нет, Булгаков вовсе не разделяет суждений тех, кто все еще надеется, что Россия «принкочилась». Напротив, наблюдая московскую жизнь в ее лихорадочной калейдоскопичности, Булгаков предчувствует, что «все образуется и мы еще можем пожить довольно славно». Конечно, Золотой Век еще не наступил, но он может быть только в том случае, если уже сейчас «пустит окончательные корни» порядок, порядок во всем, начиная от таких незначительных явлений, «как все эти некуриательные и неплевательные события», и кончая такими, как бескультурье, безграмотность. «Москва — котел: в нем варят новую жизнь. Это очень трудно. Самим приходится вариться. Среди Душек и неграмотных рождается новый, пронизывающий все углы бытия, организованный скелет».

И как был поражен Булгаков при виде присмиривших извозчиков. Почему не ругаются, почему не шумят и почему не устремля-

ются вперед самые пылкие? На перекрестке стоял милиционер с красной палочкой и регулировал движение. И здесь организован порядок. «В порядке дайте нам опоры точку, и мы сдвинем шар земной», таким победным призывом, в котором слышится и бодрая уверенность, и твердая надежда, заканчивается «Столица в блокаде».

В «Путевых заметках», опубликованных в «Накануне» 25 мая 1923 года, Булгаков подчеркивает все те же перемены: повсюду царствует порядок, Брянский вокзал — «совершенно какой-то неопишуемый вокзал»: «уйма свободного места, блестящие полы, носильщики, кассы, возле которых нет остервеневших, измученных людей, рвущихся куда-то со стоном и руганью». Лишь единственный раз у Булгакова защемило сердце при виде очереди из тридцати человек, ну, думает, не сядешь в вагон на свое место. Но тут же «проходивший мимо некто в железнодорожной фуражке успокоил меня:

— Не сомневайтесь, гражданин. Это они по глупости. Ничего не будет. Места нумерованы. Идите гулять, а за пять минут придете и сядете в вагон». Наладилась и торговля на станциях. Если раньше выскакивали старухи и мальчишки с различной снедью, то теперь возникли лавки, где идет бойкая торговля.

В очерке «Киев-город», опубликованном в «Накануне» 6 июля 1923 года, Булгаков прежде всего совершает экскурс в область истории, вспоминает о 18 переворотах, которые пришлось пережить киевлянам в 1917—1920 годах: в Киеве были большевики, немцы, петлюровцы, сторонники гетмана Скоропадского, снова большевики, денikinцы, снова большевики... Потом поляки, потом большевики... Конечно, много разрухи и беспорядка принесли эти многочисленные перевороты, но теперь Булгаков видел, как во всех сферах социальной жизни обнаруживаются «признаки бурной энергии»: «С течением времени, если все будет, даст Бог, благополучно, все это отстроится.

И сейчас уже в квартирах в Киеве горит свет, из кранов течет вода, идут ремонты, на улицах чисто и ходит по улицам этот самый коммунальный трамвай».

Булгаков подробно рассказывает о достопримечательностях сегодняшнего Киева, о населении, нравах и обычаях нового времени, о слухах, которые прежде всего идут с еврейского базара, о трех церквях Киева и антирелигиозной пропаганде, об аскетизме киевлян: «Нэп катится на периферию медленно, с большим опозданием. В Киеве теперь то, что в Москве было в конце 1921 года. Киев еще не вышел из периода аскетизма. В нем, например, еще запрещена

оперетка. В Киеве торгуют магазины (к слову говоря, дрянь), но не выпирают нагло «Эрмитажи», не играют в лото на каждом перекрестке и не шляются на дутых шинах до рассвета, напившись «Абрау-Дюрсо».

И финал встречи с родным городом оптимистический: «Город прекрасный, город счастливый. Над разлившимся Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечных пятнах.

Сейчас в нем великая усталость после страшных громыхающих лет. Покой.

Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город. А память о Петлюре да сгинет».

А читаешь «Золотистый город», опубликованный в четырех номерах «Накануне» за сентябрь — октябрь 1923 года, и словно видишь живые, прекрасные картины новой жизни, создаваемой умом, сердцем, руками людей, только что объединенных в единый и могучий Советский Союз и показавших всему миру свои немалые достижения в сельском хозяйстве.

Булгакова радует возникшая на болоте сельскохозяйственная выставка, созданная в неслыханно короткие сроки. С каким презрением описывает он нэпмана и его Манечку, гремющую и сверкающую «кольцами, браслетами, цепями и камнями», эта пара враждебна той «буйной толчее», которая спешит на выставку. Нэпман «бормочет»:

«— Черт их знает, действительно! На этом болоте лет пять надо было строить, а они в пять месяцев построили!»

Булгаков бывает в павильонах, на площадях, где возникают митинги, и всюду видит картины новой жизни, бодрых, жизнестойких людей. В одном из павильонов — гипсовые мощные торсы с серыми пожарными шлангами. И рядом — надписи о том, как бороться с пожарами в деревне. Заманчиво пахнет из Туркестанского павильона — там гигантские самовары, бараньи освежаванные туши для шашлыка, готовят пельмени черноголовые узбеки. В Доме крестьянина он увидел театрализованное представление, в котором «умные клинобородые мужики в картузах и сапогах» осуждают одного глупого, «мочального и курносого, в лаптях» за то, что он бездумно, без всякого понятия «свел целый участок леса». Павильон Табакотреста, павильон текстильный, павильон Центросоюза — точные детали, подробности, живые сценки, густые толпы посетителей. Вот одна из них: три японца подходят к алюминиевой птице, гидроплану, двое благополучно влезли и нырнули в кабину, а третий сорвался и шлепнулся в воду. «В первый

раз в жизни был свидетелем молчания московской толпы. Никто даже не хихикнул.

— Не везет японцам в последнее время...»

Булгаков присутствует на диспуте на тему «Трактор и электрификация в сельском хозяйстве», слушает профессора-агронома, доказывавшего, что нищему крестьянскому хозяйству трактор не нужен, «он ляжет тяжелым бременем на крестьянина». Ему возражает «возбужденный оратор» в солдатской шинелишке и картузе:

«— ...Профессор говорит, что нам, мол, трактор не нужен. Что это обозначает, товарищи? Это означает, товарищи, что профессор наш спит. Он нас на старое хочет повернуть, а мы старого не хотим. Мы голые и босые победили наших врагов, а теперь, когда мы хотим строить, нам говорят ученые — не надо? Ковыряй, стало быть, землю лопатой? Не будет этого, товарищи («Браво! Правильно!»)».

«И в заключительном слове председатель страстно говорит о фантазерах и утверждает, что народ, претворивший не одну уже фантазию в действительность в последние 5 изумительных лет, не остановится перед последней фантазией о машине. И добьется.

— А он не фантазер?

И рукой невольно указывает туда, где в сумеречном цветнике на щите стоит огромный Ленин».

Конечно, Булгаков видел не только эти радостные, оптимистические картины. Он видел не только творцов новой жизни, «клинобородых мужиков, армейцев в шлемах, пионеров в красных галстуках, с голыми коленями, женщин в платочках... московских рабочих в картузах», но и тех, кто все еще исподтишка шипел при виде этого изобилия и буйных красок жизни:

«Даму отрезало рекой от театра. Она шепчет:

— Не выставка, а черт знает что! От пролетариата прохода нет. Видеть больше не могу!

Пиджак отзывается сиплым шепотом:

— Н-да, трудновато.

И их начинает вертеть в водовороте».

Нет сомнений в том, что сам Булгаков с клинобородыми мужиками и московскими рабочими в картузах, с «возбужденным оратором» в солдатской шинелишке, с народом, который гулом одобрения встречает каждое упоминание об Ильиче, с теми, кто совершает «непрерывное паломничество» к знаменитому на всю Москву цветочному портрету Ленина: «Вертикально поставленный, чуть наклоненный двускатный щит, обложенный землей, и на одном скате с изумительной точностью выращен из разноцветных цветов

и трав громадный Ленин, до пояса. На противоположном скате отрывок его речи».

А перед этими словами Булгаков описал свои впечатления от посещения павильона кустарных промыслов, где увидел «маленький бюст Троцкого» — из мамонтовой кости. «И всюду Троцкий, Троцкий, Троцкий. Черный бронзовый, белый гипсовый, костяной, всякий».

Не это ли сопоставление громадного Ленина с маленьким Троцким вызвало гнев одного из популярных руководителей страны того времени?

Заканчиваются эти очерки о Золотистом городе описанием игры десяти клинобородых владимирских рожечников, исполнявших русские народные песни на самодельных деревянных дудках: «То стонут, то заливаются дудки, и невольно встают перед глазами туманные поля, избы с лучинами, тихие заводы, сосновые суровые леса. И на душе не то печаль от этих дудок, не то какая-то неясная надежда...»

Никакого нет сомнения в том, что Булгаков с теми, кто строит новую жизнь, с теми, кто мечтает о машинах на крестьянских полях, кто борется за сохранение лесов в стране, кто за установление порядка и справедливости в стране.

В предисловии коллекционера к «Золотым документам», опубликованным в «Накануне» 6 апреля 1924 года, Булгаков писал: «Когда описываешь советский быт, товарищи писатели земли русской, а в особенности заграничной, не нужно врать. Чтобы не врать, лучше всего пользоваться подлинными документами».

Булгаков стремился в своих очерках, рассказах, зарисовках к правдивому изображению советского быта, радовался не только тому, как возникал новый порядок в различных сферах жизни, но и бичевал недостатки, беспорядок, бесхозяйственность, очковтирательство, бичевал тех, кто устраивал в квартире «самогонное озеро», кто пил «чашу жизни»...

В литературном приложении к газете «Накануне» в сентябре 1922 года появились «Похождения Чичикова», «поэма в 2-х пунктах с прологом и эпилогом». Это одно из первых сатирических произведений после революции и гражданской войны. Год мучительной жизни в столице дал много наблюдений Булгакову. Не мог он не обратить внимания на беспорядки, которые мешали новой жизни, не мог не обратить внимания на тех, кто, сформировавшись при царизме, естественно, привнесли в новую жизнь груз прошлого — и прежде всего бюрократизм и формализм. Булгаков видел, что в иных советских учреждениях новых работников оценивают

по анкете, чаще «на глазок». Этим зачастую пользовались проходимцы, занимали «тепленькие» местечки...

Именно таких неопытных и неумелых руководителей и показал Булгаков в своей сатире, доведенной до гротеска.

Булгаков, рисуя фантастическую картину, где так много неурядиц и беспорядка, далек от отождествления мира отрицательного и уходящего в прошлое с тем реальным миром, в котором он живет. Два мира существуют как бы отдельно друг от друга. Булгаков словно бы сформировал отрицательный мир из разрозненных явлений, сконцентрировал, соединил эти явления вместе, чтобы осмеять их и отбросить прочь. Но, как позднее отметит М. Зощенко, создание такого отрицательного мира в художественных образах вовсе не исключает наличия иного мира, мира положительного: «Было бы нелепо в сатирическом писателе увидеть человека, который ставит знак равенства между своим сатирическим произведением и всей окружающей жизнью» (М. Зощенко. О комическом в произведениях Чехова. Вопросы литературы. 1967. № 2).

Описывая свои первые шаги в Москве, Булгаков признавался, что он — «человек обыкновенный», «не герой», — «оказался как раз посреднике обеих групп, и совершенно ясно и просто передо мною лег лотерейный билет с надписью — смерть. Увидав его, я словно проснулся. Я развил энергию, неслыханную, чудовищную. Я не погнб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом, и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня при первом же взгляде на мой костюм в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то во всяком случае его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смею вас заверить»... Вот в какой сложной ситуации начинала складываться писательская судьба Булгакова.

К этому времени относится знакомство М. Булгакова с А. Н. Толстым, приехавшим из Берлина на «разведку». Знакомство состоялось в московской редакции газеты «Накануне». Секретарь редакции Эм. Миндлин вспоминал о приезде А. Н. Толстого: «Он вошел так, словно все окружавшие его расстались с ним только вчера... Кто был тогда с нами? Катаев, — Толстой вообще не отпускал Катаева от себя, — Михаил Булгаков, Левидов и я». (См.: Необыкновенные собеседники. СП, 1968. С. 138.)

А чуть раньше Булгаков случайно встретился в Столешниковом переулке с А. Эрлихом, с которым работал в ЛИТО. Булгаков, вспоминал А. Эрлих, «шел мне навстречу в длинной, на доху похожей, мехом наружу шубе, в глубоко надвинутой на лоб шапке. Слишком ли мохнатое, невиданно длинношерстное облачение его

или безучастное, какое-то отрешенное выражение лица было тому причиной, но только многие прохожие останавливались и с любопытством смотрели ему вслед».

Встретились как старые друзья, разговорились. А. Эрлих в то время уже работал в газете «Гудок», а Булгаков, по всему чувствовалось, не имел постоянного места работы. Так оно и вышло: постоянной работы не было, перебивается случайными заработками, «удастся иной раз пристроить то фельетончик, то очеркишко».

В этом же разговоре вспомнили они прежнее сотрудничество в ЛИТО, посмеялись. «Вот еще тоже темочка, — так и чешутся руки!.. Дьяволиада...»

Долго бродили они в тот вечер по московским улицам. И А. Эрлих предложил Булгакову пойти в «Гудок» литературным правщиком. Обработка корреспонденций, уговаривал А. Эрлих, не отнимет у него много сил, но зато даст постоянный заработок, а по вечерам можно будет спокойно писать.

«Спустя несколько дней Булгаков был принят в штат литературных обработчиков «Гудка»... Ничего порочного в таком способе подбора кадров не было: в начале двадцатых годов в аппарате «Гудка», как ни в какой другой газете, оказалось много молодых талантливых литераторов: М. Булгаков, В. Катаев, Ю. Олеся, Л. Славин, С. Гехт, Л. Саянский, И. Ильф, Е. Петров, Б. Перелешин, М. Штих, А. Козачинский, К. Паустовский...» — вспоминал А. Эрлих много лет спустя (Нас учила жизнь. СПб, 1960. С. 35—39).

Эти два эпизода, рассказанные Э. Миндлиным и А. Эрлихом, являются важными звеньями в биографической «цепи» М. А. Булгакова. Постоянная работа в «Гудке», возникший замысел написать «Дьяволиаду», изнуряюще сладостная работа по вечерам и ночам над романом «Белая гвардия» — вот творческие вехи этого времени.

Читаешь фельетоны М. А. Булгакова, опубликованные больше 70 лет тому назад в «Гудке», газете железнодорожников, и не удивляешься прозорливости художника. Сколько хлестких, разящих ударов нанес он по нашему бескультурью, невежеству, безграмотности. Читаешь сегодня фельетоны в центральных газетах, сравниваешь их с фельетонами Булгакова и понимаешь, как мало изменилось в нашей жизни — все те же бюрократы, все та же проблема пьянства и алкоголизма, все то же чиновничество и все та же борьба за демократию и гласность.

Темы фельетонов Булгакова разнообразны. Отовсюду в газету пишут рабочие, жалуются на беспорядки, царящие на железной дороге, в клубах, в торговых точках, в кооперации, жалуются на при-

теснения со стороны вышестоящих начальников, позволяющих себе командирские окрики, грубость, бесцеремонность в обращении с нижестоящими. Рабочие корреспонденты жалуются вроде бы по «пустякам», но за каждым письмом — жизнь человеческая, и столько беспорядков возникает на железной дороге то ли по причине плохой организации труда, то ли из-за безответственного отношения к своим обязанностям персонала станции, участка, отделения. И перед Булгаковым, изо дня в день перебирающим рабкоровские письма, предстают не очень-то радостные картины нового человеческого общежития, формирующегося в ходе революционной перестройки.

Фельетон Булгакова — это чаще всего миниатюрная пьеса, в которой действующие лица или выясняют отношения между собой, или создают комическую ситуацию со всеми вытекающими из нее последствиями — громовым хохотом собравшихся или саркастическим выводом самого фельетониста. Жанр некоторых фельетонов Булгаков так и определяет: пьеса в I-м действии. Жанр других фельетонов — зарисовки с натуры, в основе третьих — дневники, записи, резолюции и другие документы.

В «Гудок» писали в надежде, что газета поможет решить тот или иной конкретный вопрос. И действительно, чаще всего после публикации рабкоровского письма с комментариями фельетониста все, как по мановению волшебной палочки, менялось: чванливого бюрократа либо выгоняли с работы, либо он сам поправлял положение. И железнодорожники поверили в свой «Гудок». Немало этому способствовали острые, яркие фельетоны, зарисовки «с натуры» Михаила Булгакова.

31 августа 1923 года Михаил Булгаков писал Юрию Слезкину (письмо хранится в РГАЛИ, фонд 1384, ед. хр. № 93, опись № 1. Впервые опубликовано в «Москве» в 1976 году, № 7):

«Дорогой Юрий, спешу тебе ответить, чтобы письмо застало тебя в Кролевце. Завидую тебе. Я в Москве совершенно измотался.

В «Накануне» масса новых берлинских лиц, хоть часть из них и временно: Небуква, Бобрищев-Пушкин, Ключников и Толстой. Эти четверо прочитали здесь у Зимина лекцию. Лекция эта была замечательна во всех отношениях (но об этом после).

Трудовой граф чувствует себя хорошо, толсто и денежно. Зимой он будет жить в Петербурге, где ему уже отделявают квартиру, а пока что живет под Москвой на даче. Печатание наших книг вызывает во мне раздражение, до сих пор их нет. Наконец, Потехин

сообщил, что на днях их ждет. По слухам, они уже готовы. (Первыми выйдут твоя и моя). Интересно, впустят ли их. За свою я весьма и весьма беспокоюсь. Корректуры они мне, конечно, и не подумали прислать.

«Дьяволиаду» я кончил, но вряд ли она где-нибудь пройдет. Лежнев отказался ее взять.

Роман я кончил, но он еще не переписан, лежит грудой, над которой я много думаю. Кое-что исправляю. Лежнев начинает толстый ежемесячник «Россия» при участии наших и заграничных. Сейчас он в Берлине, вербует. По-видимому, Лежневу предстоит громадная издательско-редакторская будущность. Печататься «Россия» будет в Берлине. При «Накануне» намечается иллюстрированный журнал. Приложения уже нет, а есть пока лит. страничка. Думаю, что наши книги я не успею прислать тебе в Кролевец. Вероятно, к тому времени, как они попадут ко мне в руки, ты уже будешь в Москве. Трудно в коротком спешном письме сообщить много нового. Во всяком случае дело явно идет на оживление, а не на понижение в литературно-издательском мире. Приезжай! О многом интересном поговорим.

Таня тебе и Лине шлет привет. А я Лине отдельный, спецпривет. В Москве пьют невероятное количество пива. Целую тебя. Твой М. Булгаков».

Но «берлинская» книжка так и не вышла. А вот мысль о том, что наметилось явное оживление в литературно-издательском мире, высказана своевременно. Действительно, возникают различные издательства, журналы, альманахи... «Красная Новь», «Новый мир», «Россия», «На посту», «Леф», «ЗИФ», «Недра»... Это радует Булгакова: он много написал за это время, а печататься нигде. Хоть и возникали новые журналы и издательства, но печатать произведения Михаила Булгакова, кроме фельетонов и очерков, никто не спешил. Но, как говорится, мир не без добрых и смелых людей.

Одним из таких добрых и смелых людей был Николай Семенович Клестов-Ангарский, старый большевик, подпольщик, опытный издатель с дореволюционным стажем, в советское время возглавивший издательство «Недра». Независимый по характеру, с острым политическим чутьем, широко образованный и внимательный к молодым талантам, Клестов-Ангарский много сделал для развития издательского дела в 20-е годы в Советской России. Бывал в Берлине, искал авторов для своего издательства и в русском зарубежье, и среди иностранных авторов, способных своими книгами заинтересовать русского читателя.

В литературной борьбе 20-х годов он занимал свое, особое место, не примыкая ни к одной из литературных группировок, видя в каждой из них ограниченность и односторонность.

Клестов-Ангарский резко высказывался о программе «напостовцев» в связи с выходом первого номера журнала «На посту» в 1923 году: «Афишу «На посту» получил. Лелевича я не знаю, от Волина и Родова ничего кроме засорения литературы пустой фразой и подыгрывания под стихию (поэзия рабочих профессий) не жду... Я думаю, что можно было бы подождать писать о пролетарской литературе, о ее генезисе и прогнозе до тех пор, пока она не появится; о том же, что появилось за 6 лет, и так много написано.

Литературы нет, а манифест о литературе есть. Ляшко и диалектика! Марксистское исследование о том, как должны писать и чувствовать пролетарские писатели.

Раз так хорошо сказано и так правильно обосновано с точки зрения диалектического материализма — теперь Ляшко не может уже писать плохо, а Филиппенко и подавно» (РГАЛИ, ф. 1610, оп. 1 ед. хр. 13. Впервые введено в научный оборот М. Чудаковой. См. Записки отдела рукописей. Книга, 1976, С. 39).

И вот, возвратившись из Берлина, где работал около года Клестов-Ангарский, в октябре — ноябре 1923 года скорее всего, познакомился с «Дьяволиадой» Миханла Булгакова, а затем и с ее автором, потому что в марте 1924 года альманах «Недра» (№ 4) вышел в свет: в альманахе был напечатан «Железный поток» А. С. Серафимовича, была напечатана и «Дьяволиада» М. А. Булгакова.

Поистине жизнь Булгакова как писателя непредсказуема... Казалось бы, «берлинская книжка» должна была выйти, заключен договор с солидным Акционерным обществом «Накануне», получен гонорар в размере 34 долларов, по 8 долларов за 4 с половиной листа, таков был объем «Записок на манжетах», согласован и срок выпуска книги — май 1923 года... Настораживало лишь то, что издательство в Берлине так же, как и в России, ссылалось на требования цензуры... Если цензура потребует что-то сократить или изменить, то издательство вправе удовлетворить ее требования. Нет, Булгаков не согласен с этим пунктом договора, этот параграф необходимо исключить из договора или совместно переработать... Но ни в мае, ни в августе книги Булгакова и Слезкина так и не вышли в Берлине, а через несколько месяцев после этой явной издательской неудачи вдруг, неожиданно для Булгакова, вышла в свет «Дьяволиада», острая и беспощадная сатира на современный мир...

И этот литературный факт полностью зависел от случайности: прислал из Берлина Клестов-Ангарский, а портфель пуст, печатать в очередной книжке «Недр» нечего. Прислал Тренев «плоховатую вещь», пришлось отказать. Отказывал и другим именитым по разным причинам, чаще всего по цензурным: «Вот с цензурой горе. Мы не можем сейчас печатать ничего, что в основе своей идет против Советской власти, а старички именно эту основу-то и сшибают. Критикуй, но не основу»; — писал Клестов-Ангарский секретарю редакции «Недра».

Но «Дьяволиада» понравилась и сразу была принята к публикации.

11 марта 1924 года один из первых экземпляров повести Булгаков подарил Ирине Сергеевне Раабен «в память о совместной кропотливой работе за машинкой». И. Раабен перепечатывала и «Записки на манжетах», и «Дьяволиаду», и «№ 13. Дом Эльпит— Рабкоммуна», и многие другие. «Он приходил каждый вечер, часов в 7—8, и диктовал по два-три часа и, мне кажется, отчасти импровизировал. У него в руках были, как я помню, записные книжки, отдельные листочки, но никакой рукописи как таковой не было. Рукописи, могу точно сказать, не оставлял никогда. Писала я только под диктовку. Он упомянул как-то, что ему негде писать. О своей жизни он почти не рассказывал — лишь однажды сказал без всякой аффектации, что, добираясь до Москвы, шел около двухсот верст от Воронежа пешком — по шпалам: не было денег...» (Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 128).

В начале 1924 года в журнале «Железнодорожник» Булгаков опубликовал «Воспоминание...». К этому времени у него была комната, «гарнитур мебели шелковый вполне приличный», стол, на котором он мог писать... Булгаков вспоминает все свои мытарства после приезда в Москву, бесчисленные очереди в жилотделе, утомительные разговоры с председателем домового комитета о прописке в комнате родственника, уехавшего в Киев... Но все попытки прописаться были отвергнуты. В полном отчаянии он написал письмо Ленину. В редакции над ним только посмеялись: «Вы не дойдете до него, голубчик», — сочувственно сказал мне заведующий». И тогда Булгаков решил написать письмо Н. К. Крупской. Он пришел к И. Раабен, и они вместе составили это письмо, перепечатав его на машинке. «Мы с ним письмо это вместе долго сочиняли. Когда оно уже было напечатано, он мне вдруг сказал: «Знаете, пожалуй, я его лучше переписшу от руки». И так и сделал. Он послал это письмо, и я помню, какой он довольный прибежал, когда Надежда Константиновна добилась для него большой 18-метровой

комнаты где-то в районе Садовой», — вспоминала И. Раабен (Воспоминания о Михаиле Булгакове, с. 129).

Сам же Булгаков вспоминал этот эпизод чуточку по-другому... Он добился встречи с Н. К. Крупской, передал ей свое заявление, объяснил, в каком чудовищно безвыходном положении он оказался в Москве. «Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:

«Прошу дать ордер на совместное жительство».

И подписала:

Ульянова.

Точка».

«...Самое главное, забыл я тогда поблагодарить.

Вот оно неудобно как...

Благодарю вас, Надежда Константиновна».

Это случилось в конце 1921 года, когда он с Татьяной Николаевной был прописан в комнате Б. А. Земского по улице Б. Садовая, 10.

Но все это было в прошлом. А в начале 1924 года дела поправились. Регулярно печатается в «Гудке», читает главы «Белой гвардии» в литературных кружках, печатается «Дьяволиада»... А главное — на вечере приехавших «сменовеховцев» в Денежном переулке он познакомился с Любовью Евгеньевной Белозерской, только что расторгшей брак с Василевским-Небуквой. Она покорила его своей красотой, умом, талантом... И однажды Михаил Афанасьевич пришел домой и предложил Татьяне Николаевне развестись. Для нее это был удар, но это было в духе времени: тогда легко сходились, легко и расходились... Но бросить Татьяну Николаевну, которая с ним прошла нога в ногу тяжелейшие одиннадцать лет...

«Мы развелись в апреле 1924 года, — вспоминала Т. Н. Лаппа много лет спустя, — но он сказал мне: «Знаешь, мне просто удобно говорить, что я холост. А ты не беспокойся — все остается по-прежнему. Просто разведемся формально». — «Значит, я снова буду «Лаппа»? — спросила я. «Да, а я Булгаков». Но мы продолжали вместе жить на Большой Садовой...

Он познакомил меня с Любовью Евгеньевной. Она раньше жила в Киеве, с Финком, был такой журналист, потом уехала с Василевским-Небуквой. Потом Василевский привез ее в Москву, а какой-то жених должен был ее вызвать. Но вызов не пришел; Василевский ее оставил, ей негде было жить. Она стала бывать у Потекина, мы приглашали ее к нам. Она учила меня танцевать фокстрот. Сказала мне один раз:

— Мне остается только отравиться...

Я, конечно, передала Булгакову... Ну, в смысле литературы она, конечно, была компетентна. Я-то только продавала вещи на рынке, делала все по хозяйству и так уставала, что мне было ни до чего... Коморский подбил меня окончить шляпочную мастерскую, я получила диплом, хотела как-то зарабатывать. Один раз назначаю кому-то, а Михаил говорит:

— Как ты назначаешь — ведь мне работать надо!

— Хорошо, я отменю.

Так из этой моей работы ничего не вышло — себе только делала шляпки. Я с ним считалась. А он всегда говорил мне, когда я упрекала его за какой-нибудь флирт: «Тебе не о чем беспокоиться — я никогда от тебя не уйду». Сам везде ходил, а я дома сидела... Стирала, готовила...» (См.: Москва, 1987, № 8, с. 31).

По словам Татьяны Николаевны, Булгаков предлагал, чтоб вместе с ним жила и Любовь Евгеньевна на том основании, что ей негде жить. Хорошо, что до этого не дошло, но беспокойные чувства еще много дней давали о себе знать; его мучало, что он бросает Тасю, с которой так хорошо было в юности и молодости... Но она так и осталась почти равнодушной к его литературным делам, ее это не увлекало.

Иной раз, чтобы успокоить себя, Булгаков перелистывал свой дневник, и самые тяжкие дни вновь и вновь оживали перед ним:

9 февраля 1922 года: «Идет самый черный период моей жизни. Мы с женой голодаем. Пришлось взять у дядки немного муки, постного масла и картошки. У Бориса — миллион. Обегал всю Москву — нет места.

Валенки рассыпались...»

15 февраля: «Погода испортилась. Сегодня морозец. Хожу на остатках подметок. Валенки пришли в негодность. Живем впроголодь. Кругом долги...»

В заветной тетрадке Булгаков записывал самое тайное и никому ее не показывал: «Под пятой. Мой дневник 1923 года». 24 мая следует запись: «...Москва живет шумной жизнью, в особенности по сравнению с Киевом. Преимущественный признак — море пива выпивают в Москве. И я его пью помногу. Да вообще последнее время размотался. Из Берлина приехал граф Алексей Толстой. Держит себя распушенно и нагло. Много пьет.

Я выбился из колеи — ничего не писал 1 1/2 месяца.»

25 июля: «Жизнь идет по-прежнему сумбурная, быстрая, кошмарная. К сожалению, я трачу много денег на выпивки. Сотруд-

ники «Гудка» пьют много. Сегодня опять пиво. Играл на Неглинной на биллиарде. «Гудок» два дня как перешел на Солянку во «Дворец Труда», и теперь днем я расстоянием отрезан от «Накануне»... пробиваюсь фельетонами в «Накануне». Роман из-за работы в «Гудке», отнимающей лучшую часть дня, почти не подвигается.

Москва оживлена чрезвычайно. Движения все больше...

18 сентября: «...Сегодня нездоров. Денег мало. Получил на днях известие о Коле (его письмо); он болен (малокровие), удручен, тосклив. Написал в «Накануне» в Берлин, чтобы ему выслали 50 франков. Надеюсь, что эта сволочь исполнит.

Сегодня у меня был А. Эрлих, читал мне свой рассказ, Коморский и Дэви. Пили вино, болтали. Пока у меня нет квартиры — я не человек, а лишь полчеловека».

30 (17 сентября старого стиля) 1923 г.: «Вероятно потому, что я, консерватор до... «мозга костей», хотел написать, но это шаблонно, но, словом, консерватор, всегда в старые праздники (именины Веры, Надежды, Любви и Софьи. — В. П.) меня влечет к дневнику. Как жаль, что я не помню, в какое именно число сентября я приехал два года тому назад в Москву. Два года. Многое ли изменилось за это время? Конечно, многое. Но все же вторая годовщина меня застает все в той же комнате и все таким же изнутри. Болен я, кроме всего прочего... Что будет — никому неизвестно. Москва по-прежнему чудный какой-то ключ. Бешеная дороговизна и уже не на эти дензнаки, а на золото... По-прежнему, и даже еще больше, чем раньше, нет возможности ничего купить из одежды.

Если отбросить мои воображаемые и действительные страхи жизни, можно признаться, что в жизни моей теперь крупный дефект только один — отсутствие квартиры.

В литературе я медленно, но все же иду вперед. Это я знаю твердо. Плохо лишь то, что у меня никогда нет ясной уверенности, что я действительно хорошо написал. Как будто пленкой какой-то застилает мой мозг и сковывает руку в то время, когда мне нужно описывать то, во что я так глубоко и по-настоящему верю и знаю, убежденный мыслью и чувством».

19 октября. Пятница. Ночь.

«Сегодня вышел гнусный день. Род моей болезни таков, что, по-видимому, на будущей неделе мне придется слечь. Я озабочен вопросом, как устроить так, чтобы в «Гудке» меня не сдвинули за время болезни с места. Второй вопрос, как летнее пальто жены превратить в шубу. День прошел сумбурно, в беготне. Часть этой бе-

готни была затрачена (днем и вечером) на «Трудовую копейку». В ней потеряны два моих фельетона. Важно, что Кольцов (редактор «Копейки») их забраковал. Я не мог ни найти оригинал, ни добиться ответа по поводу их. Махнул в конце концов рукой... В общем, хватает на еду и мелочи, а одеться не на что. Да, если бы не болезнь, я бы не страшился за будущее.

Итак, будем надеяться на Бога и жить. Это единственный и лучший способ...»

26 октября. Пятница. Вечер.

«...Литература теперь трудное дело. Мне с моими взглядами волей-неволей... (пропуск в дневнике. — В. П.) трудно печататься и жить. Нездоровье же мое при таких условиях тоже в высшей степени не вовремя. Но не будем унывать. Сейчас я просмотрел «Последнего из могикан», которого недавно купил для своей библиотеки. Какое обаяние в этом старом сентиментальном Купере. Там Давид, который все время распекает псалмы, и навел меня на мысль о Боге.

Может быть, сильным и смелым он не нужен, но таким, как я, жить с мыслью о нем легче. Нездоровье мое осложненное, затяжное. Весь я разбит. Оно может помешать мне работать, вот почему я боюсь его, вот почему я надеюсь на Бога...»

6 ноября (24 октября). Вторник. Вечер.

«Недавно ушел от меня Коля Гладыревский. Он лечит меня. После его ухода я прочел плохо написанную, бездарную книгу Мих. Чехова о его великом брате (См.: Антон Чехов и его сюжеты, М., 1923 г.). Я читаю мастерскую книгу Горького «Мои университеты».

Теперь я полон размышления и ясно как-то стал понимать — нужно мне бросить смеяться. Кроме того — в литературе вся моя жизнь. Ни к какой медицине я никогда больше не вернусь.

Несимпатичен мне Горький как человек, но какой это огромный, сильный писатель и какие страшные и важные вещи говорит он о писателе» (См.: Театр, 1990, № 2, с. 144—149, публикация Г. Файмана).

К сожалению, все уговоры самого себя вести аккуратно дневник не подтверждались на деле, он ругал себя за пропуски в дневнике, но жизнь действительно была настолько сложной, запутанной, противоречивой, что не хватало времени... Но то, что записано в дневнике, очень существенно для понимания внутреннего мира Михаила Афанасьевича Булгакова.

В январе 1924 года он познакомился с Любовью Евгеньевной

Белозерской, в начале весны вновь увидел ее и понял, что уже не может жить без нее. В апреле 1924 года развелся с Татьяной Николаевной. И снова перед ним встал «жилищный вопрос»...

10 апреля 1924 года главный редактор журнала «Россия» И. Лежнев дал ему договор на публикацию «Белой гвардии». Так что оставалось решить лишь личные проблемы, а это давалось нелегко.

В этом томе впервые собраны все известные повести, очерки, рассказы и фельетоны Михаила Булгакова, написанные им в 1919—начале 1924 г. Кое-что безвозвратно утрачено, кое-что еще не найдено. День за днем, год за годом пройдет перед читателем вся творческая жизнь художника слова этих лет в хронологической последовательности. Многие тексты М. А. Булгакова широко известны: публикаторская работа ведется давно чуть ли не всеми нашими газетами, журналами, издательствами. В основе всех публикаций лежит то, что собрано Е. С. Булгаковой в первом томе сочинений М. Булгакова, который так и называется: «Михаил Булгаков. Сочинения. Т. I. Фельетоны, очерки, рассказы. 1922—1930. Москва, 1954». В коленкорovém переплете заключено 360 страниц лучших произведений раннего Булгакова. Кроме этого тома, в Отделе рукописей РГБ хранятся еще две папки фельетонов, рассказов и очерков, откуда черпали в основном публикаторы тексты произведений писателя (См.: ОР РГБ, ф. 562, к. 1—2).

Отмечу лишь некоторые издания произведений М. А. Булгакова, имевшие принципиальное значение. Отмечу прежде всего книги М. А. Булгакова, изданные под наблюдением профессора Вольфганга Казака в Мюнхене: Михаил Булгаков. Ранняя неизданная проза. Составление и предисловие Ф. Левина. Мюнхен, 1976; Ранняя несобранная проза. Мюнхен, 1978. Составление Ф. Левина и Л. Светина; Ранняя неизвестная проза. Мюнхен, 1981. Составление и предисловие Ф. Левина; Забытое: ранняя проза. Мюнхен, 1983. Составление и предисловие Ф. Левина.

При участии Л. Е. Белозерской изданы «Пьесы» в издательстве «Советский писатель» в 1986 году.

Издательство «Современник» в 1989—1991 гг. опубликовало шесть книг М. А. Булгакова: «Похождения Чичикова», «Колесо судьбы», «Белая гвардия», «Кабала святош», «Мастер и Маргарита», «Письма». Одновременно с этими изданиями «Художественная литература» выпустила в свет собрание сочинений в пяти томах.

Большое значение приобретает публикаторская деятельность

В. И. Лосева, заведующего сектором Отдела рукописей Российской Государственной Библиотеки.

Но почти во всех изданиях М. А. Булгакова можно обнаружить неточности, разночтения, ошибки...

Назрела необходимость академического Собрания сочинений М. А. Булгакова, когда в ходе исследовательской работы можно было бы определить канонические тексты сочинений выдающегося писателя, устранить все разночтения, неточности и ошибки.

Предлагаемое издание — попытка дать ПОЛНОГО БУЛГАКОВА, показать всю его творческую жизнь в хронологической последовательности, дабы читатель мог понять, что наряду с гениальными, пророческими произведениями ему приходилось писать и каждодневные фельетоны на «злобу» дня, зарабатывая себе на хлеб насущный.

Но первый том — только начало творческой деятельности писателя. Многое уже написано и ждет публикации, много замыслов... Грядут перемены и в его личной жизни...

Это издание стало возможным благодаря Светлане Викторовне КУЗЬМИНОЙ и Вадиму Павловичу НИЗОВУ, молодым и талантливым руководителям Замоскворецкого филиала ФИНИСТ БАНКА, благодаря директору производственно-коммерческого предприятия «РЕГИТОНА» Вячеславу Евграфовичу ГРУЗИНОВУ, благодаря председателю Совета ПРОМСТРОЙБАНКА, председателю корпорации «РАДИОКОМПЛЕКС» Владимиру Ивановичу ШИМКО и председателю Правления ПРОМСТРОЙБАНКА Якову Николаевичу ДУБЕНЕЦКОМУ, оказавшим материальную помощь издательству «Голос», отважно взявшемуся за это уникальное издание.

Кроме того, благодарю сотрудников Отдела рукописей и абонемента РГБ, дорогих друзей из библиотеки ЦДЛ, оказавшим неоценимую помощь в работе над этим изданием.

Виктор ПЕТЕЛИН

ГРЯДУЩИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

Теперь, когда наша несчастная родина находится на самом дне ямы позора и бедствия, в которую ее загнала «великая социальная революция», у многих из нас все чаще и чаще начинает являться одна и та же мысль.

Эта мысль настойчивая.

Она — темная, мрачная, встает в сознании и властно требует ответа.

Она проста: а что же будет с нами дальше?

Появление ее естественно.

Мы проанализировали свое недавнее прошлое. О, мы очень хорошо изучили почти каждый момент за последние два года. Многие же не только изучили, но и прокляли.

Настоящее перед нашими глазами. Оно таково, что глаза эти хочется закрыть.

Не видеть!

Остается будущее. Загадочное, неизвестное будущее.

В самом деле: что же будет с нами?..

Недавно мне пришлось просмотреть несколько экземпляров английского иллюстрированного журнала.

Я долго, как зачарованный, глядел на чудно исполненные снимки.

И долго, долго думал потом...

Да, картина ясна!

Колоссальные машины на колоссальных заводах лихорадочно день за днем, пожирая каменный уголь, гремят, стучат, льют струи расплавленного металла, куют, чинят, строят...

Они куют могущество мира, сменив те машины, которые еще недавно, сея смерть и разрушая, ковали могущество победы.

На Западе кончилась великая война великих народов. Теперь они зализывают свои раны.

Конечно, они поправятся, очень скоро поправятся!

И всем, у кого, наконец, прояснился ум, всем, кто не верит жалкому бреду, что наша злостная болезнь перекинется на Запад и поразит его, станет ясен тот мощный подъем титанической работы мира, который вознесет западные страны на невиданную еще высоту мирного могущества.

А мы?

Мы опоздаем...

Мы так сильно опоздаем, что никто из современных пророков, пожалуй, не скажет, когда же, наконец, мы догоним их и догоним ли вообще?

Ибо мы наказаны.

Нам немислимо сейчас созидать. Перед нами тяжкая задача — завоевать, отнять свою собственную землю.

Расплата началась.

Герои-добровольцы рвут из рук Троцкого пядь за пядью русскую землю.

И все, все — и они, бестрепетно совершающие свой долг, и те, кто жметсЯ сейчас по тыловым городам юга, в горьком заблуждении полагающие, что дело спасения страны обойдется без них, все ждут страстно освобождения страны.

И ее освободят.

Ибо нет страны, которая не имела бы героев, и преступно думать, что родина умерла.

Но придется много драться, много пролить крови, потому что пока за зловещей фигурой Троцкого еще топчутся с оружием в руках одуроченные им безумцы, жизни не будет, а будет смертная борьба.

Нужно драться.

И вот пока там, на Западе, будут стучать машины созидания, у нас от края и до края страны будут стучать пулеметы.

Безумство двух последних лет толкнуло нас на страшный путь, и нам нет остановки, нет передышки. Мы начали пить чашу наказания и выпьем ее до конца.

Там, на Западе, будут сверкать бесчисленные электрические огни, летчики будут сверлить покоренный воздух, там будут строить, исследовать, печатать, учиться...

А мы... Мы будем драться.

Ибо нет никакой силы, которая могла бы изменить это.

Мы будем завоевывать собственные столицы.

И мы завоюем их.

Англичане, помня, как мы покрывали поля кровавой росой, били Германию, оттаскивая ее от Парижа, дадут нам в долг еще шинелей и ботинок, чтобы мы могли скорее добраться до Москвы.

И мы доберемся.

Негодяи и безумцы будут изгнаны, рассеяны, уничтожены.

И война кончится.

Тогда страна окровавленная, разрушенная начнет вставать... Медленно, тяжело вставать.

Те, кто жалуется на «усталость», увы, разочаруются. Ибо им придется «устать» еще больше...

Нужно будет платить за прошлое неимоверным трудом, суровой бедностью жизни. Платить и в переносном, и в буквальном смысле слова.

Платить за безумство мартовских дней, за безумство дней октябрьских, за самостийных изменников, за развращение рабочих, за Брест, за безумное пользование станком для печатания денег... за все!

И мы выплатим.

И только тогда, когда будет уже очень поздно, мы вновь начнем кой-что созидать, чтобы стать полноправными, чтобы нас пустили опять в версальские залы.

Кто увидит эти светлые дни?

Мы?

О нет! Наши дети, быть может, а быть может, и внуки, ибо размах истории широк и десятилетия она так же легко «читает», как и отдельные годы.

И мы, представители неудачливого поколения, умирая еще в чине жалких банкротов, вынуждены будем сказать нашим детям:

— Платите, платите честно и вечно помните социальную революцию!

Газета «Грозный», 13 ноября 1919 г. Впервые прочитана на Булгаковских чтениях в Ленинграде Г. С. Файманом. Впервые опубликована М. О. Чудаковой в журнале «Москва», 1988, № 11. Сотрудники Научной библиотеки Центрального государственного архива А. В. Седюхи, О. А. Гришина и Л. Д. Семенова сообщили ей, что газета «Грозный» с публикацией М. А. Булгакова хранится в фонде библиотеки.

Публикуется по тексту этой газеты.

В КАФЕ

Кафе в тыловом городе.

Покрытый грязью пол. Туман от табачного дыма. Липкие грязные столики.

Несколько военных, несколько дам и очень много штатских.

На эстраде пианино, виолончель и скрипка играют что-то разухабистое.

Пробираюсь между столиками и усаживаюсь.

К столику подходит барышня в белом передничке и восторженно смотрит на меня.

— Будьте любезны, дайте стакан чаю и два пирожных.

Барышня исчезает, потом возвращается и с таким видом, как будто делает мне одолжение, ставит предо мной стакан с желтой жидкостью и тарелочку с двумя сухими пирожными.

Смотрю на стакан.

Жидкость по виду отдаленно напоминает чай.

Желтая, мутная.

Пробую ложечкой.

Тепленькая, немного сладкая, немного противная.

Закуриваю папиросу и оглядываю публику.

За соседний столик с шумом усаживается компания: двое штатских господ и одна дама.

Дама хорошо одета, шуршит шелком.

Штатские производят самое благоприятное впечатление: рослые, румяные, упитанные. В разгаре призывного возраста. Одеты прелестно.

На столике перед ними появляется тарелка с пирожными и три стакана кофе «по-варшавски».

Начинают разговаривать.

До меня обрывками долетают слова штатского в лакированных ботинках, который сидит поближе ко мне.

Голос озабоченный.

Слышно:

— Ростов... можете себе представить... немцы... китайцы... паника... они в касках... сто тысяч конницы...

И опять:

— Ростов... паника... Ростов... конница...

— Это ужасно, — томно говорит дама. Но видно, что ее мало тревожит и стотысячная конница, и каски. Она, щурясь, курит папироску и блестящими глазами оглядывает кафе.

А лакированные ботинки продолжают шептать.

Фантазия моя начинает играть.

Что было бы, если я внезапно чудом, как в сказке, получил бы вдруг власть над всеми этими штатскими господами?

Ей-богу, это было бы прекрасно!

Тут же в кафе я встал бы и, подойдя к господину лакированных ботинок, сказал:

— Пойдемте со мной!

— Куда? — изумленно спросил бы господин.

— Я слышал, что вы беспокоитесь за Ростов, я слышал, что вас беспокоит нашествие большевиков.

— Это делает вам честь.

— Идемте со мной, — я дам вам возможность записаться немедленно в часть. Там вам моментально дадут винтовку и полную возможность проехать на казенный счет на фронт, где вы можете принять участие в отражении ненавистных всем большевиков.

Воображаю, что после этих слов сделалось бы с господином в лакированных ботинках.

Он в один миг утратил бы свой чудный румянец, и кусок пирожного застрял бы у него в горле.

Оправившись немного, он начал бы бормотать.

Из этого несвязного, но жаркого лепета выяснилось бы прежде всего, что наружность бывает обманчива.

Оказывается, этот цветущий, румяный человек болен... Отчаянно, непоправимо, неизлечимо вдребезги болен! У него порок сердца, грыжа и самая ужасная неврастения. Только чуду можно приписать то обстоятельство, что он сидит в кофейной, поглощая пирожные, а не лежит на кладбище, в свою очередь поглощаемый червями.

И наконец, у него есть врачебное свидетельство!

— Это ничего, — вздохнувши, сказал бы я, — у меня у самого есть свидетельство, и даже не одно, а целых три. И тем не менее, как видите, мне приходится носить английскую шинель (которая, к слову сказать, совершенно не греет) и каждую минуту быть готовым к тому, чтоб оказаться в эшелоне, или еще к какой-нибудь неожиданности военного характера. Плюньте на свидетельства! Не до них теперь! Вы сами только что так безотрадно рисовали положение дел...

Тут господин с жаром залепетал бы дальше и стал бы доказывать, что он, собственно, уже взят на учет и работает на оборону там-то и там-то.

— Стоит ли говорить об учете, — ответил бы я, — попасть на него трудно, а сняться с него и попасть на службу на фронт — один момент!

Что же касается работы на оборону, то вы... как бы выразиться... Заблуждаетесь! По всем внешним признакам, по всему вашему поведению видно, что вы работаете только над набивкой собственных карманов царскими и донскими бумажками. Это, во-первых, а во-вторых, вы работаете над разрушением тыла, шляясь по кофейным и кинематографам и сея своими рассказами смуту и страх, которыми вы заражаете всех окружающих. Согласитесь сами, что из такой работы на оборону ничего, кроме пакости, получиться не может!

Нет! Вы, безусловно, не годитесь для этой работы. И единственно, что вам остается сделать, это отправиться на фронт!

Тут господин стал бы хвататься за соломинку и заявил, что он пользовался льготой (единственный сын у покойной матери, или что-то в этом роде) и наконец, что он и винтовки-то в руках держать не умеет.

— Ради Бога, — сказал бы я, — не говорите вы ни о каких льготах. Повторяю вам, не до них теперь!

Что касается винтовки, то это чистые пустяки! Уверяю вас, что ничего нет легче на свете, чем выучиться стрелять из винтовки. Говорю вам это на основании собственного опыта. Что же касается военной службы, то что ж поделаешь! Я тоже не служил, а вот приходится... Уверяю вас, что меня нисколько не привлекает война и сопряженные с нею беспокойства и бедствия.

Но что поделаешь! Мне самому не очень хорошо, но приходится привыкать!

Я не менее, а может быть, даже больше вас люблю спокойную мирную жизнь, кинематографы, мягкие диваны и кофе по-варшавски!

Но, увы, я не могу ничем этим пользоваться всласть!

И вам и мне ничего не остается, как принять участие так или иначе в войне, иначе нахлынет на нас красная туча, и вы сами понимаете, что будет...

Так говорил бы я, но, увы, господина в лакированных ботинках я не убедил бы.

Он начал бы бормотать или наконец понял бы, что он не хочет... не может... не желает идти воевать...

— Ну-с, тогда ничего не поделаешь, — вздохнув, сказал бы я, — раз я не могу вас убедить, вам просто придется покориться обстоятельствам!

И, обратившись к окружающим меня быстрым исполнителям моих распоряжений (в моей мечте я, конечно, представил и их как необходимый элемент), я сказал бы, указывая на совершенно убитого господина:

— Проводите господина к воинскому начальнику!

Покончив с господином в лакированных ботинках, я обратился бы к следующему...

Но, ах, оказалось бы, что я так увлекся разговором, что чуткие штатские, услышав только начало его, бесшумно, один за другим, покинули кафе.

Все до одного, все решительно!

.....
Трио на эстраде после антракта начало «Танго». Я вышел из задумчивости. Фантазия кончилась.

Дверь в кафе все хлопала и хлопала.

Народу прибывало. Господин в лакированных ботинках постучал ложечкой и потребовал еще пирожных...

Я заплатил двадцать семь рублей и, пробравшись между занятыми столиками, вышел на улицу.

Впервые опубликован в «Кавказской газете» (Владикавказ) 5/18 января 1920 г., № 4(84). Републикован в журнале «Москва», 1993, № 4. Публикация А. Кручинина.

Публикуется по тексту журнала «Москва».

НЕДЕЛЯ ПРОСВЕЩЕНИЯ

Заходит к нам в роту вечером наш военком и говорит мне:

— Сидоров!

А я ему:

— Я!

Посмотрел он на меня пронзительно и спрашивает:

— Ты, — говорит, — что?

— Я, — говорю, — ничего...

— Ты, — говорит, — неграмотный?

Я ему, конечно:

— Так точно, товарищ военком, неграмотный.

Тут он на меня посмотрел еще раз и говорит:

— Ну, коли ты неграмотный, так я тебя сегодня вечером отправлю на «Травиату»!

— Помилуйте, — говорю, — за что же? Что я неграмотный, так мы этому не причинны. Не учили нас при старом режиме.

А он отвечает:

— Дурак! Чего испугался? Это тебе не в наказание, а для пользы. Там тебя просвещать будут, спектакль посмотришь, вот тебе и удовольствие.

А мы как раз с Пантелеевым из нашей роты нацелились в этот вечер в цирк пойти.

Я и говорю:

— А нельзя ли мне, товарищ военком, в цирк уволнительно вместо театра?

А он прищурил глаз и спрашивает:

— В цирк?.. Это зачем же такое?

— Да, — говорю, — уж больно занятно... Ученого слона выводить будут, и опять же рыжие, французская борьба...

Помахал он пальцем.

— Я тебе, — говорит, — покажу слона! Несознательный элемент! Рыжие... рыжие! Сам ты рыжая деревенщина! Слоны-то ученые, а вот вы, горе мое, неученые! Какая тебе польза от цирка? А? А в театре тебя просвещать будут... Мило, хорошо... Ну, одним словом, некогда мне с тобой долго разговаривать... Получай билет, и марш!

Делать нечего — взял я билетик. Пантелеев, он тоже неграмотный, получил билет, и отправились мы. Купили три стаканчика семечек и приходим в «Первый советский театр».

Видим, у загородки, где впускают народ, — столпотворение вавилонское. Валом лезут в театр. И среди наших неграмотных есть и грамотные, и все больше барышни. Одна было и сунулась к контролеру, показывает билет, а тот ее и спрашивает:

— Позвольте, — говорит, — товарищ мадам, вы грамотная?

А та сдуру обиделась:

— Странный вопрос! Конечно, грамотная. Я в гимназии училась!

— А, — говорит контролер, — в гимназии. Очень приятно. В таком случае позвольте вам пожелать до свидания!

И забрал у нее билет.

— На каком основании, — кричит барышня, — как же так?

— А так, — говорит, — очень просто, потому пускаем только неграмотных.

— Но я тоже хочу послушать оперу или концерт.

— Ну, если вы, — говорит, — хотите, так пожалуйста в Кавсоюз. Туда всех ваших грамотных собрали — доктора там, фершала, профессора. Сидят и чай с патокою пьют, потому им сахару не дают, а товарищ Куликовский им романсы поет.

Так и ушла барышня.

Ну, а нас с Пантелеевым пропустили беспрепятственно и прямо провели в партер и посадили во второй ряд.

Сидим.

Представление еще не начиналось, и потому от скуки по стаканчику семечек сжевали. Посидели мы так часика полтора, наконец стемнело в театре.

Смотрю, лезет на главное место огороженное какой-то.

В шапочке котиковой и в пальто. Усы, бородка с проседью и из себя строгий такой. Влез, сел и первым делом на себя пенсне одел.

Я и спрашиваю Пантелеева (он хоть и неграмотный, но все знает):

— Это кто же такой будет?

А он отвечает:

— Это дери, — говорит, — жер. Он тут у них самый главный. Серьезный господин!

— Что ж, — спрашиваю, — почему ж это его напоказ сажают за загородку?

— А потому, — отвечает, — что он тут у них самый грамотный в опере. Вот его для примеру нам, значит, и выставляют.

— Так почему ж его задом к нам посадили?

— А, — говорит, — так ему удобнее оркестром хороводить!..

А дирижер этот самый развернул перед собой какую-то книгу, посмотрел в нее и махнул белым прутиком, и сейчас же под полом заиграли на скрипках. Жалобно, тоненько, ну прямо плакать хочется.

Ну, а дирижер этот действительно в грамоте оказался не последний человек, потому два дела сразу делает — и книжку читает, и прутом размахивает. А оркестр нажаривает. Дальше — больше! За скрипками на дудках, а за дудками на барабанах. Гром пошел по всему театру. А потом как рывкнет с правой стороны... Я глянул в оркестр и кричу:

— Пантелеев, а ведь это, побей меня Бог, Ломбард, который у нас на пайке в полку!

А он тоже заглянул и говорит:

— Он самый и есть! Окромья его, некому так здорово врезать на тромбоне!

Ну, я обрадовался и кричу:

— Bravo, бис, Ломбард!

Но только, откуда ни возьмись, милиционер, и сейчас ко мне:

— Прошу вас, товарищ, тишины не нарушать!

Ну, замолчали мы.

А тем временем занавеска раздвинулась, и видим мы на сцене — дым коромыслом! Которые в пиджаках кавалеры, а

которые дамы в платьях танцуют, поют. Ну, конечно, и выпивка тут же, и в девятку то же самое.

Одним словом, старый режим!

Ну, тут, значит, среди прочих Альфред. Тоже пьет, закусывает.

И оказывается, братец ты мой, влюблен он в эту самую Травиату. Но только на словах этого не объясняет, а все пением, все пением. Ну, и она ему то же в ответ.

И выходит так, что не миновать ему жениться на ней, но только есть, оказывается, у этого самого Альфреда папаша, по фамилии Любченко. И вдруг, откуда ни возьмись, во втором действии он и шашь на сцену.

Роста небольшого, но представительный такой, волосы седые, и голос крепкий, густой — беривтон.

И сейчас же и запел Альфреду:

— Ты что ж, такой-сякой, забыл край милый свой?

Ну, пел, пел ему и расстроил всю эту Альфредову махинацию, к черту. Напился с горя Альфред пьяный в третьем действии и устрой он, братцы вы мои, скандал здоровеннейший — этой Травиате своей.

Обругал ее, на чем свет стоит, при всех.

Поет:

— Ты, — говорит, — и такая и эдакая, и вообще, — говорит, — не желаю больше с тобой дела иметь.

Ну, та, конечно, в слезы, шум, скандал!

И заболел она с горя в четвертом действии чахоткой. Послали, конечно, за доктором.

Приходит доктор.

Ну, вижу я, хоть он и в сюртуке, а по всем признакам наш брат — пролетарий. Волосы длинные, и голос здоровый, как из бочки.

Подошел к Травиате и запел:

— Будьте, — говорит, — покойны, болезнь ваша опасная, и непременно вы померете!

И даже рецепта никакого не прописал, а прямо попрощался и вышел.

Ну, видит Травиата, делать нечего — надо помирать.

Ну, тут пришли и Альфред и Любченко, просят ее не помирать. Любченко уж согласие свое на свадьбу дает. Но ничего не выходит!

— Извините, — говорит Травиата, — не могу, должна помереть

И действительно, попели они еще втроем, и померла Травиата.

А дирижер книгу закрыл, пенсне снял и ушел. И все разошлись. Только и всего.

Ну, думаю: слава Богу, просветились, и будет с нас! Скучная история!

И говорю Пантелееву:

— Ну, Пантелеев, айда завтра в цирк!

Лег спать, и все мне снится, что Травиата поет и Ломбард на своем тромбоне крикает.

Ну-с, прихожу я на другой день к военному и говорю:

— Позвольте мне, товарищ военком, сегодня вечером в цирк увольниться...

А он как рыкнет:

— Все еще, — говорит, — у тебя слоны на уме! Никаких цирков! Нет, брат, пойдешь сегодня в Совпроф на концерт. Там вам, — говорит, — товарищ Блох со своим оркестром Вторую рапсодию играть будет!

Так я и сел, думаю:

«Вот тебе и слоны!»

— Это что ж, — спрашиваю, — опять Ломбард на тромбоне нажаривать будет?

— Обязательно, — говорит.

Оказия, прости Господи, куда я, туда и он с своим тромбоном!

Взглянул я и спрашиваю:

— Ну, а завтра можно?

— И завтра, — говорит, — нельзя. Завтра я вас всех в драму пошлю.

— Ну, а послезавтра?

— А послезавтра опять в оперу!

И вообще, говорит, довольно вам по циркам шлаться. Настала неделя просвещения.

Осатанел я от его слов! Думаю: этак пропадешь совсем. И спрашиваю:

— Это что ж, всю нашу роту гонять так будут?

— Зачем, — говорит, — всех! Грамотных не будут. Грамотный и без Второй рапсодии хорош! Это только вас, чер-

тей неграмотных. А грамотный пусть идет на все четыре стороны!

Ушел я от него и задумался. Вижу, дело табак! Раз ты неграмотный, выходит, должен ты лишиться всякого удовольствия...

Думал, думал и придумал.

Пошел к военному и говорю:

— Позвольте заявить!

— Заявляй!

— Дозвольте мне, — говорю, — в школу грамоты.

Улыбнулся тут военком и говорит:

— Молодец! — и записал меня в школу.

Ну, походил я в нее, и что вы думаете, выучили-таки! И теперь мне черт не брат, потому я грамотный!

*Газета «Коммунист», Владикавказ,
1 апреля 1921.*

Печатается по изданию: Юность, 1974, № 7.

Публикация Л. Яновской.

Другие публикаторы дают подзаголовок: Простодушный рассказ. См М. А. Булгаков. Повести. Рассказы. Фельетоны. СП, М., 1988, с. 148.



ТОРГОВЫЙ РЕНЕССАНС

(Москва в начале 1922-го года)

Для того, кто видел Москву всего каких-нибудь полгода назад, теперь она неузнаваема, настолько резко успела изменить ее новая экономическая политика (нэпо, по сокращению, уже получившему права гражданства у москвичей).

Началось это постепенно... понемногу... То тут, то там стали отваливаться деревянные щиты, и из-под них глянули на свет после долгого перерыва запыленные и тусклые магазинные витрины. В глубине запущенных помещений загорелись лампочки, и при свете их зашевелилась жизнь: стали приколачивать, прибивать, чинить, распаковывать ящики и коробки с товарами. Вымытые витрины засияли. Вспыхнули сильные круглые лампы над выставками или узкие ослепительные трубки по бокам окон.

Трудно понять, из каких таинственных недр обнищавшая Москва ухитрилась извлечь товар, но она достала его и щедрой рукой вытряхнула за зеркальные витрины и разложила на полках.

Зашевелились Кузнецкий, Петровка, Неглинный, Лубянка, Мясницкая, Тверская, Арбат. Магазины стали расти как грибы, окропленные живым дождем нэпо... Государственные, кооперативные, артельные, частные... За кондитерскими, которые первые повсюду загорелись огнями, пошли галантерейные, гастрономические, писчебумажные, шляпные, парикмахерские, книжные, технические и, наконец, огромные универсальные.

На оголенные стены цветной волной полезли вывески, с каждым днем новые, с каждым днем все больших размеров. Кое-где они сделаны на скорую руку, иногда просто написаны на полотне, но рядом с ними появились постоянные, по новому правописанию, с яркими аршинными

буквами. И прибиты они огромными, прочными костылями.

Надолго, значит.

И старые погнувшиеся и облупленные железные листы среди них как будто подтягиваются и оживают, и хилые твердые знаки так странно режут глаз.

Дальше больше, шире...

Не узнать Москвы. Москва торгует...

На Кузнецком целый день кипит на обледеневших тротуарах толчея пешеходов, извозчики едут вереницей, и автомобили летят, хрипят сигналы.

За сотенными цельными стеклами буйная гамма ярких красок: улыбаются раскрашенными ликами фигурки-игрушки артелей кустарей. Выше, в бывшем магазине Шанкса, из огромных витрин тучей глядят дамские шляпы, чулки, ботинки, меха. Это один из универсальных магазинов. Моск. потр. общ. Оно открыло восемь таких магазинов по всей Москве.

На Петровке в сумеречные часы дня из окон на черные от народа тротуары льется непрерывный электрический свет. Блестят окна конфексионеров. Сотни флаконов с лучшими заграничными духами граненых, молочно-белых, желтых, разных причудливых форм и фасонов. Волны материй, груды галстуков, кружева, ряды коробок с пудрой. А вон безжизненно-томно сияют раскрашенные лица манекенов, и на плечи их наброшены бесценные по нынешним временам палантины.

Ожили пассажи.

Громада «Мюр и Мерилиза» еще безмолвно и пусто чернеет своими громадными стеклами, но уже в нижнем этаже исчезли из витрины гигантские раскрашенные карикатуры на Нуланса и По, а из дверей выметают сор. И Москва знает уже, что в феврале здесь откроют универсальный магазин Мосторга с 25 отделениями и прежние директора Мюра войдут в его правление.

Кондитерские на каждом шагу. И целые дни и до закрытия они полны народу. Полки завалены белым хлебом, калачами, французскими булками. Пирожные бесчисленными рядами устилают прилавки. Все это чудовищных цен. Но цены в Москве давно уже никого не пугают, и сказочные, астрономические цифры миллионов (этого слова уже давно

нет в Москве, оно окончательно вытеснено словом «лимон») пропускают за день блестящие, неустанно щелкающие кассы.

В бывшей булочной Филиппова на Тверской, до потолка заваленной белым хлебом, тортами, пирожными, сухарями и баранками, стоят непрерывные хвосты.

Выставки гастрономических магазинов поражают своей роскошью. В них горы коробок с консервами, черная икра, семга, балык, копченая рыба, апельсины. И всегда у окон этих магазинов как зачарованные стоят прохожие и смотрят не отрываясь на деликатесы...

Все 34 гастрономических магазина М.П.О. и частные уже оповестили в объявлениях о том, что у них есть и русское и заграничное вино, и москвичи берут его нарасхват.

В конце ноября «Известия» в первый раз вышли с объявлениями, и теперь ими пестрят страницы всех газет и торговых бюллетеней. А самолеты авиационной группы «Воздушный флот» уже сделали первый опыт разброски объявлений над Москвой, и теперь открыт прием объявлений «С аэроплана». Строка такого объявления стоит 15 руб. на новые дензнаки.

Движение на улицах возрастает с каждым днем. Идут трамваи по маршрутам 3, 6, 7, 16, 17, А и Б, и извозчики во все стороны везут москвичей и бойко торгуются с ними:

— Пожалуйте, господин! Рублик без лишнего (100 тыс.)! Со мной ездили!

У «Метрополя», у Воскресенских ворот, у Страстного монастыря, — всюду на перекрестках воздух звенит от гомона бесчисленных торговцев газетами, папиросами, тянучками, булками.

У Ильинских ворот стоят женщины с пирожками в две шеренги. А на Ильинке с серого здания с колоннами исчезла надпись «Горный совет» и повисла другая, с огромными буквами: «Биржа», и в нем идут биржевые собрания и проходят через маклеров миллиардные сделки.

До поздней ночи движется, покупает, продает, толчется в магазинах московский люд. Но и поздним вечером, когда стрелки на освещенных уличных часах неуклонно ползут к полночи, когда уже закрыты все магазины, все еще живет неутомимая Тверская.

И режут воздух крики мальчишек:

— «Ира» рассыпная! «Ява»! «Мурсал»!

Окна бесчисленных кафе освещены, и из них глухо слышится взвизгивание скрипок.

До поздней ночи шевелится, покупает и продает, ест и пьет за столиками народ, живущий в невиданном еще никогда торгово-красном Китай-городе.

Москва, 14/1 1922 г.

Публикуется по автографу: М. Булл.
ОР РГБ, ф. 562, к. 1, ед. хр.2.



РАБОЧИЙ ГОРОД-САД

(Закладка 1-го в Республике рабочего поселка)

ИСТОРИЯ ЕГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ

Мысль организовать под Москвой рабочий поселок зародилась у группы служащих и рабочих 3-х крупных предприятий: завода «Богатырь», электрической станции «86 года» и интендантских вещевых складов.

Это было еще в 1914 году. Конечно, никакого города создать при старом правительстве не удалось. В 1917 году, когда вспыхнула революция, мысль о поселке вновь окрепла. Но временное правительство утвердило устав поселка «Дружба 1-го марта 1917 года», отстроило великолепный поселок на канцелярской бумаге, и этим дело икончилось. Двинулось оно дальше с октябрьским переворотом. Наркомзем, выяснив всю важность создания рабочего поселка, пошел навстречу инициативной группе и в 1918 году на Погонно-Лосином острове, у станции Перловка, отпустил 102 десятины земли.

Это был слишком лакомый кусок, и создателям города пришлось вести большую войну с губернским лесничеством, потом с уездным и, наконец, с окрестными кулаками-крестьянами. Землю удалось отстоять при помощи Наркомзема. Только в конце 21-го года инициативная группа почувствовала себя прочно. Совнарком отпустил ссуду в 10 миллиардов.

Тогда инициаторы этого огромного дела, во главе которого стоял и, не покладая рук, работал Сергей Шестеркин, бывший смазчик на заводе «Богатырь», приступили к практическому осуществлению своей заветной мысли.

ЧТО ТАКОЕ ГОРОД-САД?

На 102 десятинах земли на средства, собранные путем взносов рабочих, желающих поселиться, будут построены

домики по образцу английских. Среди домов, предназначенных для семейных, будут общежития для холостых. Будет собственная электрическая станция, школа, больница, прачечные. Поселок рассчитывается на полторы тысячи человек. К концу этого года организаторы полагают поселить в нем первых 200 человек рабочих и служащих с «Богатыря», с электрической станции и вещевых складов.

РАБОТЫ ПО УСТРОЙСТВУ

Правление закупило старые дачи на Лосином острове и приступает к переносу их на территорию города. Начинаются работы по выкорчевыванию площади, начаты постройки.

ТОРЖЕСТВО В ПЕРЛОВКЕ

Приходящие на станцию Перловка из душной Москвы поезда выбрасывают на платформу группы гостей. Мимо домиков, тонущих в сосновой зелени, все идут к даче быв. Сергеева. Веранда ее украшена зеленью, и далеко кругом разносятся звуки музыки. У входа плещутся красные флаги.

В 3 часа все съехались. На террасе, битком набитой будущими жителями города-сада, наступает тишина.

Шестеркин приветствует приехавших гостей.

Выступает т. Дивильковский, помощник управляющего делами Совнаркома, и говорит:

— Мы не можем не выразить удивления и восхищения той энергии, которую проявили устроители первого в республике рабочего города. Несмотря на все тяжести дикой разрухи, которую мы переживаем, им удалось преодолеть все препятствия и осуществить свою заветную мысль: дать возможность рабочим жить не в чердаках и подвалах, в которых они задыхались всегда, а в зелени, в просторе и чистоте. Да здравствует энергия пролетариата! Да здравствует Советская власть, которая позволила осуществить прекрасную идею!

Вслед за Дивильковским говорят приветствия другие гости: член РКП Вознесенский, председатель уездного совета, представитель от МКХ, от Центросоюза.

После каждой речи гремит «Интернационал».

ЗАКЛАДКА ПОСЕЛКА

Рабочие, служащие, гости строятся в ряды, впереди колышались красные плакаты, и все идут к месту закладки, где уже выделен первый фундамент.

Опять говорятся речи, и после них т. Дивильковский закладывает в фундамент первого здания в рабочем городе металлическую доску с вырезанной на ней надписью:

Михаил Булл.

«РСФСР. 1922 года, мая, 28-го дня, произведена закладка поселка «Дружба 1-го марта 1917 года» — рабочего города-сада. Правление».

Газета «Рабочий», 30 мая 1922 г.



НЕОБЫКНОВЕННЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДОКТОРА

Доктор N, мой друг, пропал. По одной версии его убили, по другой — он утонул во время посадки в Новороссийске, по третьей — он жив и здоров и находится в Буэнос-Айресе.

Как бы там ни было, чемодан, содержащий в себе 3 ночных сорочки, бритвенную кисточку, карманную рецептуру доктора Рабова (изд. 1916 г.), две пары носков, фотографию профессора Мечникова, окаменевшую французскую булку, роман «Марья Лусьева за границей», 6 порошков пирамидона по 0,3 и записную книжку доктора, попал в руки его сестры.

Сестра послала записную книжку по почте мне вместе с письмом, начинавшимся словами: «Вы литератор и его друг, напечатайте, т. к. это интересно»... (Дальше женские рассуждения на тему «О пользе чтения», пересыпанные пятнами от слез.)

Я не нахожу, чтоб это было особенно интересно — некоторые места совершенно нельзя разобрать (у доктора N отвратительный почерк), тем не менее печатаю бессвязные записки из книжки доктора без всяких изменений, лишь разбив их на главы и переименовав их.

Само собой, что гонорар я отправлю доктору N в Буэнос-Айрес, как только получу точные сведения, что он действительно там.

I. БЕЗ ЗАГЛАВИЯ — ПРОСТО ВОПЛЬ

За что ты гонишь меня, судьба?! Почему я не родился сто лет тому назад? Или еще лучше: через сто лет. А еще лучше, если б я совсем не родился. Сегодня один тип мне сказал:

«Зато вам будет что порассказать вашим внукам!» Болван такой! Как будто единственная мечта у меня — это под старость рассказывать внукам всякий вздор о том, как я висел на заборе!..

И притом не только внуков, но даже и детей у меня не будет, потому что, если так будет продолжаться, меня, несомненно, убьют в самом ближайшем времени...

К черту внуков. Моя специальность — бактериология. Моя любовь — зеленая лампа и книги в моем кабинете. Я с детства ненавидел Фенимора Купера, Шерлока Холмса, тигров и ружейные выстрелы, Наполеона, войны и всякого рода молодецкие подвиги матроса Кошки.

У меня нет к этому склонности. У меня склонность к бактериологии.

А между тем...

Погасла зеленая лампа. «Химиотерапия спириллезных заболеваний» валяется на полу. Стреляют в переулке. Меня мобилизовала пятая по счету власть.

.....

II. ЙОД СПАСЕТ ЖИЗНЬ

Вечер... декабря.

Пятую власть выкинули, а я чуть жизни не лишился... К пяти часам дня все спуталось. Мороз. На восточной окраине пулеметы стрекотали. Это — «ихние». На западной пулеметы — «наши». Бегут какие-то с винтовками. Вообще — вздор. Извозчики едут. Слышу, говорят: «Новая власть тут...»

«Ваша часть (какая, к черту, она моя!!) на Владимирской». Бегу по Владимирской и ничего не понимаю. Суматоха какая-то. Спрашиваю всех, где «моя» часть... Но все летят, и никто не отвечает. И вдруг вижу — какие-то с красными хвостами на шапках пересекают улицу и кричат:

— Держи его! Держи!

Я оглянулся — кого это?

Оказывается — меня!

Тут только я сообразил, что надо было делать — просто-напросто бежать домой! И я кинулся бежать. Какое счастье, что догадался юркнуть в переулок. А там сад. Забор. Я на забор.

Те кричат:

— Стой!

Но как я ни неопытен во всех этих войнах, а понял инстинктом, что стоять вовсе не следует. И через забор. Вслед: трах! трах! И вот откуда-то злобный, взъерошенный белый пес ко мне. Ухватился за шинель, рвет вдребезги. Я свесился с забора. Одной рукой держусь, в другой банка с йодом (200 гр.) Великолепный германский йод. Размышлять некогда. Сзади топот. Погубит меня пес. Размахнулся и ударил его банкой по голове. Пес моментально окрасился в рыжий цвет, взвыл и исчез. Я через сад. Калитка. Переулок. Тишина. Домой...

...До сих пор не могу отдышаться!

...Ночью стреляли из пушек на юге, но чьи это — уж не знаю. Безумно йода жаль.

III. НОЧЬ СО 2 НА 3

Происходит что-то неопишемое... Новую власть тоже выгнали. Хуже нее ничего на свете не может быть. Слава Богу. Слава Богу. Слава...

Меня мобилизовали вчера. Нет, позавчера. Я сутки провел на обледеневшем мосту. Ночью 15 градусов ниже нуля (по Реомюру) с ветром. В пролетах свистело всю ночь. Город горел огнями на том берегу. Слободка на этом. Мы были посредине. Потом все побежали в город. Я никогда не видел такой давки. Конные. Пешие. И пушки ехали, и кухни. На кухне сестра милосердия. Мне сказали, что меня заберут в Галицию. Только тогда я догадался бежать. Все ставни были закрыты, все подъезды были заколочены. Я бежал у церкви с пухлыми белыми колоннами. Мне стреляли вслед. Но не попали. Я спрятался во дворе под навесом и просидел там два часа. Когда луна скрылась, вышел. По мертвым улицам бежал домой. Ни одного человека не встретил. Когда бежал, размышлял о своей судьбе. Она смеется надо мной. Я — доктор, готовлю диссертацию, ночью сидел, как крыса, притаившись, в чужом дворе! Временами я жалею, что я не писатель. Но, впрочем, кто поверит! Я убежден, что, попадись эти мои заметки кому-нибудь в руки, он подумает, что я все это выдумал.

Под утро стреляли из пушек.

IV. ИТАЛЬЯНСКАЯ ГАРМОНИКА

15 февраля.

Сегодня пришел конный полк, занял весь квартал. Вечером ко мне на прием явился один из 2-го эскадрона (эмфизема). Играл в приемной, ожидая очереди, на большой итальянской гармонии. Великолепно играет этот эмфизематик («На солках Маньчжурии»), но пациенты были страшно смущены, и выслушивать совершенно невозможно. Я принял его вне очереди. Моя квартира ему очень понравилась. Хочет переселиться ко мне со взводным. Спрашивает, есть ли у меня граммофон...

Эмфизематику лекарство в аптеке сделали в двадцать минут и даром. Это замечательно, честное слово!

17 февраля.

Спал сегодня ночью — граммофон внизу сломался.

Достал бумажки с 18 печатями о том, что меня нельзя уплотнить, и наклеил на парадной двери, на двери кабинета и в столовой.

21 февр.

Меня уплотнили...

22 февр.

...И мобилизовали.

...марта.

Конный полк ушел воевать с каким-то атаманом. За полком на подводе ехал граммофон и играл «Вы просите песен». Какое все-таки приятное изобретение!

Из пушек стреляли под утро...

V

.....
.....

VI

Артиллерийская подготовка и сапоги

.....
.....

VII

Кончено. Меня увозят
.....
...Из пушек
...и

VIII. ХАНКАЛЬСКОЕ УЩЕЛЬЕ

Сентябрь.

Временами мне кажется, что все это сон. Бог грозный на-
воротил горы. В ущельях плывут туманы. В прорезях гор
грозовые тучи. И бурно плещет по камням

...мутный вал.
Злой чечен ползет на берег,
Точит свой кинжал.

Узун-Хаджи в Чечен-ауле. Аул растянулся на плоскости
на фоне синеватой дымки гор. В плоском Ханкальском уще-
лье пылят по дорогам арбы, двуколки. Кизлярогребенские
казаки стали на левом фланге, гусары на правом. На вытоп-
танных кукурузных полях батареи. Бьют шрапнелью по
Узуну. Чеченцы как черти дерутся с «белыми чертями».
У речонки, на берегу которой валяется разбухший труп ло-
шади, на двуколке треплется краснокрестный флаг. Сюда
волокут ко мне окровавленных казаков, и они умирают у
меня на руках.

Грозовая туча ушла за горы. Льет жгучее солнце, и я
жадно глотаю смрадную воду из манерки. Мечутся две се-
стры, поднимают бессильные свесившиеся головы на со-
ломе двуколок, перевязывают белыми бинтами, поят
водой.

Пулеметы гремят дружно целой стаей.

Чеченцы шпарят из аула. Бьются отчаянно. Но ничего не
выйдет. Возьмут аул и зажгут. Где ж им с двумя паршивыми
трехдюймовками устоять против трех батарей кубанской
пехоты...

С гортанными воплями понесся их лихой конный полк
вытоптанными, выжженными кукурузными пространства-

ми. Ударил с фланга в терских казачков. Те чуть теку не дали. Но подсыпали кубанцы, опять застрочили пулеметы и загнали наездников за кукурузные поля на плато, где видны в бинокль обреченные сакли.

Ночь.

Все тише, тише стрельба. Гуще сумрак, таинственнее тени. Потом бархатный полог и бескрайний звездный океан. Ручей сердито плещет. Фыркают лошади, а на правой стороне в кубанских батальонах горят, мигая, костры. Чем черней, тем страшней и тоскливей на душе. Наш костер трещит. Дымом то на меня потянет, то в сторону отнесет. Лица казаков в трепетном свете изменчивые, странные. Вырываются из тьмы, опять ныряют в темную бездну. А ночь нарастает безграничная, черная, ползучая. Шалит, пугает. Ущелье длинное. В ночных бархатах — неизвестность. Тыла нет. И начинает казаться, что оживает за спиной дубовая роща. Может, там уже ползут, припадая к росистой траве, тени в черкесках. Ползут, ползут... И глазом не успеешь моргнуть: вылетят бешеные тени, распаленные ненавистью, с воем, с визгом и... аминь!

Тьфу, черт возьми!

— Поручиться нельзя, — философски отвечает на кой-какие дилетантские мои соображения относительно непорочности и каверзости этой ночи сидящий у костра Терского 3-го конного казачок, — заскочить с хлангу. Бывало.

Ах, типун на язык! «С хлангу!» Господи Боже мой! Что же это такое! Навоз жуют лошади, дула винтовок в огненных отблесках. «Поручиться нельзя!» Туманы в тьме. Узун-Хаджи в роковом ауле...

Да что я, Лермонтов, что ли! Это, кажется, по его специальности? При чем здесь я!!

Заваливаюсь на брезент, съеживаюсь в шинели и начинаю глядеть в бархатный купол с алмазными брызгами. И тотчас взвивается надо мной мутно-белая птица тоски. Встает зеленая лампа, круг света на глянцеватых листьях, стены кабинета... Все полетело верхним концом вниз и к чертовой матери! За тысячи верст на брезенте, в страшной ночи. В Ханкальском ущелье...

Но все-таки наступает сон. Но какой? То лампа под аба-

журом, то гигантский темный абажур ночи и в нем пляшущий огонь костра. То тихий скрип пера, то треск огненных кукурузных стеблей. Вдруг утонешь в мутноватой сонной мгле, но вздрогнешь и вскинешься. Загремели шашки, взвыли гортанные голоса, засверкали кинжалы, газыри с серебряными головками... Ах!.. Напали!

...Да нет! Это чудится... Все тихо. Пофыркивают лошади, рядами лежат черные бурки — спят истомленные казаки. И золой покрываются угли, и холодом тянет сверху. Встает бледный далекий рассвет.

Усталость нечеловеческая. Уж и на чеченцев наплевать. Век не поднимешь — свинец. Пропадает из глаз умирающий костер... Наскочат с «хлангу», как кур зарежут. Ну и зарежут. Какая разница...

Противный этот Лермонтов. Всегда терпеть не мог. Хаджи. Узун. В красном переплете в одном томе. На переплете золотой офицер с незрячими глазами и эполеты крылышками. «Тебя я, вольный сын эфира». Слякка-то с эфиром лопнула на солнце... Мягче, мягче, глуше, темней. Сон.

IX. ДЫМ И ПУХ

Утро.

Готово дело. С плато поднялись клубы черного дыма. Терцы поскакали за кукурузные пространства. Опять взвыл пулемет, но очень скоро перестал.

Взяли Чечен-аул...

И вот мы на плато. Огненные столбы взлетают к небу. Пылают белые домики, заборы, трещат деревья. По кривым улочкам метет пламенная вьюга, отдельные дымки свивают в одну тучу, и ее тихо относит на задний план к декорации оперы «Демон».

Пухом полна земля и воздух. Лихие гребенские станичники проносятся вихрем к аулу, потом обратно. За седлами, пачками связанные, в ужасе воют куры и гуси.

У нас на стоянке с утра идет лукулловский пир. Пятнадцать кур бухнули в котел. Золотистый, жирный бульон — объедение. Кур режет Шугаев, как Ирод младенцев.

А там, в таинственном провале между массивами, по склонам которых ползет и тает клочковатый туман, пылая мщением, уходит таинственный Узун со всадниками.

Голову даю на отсечение, что все это кончится скверно. И поделом — не жги аулов.

Для меня тоже кончится скверно. Но с этой мыслью я уже помирился. Стараюсь внушить себе, что это я вижу сон. Длинный и скверный.

Я всегда говорил, что фельдшер Голендрюк — умный человек. Сегодня ночью он пропал без вести. Но хотя вести он и не оставил, я догадываюсь, что он находится на пути к своей заветной цели, именно на пути к железной дороге, на конце которой стоит городок. В городке его семейство. Начальство приказало мне «произвести расследование». С удовольствием. Сижу на ящике с медикаментами и произвожу. Результат расследования: фельдшер Голендрюк пропал без вести. В ночь с такого-то на такое-то число. Точка.

Х. ДОСТУКАЛСЯ И ДО ЧЕЧЕНЦЕВ

Жаркий, сентябрьский день.

...Скандал! Я потерял свой отряд. Как это могло произойти? Вопрос глупый, здесь все может произойти. Что угодно. Коротко говоря: нет отряда.

Над головой раскаленное солнце, кругом выжженная травка. Забытая коля. У колеи двуколка, в двуколке я, санитар Шугаев и бинокль. Но главное — ни души. Ну ни души на плато. Сколько ни шарили стекла Цейса — ни черта. Сквозь землю провалились все. И десяти тысячный отряд с пушками, и чеченцы. Если бы не дымок от догорающего в верстах пяти Чечена, я бы подумал, что здесь и никогда вообще людей не бывало.

Шугаев встал во весь рост в двуколке, посмотрел налево, повернулся на 180 градусов, посмотрел и направо, и назад, и вперед, и вверх и слез со словами:

— Паршиво.

Лучше ничего сказать нельзя. Что произойдет в случае встречи с чеченцами, у которых спалили пять аулов, предсказать не трудно. Для этого не нужно быть пророком...

Что же, буду записывать в книжечку до последнего. Это интересно.

Поехали наобум.

...Ворон взмыл кверху. Другой вниз. А вон и третий. Чего это они крутятся? Подъезжаем. У края брошенной заросшей дороги лежит чеченец. Руки разбросал крестом. Голова закинута. Лохмотья черной черкески. Ноги голые. Кинжала нет. Патронов в газырях нет. Казачки народ запасливый, вроде гоголевского Осипа:

— И веревочка пригодится.

Под левой скулой черная дыра, от нее на грудь, как орденская лента, тянется выгоревший под солнцем кровавый след. Изумрудные мухи суетятся, облепив дыру. Раздраженные вороны выются невысоко, покрикивают...

Дальше!

...Цейс галлюцинирует! Холм, а на холме на самой вершине — венский стул! Кругом пустыня! Кто на гору затащил стул? Зачем?..

...Объехали холм осторожно. Никого. Уехали, а стул все лежит.

Жарко. Хорошо, что полную манерку захватил.

Под вечер.

Готово! Налетели. Вот они, горы, в двух шагах. Вон ущелье. А из ущелья катят. Кони-то, кони! Шашки в серебре... Интересно, кому достанется моя записная книжка? Так никто и не прочтет! У Шугаева лицо цвета зеленоватого. Вероятно, и у меня такое же. Машинально пошевелил браунинг в кармане. Глупости. Что он поможет! Шугаев дернулся. Хотел погнать лошадей и замер.

Глупости. Кони у них — смотреть приятно. Куда ускачешь на двух обозных? Да и шагу не сделаешь. Вскинет любой винтовку, приложится, и кончен бал.

— Э-хе-хе, — только и произнес Шугаев.

Заметили. Подняли пыль. Летят к нам. Доскакали. Зубы белые сверкают, серебро сверкает. Глянул на солнышко. До свиданья, солнышко...

...И чудеса в решетке!.. Наскакали, лошади кругом танцуют. Не хватают... галдят:

— Та-ла-га-га!

Черт их знает, что они хсят. Впился рукой в кармане в ручку браунинга, предохранитель на огонь перевел. Схватят — суну в рот. Так оно лучше. Так научили.

А те галдят, в грудь себя бьют, зубы скалят, указывают вдаль.

— А-ля-ма-мя... Болгатоз-э!

— Шали-аул! Га-го-гыр-гыр.

Шугаев человек бывалый. Опытный. Вдруг румянцем по зелени окрасился, руками замахал, заговорил на каком-то изумительном языке:

— Шали, говоришь? Так, так. Наша Шали-аул пошла? Так, так. Болгатоз. А наши-то где? Там?

Те расцвели улыбками, зубы изумительные. Руками машут, головами кивают.

Шугаев окончательно приобрел нормальный цвет лица.

— Мирные! Мирные, господин доктор! Замирили их. Говорят, что наши через Болгатоз на Шали-аул пошли. Проводить хотят! Да вот и наши! С места не сойти, наши!

Глянул — внизу у склона пылит. Уходит хвост колонны. Шугаев лучше Цейса видит.

У чечен лица любовные. Глаз с Цейса не сводят.

— Понравился бинок, — хихикнул Шугаев.

— Ох, и сам я вижу, что понравился. Ох, понравился. Догнать бы скорей колонну!

Шугаев трясется на облучке, читает мысли, утешает.

— Не извольте беспокоиться. Тут не тронут. Вон они, наши! Вон они! Но ежли бы версты две подальше, — он только рукой махнул.

А кругом:

— Гыр... гыр!

Хоть бы одно слово я понимал! А Шугаев понимает и сам разговаривает. И руками, и языком. Скачут рядом, шашками побрякивают. В жизнь не ездил с таким конвоем...

XI. У КОСТРА

Горит аул. Узуна гонят. Ночь холодная. Жмемся к костру. Пламя играет на рукоятках. Они сидят поджавши ноги и загадочно смотрят на красный крест на моем рукаве. Это замиренные, покорившиеся. Наши союзники. Шугаев паль-

цами и языком рассказывает, что я самый главный и важный доктор. Те кивают головами, на лицах почтение, в глазах блеск. Но ежели бы версты две подальше...

ХП

.....

ХПІІ

Декабрь.

Эшелон готов. Пьяны все. Командир, казаки, кондукторская бригада и, что хуже всего, машинист. Мороз 18 градусов. Теплушки как лед. Печки ни одной. Выехали ночью глубокой. Задвинули двери теплушки. Закутались во что попало. Спиртом я сам поил всех санитаров. Не пропадать же, в самом деле, людям! Колыхнулась теплушка, залязгало, застучало внизу. Покатились.

Не помню, как я заснул и как выскочил. Но зато ясно помню, как я, скатываясь под откос, запорошенный снегом, видел, что вагоны с треском раздавливало, как спичечные коробки. Они лезли друг на друга. В мутном рассвете сыпались из вагонов люди. Стон и вой. Машинист загнал, не смотря на огонь семафора, эшелон на встречный поезд...

Шугаева жалко. Ногу переломил. До утра в станционной комнате перевязывал раненых и осматривал убитых...

Когда перевязал последнего, вышел на загроможденное обломками полотно. Посмотрел на бледное небо. Посмотрел кругом...

Тень фельдшера Голендюка встала передо мной... Но куда, к черту! Я интеллигент.

ХІV. ВЕЛИКИЙ ПРОВАЛ

Февраль.

Хаос. Станция горела. Потом несся в поезде. Швыряло последнюю теплушку... Безумие какое-то.

И сюда накатилась волна...

.....

Сегодня я сообразил наконец. О, бессмертный Голенд-рюк! Довольно глупости, безумия. В один год я перевидел столько, что хватило бы Майн Рида на 10 томов. Но я не Майн Рид и не Буссенар. Я сыт по горло и совершенно загрызен вшами. Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом...

Довольно!

Все ближе море! Море! Море!

.....

Проклятие войнам отныне и вовеки!

Журнал «Рупор», 1922, вып. 2.



СПИРИТИЧЕСКИЙ СЕАНС

Не стоит вызывать его!

Не стоит вызывать его!

Речитатив Мефистофеля

1

Дура Ксюшка доложила:

— Там к тебе мужик пришел...

Madame Лузина вспыхнула:

— Во-первых, сколько раз я тебе говорила, чтобы ты мне «ты» не говорила! Какой такой мужик?

И выплыла в переднюю.

В передней вешал фуражку на олений рог Ксаверий Антонович Лисиневич и кисло улыбался. Он слышал Ксюшкин доклад.

Madame Лузина вспыхнула вторично.

— Ах, Боже! Извините, Ксаверий Антонович! Эта деревенская дура!.. Она всех так... Здравствуйте!

— О, помилуйте!.. — светски растопырил руки Лисиневич.

— Добрый вечер, Зинаида Ивановна! — он свел ноги в третью позицию, склонил голову и поднес руку Лузиной к губам.

Но только что он собрался бросить на нее долгий и липкий взгляд, как из двери выполз муж Павел Петрович. И взгляд угас.

— Да-а... — немедленно начал волынку Павел Петрович, — «мужик»... хе-хе! Ди-ка-ри! Форменные дикари. Я вот думаю: свобода там... Коммунизм. Помилуйте! Как можно мечтать о коммунизме, когда кругом такие Ксюшки! Мужик... Хе-хе! Вы уж извините, ради Бога! Муж...

«А, дурак», — подумала madame Лузина и перебила:

— Да что же мы в передней?.. Пожалуйста в столовую...

— Да, милости просим в столовую, — скрепил Павел Петрович, — прошу!

Вся компания, согнувшись, пролезла под черной трубой и вышла в столовую.

— Я и говорю, — продолжал Павел Петрович, обвиняя за талию гостя, — коммунизм... Спору нет: Ленин человек гениальный, но... да, вот не угодно ли пайковую... хе-хе! Сегодня получил... Но коммунизм — это такая вещь, что она, так сказать, по своему существу... Ах, разорванная? Возьмите другую, вот с краю... По своей сути требует известного развития... Ах, подмоченная? Ну и папиросы! Вот, пожалуйста, эту... По своему содержанию... Погодите, разгорится... Ну и спички! Тоже пайковые... Известного сознания...

— Погоди, Поль! Ксаверий Антонович, чай до или после?

— Я думаю... Э-э, до, — ответил Ксаверий Антонович.

— Ксюшка! Примус! Сейчас все придут! Все страшно заинтересованы! Страшно! Я пригласила и Софью Ильиничну...

— А столик?

— Достали! Достали! Но только... Он с гвоздями. Но ведь, я думаю, ничего?

— Гм... Конечно, это нехорошо... Но как-нибудь обойдемся...

Ксаверий Антонович окинул взглядом трехногий столик с инкрустацией, и пальцы у него сами собою шевельнулись.

Павел Петрович заговорил:

— Я, признаться, не верю. Не верю, как хотите. Хотя, правда, в природе...

— Ах, что ты говоришь! Это безумно интересно! Но предупреждаю: я буду бояться!

Madame Лузина оживленно блеснула глазами, затем выбежала в переднюю, поправила наскоро прическу у зеркала и впорхнула в кухню. Оттуда донесся рев примуса и хлопанье Ксюшкиных пяток.

— Я думаю, — начал Павел Петрович, но не кончил.

В передней постучали. Первая явилась Леночка, затем квартирант. Не заставила себя ждать и Софья Ильинична, учительница 2-й ступени. А тотчас же за ней явился и Боборицкий с невестой Ниночкой.

Столовая наполнилась хохотом и табачным дымом.

— Давно, давно нужно было устроить!

— Я, признаться...

— Ксаверий Антонович! Вы будете медиум! Ведь да? Да?

— Господа, — кокетничал Ксаверий Антонович, — я ведь, в сущности, такой же непосвященный... Хотя...

— Э-э, нет! У вас столик на воздух поднимался!

— Я, признаться...

— Уверю тебя, Маня собственными глазами видела зеленеватый свет!..

— Какой ужас! Я не хочу!

— При свете! При свете! Иначе я не согласна! — кричала крепко сколоченная, материальная Софья Ильинична, — иначе я не поверю!

— Позвольте... Дадим честное слово...

— Нет! Нет! В темноте! Когда Юлий Цезарь выступал нам смерть...

— Ах, я не могу! О смерти не спрашивать! — кричала невеста Боборицкого, а Боборицкий томно шептал:

— В темноте! В темноте!

Ксюшка, с открытым от изумления ртом, внесла чайник.

Madame Лузина загремела чашками.

— Скорее, господа, не будем терять времени!..

И сели за чай...

...Шалью, по указанию Ксаверия Антоновича, наглухо закрыли окно. В передней потушили свет и Ксюшке приказали сидеть на кухне и не топтать пятками. Сели, и стала темь...

2

Ксюшка заскучала и встревожилась сразу. Какая-то чертовщина... Всюду темень. Заперлись. Сперва тишина, потом тихое, мерное постукивание. Услыхав его, Ксюшка застыла. Страшно стало. Опять тишина. Потом неясный голос...

— Господи?..

Ксюшка шевельнулась на замасленном табурете и стала прислушиваться... Тук...Тук... Тук... Будто голос гостыи (чистая тумба, прости, Господи!) забубнил:

— А, га, га, га...

Тук... Тук...

Ксюшка на табурете, как маятник, качалась от страха к любопытству... То черт с рогами мерещился за черным окном, то тянуло в переднюю...

Наконец не выдержала. Прикрыла дверь в освещенную кухню и шмыгнула в переднюю. Тыча руками, наткнулась на сундуки. Протиснулась дальше, пошарила, разглядела дверь и приникла к скважине... Но в скважине была адова тьма, из которой доносились голоса...

3

— Ду-ух, кто ты?

— А, бе, ве, ге, де, е, же, зе, и... Тук!

— И! — вздохнули голоса.

— А, бе, ве, ге...

— Им!

Тук... Тук, тук...

— Им-пе-ра! О-о! Господа...

— Император На-по...

Тук... Тук...

— На-по-ле-он!! Боже, как интересно!..

— Тише!.. Спросите! Спрашивайте!..

— Что?.. Да, спрашивайте!.. Ну, кто хочет?..

— Дух императора, — прерывисто и взволнованно спросила Леночка, — скажи, стоит ли мне переходить из Главхима в Желеском? Или нет?..

Тук... Тук... Тук...

— Ду-у... Ду-ра! — отчетливо ответил император Наполеон.

— Ги-и! — гикнул дерзкий квартирант.

Смешок пробежал по цепи.

Софья Ильинична сердито шепнула:

— Разве можно спрашивать ерунду!

Уши Леночки горели во тьме.

— Не сердись, добрый дух! — взмолилась она, — если не сердись, стукни один раз!

Наполеон, повинувшись рукам Ксаверия Антоновича, ухитрившегося делать два дела — щекотать губами шею madame Лузиной и вертеть стол, взмахнул ножкой и впился ею в моль Павла Петровича.

— С-с!.. — болезненно прошипел Павел Петрович.
— Тише!.. Спрашивайте!
— У вас никого посторонних нет в квартире? — спросил осторожный Боборицкий.
— Нет! Нет! Говорите смело!
— Дух императора, скажи, сколько времени еще будут у власти большевики?
— А-а... Это интересно! Тише!.. Считайте!..
Та-ак, та-ак, застучал Наполеон, припадая на одну ножку.
— Те...ор...и... три... ме-ся-ца!
— А-а!..
— Слава Богу! — вскричала невеста. — Я их так ненавижу.
— Тсс! Что вы?!
— Да никого нет!
— Кто их свергнет? Дух, скажи!..
Дыхание затаили... Та-ак, та-ак...
...Ксюшку распирало от любопытства...
Наконец она не вытерпела. Отшатнувшись от собственного отражения, мелькнувшего во мгле зеркала, она протиснулась между сундуками обратно в кухню. Захватила платок, шмыгнула обратно в переднюю, поколебалась немного перед ключом. Потом решилась, тихонько прикрыла дверь и, дав волю пяткам, понеслась к Маше нижней.

4

Маша нижняя нашлась на парадной лестнице, у лифта внизу, вместе с Дуськой из пятого этажа. В кармане у нижней Маши было на 100 тысяч семечек.

Ксюшка излилась.

— Заперлись они, девоньки... записывают про императора и про большевиков... Темно в квартире, страсть!.. Жилец, барин, барыня, хахаль ейный, учительша...

— Ну!! — изумлялась нижняя и Дуська, а мозаичный пол покрывался липкой шелухой...

Дверь в квартире № 3 хлопнула, и по лестнице двинулся вниз бравый в необыкновенных штанах. Дуська и Ксюша, и нижняя Маша скосили глаза. Штаны до колен были как

штаны, из хорошей диагонали, но от колен расширялись, расширялись и становились как колокола.

Квадратная бронзовая грудь распирала фуфайку, а на бедре тускло и мрачно глядело из кожаной штуки востроносое дуло.

Бравый, лихо закинув голову с золотыми буквами на лбу, легко перебирая ногами, отчего колокола мотались, спустился к лифту и, обжегши мимолетным взглядом всех троих, двинулся к выходу...

— Ланпы потушили, чтобы я, значит, не видела... Хихи!.. и записывают... большевикам, говорят, крышка... Инпиратор... Хи! Хи!

С бравым что-то произошло. Лакированные ботинки вдруг стали прилипать к полу. Шаг его замедлился. Бравый вдруг остановился, пошарил в кармане, как будто что-то забыл, потом зевнул и вдруг, очевидно раздумав, вместо того, чтобы выйти в парадное, повернулся и сел на скамью, скрывшись из Ксюшкиного поля зрения за стеклянным выступом с надписью «швейцар».

Заинтересовал его, по-видимому, рыжий потрескавшийся купидон на стене. В купидона он впился и стал его изучать...

...Облегчив душу, Ксюшка затопала обратно. Бравый уныло зевнул, глянул на браслет-часы, пожал плечами и, видимо соскучившись ждать кого-то из квартиры № 3, поднялся и, развинченно помахивая колоколами, пошел на расстояние одного марша за Ксюшкой...

Когда Ксюшка скрылась, стараясь не хлопнуть дверью, в квартире, в темноте на площадке вспыхнула спичка у белого номерка — 24. Бравый уже не прилипал и не позевывал.

— Двадцать четыре, — сосредоточенно сказал он самому себе и, бодрый и оживленный, стрелой понесся вниз через все шесть этажей.

В дымной тьме Сократ, сменивший Наполеона, творил чудеса. Он плясал, как сумасшедший, предрекая большевикам близкую гибель. Потная Софья Ильинична, не переставая, читала азбуку. Руки онемели у всех, кроме Ксаверия Ан-

тоновича. Мутные, беловатые силуэты мелькали во мгле. Когда же нервы напряглись до предела, стол с сидящим в нем мудрым греком колыхнулся и поплыл вверх.

— Ах!.. Довольно!.. Я боюсь!.. Нет! Пусть! Милый! Дух! Выше!.. Никто не трогает ногами?.. Да нет же!.. Тсс!.. Дух! Если ты есть, возьми ла на пианино!

Грек оборвался сверху и грянул всеми ножками в пол. Что-то с треском лопнуло в нем. Затем он забарахтался и, наступая на ноги взвизгивающим дамам, стал рваться к пианино... Спириты, сталкиваясь лбами, понеслись за ним...

Ксюшка вскочила как встрепанная с ситцевого одеяла в кухне. Ее писка: «Кто такой?» — очумевшие спириты не слышали.

Какой-то новый, злобный и страшный, дух вселился в стол, выкинув покойного грека. Он страшно гремел ножками, как из пулемета, кидался из стороны в сторону и нес какую-то околесицу.

— Дра-ту-ма... бы... ы... ы.

— Миленький дух! — стонали спириты.

— Что ты хочешь?!

— Дверь! — наконец вырвалось у бешеного духа.

— А-а!.. Дверь! Слышите! В дверь хочет бежать!.. Пусти-те его!

Трык, трак, тук, — заковылял стол к двери.

— Стойте! — крикнул вдруг Боборицкий, — вы видите, какая в нем сила! Пусть, не доходя, стукнет в дверь!

— Дух! Стукни!!

И дух превзошел ожидания. Снаружи в дверь он грянул как будто сразу тремя кулаками.

— Ай! — взвизгнули в комнате три голоса.

А дух, действительно, был полон силы. Он забарабанил так, что у спиритов волосы стали дыбом. Вмиг замерло дыхание, стала тишина...

Дрожащим голосом выкрикнул Павел Петрович:

— Дух! Кто ты?..

Из-за двери гробовой голос ответил:

— Чрезвычайная комиссия.

...Дух испарился из стола позорно, в одно мгновение. Стол, припав на поврежденную ножку, стал неподвижно. Спириты окаменели. Затем madame Лузина простонала:

«Бо-о-же!» и тихо сникла в неподдельном обмороке на грудь Ксаверию Антоновичу, прошипевшему:

— О, черт бы взял идиотскую затею!

Трясущиеся руки Павла Петровича открыли дверь. Вмиг вспыхнули лампы, и дух предстал перед снежно-бледными спиритами. Он был кожаный. Весь кожаный, начиная с фуражки и кончая портфелем. Мало того, он был не один. Целая вереница подвластных духов виднелась в передней.

Мелькнула бронзовая грудь, граненый ствол, серая шинель, еще шинель...

Дух окинул глазами хаос спиритической комнаты и, зло-веще ухмыльнувшись, сказал:

— Ваши документы, товарищи...

ЭПИЛОГ

Боборицкий сидел неделю, квартирант и Ксаверий Антонович — 13 дней, а Павел Петрович — полтора месяца.

Журнал «Рупор», 1922, вып. 4.



ЗАПИСКИ НА МАНЖЕТАХ

Плавающим, путешествующим
и страждущим писателям русским

Часть первая

1. К А В К А З

Сотрудник покойного «Русского слова», в гетрах и с сигарой, схватил со стола телеграмму и привычными профессиональными глазами прочел ее в секунду от первой строки до последней.

Его рука машинально выписала сбоку: «В 2 колонки», но губы неожиданно сложились дудкой:

— «Фью-ю!»

Он помолчал. Потом порывисто оторвал четвертушку и начертал:

До Тифлиса сорок миль...
Кто продаст автомобиль?

Сверху: «Маленький фельетон», сбоку: «Корпус», снизу: «Грач».

И вдруг забормотал, как диккенсовский Джингль:

— Тэк-с, тэк-с!.. Я так и знал! Возможно, что придется отчалить. Ну, что ж! В Риме у меня шесть тысяч лир. *Credito Italiano*. Что? Шесть... И, в сущности, я — итальянский офицер! Да-с! *Finita la comedia!*¹

И, еще раз свистнув, двинул фуражку на затылок и бросился в дверь — с телеграммой и фельетоном.

— Стойте! — завопил я, опомнившись. — Стойте! Какое *Credito*? *Finita*?! Что? Катастрофа?!

Но он исчез.

Хотел выбежать за ним... но внезапно махнул рукой, вяло поморщился и сел на диванчик. Постойте, что меня мучит? *Credito* непонятное? Сутолока? Нет, не то... Ах да!

¹ Комедия окончена! (ит.)

Голова! Второй день болит. Мешает. Голова! И вот тут, сейчас, холодок странный пробежал по спине. А через минуту — наоборот: тело наполнилось сухим теплом, а лоб неприятный, влажный. В висках толчки. Простудился. Проклятый февральский туман! Лишь бы не заболеть!.. Лишь бы не заболеть!..

Чужое все, но, значит, я привык за полтора месяца. Как хорошо после тумана! Дома. Утес и море в золотой раме. Книжки в шкафу. Ковер на тахте шершавый, никак не уляжешься, подушка жесткая, жесткая... Но ни за что не встал бы. Какая лень! Не хочется руку поднять. Вот полчаса уже думаю, что нужно протянуть ее, взять со стула порошок с аспирином, и все не протяну...

— Мишуня, поставьте термометр!

— Ах, терпеть не могу!.. Ничего у меня нет!..

Боже мой, Боже мой, Бо-о-же мой! Тридцать восемь и девять... да уж не тиф ли, чего доброго? Да нет. Не может быть! Откуда?! А если тиф?! Какой угодно, но только не сейчас! Это было бы ужасно... Пустяки. Мнительность. Простудился, больше ничего. Инфлюэнца. Вот на ночь приму аспирин и завтра встану, как ни в чем не бывало!

Тридцать девять и пять!

— Доктор, но ведь это не тиф? Не тиф? Я думаю, это просто инфлюэнца? А? Этот туман...

— Да, да... Туман. Дышите, голубчик... Глубже... Так!..

— Доктор, мне нужно по важному делу... Ненадолго. Можно?

— С ума сошли!..

Пышет жаром утес, и море, и тахта. Подушки перевернешь, только приложишь голову, а уж она горячая. Ничего... и эту ночь проваляюсь, а завтра пойду, пойду! И в случае чего — еду! Еду! Не надо распускаться! Пустячная инфлюэнца... Хорошо болеть. Чтобы был жар. Чтобы все за-

былось. Полежать, отдохнуть, но только, храни Бог, не сейчас!.. В этой дьявольской суматохе некогда почитать... А сейчас так хочется... Что бы такое? Да. Леса и горы. Но не эти, проклятые, кавказские. А наши, далекие... Мельников-Печерский. Скит занесен снегом. Огонек мерцает, и баня топится... Именно леса и горы. Полцарства сейчас бы отдал, чтобы в жаркую баню, на полок. Вмиг полегчало бы... А потом — голым кинуться в сугроб... Леса! Сосновые, дремучие... Корабельный лес. Петр в зеленом кафтане рубил корабельный лес. Понеже... Какое хорошее, солидное, государственное слово — по-не-же! Леса, овраги, хвоя ковром, белый скит. И хор монашек поет нежно и складно:

Взбранной воеводе победительная!..

— Ах, нет! Какие монашки! Совсем их там нет! Где бишь монашки? Черные, белые, тонкие, васнецовские?..

— Ла-риса Леонтьевна, где монашки?!

— ...Бредит... бредит, бедный!..

— Ничего подобного. И не думаю бредить. Монашки! Ну, что вы, не помните, что ли? Ну, дайте мне книгу. Вон, вон с третьей полки. Мельников-Печерский...

— Мишуня, нельзя читать!..

— Что-с? Почему нельзя? Да я завтра же встану! Иду к Петрову. Вы не понимаете. Меня бросят! Бросят!

— Ну хорошо, хорошо, встанете! Вот книга.

— Милая книга. И запах у нее старый, знакомый. Но строчки запрыгали, запрыгали, покривились. Вспомнил. Там, в скиту, фальшивые бумажки делали, романовские. Эх, память у меня была! Не монашки, а бумажки...

Сашки-канашки мои!..

— Лариса Леонтьевна... Ларочка! Вы любите леса и горы? Я в монастырь уйду. Непременно. В глушь, в скит. Лес стеной, птичий гомон, нет людей... Мне надоела эта идиотская война! Я бегу в Париж, там напишу роман, а потом в скит. Но только завтра пусть Анна разбудит меня в восемь. Поймите, еще вчера я должен был быть у него... Поймите!

— Понимаю, понимаю, молчите!

Туман. Жаркий, красноватый туман. Леса, леса... и тихо слезится из расщелины в зеленом камне вода. Такая чистая, перекрученная хрустальная струя. Только нужно доползти. А там напьешься — и снимет как рукой! Но мучительно ползти по хвое, она липкая и колючая. Глаза открыть — вовсе не хвоя, а простыня.

— Гос-по-ди! Что это за простыня... Песком, что ли, вы ее посыпали?.. Пи-ить!

— Сейчас, сейчас!..

— А-ах, теплая, дрянная!

— ...ужасно! Опять сорок и пять!

— ...пузырь со льдом...

— Доктор! Я требую... немедленно отправить меня в Париж! Не желаю больше оставаться в России... Если не отправите, извольте дать мне мой бра... браунинг! Ларочк-а-а! Достаньте!..

— Хорошо. Хорошо. Достанем. Не волнуйтесь!..

Тьма. Просвет. Тьма... просвет. Хоть убейте, не помню...

Голова! Голова! Нет монашек, взбранной воеводе, а демоны трубят и раскаленными крючьями рвут череп. Го-ло-ва!..

Просвет... тьма. Просв... нет, уже больше нет! Ничего не ужасно, и все — все равно. Голова не болит. Тьма и сорок один и одна.....
.....

2. ЧТО МЫ БУДЕМ ДЕЛАТЬ?!

Беллетрист Юрий Слезкин сидел в шикарном кресле. Вообще все в комнате было шикарно, и поэтому Юра казался в ней каким-то диким диссонансом. Голова, оголенная тифом, была точь-в-точь описанная Твенем мальчишкина голова (яйцо, посыпанное перцем). Френч, молью обгрызенный, и под мышкой — дыра. На ногах — сырые обмотки. Одна — длинная, другая — короткая. Во рту — двухкопеечная трубка. В глазах — страх с тоской в чехарду играют.

— Что же те-перь бу-дет с на-ми? — спросил я и не узнал своего голоса. После второго приступа он был слаб, тонок и надтреснут.

— Что? Что?

Я повернулся на кровати и тоскливо глянул в окно, за которым тихо шевелились еще обнаженные ветви. Изумительное небо, чуть тронутое догорающей зарей, ответа, конечно, не дало. Промолчал и Слезкин, кивая обезображенной головой. Прошелестело платье в соседней комнате. Зашептал женский голос:

— Сегодня ночью ингуши будут грабить город...

Слезкин дернулся в кресле и поправил:

— Не ингуши, а осетины. Не ночью, а завтра с утра.

Нервно отозвались флаконы за стеной.

— Боже мой? Осетины?! Тогда это ужасно!

— Ка-кая разница?

— Как какая?! Впрочем, вы не знаете наших нравов. Ингуши, когда грабят, то... они грабят. А осетины — грабят и убивают...

— Всех будут убивать? — деловито спросил Слезкин, пыхтя зловонной трубкой.

— Ах, Боже мой! Какой вы странный! Не всех... Ну, кто вообще... Впрочем, что ж это я! Забыла. Мы волнуем больного.

Прошумело платье. Хозяйка склонилась ко мне.

— Я не вол-нуюсь...

— Пустяки, — сухо отрезал Слезкин, — пустяки!

— Что? Пустяки?

— Да это... Осетины там и другое. Вздор, — он выпустил клуб дыма.

Изнуренный мозг вдруг запел:

Мама! Мама! Что мы будем делать?!

— В самом деле. Что мы бу-дем де-лать?

Слезкин усмехнулся одной правой щекой. Подумал. Вспыхнуло вдохновение.

— Подотдел искусств откроем!

— Это... что такое?

— Что?

— Да вот... подудел?

— Ах, нет. Под-от-дел!

— Под?

— Угу!

— Почему под?

— А это... Видишь ли, — он шевельнулся, — есть отна-
робраз или обнаробраз. От. Понимаешь? А у него подотдел.
Под. Понимаешь?

— Наро-браз. Дико-браз. Барбюс. Барбос.

Взметнулась хозяйка.

— Ради Бога, не говорите с ним! Опять бредить на-
чнет...

— Вздор! — строго сказал Юра. — Вздор. И все эти мин-
грельцы, имери... Как их? Черкесы. Просто дураки!

— Как-кие?

— Просто бегают. Стреляют. В луну. Не будут гра-
бить...

— А что с нами? Бу-дет?

— Пустяки. Мы откроем...

— Искусств?

— Угу. Все будет. Изо. Лито. Фото. Тео.

— Не по-ни-маю.

— Мишенька, не разговаривайте! Доктор...

— Потом объясню! Все будет! Я уже заведовал. Нам что?
Мы аполитичны. Мы — искусство!

— А жить?

— Деньги за ковер будем бросать!

— За какой ковер?

— Ах, это у меня в том городишке, где я заведовал, ковер
был на стене. Мы, бывало, с женой, как получим жалованье,
за ковер деньги бросали. Тревожно было. Но ели. Ели хоро-
шо. Паск.

— А я?

— Ты завлито будешь. Да.

— Какой?

— Мишуня! Я вас прошу!..

3. ЛАМПАДКА

Ночь плывет. Смоляная, черная. Сна нет. Лампадка трес-
петно светит. На улицах где-то далеко стреляют. А мозг
горит. Туманится.

Мама! Мама!! Что мы будем делать?!

Строит Слезкин там. Наворачивает. Фото. Изо. Лито. Тео. Тео. Изо. Лизо. Тизо. Громоздит фотографические ящики. Зачем? Лито — литераторы. Несчастные мы! Изо. Физо. Ингуши сверкают глазами, скачут на конях. Ящики отнимают. Шум. В луну стреляют. Фельдшерица колет ноги камфарой: третий приступ!..

— О-о! Что же будет?! Пустите меня! Я пойду, пойду, пойду...

— Молчите, Мишенька, милый, молчите!

После морфия исчезают ингуши. Колышется бархатная ночь. Божественным глазком светит лампадка и поет хрустальным голосом:

Ма-а-ма. Ма-а-ма!

4. ВОТ ОН — ПОДОТДЕЛ

Солнце. За колесами пролеток — пыльные облака... В гулком здании ходят, выходят... В комнате, на четвертом этаже, два шкафа с оторванными дверцами, колченогие столы. Три барышни с фиолетовыми губами — то на машинках громко стучат, то курят.

С креста снятый, сидит в самом центре писатель и из хаоса лепит подотдел. Тео. Изо. Сизые актерские лица лезут на него. И денег требуют.

После возвратного — мертвая зыбь. Пошатывает и тошнит. Но я заведываю. Зав. Лито. Осваиваюсь.

— Завподиск. Наробраз. Литколлегия.

Ходит какой-то между столами. В сером френче и чудовищном галифе. Вонзается в группы, и те разваливаются. Как миноноска, режет воду. На кого ни глянет — все бледнеют. Глаза под стол лезут. Только барышням — ничего. Барышням — страх несвойствен.

Подошел. Просверлил глазами, вынул душу, положил на ладонь и внимательно осмотрел. Но душа — кристалл!

Вложил обратно. Улыбнулся благосклонно.

— Завлито?

— Зав. Зав.

Пошел дальше. Парень будто ничего. Но не поймешь, что он у нас делает. На Тео не похож. На Лито тем более.

Поэтесса пришла. Черный берет. Юбка на боку застегнута и чулки винтом. Стихи принесла.

Та, та, там, там.
В сердце бьется динамо-снаряд.
Та, та, там.

Стишки — ничего... Мы их... того... как это... в концерте читаем.

Глаза у поэтессы радостные. Ничего барышня. Но почему чулки не подвяжет?

5. КАМЕР-ЮНКЕР ПУШКИН

Все было хорошо. Все было отлично.

И вот пропал из-за Пушкина, Александра Сергеевича, царствие ему небесное!

Так было дело:

В редакции, под винтовой лестницей, свил гнездо цех местных поэтов. Был среди них юноша в синих студенческих брюках да с динамо-снарядом в сердце, дремучий старик, на шестидесятом году начавший писать стихи, и еще несколько человек.

Косвенно входил смелый, с орлиным лицом и огромным револьвером на поясе. Он первый свое, напоенное чернилами, перо вонзил с размаху в сердце недорезанных, шлявшихся по старой памяти на трэк — в бывшее летнее собрание. Под немолчный гул мутного Терека он проклял сирень и грянул:

Довольно пели вам луну и чайку!
Я вам спою чрезвычайку!

Это было эффектно!

Затем другой прочитал доклад о Гоголе и Достоевском и обоих стер с лица земли. О Пушкине отозвался неблагоприятно, но вскользь. И посулил о нем специальный доклад. В одну из июньских ночей Пушкина он обработал на славу. За белые штаны, за «вперед гляжу я без боязни», за камер-юнкерство и холопскую стихию, вообще за «псевдореволюционность и ханжество», за неприличные стихи и ухаживание за женщинами...

Обливаясь потом, в духоте, я сидел в первом ряду и слушал, как докладчик рвал на Пушкине в клочья белые штаны. Когда же, освежив стаканом воды пересохшее горло, он предложил в заключение Пушкина выкинуть в печку, я улыбнулся. Каюсь. Улыбнулся загадочно, черт меня возьми! Улыбка не воробей?

— Выступайте оппонентом!

— Не хочется!

— У вас нет гражданского мужества.

— Вот как? Хорошо, я выступлю!

И я выступил, чтобы меня черти взяли! Три дня и три ночи готовился. Сидел у открытого окна, у лампы с красным абажуром. На коленях у меня лежала книга, написанная человеком с огненными глазами.

...Ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума...

Говорил Он:

Клсвету приемли равнодушно.

Нет, не равнодушно! Нет. Я им покажу! Я покажу! Я кулаком грозил черной ночи.

И показал! Было в цехе смятение. Докладчик лежал на обеих лопатках. В глазах публики читал я безмолвное, веселое:

— Дожми его! Дожми!

.....
Но зато потом!! Но потом...

Я — «волк в овечьей шкуре». Я — «господин». Я — «буржуазный подголосок»...

.....
Я — уже не завито. Я — не завтео.

Я — безродный пес на чердаке. Скорчившись сижую. Ночью позвонят — вздрагиваю.

.....
О, пыльные дни! О, душные ночи!..

И было в лето, от Р. Х. 1920-е, из Тифлиса явление. Молодой человек, весь поломанный и развинченный, со стару-

щечьим морщинистым лицом, приехал и отрекомендовался, дебошир в поэзии. Привез маленькую книжечку, похожую на прейскурант вин. В книжечке — его стихи.

Ландыш. Рифма: гадыш.

С ума сойду я, вот что!..

Возненавидел меня молодой человек с первого взгляда. Дебоширит на страницах газеты (4-я полоса, 4-я колонка). Про меня пишет. И про Пушкина. Больше ни про что. Пушкина больше, чем меня, ненавидит! Но тому что! Он там, идеже несть...

А я пропаду, как червяк.

6. БРОНЗОВЫЙ ВОРОТНИК

Что это за проклятый город Тифлис!

Второй приехал! В бронзовом воротничке. В бронзовом. Так и выступал в живом журнале. Не шучу я!!

В бронзовом, поймите!

Беллетриста Слезкина выгнали к черту, несмотря на то, что у него всероссийское имя и беременная жена. А этот сел на его место. Вот тебе и изю, мизо. Вот тебе и деньги за ковер.

7. МАЛЬЧИКИ В КОРОБКЕ

Луна в венце. Мы с Юрием сидим на балконе и смотрим в звездный полог. Но нет облегчения. Через несколько часов погаснут звезды, и над нами вспыхнет огненный шар. И опять, как жуки на булавах, будем подыхать...

Через балконную дверь слышен непрерывный тоненький писк. У черта на куличках, у подножия гор, в чужом городе, в игрушечно-звериной-тесной комнате, у голодного Слезкина родился сын. Его положили на окно в коробку с надписью:

«M-ME MARIE. MODES ET ROBES¹».

И он скулит в коробке.

Бедный ребенок!

¹ Мадам Мари. Моды и платья (фр.).

Не ребенок. Мы бедные!

Горы замкнули нас. Спит под луной Столовая гора. Далеко, далеко, на севере, бескрайние равнины... На юг — ущелья, провалы, бурливые речки. Где-то на западе — море. Над ним светит Золотой Рог...

...Мух на tangle-foot'e¹ видели?!

Когда затихает писк, идем в клетку.

Помидоры. Черного хлеба не помногу. И араки. Какая гнусная водка! Мерзость! Но выпьешь, и — легче.

И когда все кругом мертво спит, писатель читает мне свою новую повесть. Некому больше ее слушать. Ночь плывет. Кончает и, бережно свернув рукопись, кладет под подушку. Письменного стола нету.

До бледного рассвета мы шепчемся...

Какие имена на иссохших наших языках! Какие имена! Стихи Пушкина удивительно смягчают озлобленные души. Не надо злобы, писатели русские!..

.....
Только через страдание приходит истина... Это верно, будьте покойны! Но за знание истины ни денег не платят, ни пайка не дают. Печально, но факт.

8. СКВОЗНОЙ ВЕТЕР

Евреиннов приехал. В обыкновенном белом воротничке. С Черного моря, проездом в Петербург.

Где-то на севере был такой город.

Существует ли теперь? Писатель смеется: уверяет, что существует. Но ехать до него долго: три года в теплушке. Целый вечер отдыхали мои глазыньки на белом воротничке. Целый вечер слушал рассказы о приключениях.

Братья писатели, в вашей судьбе...

Без денег сидел. Вещи украли...

...А на другой, последний вечер, у Слезкина, в насквозь прокуренной гостиной, предоставленной хозяйкой, сидел за пианино Николай Николаевич. С железной стойкостью он вынес пытку осмотра. Четыре поэта, поэтесса и художник (цех) сидели чинно и впивались глазами.

¹ Tangle foot — липкая бумага (англ.).

Евреиннов находчивый человек:

— А вот «Музыкальные гримасы»...

И, немедленно повернувшись лицом к клавишам, начал. Сперва... Сперва о том, как слон играл в гостях на рояли, затем влюбленный настройщик, диалог между булатом и златом и, наконец, полька.

Через десять минут цех был приведен в состояние полной негодности. Он уже не сидел, а лежал вповалку, взмахивал руками и стонал...

...Уехал человек с живыми глазами. Никаких гримас!..

Сквозняк подхватил. Как листья летят. Один — из Керчи в Вологду, другой — из Вологды в Керчь. Лезет взъерошенный Осип с чемоданом и сердится:

— Вот не доедем, да и только!

Натурально, не доедешь, ежели не знаешь, куда едешь!

Вчера ехал Рюрик Ивнев. Из Тифлиса в Москву.

— В Москве лучше.

Доездили до того, что однажды лег у канавы:

— Не встану! Должно же произойти что-нибудь!

Произошло: случайно знакомый подошел к канаве, повел и обедом накормил.

Другой поэт. Из Москвы в Тифлис.

— В Тифлисе лучше.

Третий — Осип Мандельштам. Вошел в пасмурный день и голову держал высоко, как принц. Убил лаконичностью:

— Из Крыма. Скверно. Рукописи у вас покупают?

— ...но денег не пла... — начал было я и не успел окончить, как он уехал. Неизвестно куда...

Беллетрист Пильняк. В Ростов, с мучным поездом, в женской кофточке.

— В Ростове лучше?

— Нет, я отдохнуть!!

Оригинал — золотые очки.

Серафимович — с севера.

Глаза усталые. Голос глухой. Доклад читает в цехе.

— Помните, у Толстого платок на палке. То прилипнет, то опять плещется. Как живой платок... Этикетку как-то для водочной бутылки против пьянства писал. Написал фразу. Слово вычеркнул — сверху другое поставил. Подумал — еще раз перечеркнул. И так несколько раз. Но вышла фраза, как кованая... Теперь пишут... Необыкновенно пишут! Возьмешь. Раз прочтешь. Нет! Не понял. Другой раз — то же. Так и отложишь в сторону...

Местный цех in согроне под стенкой сидит. Глаза такие, что будто они этого не понимают. Дело ихнее!

Уехал Серафимович... Антракт.

9. ИСТОРИЯ С ВЕЛИКИМИ ПИСАТЕЛЯМИ

Подотдельский декоратор нарисовал Антона Павловича Чехова с кривым носом и в таком чудовищном пенсне, что издали казалось, будто Чехов в автомобильных очках.

Мы поставили его на большой мольберт. Рыжих тонов павильон, столик с графином и лампочка.

Я читал вступительную статью «О чеховском юморе». Но оттого ли, что я не обедаю вот уже третий день, или еще почему-нибудь, у меня в голове было как-то мрачно. В театре — яблоку негде упасть. Временами я терялся. Видел сотни расплывчатых лиц, громоздившихся до купола. И хоть бы кто-нибудь улыбнулся. Аплодисмент, впрочем, дружный. Сконфуженно сообразил: это за то, что кончил. С облегчением убрался за кулисы. Две тысячи заработал, пусть теперь отдуваются другие. Проходя в курилку, слышал, как красноармеец тосковал:

— Чтoб их разорвало с их юмором! На Кавказ засхали, и тут голову морочат!..

Он совершенно прав, этот тульский воин. Я забился в свой любимый угол, темный угол за реквизиторской. И слышал, как из зала понесся гул. Ура! Смеются. Молодцы актеры. «Хирургия» выручила и история о том, как чихнул чиновник.

Удача! Успех! В крысиный угол прибежал Слезкин и шипел, потирая руки:

— Пиши вторую программу!

Решили после «Вечера чеховского юмора» пустить «Пушкинский вечер».

Любовно с Юрием составляли программу.

— Этот болван не умеет рисовать, — бушевал Слезкин, — отдадим Марье Ивановне!

У меня тут же возникло зловещее предчувствие. Помоему, эта Марья Ивановна так же умеет рисовать, как я играть на скрипке... Я решил это сразу, как только она явилась в подотдел и заявила, что она ученица самого Н. (Ее немедленно назначили заведующей Изо.) Но так как я в живописи ничего не понимаю, то я промолчал.

Ровно за полчаса до начала я вошел в декораторскую и замер... Из золотой рамы на меня глядел Ноздрев. Он был изумительно хорош. Глаза наглые, выпуклые, и даже одна бакенбарда жиже другой. Иллюзия была так велика, что казалось, вот он громыхнет хохотом и скажет:

— А я, брат, с ярмарки. Поздравь: продулся в пух!

Не знаю, какое у меня было лицо, но только художница обиделась смертельно. Густо покраснела под слоем пудры, прищурилась.

— Вам, по-видимому... э... не нравится?

— Нет. Что вы. Хе-хе! Очень... мило. Мило очень. Только вот... бакенбарды...

— Что?.. Бакенбарды? Ну, так вы, значит, Пушкина никогда не видели! Поздравляю! А еще литератор! Ха-ха! Что же, по-вашему, Пушкина бритым нарисовать?!

— Виноват, бакенбарды бакенбардами, но ведь Пушкин в карты не играл, а если и играл, то без всяких фокусов!

— Какие карты? Ничего не понимаю! Вы, я вижу, издеваетесь надо мной!

— Позвольте, это вы издеваетесь. Ведь у вашего Пушкина глаза разбойничьи!

— А-ах... та-ак!

Бросила кисть. От двери:

— Я на вас пожалуюсь в подотдел!

Что было! Что было!.. Лишь только раскрылся занавес, и Ноздрев, нахально ухмыляясь, предстал перед потемневшим залом, прошелестел первый смех. Боже! Публика решила, что после чеховского юмора будет пушкинский юмор! Облившись холодным пóтом, я начал говорить о «северном сиянии на снежных пустынях словесности российской»... В зале хихикали на бакенбарды, за спиной торчал Ноздрев, и чудилось, что он бормочет мне:

— Ежели бы я был твоим начальником, я бы тебя повесил на первом дереве!

Так что я не выдержал и сам хихикнул. Успех был потрясающий, феноменальный. Ни до, ни после я не слышал по своему адресу такого грохота всплесков. А дальше пошло *crescendo*¹. Когда в инсценировке Сальери отравил Моцарта — театр выразил свое удовольствие по этому поводу одобрительным хохотом и громовыми криками: «Biss!!!»

Крысиным ходом я бежал из театра и видел смутно, как дебошир в поэзии летел с записной книжкой в редакцию...

Так я и знал!.. На столбе газета, а в ней на четвертой полосе:

ОПЯТЬ ПУШКИН!

Столичные литераторы, укрывшиеся в местном подотделе искусств, сделали новую объективную попытку развратить публику, преподнеся ей своего кумира Пушкина. Мало того, что они позволили себе изобразить этого кумира в виде помещика-крепостника (каким, положим, он и был) с бакенбардами...

И т. д.

Господи! Дай так, чтобы дебошир умер! Ведь болеют же кругом сыпняком. Почему же не может заболеть он? Ведь этот кретин подведет меня под арест!..

О, чертова напудренная кукла Изо!

Кончено. Все кончено! Вечера запретили...

¹ По нарастающей (*ит.*).

...Идет жуткая осень. Хлещет косой дождь. Ума не приложу, что ж мы будем есть? Что есть-то мы будем?!

10. ПОРТЯНКА И ЧЕРНАЯ МЫШЬ

.....
Голодный, поздним вечером, иду в темноте по лужам. Все заколочено. На ногах обрывки носков и рваные ботинки. Неба нет. Вместо него висит огромная портянка. Отчаянием я пьян. И бормочу:

— Александр Пушкин! *Lumen coeli. Sancta rosa*¹. И как гром его угроза.

Я с ума схожу, что ли?! Тень от фонаря побежала. Знаю: моя тень. Но она в цилиндре. На голове у меня кепка. Цилиндр мой я с голодухи на базар снес. Купили добрые люди и парашу из него сделали. Но сердце и мозг не понесу на базар, хоть издохну. Отчаяние. Над головой портянка, в сердце черная мышь...

11. НЕ ХУЖЕ КНУТА ГАМСУНА

Я голодаю.

.....
.....

12. БЕЖАТЬ. БЕЖАТЬ!

— Сто тысяч... У меня сто тысяч!..

Я их заработал!

Помощник присяжного поверенного, из туземцев, научил меня. Он пришел ко мне, когда я молча сидел, положив голову на руки, и сказал:

— У меня тоже нет денег. Выход один — пьесу нужно написать. Из туземной жизни. Революционную. Продадим ее...

Я тупо посмотрел на него и ответил:

— Я не могу ничего написать из туземной жизни, ни революционного, ни контрреволюционного. Я не знаю их

¹ Свет небес. Святая роза (лат.).

быта. И вообще, я ничего не могу писать. Я устал, и, кажется, у меня нет способности к литературе.

Он ответил:

— Вы говорите пустяки. Это от голоду. Будьте мужичиной. Быт — чепуха! Я насквозь знаю быт. Будем вместе писать. Деньги пополам.

С того времени мы стали писать. У него была круглая жаркая печка. Его жена развешивала белье на веревке в комнате, а затем давала нам винегрет с постным маслом и чай с сахарином. Он называл мне характерные имена, рассказывал обычаи, а я сочинял фабулу. Он тоже. И жена подсаживалась и давала советы. Тут же я убедился, что они оба гораздо более меня способны к литературе. Но я не испытывал зависти, потому что твердо решил про себя, что эта пьеса будет последним, что я пишу...

И мы писали.

Он нежился у печки и говорил:

— Люблю творить!

Я скрежетал пером...

Через семь дней трехактная пьеса была готова. Когда я перечитал ее у себя, в нетопленной комнате, ночью, я, не стыжусь признаться, заплакал! В смысле бездарности — это было нечто совершенно особенное, потрясающее! Что-то тупое и наглое глядело из каждой строчки этого коллективного творчества. Не верил глазам! На что же я надеюсь, безумный, если я так пишу?! С зеленых сырых стен и из черных страшных окон на меня глядел стыд. Я начал драть рукопись. Но остановился. Потому что вдруг, с необычайной чудесной ясностью, сообразил, что правы говорившие: написанное нельзя уничтожить! Порвать, сжечь... От людей скрыть. Но от самого себя — никогда! Кончено! Неизгладимо. Эту изумительную штуку я сочинил. Кончено!..

В туземном подотделе пьеса произвела фурор. Ее немедленно купили за 200 тысяч. И через две недели она шла.

В тумане тысячного дыхания сверкали кинжалы, газыри и глаза. Чеченцы, кабардинцы, ингуши, — после того, как в третьем акте геройские наездники ворвались и схватили пристава и стражников, — кричали:

— Ва! Подлец! Так ему и надо!

И вслед за подотдельскими барышнями вызывали: «Автора!»

За кулисами пожимали руки.

— Прикрасная пьеса!

И приглашали в аул...

...Бежать! Бежать! На 100 тысяч можно выехать отсюда. Вперед. К морю. Через море и море, и Францию — сушу — в Париж!

...Косой дождь сек лицо, и, ежась в шинелишке, я бежал переулками в последний раз — домой...

...Вы — беллетристы, драматурги в Париже, в Берлине, попробуйте! Попробуйте, потехи ради, написать что-нибудь хуже! Будьте вы так способны, как Куприн, Бунин или Горький, вам это не удастся. Рекорд побил я! В коллективном творчестве. Писали же втроем: я, помощник поверенного и голодуха. В 21-м году, в его начале...

13

.....
Сгинул город у подножия гор. Будь ты проклят... Цихидзири. Махинджаури. Зеленый Мыс! Магнолии цветут. Белые цветы величиной с тарелку. Бананы. Пальмы! Клянись, сам видел: пальма из земли растет. И море непрерывно поет у гранитной глыбы. Не лгали в книгах. Солнце в море погружается. Краса морская. Высота поднебесная. Скала отвесная, а на ней ползучие растения. Чаква. Цихидзири. Зеленый Мыс.

Куда я еду? Куда? На мне последняя моя рубашка. На манжетах кривые буквы. А в сердце у меня иероглифы тяжкие. И лишь один из таинственных знаков я расшифровал. Он значит: горе мне! Кто растолкует мне остальные?!

На обточенных соленой водой голышах лежу, как мертвый. От голода ослабел совсем. С утра начинает, до поздней ночи болит голова. И вот ночь — на море. Я не вижу его,

только слышу, как оно гудит. Прихлынет и отхлынет. И шипит опоздавшая волна. И вдруг из-за темного мыса — трехъярусные огни.

«Полацкий» идет на Золотой Рог

Слезы такие же соленые, как морская вода.

Видел поэта из неизвестных. Он ходил по Нури-Базару и продавал шляпу с головы. Кацо смеялись над ним.

Он стыдливо улыбался и объяснял, что не шутит. Шляпу продает потому, что у него деньги украли. Он лгал! У него давно уже не было денег. Он три дня не ел... Потом, когда мы пополам съели фунт чурека, он признался. Рассказал, что из Пензы едет в Ялту. Я чуть не засмеялся. Но вдруг вспомнил: а я?..

Чаша переполнилась. В двенадцать часов приехал «новый заведывающий».

Он вошел и заявил:

— Па иному пути пайдем! Не нады нам больше этой парнографии: «Горе от ума» и «Ревизора». Гоголи. Моголи. Свои пьесы сачиним.

Затем сел в автомобиль и уехал.

Его лицо навеки отпечаталось у меня в мозгу.

Через час я продал шинель на базаре. Вечером идет пароход. Он не хотел меня пускать. Понимаете? Не хотел пускать!..

Довольно! Пусть светит Золотой Рог. Я не доберусь до него. Запас сил имеет предел. Их больше нет. Я голоден, я сломлен! В мозгу у меня нет крови. Я слаб и боязлив. Но здесь я больше не останусь. Раз так... значит... значит...

14. ДОМОЙ

Домой. По морю. Потом в теплушке. Не хватит денег — пешком. Но домой. Жизнь погублена. Домой!..

В Москву! В Москву!

В Москву!

Прощай, Цихидзири. Прощай, Махинджаури. Зеленый
Мыс!

Часть вторая

МОСКВА

МОСКОВСКАЯ БЕЗДНА. ДЮВЛАМ.

Бездонная тьма. Лязг. Грохот. Еще катят колеса, но вот тише, тише. И стали. Конец. Самый настоящий, всем концам конец. Больше ехать некуда. Это — Москва. М-о-с-к-в-а.

На секунду внимание долгому мощному звуку, что рождается во тьме. В мозгу жуткие раскаты:

C'est la lu-u-tte fina-a-le!
...L'internationa-a-a-le!!¹

И здесь — также хрипло и страшно:

С Интернационалом!!

Во тьме — теплушек ряд. Смолк студенческий вагон...

Вниз, решившись наконец, прыгнул. Какое-то мягкое тело выскользнуло из-под меня со стоном. Затем за рельс зацепился и еще глубже куда-то провалился. Боже, неужели действительно бездна под ногами?..

Серые тела, взвалив на плечи чудовищные грузы, потекли... потекли...

Женский голос:

— Ах... не могу!

Разглядел в черном тумане курсистку — медичку. Она, скорчившись, трое суток проехала рядом со мной.

— Позвольте, я возьму.

На мгновение показалось, что черная бездна качнулась и позеленела. Да сколько же тут?

¹ Это последняя битва! С Интернационалом!! (фр.).

— Три пуда... Утаптывали муку.

Качаясь, в искрах и зигзагах, на огни.

От них дробятся лучи. На них ползет невиданная серая змея. Стекланный купол. Долгий, долгий гул. В глаза ослепляющий свет. Билет. Калитка. Взрыв голосов. Тяжко упало ругательство. Опять тьма. Опять луч. Тьма. Москва! Москва.

Воз нагрузился до куполов церквей, до звезд на бархате. Гремя, катился, и демонические голоса серых балахонов ругали цеплявшийся воз и того, кто чмокал на лошадь. За возом шла стая. И длинное беловатое пальто курсистки показывалось то справа, то слева. Но выбрались наконец из путаницы колес, перестали мелькать бородатые лики. Поехали, поехали по изодранной мостовой. Все тьма. Где это? Какое место? Все равно. Безразлично. Вся Москва черна, черна, черна. Дома молчат. Сухо и холодно глядят. О-хо-хо. Церковь проплыла. Вид у нее неясный, растерянный. Ухнула во тьму.

Два часа ночи. Куда же идти ночевать? Домов-то, домов! Чего проще... В любой постучать. Пустите переночевать. Вообража-аю!

Голос медички:

— А вы куда?

— А не знаю.

— То есть как?

...Есть добрые души на свете. Рядом, видите ли, комната квартиранта. Он еще не приехал из деревни. На одну ночь устроитесь...

— О, очень вам благодарен. Завтра я найду знакомых.

Стало немного веселее на душе. И, чудное дело, сразу, как только выяснилось, что ночь под крышей, тут вдруг почувствовалось, что три ночи не спали.

На мосту две лампы дробят мрак. С моста опять бултыхнули во тьму. Потом фонарь. Серый забор. На нем афища. Огромные яркие буквы. Слово. Батюшки! Что ж за слово? Дювлам. Что ж значит-то? Значит-то что ж?

Двенадцатилетний юбилей Владимира Маяковского.

Воз остановился. Снимали вещи. Присел на тумбочку и как зачарованный уставился на слово. Ах, слово хорошо.

А я, жалкий провинциал, хихикал в горах на завподиска! Куда ж, к черту. Ан, Москва не так страшна, как ее малютки. Мучительное желание представить себе юбиляра. Никогда его не видел, но знаю... знаю. Он лет сорока, очень маленького роста, лысенький, в очках, очень подвижной. Коротенькие подвернутые брючки. Служит. Не курит. У него большая квартира, с портьерами, уплотненная присяжным поверенным, который теперь не присяжный поверенный, а комендант казенного здания. Живет в кабинете с нетопящимся камином. Любит сливочное масло, смешные стихи и порядок в комнате. Любимый автор — Конан Дойль. Любимая опера — «Евгений Онегин». Сам готовит себе на примусе котлеты. Терпеть не может поверенного-коменданта и мечтает, что выселит его рано или поздно, женится и славно заживет в пяти комнатах.

Воз скрипнул, дрогнул, проехал, опять стал. Ни грозы, ни бури не повалили бессмертного гражданина Ивана Ивановича Иванова. У дома, в котором в темноте от страха показалось этажей пятнадцать, воз заметно похудел. В чернильном мраке от него к подъезду металась фигурка и шептала: «Папа, а масло?... папа, а сало?... папа, а белая?..»

Папа стоял во тьме и бормотал: «Сало... так, масло... так, белая, черная... так».

Затем вспышка вырвала из кромешного ада папин короткий палец, который отслюнил 20 бумажек ломовику.

Будут еще бури. Ох, большие будут бури! И все могут помереть. Но папа не умрет!

Воз превратился в огромную платформу, на которой затерялся курсисткин мешок и мой саквояж. И мы сели, свесив ноги, и уехали в темную глубину.

ДОМ № 4, 6-Й ПОДЪЕЗД, 3-Й ЭТАЖ,
КВ. 50, КОМНАТА 7

В сущности говоря, я не знаю, почему я пересек всю Москву и направился именно в это колоссальное здание. Та бумажка, которую я бережно вывез из горного царства, могла иметь касательство ко всем шестизэтажным зданиям, а вернее, не имела никакого касательства ни к одному из них.

В 6-м подъезде у сетчатой трубы мертвого лифта. Отдышался. Дверь. Две надписи. «Кв. 50». Другая загадочная: «Худо». Отдышаться. Как-никак, а ведь решается судьба.

Толкнул незапертую дверь. В полутемной передней огромный ящик с бумагой и крышка от рояля. Мелькнула комната, полная женщин в дыму. Дробно застучала машинка. Стихла. Басом кто-то сказал: «Мейерхольд».

— Где Лито? — спросил я, облокотившись на деревянный барьер.

Женщина у барьера раздраженно повела плечами. Не знает. Другая — не знает. Но вот темноватый коридор. Смутно, наугад. Открыл одну дверь — ванная. А на другой двери — маленький клок. Прибит косо, и край завернулся. Ли... А, слава Богу. Да, Лито. Опять сердце. Из-за двери слышались голоса: ду-ду-ду...

Закрыв глаза на секунду и мысленно представил себе. Там. Там вот что: в первой комнате ковер огромный, письменный стол и шкафы с книгами. Торжественно тихо. За столом секретарь — вероятно, одно из имен, знакомых мне по журналам. Дальше двери. Кабинет заведующего. Еще бо́льшая глубокая тишина. Шкафы. В кресле, конечно, кто? Лито? В Москве? Да, Горький Максим: «На дне», «Мать». Больше кому же? Ду-ду-ду... Разговаривают... А вдруг это Брюсов с Белым?..

И я легонько стукнул в дверь. Ду-ду-ду прекратилось, и глухо: «Да!» Потом опять ду-ду-ду. Я дернул за ручку, и она осталась у меня в руках. Я замер: хорошенькое начало карьеры — сломал! Опять постучал. «Да! Да!»

— Не могу войти! — крикнул я.

В замочной скважине прозвучал голос:

— Вверните ручку вправо, потом влево, вы нас заперли...

Вправо, влево, дверь мягко подалась, и...

ПОСЛЕ ГОРЬКОГО Я ПЕРВЫЙ ЧЕЛОВЕК

Да я не туда попал! Лито? Плетеный дачный стул. Пустой деревянный стол. Раскрытый шкаф. Маленький столик кверху ножками в углу. И два человека. Один высокий, очень молодой в пенсне. Бросились в глаза его обмотки. Они были белые, в руках он держал потрескавшийся портфель и мешок. Другой — седоватый старик с живыми, чуть смею-

щимися глазами — был в папахе, солдатской шинели. На ней не было места без дыры и карманы висели ключьями. Обмотки серые и лакированные бальные туфли с бантами.

Потухшим взором я обвел лица, затем стены, ища двери дальше. Но двери не было. Комната с оборванными проводами была глуха. Tout¹. Как-то косноязычно:

— Это... Лито?

— Да.

— Нельзя ли видеть заведующего?

Старик ласково ответил:

— Это я.

Затем взял со стола огромный лист московской газеты, отодрал от нее четвертушку, высыпал махорки, свернул козью ногу и спросил у меня:

— Нет ли спичечки?

Я машинально чиркнул спичкой, а затем под ласково-просительным взглядом старика достал из кармана заветную бумажку.

Старик наклонился над ней, а я в это время мучительно думал о том, кто бы он мог быть... Больше всего он походил на обритуго Эмиля Золя.

Молодой, перегнувшись через плечо старому, тоже читал. Кончили и посмотрели на меня как-то растерянно и с уважением.

Старик:

— Так вы?..

Я ответил:

— Я хотел бы должность в Лито.

Молодой восхищенно крикнул:

— Великолепно!.. Знаете!..

Подхватил старика под руку. Загудел шепотом: ду-ду-ду...

Старик повернулся на каблуках, схватил со стола ручку. А молодой сказал скороговоркой:

— Пишите заявление.

Заявление было у меня за пазухой. Я подал.

Старик взмахнул ручкой. Она сделала: крак! и прыгнула, разорвав бумагу. Он ткнул ее в баночку. Но та была суха.

— Нет ли карандашика?

¹ Все (фр.).

Я вынул карандаш, и заведующий косо написал:

«Прошу назначить секретарем Лито». Подпись.

Открыв рот, я несколько секунд смотрел на лихой росчерк.

Молодой дернул меня за рукав:

— Идите наверх, скорей, пока он не уехал! Скорей!

И я стрелой полетел наверх. Ворвался в двери, пронесся через комнату с женщинами и вошел в кабинет. В кабинете сидящий взял мою бумагу и чиркнул: «Назн. секр.». Буква. Закорючка. Зевнул и сказал: вниз.

В тумане летел опять вниз. Мелькнула машинка. Не бас, а серебристое сопрано сказала: «Мейерхольд. Октябрь театра...»

Молодой бушевал вокруг старого и хохотал.

— Назначил? Прекрасно! Мы устроим! Мы все устроим!

Тут он хлопнул меня по плечу:

— Ты не унывай! Все будет.

Я не терплю фамильярности с детства и с детства же был ее жертвой. Но тут я так был раздавлен всеми событиями, что только и мог сказать расслабленно:

— Но столы... стулья... чернила, наконец!

Молодой крикнул в азарте:

— Будет! Молодец! Все будет!

И, повернувшись в сторону старика, подмигнул на меня:

— Деловой парняга! Как он это про столы сразу! Он нам все наладит!

Назн. секр. Господи! Лито. В Москве. Максим Горький... На дне. Шехерезада... Мать.

Молодой тряхнул мешком, расстелил на столе газету и высыпал на нее фунтов пять гороху.

— Это вам. 1/4 пайка.

Я ВКЛЮЧАЮ ЛИТО

Историку литературы не забыть:

В конце 21-го года литературой в Республике занималось три человека: старик (драмы; он, конечно, оказался не

Эмиль Золя, а незнакомый мне), молодой (помощник старика, тоже незнакомый — стихи) и я (ничего не писал).

Историку же: в Лито не было ни стульев, ни столов, ни чернил, ни лампочек, ни книг, ни писателей, ни читателей. Коротко: ничего не было.

И я. Да, я из пустоты достал конторку красного дерева, старинную. В ней я нашел старый пожелтевший золотообрезный картон со словами: «...дамы в полуоткрытых бальных платьях. Военные в сюртуках с эполетами; гражданские в мундирных фраках и лентах. Студенты в мундирах. Москва. 1899 г.».

И запах нежный и сладкий. Когда-то в ящике лежал флакон дорогих французских духов. За конторкой появился стул. Чернила и бумага и, наконец, барышня, медлительная, печальная.

По моему приказу она разложила на столе стопками все, что нашлось в шкафу: брошюры о каких-то «вредителях», 12 номеров петербургской газеты, пачку зеленых и красных билетов, приглашающих на съезд губотделов. И сразу стало похоже на канцелярию. Старый и молодой пришли в восторг. Нежно похлопали меня по плечу и куда-то исчезли.

Часами мы сидели с печальной барышней. Я за конторкой, она за столом. Я читал «Трех мушкетеров» неподражаемого Дюма, которого нашел на полу в ванной, барышня сидела молча и временами тяжело и глубоко вздыхала.

Я спросил:

— Чего вы плачете?

В ответ она зарыдала и заломила руки. Потом промолвила:

— Я узнала, что я вышла замуж по ошибке за бандита.

Я не знаю, есть ли на свете штука, которой можно было бы меня изумить после двух этих лет. Но тут... тупо посмотрел на барышню...

— Не плачьте. Бывает.

И попросил рассказать.

Она, вытирая платочком слезы, рассказала, что вышла замуж за студента, сделала увеличительный снимок с его карточки, повесила в гостиной. Пришел агент, посмотрел на снимок и сказал, что это вовсе не Карасев, а Дольский, он же Глузман, он же Сенька Момент.

— Мо-мент... — говорила бедная барышня и вздрагивала и утиралась.

— Удрал он? Ну и плюньте.

Однако уже три дня. И ничего. Никто не приходил. Вообще ничего. Я и барышня...

Меня осенило сегодня: Лито не включено. Над нами есть какая-то жизнь. Топают ногами. За стеной тоже что-то. То глухо затарахтят машины, то смех. Туда приходят какие-то люди с бритыми лицами. Мейерхольд феноменально популярен в этом здании, но самого его нет.

У нас же ничего. Ни бумага. Ничего. Я решил включить Лито.

По лестнице поднималась женщина с пачкой газет. На верхней красным карандашом написано: «В Изю».

— А в Лито?

Она испуганно посмотрела и не ответила ничего. Я поднялся наверх. Подошел к барышне, сидевшей под плакатом: «секретарь». Выслушав меня, она испуганно посмотрела на соседку.

— А ведь верно, Лито... — сказала первая.

Вторая отозвалась:

— Им, Лидочка, есть бумага.

— Почему же вы ее не прислали? — спросил я ледяным тоном.

Посмотрели они напряженно:

— Мы думали — вас нет.

Лито включено. Вторая бумага пришла сегодня сверху от барышень. Приносит женщина в платке. С книгой: распишитесь.

Написал бумагу в хозяйственный отдел: «Дайте машину». Через два дня пришел человек, пожал плечами:

— Разве вам нужна машина?

— Я думаю, что больше, чем кому бы то ни было в этом здании.

Старик отыскался. Молодой тоже. Когда старик увидел машину и когда я сказал, что ему нужно подписать бумаги, он долго смотрел на меня пристально, пожевал губами:

— В вас что-то такое есть. Нужно было бы вам похлопотать об академическом пайке.

Мы с женой бандита начали составлять требовательную ведомость на жалование. Лито зацепилось за общий ход.

Моему будущему биографу: это сделал я.

ПЕРВЫЕ ЛАСТОЧКИ

Утром в 11 вошел молодой, по-видимому, очень озябший поэт. Тихо сказал: «Шторн».

— Чем могу вам служить?

— Я хотел бы получить место в Лито.

Я развернул листок с надписью: «Штаты». В Лито полагается 18 человек. Смутно я лелеял такое распределение:

Инструктора по поэтической части:

Брюсов, Белый... и т.д.

Прозаики:

Горький, Вересаев, Шмелев, Зайцев, Серафимович... и т.д.

Но никто из перечисленных не являлся.

И смелой рукой я черкнул на прошении Шторна: «пр. назн. инстр. За завед.». Буква. Завитушка.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Потом пришел кудрявый, румяный и очень жизнерадостный поэт Скарцев.

— Идите наверх, пока он не уехал.

Из Сибири приехал необыкновенно мрачный, в очках, лет 25, сбитый так плотно, что казался медным.

— Идите наверх...

Но он ответил:

— Никуда я не пойду.

Сел в угол на сломанный, шатающийся стул, вынул четвертушку бумаги и стал что-то писать короткими строчками. По-видимому, бывалый человек.

Открылась дверь, и вошел в хорошем теплом пальто и котиковой шапке некто. Оказалось, поэт. Саша.

Старик написал магические слова. Саша осмотрел внимательно комнату, задумчиво потрогал висящий оборванный провод, заглянул в шкаф. Вздохнул.

Подсел ко мне — конфиденциально:

— Деньги будут?..

МЫ РАЗВИВАЕМ ЭНЕРГИЮ

За столами не было места. Писали лозунги все и еще один новый, подвижной и шумный, в золотых очках, называвший

себя — король репортеров. Король явился на другое утро после получения нами аванса, без четверти девять, со словами:

— Слушайте, говорят, тут у вас деньги давали?

И поступил на службу к нам.

История лозунгов была такова.

Сверху пришла бумага:

Предлагается Лито в 12 час. дня такого-то числа в срочном порядке представить ряд лозунгов.

Теоретически это дело должно было обстоять так: старик при моем соучастии должен был издать какой-то приказ или клич по всему пространству, где только, предполагалось, — есть писатели. Лозунги должны были посылатся со всех сторон: телеграфно, письменно и устно. Затем комиссия должна была выбрать из тысяч лозунгов лучшие и представить их к 12 час. такого-то числа. Затем я и подведомственная мне канцелярия (то есть печальная жена разбойника) «должны» составить требовательную ведомость, получить по ней и выплатить наиболее достойным за наилучшие лозунги.

Но это теория.

На практике же:

1) Никакого клича кликнуть было невозможно, ибо некого было кликать. Литераторов в то время в поле зрения было: все перечисленные плюс король.

2) Исключалось первым: никакого, стало быть, наплыва лозунгов быть не могло.

3) К 12 час. дня такого-то числа лозунги представить было невозможно по той причине, что бумага пришла в 1 час 26 мин. этого самого такого-то числа.

4) Ведомость можно было и не писать, так как никакой такой графы «на лозунги» не было. Но — у старика была маленькая заветная сумма: на разъезды.

Поэтому:

а) Лозунги в срочном порядке писать всем, находящимся налицо;

б) комиссию для рассмотрения лозунгов составить для полного ее беспристрастия также из всех находящихся налицо;

с) за лозунги уплатить по 15 тыс. за штуку, выбрав наилучшие.

Сели в 1 час 50 мин., а в 3 час. лозунги были готовы. Каждый успел выдать из себя по 5—6 лозунгов, за исключением короля, написавшего 19 в стихах и прозе.

Комиссия была справедлива и строга.

Я — писавший лозунги — не имел ничего общего с тем мною, который принимал и критиковал лозунги.

В результате принято:

у старика — 3 лозунга,

у молодого — 3 лозунга,

у меня — 3 лозунга

и т.д. и т.д.

Словом: каждому 45 тысяч.

У-у, как дует... Вот оно, вот начинает моросить. Пирог на Трубе с мясом, сырой от дождя, но вкусный до остервенения. Трубочку сахарину. 2 фунта белого хлеба.

Обогнал Шторна. Он тоже что-то жевал.

НЕОЖИДАННЫЙ КОШМАР

...Клянусь, это сон!!! Что же это, колдовство, что ли?!

Сегодня я опоздал на 2 часа на службу.

Ввернул ручку, открыл, вошел и увидел: комната была пуста. Но как пуста! Не только не было столов, печальной женщины, машинки... не было даже электрических проводов. Ничего.

Значит, это был сон... Понятно... понятно...

Давно уже мне кажется, что кругом мираж. Зыбкий мираж. Там, где вчера... впрочем, черт, почему вчера?! Сто лет назад... в вечности... может быть, не было вовсе... может быть, сейчас нет?.. Канатчикова дача!..

Значит, добрый старик... молодой... печальный Шторн... машинка... лозунги... не было?

Было. Я не сумасшедший. Было, черт возьми!!!

Ну, так куда же оно делось?..

Нетвердой походкой, стараясь скрыть взгляд под веками (чтобы сразу не взяли и не свезли), пошел по полутемному коридорчику. И тут окончательно убедился, что со мной происходит что-то неладное. Во тьме над дверью, ведущей в соседнюю, освещенную комнату, загорелась огненная надпись, как в кинематографе:

МАРТА 25-ГО ЧИСЛА СЛУЧИЛОСЬ В ПЕТЕРБУРГЕ
НЕОБЫКНОВЕННО СТРАННОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ.
ЦИРЮЛЬНИК ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ...

Я не стал дальше читать и в ужасе выскользнул. У барьера остановился, глубже спрятал глаза и спросил глухо:

— Скажите, вы не видели, куда делось Лито?

Раздражительная, мрачная женщина с пунцовой лентой в черных волосах ответила:

— Ах, какое Лито... Я не знаю.

Я закрыл глаза. Другой женский голос участливо сказал:

— Позвольте, это совсем не здесь. Вы не туда попали. Это на Волхонке.

Я сразу озяб. Вышел на площадку. Вытер пот со лба. Решил идти назад через всю Москву к Разумихину. Забыть все. Ведь если я буду тих, смолчу, никто никогда не узнает. Буду жить на полу у Разумихина. Он не прогонит меня — душевнобольного.

Но последняя слабенькая надежда еще копошилась в сердце. И я пошел. Пошел. Это шестизэтажное здание было положительно страшно. Все пронизано продольными ходами, как муравейник, так что его все можно было пройти, из конца в конец, не выходя на улицу. Я шел по темным извилинам, временами попадал в какие-то ниши за деревянными перегородками. Горели красноватые не экономические лампы. Встречались озабоченные люди, которые стремились куда-то. Десятки женщин сидели. Тарахтели машинки. Мелькали надписи. Финчасть. Нацмен. Попадая на светлые площадки, опять уходил во тьму. Наконец вышел на площадку, тупо посмотрел кругом. Здесь было уже какое-то другое царство... Глупо. Чем дальше я ухожу, тем меньше шансов найти заколдованное Лито. Безнадежно. Я спустился вниз и вышел на улицу. Оглянулся: оказывается, 1-й подъезд...

...Злой порыв ветра. Небо опять стало лить холодные струи. Я глубже надвигал летнюю фуражку, поднимал воротник шинели. Через несколько минут через огромные щели у самой подошвы сапоги наполнились водой. Это было облегчением. Я не тешил себя мыслью, что мне

удастся добраться домой сухим. Не перепрыгивал с камешка на камешек, удлиняя свой путь, а пошел прямо по лужам.

2-Й ПОДЪЕЗД, 1-Й ЭТАЖ, КВ. 23, КОМ. 40

Огненная надпись:

ЧЕПУХА СОВЕРШЕННАЯ ДЕЛАЕТСЯ НА СВЕТЕ. ИНОГДА ВО ВСЕ НЕТ НИКАКОГО ПРАВДОПОДОБИЯ: ВДРУГ ТОТ САМЫЙ НОС, КОТОРЫЙ РАЗЪЕЗЖАЛ В ЧИНЕ СТАТСКОГО СОВЕТНИКА И НАДЕЛАЛ СТОЛЬКО ШУМУ В ГОРОДЕ, ОЧУТИЛСЯ, КАК НИ В ЧЕМ НЕ БЫВАЛО, ВНОВЬ НА СВОЕМ МЕСТЕ...

Утро вечера мудренее. Это суцая правда. Когда утром я проснулся от холода и сел на диване, ероша волосы, показалось, немного яснее в голове!

Логически: все же было оно? Ну, было, конечно. Я ведь помню и какое число, и как меня зовут. Куда-то делось... Ну так, значит, нужно его найти. Ну, а как же рядом-то женщины? На Волхонке... А, вздор! У них, у этих женщин, из-под носа могут украсть что угодно. Вообще я не знаю, зачем их держат, этих женщин. Казнь египетская.

Одевшись и напившись воды, которой я запас с вечера в стакане, съел кусочек хлеба, одну картофелину и составил план.

6 подъездов по 6 этажей в каждом = 36. 36 раз по 2 квартиры = 72. 72 раза по 6 комнат = 432 комнаты. Мыслимо найти? Мыслимо. Вчера прошел без системы две-три горизонтали. Сегодня систематически я обыщу весь дом в вертикальном и горизонтальном направлении. И найду. Если только, конечно, оно не нырнуло в четвертое измерение. Если в четвертое, тогда — да. Конец.

У 2-го подъезда носом к носу — Шторн!

Боже ты мой! Родному брату...

Оказалось: вчера за час до моего прихода явился заведующий административной частью с двумя рабочими и переселил Лито во 2-й подъезд, 1-й этаж, кв. 23, комн. 40.

На наше же место придет секция Музо.

— Зачем?!

— Я не знаю. А почему вы не пришли вчера? Старик волновался.

— Да помилуйте! Откуда же я знаю, куда вы делись? Оставили бы записку на двери.

— Да мы думали — вам скажут...

Я скрипнул зубами:

— Вы видели этих женщин? Что рядом...

Шторн-сказал:

— Это верно.

ПОЛНЫМ ХОДОМ

...Получив комнату, я почувствовал, что в меня влилась жизнь. В Лито ввинтили лампу. Достал ленту для машины. Потом появилась вторая барышня. Пр. назн. делопроизв.

Из провинции начали присылать рукописи. Затем еще одна великолепная барышня. Журналистка. Смешливая, хороший товарищ. Пр. назн. секрет. бюро художествен. фельетонов.

Наконец, с юга молодой человек. Журналист. И ему написали последнее «Пр.». Больше мест не было. Лито было полно. И грянула работа.

ДЕНЬГИ! ДЕНЬГИ!

12 таблеток сахарину, и больше ничего...

...Простыня или пиджак?..

О жаловании ни слуху ни духу.

...Сегодня поднялся вверх. Барышни встретили меня очень сухо. Они почему-то терпеть не могут Лито.

— Позвольте вашу ведомость проверить.

— Зачем вам?

— Хотут посмотреть, все ли внесены.

— Обратитесь к madame Крицкой.

Madame Крицкая встала, качнула пучком седеющих волос и сказала, побледнев:

— Она затерялась.

Пауза.

— И вы молчали?

Madame Крицкая плаксиво:

— Ах, у меня голова кругом идет. Что тут делается — уму непостижимо. Семь раз писала ведомость — возвращают. Не так. Да вы все равно не получите жалованья. Там у вас в списке кто-то не проведен приказом.

Все к черту! Некрасова и воскресших алкоголиков. Бросился сам. Опять коридоры. Мрак. Свет. Свет. Мрак. Мейерхольд. Личный состав. Днем лампы горят. Серая шинель. Женщина в мокрых валенках. Столы.

— Кто у нас не проведен приказом?!

Ответ:

— Ни один не проведен.

Но самое лучшее: не проведен основоположник Лито — старик! Что? И я сам не проведен?! Да что же это такое?!

— Вы, вероятно, не писали анкету?

— Я не писал? Я написал у вас 4 анкеты. И лично вам дал их в руки. С теми, что я писал раньше, будет — 113 анкет.

— Значит, затерялась. Пишите наново.

Три дня так прошло. Через три дня все восстановлены в правах. Написаны новые ведомости.

Я против смертной казни. Но если madame Крицкую поведут расстреливать, я пойду смотреть. То же и барышню в котиковой шапочке. И Лидочку, помощницу делопроизводителя.

...Вон! Помелом!..

Madame Крицкая осталась с ведомостями на руках, и я торжественно заявляю: она их не двинет дальше. Я не могу понять, почему этот дьявольский пучок оказался здесь. Кто мог ей поручить работу! Тут действительно Рок.

Прошла неделя. Был в 5-м этаже, в 4-м подъезде. Там ставили печать. Нужна еще одна, но не могу нигде 2-й день поймать председателя тарифно-расценочной комиссии.

Простыню продал.

Денег не будет раньше, чем через две недели.

Пронесся слух, что всем в здании выдадут по 500 авансом.

Слух верный. Все сидели, составляли ведомости. Четыре дня.

Я шел с ведомостями на аванс. Все достал. Все печати налицо. Но дошел до того, что, пробегая из 2-го этажа в 5-й, согнул в ярости в коридоре какой-то железный болт, торчащий из стены.

Сдал ведомости. Их пошлют в другое какое-то здание на другой конец Москвы... Там утверждают. Вернут. Тогда деньги...

Сегодня я получил деньги. Деньги!

За 10 минут до того, как идти в кассу, женщина в 1-м этаже, которая должна была поставить последнюю печать, сказала:

— Неправильно по форме. Надо задержать ведомость.

Не помню точно, что произошло. Туман.

Кажется, что я что-то болезненно выкрикнул. Вроде:

— Вы издеваетесь надо мной?

Женщина раскрыла рот:

— А-ах, вы так...

Тогда я смирился. Я смирился. Сказал, что я взволнован. Извинился. Свои слова взял обратно. Согласилась поправить красными чернилами. Черкнули: «Выдать». Запечатали.

В кассу. Волшебное слово: касса. Не верилось даже тогда, когда кассир вынул бумажки.

Потом опомнился: деньги!

С момента начала составления ведомости до момента получения из кассы прошло 22 дня и 3 часа.

Дома — чисто. Ни куртки. Ни простынь. Ни книг.

О ТОМ, КАК НУЖНО ЕСТЬ

Заболел. Неосторожность. Сегодня ел борщ красный с мясом. Плавали золотистые маленькие диски (жир). 3 тарелки. 3 фунта за день белого хлеба. Огурцы малосольные ел. Когда наобедался, заварил чаю. С сахаром выпил 4 стакана. Спать захотелось. Лег на диван и заснул...

Видел во сне, как будто я Лев Толстой в Ясной Поляне. И женат на Софье Андреевне. Я сижу наверху в кабинете. Нужно писать. А что писать, я не знаю. И все время приходят люди и говорят:

— Пожалуйста обедать.

А я боюсь сойти. И так дурачки: чувствую, что тут крупное недоразумение. Ведь не я писал «Войну и мир». А между тем здесь сижу. И сама Софья Андреевна идет вверх по деревянной лестнице и говорит:

— Иди. Вегетарианский обед.

И вдруг я рассердился.

— Что? Вегетарианство? Послать за мясом! Битки сделать. Рюмку водки.

Та заплакала, и бежит какой-то духобор с окладистой рыжей бородой и укоризненно мне:

— Водку? Ай-ай-ай! Что вы, Лев Иванович?

— Какой я Лев Иванович? Николаевич! Пошел вон из моего дома! Вон! Чтобы ни одного духобора!

Скандал какой-то произошел.

Проснулся совсем больной и разбитый. Сумерки. Где-то за стеной на гармонике играют.

Пошел к зеркалу. Вот так лицо. Рыжая борода, скулы белые, веки красные. Но это ничего, а вот глаза. Нехорошие. Опять с блеском.

Совет: берегитесь этого блеска. Как только появится, сейчас же берите займы деньги у буржуа (без отдачи), покупайте провизию и ешьте. Но только не наедайтесь сразу. В первый день бульон и немного белого хлеба. Постепенно, постепенно.

Сон мой мне тоже не нравится. Это скверный сон.

Пил чай опять. Вспоминал прошлую неделю. В понедельник я ел картошку с постным маслом и 1/4 фунта хлеба.

Выпил два стакана чая с сахарином. Во вторник ничего не ел, выпил пять стаканов чая. В среду достал два фунта хлеба взаймы у слесаря. Чай пил, но сахарин кончился. В четверг я великолепно обедал. В два часа пошел к своим знакомым. Горничная в белом фартуке открыла дверь.

Странное ощущение. Как будто бы десять лет назад. В три часа слышу, горничная начинает накрывать в столовой. Сидим, разговариваем (я побрился утром). Ругают большевиков и рассказывают, как они измучились. Я вижу, что они ждут, чтобы я ушел. Я же не ухожу.

Наконец хозяйка говорит:

— А может быть, вы пообедаете с нами? Или нет?

— Благодарю вас. С удовольствием.

Ели: суп с макаронами и с белым хлебом, на второе — котлеты с огурцами, потом рисовую кашу с вареньем и чай с вареньем.

Каюсь в скверном. Когда я уходил, мне представилась картина обыска у них. Приходят. Все роют. Находят золотые монеты в кальсонах в комод. В кладовке мука и ветчина. Забирают хозяина...

Гадость так думать, а я думал.

Кто сидит на чердаке над фельетоном голодный, не следуй примеру чистоплюя Кнута Гамсуна. Иди к этим, что живут в семи комнатах, и обедай. В пятницу ел в столовке суп с картофельной котлетой, а сегодня, в субботу, получил деньги, объелся и заболел.

ГРОЗА. СНЕГ

Что-то грозное начинает нависать в воздухе. У меня уже обрзовалось чутье. Под нашим Лито что-то начинает трещать.

Старик явился сегодня и сказал, ткнув пальцем в потолок, за которым скрываются барышни:

— Против меня интрига.

Лишь это я услышал, немедленно подсчитал, сколько у меня осталось таблеток сахарину... На 5—6 дней.

Старик вошел шумно и радостно.

— Я разбил их интригу, — сказал он. Лишь только он

произнес это, в дверь просунулась бабья голова в платке и буркнула:

— Которые тут? Распишитесь.

Я расписался.

В бумаге было:

С такого-то числа Лито ликвидируется.

...Как капитан с корабля, я сошел последним. Дела — Некрасова, Воскресшего Алкоголика, Голодные сборники, стихи, инструкции уездным Лито приказал подшить и сдать. Потушил лампу собственноручно и вышел. И немедленно с неба повалил снег. Затем дождь. Затем не снег и не дождь, а так что-то лепило в лицо со всех сторон.

В дни сокращений и такой погоды Москва ужасна. Да-с, это было сокращение. В других квартирах страшного здания тоже кого-то высадили.

Но: мадам Крицкая, Лидочка и котиковая шапочка остались.

«Накануне», 18 июня 1922 г.

Альманах «Возрождение», т. 2.

Журнал «Россия», 1923, № 5.

Печаталось с цензурными искажениями, но полной рукописи так и не найдено. Есть существенные пропуски и в первом собрании сочинений, М., Художественная литература, 1989, т. 1.

Публикуется по вышеуказанным источникам.



МОСКВА КРАСНОКАМЕННАЯ

1

УЛИЦА

Жужжит «Аннушка», звонит, трещит, качается. По Кремлевской набережной летит к Храму Христа.

Хорошо у Храма. Какой основательный кус воздуха навис над Москвой-рекой от белых стен до отвратительных бездымных четырех труб, торчащих из Замоскворечья.

За Храмом, там, где некогда величественно восседал тяжелый Александр III в сапогах гармоникой, теперь только пустой постамент. Грузный комод, на котором ничего нет и ничего, по-видимому, не предвидится. И над постаментом воздушный столб до самого синего неба.

Гуляй — не хочу.

Зимой массивные ступени, ведущие от памятника, исчезали под снегом, обледевали. Мальчишки — «Ява рассыпная» — скатывались со снежной горы на салазках и в пробегавшую «Аннушку» швыряли комьями. А летом плиты у Храма, ступени у пьедестала пусты. Маячат две фигуры, спускаются к трамвайной линии. У одной за плечами зеленый горб на ремнях. В горбе — паек. Зимой пол-Москвы с горбами ходили. Горбы за собой на салазках таскали. А теперь — довольно. Пайков гражданских нет. Получай миллионы — вали в магазин.

У другой — нет горба. Одет хорошо. Белый крахмал, штаны в полоску. А на голове выгоревший в грозе и буре бархатный околыш. На околыше — золотой знак. Не то молот и лопата, не то серп и грабли, во всяком случае, не серп и молот. Красный спец. Служит не то в ХМУ, не то в ЦУСе. Удачно служит, не нуждается. Каждый день ходит на Тверскую в гигантский магазин Эм-пе-о (в легендарные времена назывался Елисейев) и тычет пальцем в стекло, за которым лежат сокровища:

— Э-э... два фунта...

Приказчик в белом фартуке:

— Слуш...с-с...

И цирк ножом, но не от того куска, в который спец тыкал, что посвежее, а от того, что рядом, где подозрительнее.

— В кассу прошу...

Чек. Барышня бумажку на свет. Не ходят без этого бумажки никак. Кто бы в руки ни взял, первым долгом через нее на солнце. А что на ней искать надо, никто в Москве не ведает. Касса хлопнула, прогремела и съела десять спецовых миллионов. Сдачи: две бумажки по сту.

Одна настоящая с водяными знаками, другая, тоже с водяными знаками, — фальшивая.

В Эмпео-Елисеевских зеркальных стеклах — все новые покупатели. Три фунта. Пять фунтов. Икра черная лоснится в банках. Сиги копченые. Пирамиды яблок, апельсинов. К окну какой-то самоистязатель носом прилип, выкатил глаза на люстры-гроздь, на апельсины. Головой крутит. Проспал с 18 по 22 год!

А мимо, по избитым торцам, — велосипедист за велосипедистом. Мотоциклы. Авто. Свистят, каркают, как из пулеметов стреляют. На автоконьяке ездят. В автомобиль его нальешь, пустишь — за автомобилем сизо-голубой, удушливый дым столбом.

Летят общипанные, ободранные, развинченные машины. То с портфелями едут, то в шлемах краснозвездных, а то вдруг подпрыгнет на кожаных подушках дама в палантине, в стомиллионной шляпе с Кузнецкого. А рядом, конечно, выгоревший околыш. Нувориш. Нэпман.

Иногда мелькнет бесшумная, сияющая лаком машина. В ней джентльмен иностранного фасона. АРА.

Извозчики то вереницей, то в одиночку. Дыхание бури их не коснулось. Они такие, как были в 1822 г., и такие, как будут в 2022, если к тому времени не вымрут лошади. С теми, кто торгуется — наглы, с «лимонными» людьми — угодливы:

— Вас возил, господин!

Обыкновенная совпублика — пестрая, многоликая масса, что носит у московских кондукторш название: граждáне (ударение на втором слогe), — ездит в трамваях.

Бог их знает, откуда они берутся, кто их чинит, но их становится все больше и больше. На 14 маршрутах уже скрежесут в Москве. Большею частью — ни стать, ни сесть, ни лечь. Бывает, впрочем, и просторно. Вон «Аннушка» заворачивает под часы у Пречистенских ворот. Внутри кондуктор, кондукторша и трое пассажиров. Трое ожидающих сперва машинально становятся в хвост. Но вдруг хвост рассыпался. Лица становятся озабоченными. Локтями начинают толкать друг друга. Один хватается за левую ручку, другой одновременно за правую. Не входят, а «лезут». Штурмуют пустой вагон. Зачем? Что такое? Явление это уже изучено. Атавизм. Память о тех временах, когда не стояли, а висели. Когда ездили мешки с людьми. Теперь подите повисните! Попробуйте с пятипудовым мешком у Ярославского вокзала сунуться в вагон.

— Граждáне, нельзя с вещами.

— Да что вы... маленький узелочек...

— Гражданин! Нельзя!!! Как вы понятия не имеете!!

Звонок. Стоп. Выметайтесь.

И:

— Граждáне, получайте билеты. Граждáне, продвигайтесь вперед.

Граждане продвигаются, граждане получают. Во что попало одеты граждане. Блузы, рубахи, френчи, пиджаки. Больше всего френчей — омерзительного наряда, оставшегося на память о войне. Кепки, фуражки. Куртки кожаные. На ногах большей частью подозрительная стоптанная рвань с кривыми каблуками. Но попадаете уже лак. Советские сокращенные барышни в белых туфлях.

Катит пестрый маскарад в трамвае.

На трамвайных остановках гвалт, гомон. Чревовещательные силплые альты поют:

— Сиводнишняя «Известия-я»... Патриарха Тихxxx-а-а-ана!.. Эсеры... «Накану-у-не»... из Берлина только што па-а-лучена...

Несется трамвай среди говора, гомона, гудков. В центр.

Летит мимо Московской улицы. Вывеска на вывеске. В аршин. В сажень. Свежая краска бьет в глаза. И чего, чего на них нет. Все есть, кроме твердых знаков и ятей. Цупвоз. Цустран. Моссельпром. Отгадывание мыслей. Мосдревотдел. Виноторг. Старо-Рыковский трактир. Воскрес трактир,

но твердый знак потерял. Трактир «Спорт». Театр трудящихся. Правильно. Кто трудится, тому надо отдохнуть в театре. Производство «сандаля». Вероятно, сандалий. Обувь дамская, детская и «мальчиковая». Врывсслепромгвиу. Уни-торг, мосторг и главлесторг. Центробумтрест.

И в пестром месиве слов, букв на черном фоне белая фигура — скелет руки к небу тянет. Помоги! Г-о-л-о-д. В терновом венце, в обрамлении косм, смертными тенями покрытое лицо девочки и выгоревшие в голодной пытке глаза. На фотграфиях распухшие дети, скелеты взрослых, обтянутые кожей, валяются на земле. Всмотришься, пред-ста-вишь себе — и день в глазах посереет. Впрочем, кто все время ел, тому непонятно. Бегут нувориши мимо стен, не оглядываются...

До поздней ночи улица шумит. Мальчишки — красные купцы — торгуют. К двум ползут стрелки на огненных круглых часах, а Тверская все дышит, ворочается, выкрикивает. Вздвизгивают скрипки в кафе «Куку». Но все тише, реже. Гаснут окна в переулках... Спит Москва после пестрого будня перед красным праздником.

...Ночью спец, укладываясь, Неизвестному Богу молится:

— Ну что тебе стоит? Пошли на завтра ливень. С градом. Ведь идет же где-то град в два фунта. Хоть в полтора.

И мечтает:

— Вот выйдут, вот плакатики вынесут, а сверху как ахнет...

И дождик идет, и порядочный. Из перержавевших водосточных труб хлещет. Но идет-то он в несуразное, никому не нужное время — ночью. А наутро на небе ни пылинки!

И баба бабе у ворот говорит:

— На небе-то, видно, за большевиков стоят...

— Видно, так, милая...

В десять по Тверской прокатывается оглушительный марш. Мимо ослепших витрин, мимо стен, покрытых вылинявшими пятнами красных флагов, в новых гимнастерках с красными, синими, оранжевыми клапанами на груди, с красными шевронами, в шлемах, один к одному, под лязг тarelлок, под рев труб рота за ротой идет красная пехота.

С двухцветными эскадронными значками — разномастная кавалерия на рысях. Броневики лезут.

Вечером на бульварах толчея. Александр Сергеевич Пушкин, наклонив голову, внимательно смотрит на гудящий у его ног Тверской бульвар. О чем он думает — никому не известно... Ночью транспаранты горят. Звезды...

...И опять засыпает Москва. На огненных часах три. В тишине по всей Москве каждую четверть часа разносится таинственный нежный перезвон со старой башни, у подножия которой, не угасая всю ночь, горит лампа и стоит бессонный часовой. Каждую четверть часа несется с кремлевских стен перезвон. И спит перед новым буднем улица в невиданном, неслыханном красноторговом Китай-городе.

Москва, июль 1922
«Накануне», 30 июля 1922 г.



ПОХОЖДЕНИЯ ЧИЧИКОВА

Поэма в 10-ти пунктах с прологом и эпилогом

— Держи, держи, дурак! — кричал Чичиков Селифану.

— Вот я тебя палашом! — кричал скакавший навстречу фельдъегерь, с усами в аршин. — Не видишь, леший дери твою душу, казенный экипаж.

ПРОЛОГ

Диковинный сон... Будто бы в царстве теней, над входом в которое мерцает неугасимая лампада с надписью «Мертвые души», шутник-сатана открыл двери. Зашевелилось мертвое царство, и потянулась из него бесконечная веренища.

Манилов в шубе, на больших медведях, Ноздрев в чужом экипаже, Держиморда на пожарной трубе, Селифан, Петрушка, Фетинья...

А самым последним тронулся он — Павел Иванович Чичиков в знаменитой своей бричке.

И двинулась вся ватага на Советскую Русь, и произошли в ней тогда изумительные происшествия. А какие — тому следуют пункты...

I

Пересев в Москве из брички в автомобиль и летя в нем по московским буеракам, Чичиков ругательски ругал Гоголя:

— Чтоб ему набежало, дьявольскому сыну, под обоими глазами по пузырью в копну величиною! Испакостил, изгадил репутацию так, что некуда носа показать. Ведь, ежели узнают, что я — Чичиков, натурально, в два счета выкинут к чертовой матери! Да еще хорошо, как только выкинут, а то еще, храни Бог, на Лубянке насидишься. А все Гоголь, чтоб ни ему, ни его родне...

И, размышляя таким образом, въехал в ворота той самой гостиницы, из которой сто лет тому назад выехал.

Все решительно в ней было по-прежнему: из щелей выглядывали тараканы и даже их как будто больше сделалось, но были и некоторые измененьца. Так, например, вместо вывески «Гостиница» висел плакат с надписью: «Общежитие № такой-то», и, само собой, грязь и гадость была такая, о которой Гоголь даже понятия не имел.

— Комнату!

— Ордер пожалте!

Ни одной секунды не смутился гениальный Павел Иванович.

— Управляющего!

— Трах! — управляющий старый знакомый: дядя Лысый Пимен, который некогда держал «Акульку», а теперь открыл на Тверской кафе на русскую ногу с немецкими затеями: аршадами, бальзамами и, конечно, с проститутками. Гость и управляющий облобызались, шушукнулись, и дело уладилось вмиг без всякого ордера. Закусил Павел Иванович чем Бог послал и полетел устраиваться на службу.

II

Являлся всюду и всех очаровывал поклонами несколько набок и колоссальной эрудицией, которой всегда отличался.

— Пишите анкету.

Дали Павлу Ивановичу анкетный лист в аршин длины, и на нем сто вопросов самых каверзных: откуда, да где был, да почему?..

Пяти минут не просидел Павел Иванович и исписал анкету кругом. Дрогнула только у него рука, когда подавал ее.

— Ну, — подумал, — прочитают сейчас, что я за сокровище, и...

И ничего ровно не случилось.

Во-первых, никто анкету не читал, во-вторых, попала она в руки к барышне-регистраторше, которая распорядилась ею по обычаю: провела вместо входящего по исходящему и затем немедленно ее куда-то засунула, так что анкета как в воду канула.

Ухмыльнулся Чичиков и начал служить.

А дальше пошло легче и легче. Прежде всего оглянулся Чичиков и видит: куда ни плюнь, свой сидит. Полетел в учреждение, где пайки-де выдают, и слышит:

— Знаю я вас, скалдырников: возьмете живого кота, обдерете, да и даете на паек! А вы дайте мне бараний бок с кашей. Потому что лягушку вашу пайковую мне хоть сахаром облепи, не возьму ее в рот и гнилой селедки тоже не возьму!

Глянул — Собакевич.

Тот, как приехал, первым долгом двинулся паек требовать. И ведь получил! Съел и надбавки попросил. Дали. Мало! Тогда ему второй отвалили; был простой — дали ударный. Мало! Дали какой-то бронированный. Сlopал и еще потребовал. И со скандалом потребовал! Обругал всех хриstopродавцами, сказал, что мошенник на мошеннике сидит и мошенником погоняет и что есть один только порядочный человек делопроизводитель, да и тот, если сказать правду, свинья!

Дали академический.

Чичиков лишь увидел, как Собакевич пайками орудует, моментально и сам устроился. Но, конечно, превзошел и Собакевича. На себя получил, на несуществующую жену с ребенком, на Селифана, на Петрушку, на того самого дядю, о котором Бетрищеву рассказывал, на старуху мать, которой на свете не было. И всем академические. Так что продукты к нему стали возить на грузовике.

А наладивши таким образом вопрос с питанием, двинулся в другое учреждение, получать места.

Пролетая как-то раз в автомобиле по Кузнецкому, встретил Ноздрева. Тот первым долгом сообщил, что он уже продал и цепочку и часы. И точно, ни часов, ни цепочки на нем не было. Но Ноздрев не унывал. Рассказал, как повезло ему на лотерее, когда он выиграл полфунта постного масла, ламповое стекло и подметки на детские ботинки, но как ему потом не повезло и он, канальство, еще своих шестисот миллионов доложил. Рассказал, как предложил Внешторгу поставить за границу партию настоящих кавказских кинжалов. И поставил. И заработал бы на этом тьму, если б не мерзавцы англичане, которые увидели, что на кин-

жалах надпись «Мастер Савелий Сибиряков», и все их забраковали. Затащил Чичикова к себе в номер и напоил изумительным, якобы из Франции полученным коньяком, в котором, однако, был слышен самогон во всей его силе. И, наконец, до того доврлся, что стал уверять, что ему выдали восемьсот аршин мануфактуры, голубой автомобиль с золотом и ордер на помещение в здании с колоннами.

Когда же зять его Мижув выразил сомнение, обругал его, но не Софроном, а просто сволочью.

Одним словом, надоед Чичикову до того, что тот не знал, как и ноги от него унести.

Но рассказы Ноздрева навели его на мысль и самому заняться внешней торговлей.

IV

Так он и сделал. И опять анкету написал и начал действовать и показал себя во всем блеске. Баранов в двойных тулупах водил через границу, а под тулупами брабантские кружева; бриллианты возил в колесах, дышлах, в ушах и невесть в каких местах.

И в самом скором времени очутились у него около пяти-сот апельсинов капитала.

Но он не унялся, а подал куда следует заявление, что желает снять в аренду некое предприятие, и расписал необыкновенными красками, какие от этого государству будут выгоды.

В учреждении только рты растянули — выгода действительно выходила колоссальная. Попросили указать предприятие. Извольте. На Тверском бульваре, как раз против Страстного монастыря, перейдя улицу, и называется — Пампуш на Твербуле. Послали запрос куда следует: есть ли там такая штука. Ответили: есть и всей Москве известна. Прекрасно.

— Подайте техническую смету.

У Чичикова смета уже за пазухой.

Дали в аренду.

Тогда Чичиков, не теряя времени, полетел куда следует.

— Аванс пожалте.

— Представьте ведомость в трех экземплярах с надлежащими подписями и приложением печатей.

Двух часов не прошло, представил и ведомость. По всей форме. Печатей столько, как в небе звезд. И подписи налицо.

— За заведующего — Неуважай-Корыто, за секретаря — Кувшинное Рыло, за председателя тарифно-расценочной комиссии — Елизавета Воробей.

— Верно. Получите ордер.

Кассир только крикнул, глянув на итог.

Расписался Чичиков и на трех извозчиках увез дензнаки.

А затем в другое учреждение:

— Пожалте подтоварную ссуду.

— Покажите товары.

— Сделайте одолжение. Агента позвольте.

— Дать агента!

Тьфу! и агент знакомый: Ротозей Емельян.

Забрал его Чичиков и повез. Привез в первый попавшийся подвал и показывает. Видит Емельян — лежит несметное количество продуктов.

— М-да... И все ваше?

— Все мое.

— Ну, — говорит Емельян, — поздравляю вас в таком случае. Вы даже не миллионщик, а трильонщик!

А Ноздрев, который тут же с ними увязался, еще подлил масла в огонь.

— Видишь, — говорит, — автомобиль в ворота с сапогами едет? Так это тоже его сапоги.

А потом вошел в азарт, потащил Емельяна на улицу и показывает:

— Видишь магазины? Так это все его магазины. Все, что по эту сторону улицы, — все его. А что по ту сторону — тоже его. Трамвай видишь? Его. Фонари?.. Его. Видишь? Видишь?

И вертит его во все стороны.

Так что Емельян взмолился:

— Верю! Вижу... только отпусти душу на покаяние.

Поехали обратно в учреждение.

Там спрашивают:

— Ну что?

Емельян только рукой махнул.

— Это, — говорит, — неопишимо!

— Ну, раз неопишимо — выдать ему $n+1$ миллиардов.

v

Дальше же карьера Чичикова приняла головокружительный характер. Уму непостижимо, что он вытворял. Основал трест для выделки железа из деревянных опилок и тоже ссуду получил. Вошел пайщиком в огромный кооператив и всю Москву накормил колбасой из дохлого мяса. Помещица Коробочка, услышав, что теперь в Москве «все решено», пожелала недвижимость приобрести; он вошел в компанию с Замухрышкиным и Утешительным и продал ей Манеж, что против Университета. Взял подряд на электрификацию города, от которого в три года никуда не доскачешь, и, войдя в контакт с бывшим городничим, разметал какой-то забор, поставил вехи, чтобы было похоже на планировку, а насчет денег, отпущенных на электрификацию, написал, что их у него отняли банды капитана Копейкина. Словом, произвел чудеса.

И по Москве вскоре загудел слух, что Чичиков — трильонщик. Учреждения начали рвать его к себе нарасхват в спецы. Уже Чичиков снял за 5 миллиардов квартиру в пять комнат, уже Чичиков обедал и ужинал в «Ампире».

vi

Но вдруг произошел крах.

Погубил же Чичикова, как правильно предсказал Гоголь, Ноздрев, а прикончила Коробочка. Без всякого желания сделать ему пакость, а просто в пьяном виде, Ноздрев разболтал на бегах и про деревянные опилки, и о том, что Чичиков снял в аренду несуществующее предприятие, и все это заключил словами, что Чичиков жулик и что он бы его расстрелял.

Задумалась публика, и как искра побежала крылатая молва.

А тут еще дура Коробочка вперлась в учреждение расспрашивать, когда ей можно будет в Манеже булочную от-

крыть. Тщетно уверяли ее, что Манеж казенное здание и что ни купить его, ни что-нибудь открывать в нем нельзя, — глупая баба ничего не понимала.

А слухи о Чичикове становились все хуже и хуже. Начали недоумевать, что такое за птица этот Чичиков и откуда он взялся. Появились сплетни, одна другой злоеющее, одна другой чудовищней. Беспокойство вселилось в сердца. Зазвонили телефоны, начались совещания... Комиссия построения в комиссию наблюдения, комиссия наблюдения в Жилотдел, Жилотдел в Наркомздрав, Наркомздрав в Главкустпром, Главкустпром в Наркомпрос, Наркомпрос в Пролеткульт и т.д.

Кинулись к Ноздреву. Это, конечно, было глупо. Все знали, что Ноздрев лгун, что Ноздреву нельзя верить ни в одном слове. Но Ноздрева призвали, и он ответил по всем пунктам.

Объявил, что Чичиков действительно взял в аренду несуществующее предприятие и что он, Ноздрев, не видит причины, почему бы не взять, ежели все берут? На вопрос: уж не белогвардейский ли шпион Чичиков, ответил, что шпион и что его недавно хотели даже расстрелять, но почему-то не расстреляли. На вопрос: не делатель ли Чичиков фальшивых бумажек, ответил, что делатель, и даже рассказал анекдот о необыкновенной ловкости Чичикова: как, узнавши, что правительство хочет выпустить новые знаки, Чичиков снял квартиру в Марьиной роще и выпустил оттуда фальшивых знаков на 18 миллиардов и при этом на два дня раньше, чем вышли настоящие, а когда туда нагрянули и опечатали квартиру, Чичиков в одну ночь перемешал фальшивые знаки с настоящими, так что потом сам черт не мог разобраться, какие знаки фальшивые, а какие настоящие. На вопрос: точно ли Чичиков обменял свои миллиарды на бриллианты, чтобы бежать за границу, Ноздрев ответил, что это правда и что он сам взялся помогать и участвовать в этом деле, а если бы не он, ничего бы и не вышло.

После рассказов Ноздрева полнейшее уныние овладело всеми. Видят, никакой возможности узнать, что такое Чичиков, нет. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не нашелся среди всей компании один. Правда, Гоголя он тоже, как и все, в руки не брал, но обладал маленькой дозой здравого смысла.

Он воскликнул:
— А знаете, кто такой Чичиков?
И когда все хором грянули:
— Кто?!
Он произнес гробовым голосом:
— Мошенник.

VII

Тут только и осенило всех. Кинулись искать анкету. Нету. По входящему. Нету. В шкапу — нету. К регистраторше.

— Откуда я знаю? У Иван Григорьича.

К Ивану Григорьичу.

— Где?

— Не мое дело. Спросите у секретаря и т.д. и т.д.

И вдруг неожиданно в корзине для ненужных бумаг — она.

Стали читать и обомлели.

Имя? Павел. Отчество? Иванович. Фамилия? Чичиков. Звание? Гоголевский персонаж. Чем занимался до революции? Скупкой мертвых душ. Отношение к воинской повинности? Ни то ни се, ни черт знает что. К какой партии принадлежит? Сочувствующий (а кому — неизвестно). Был ли под судом? Волнистый зигзаг. Адрес? Поворотя во двор, в третьем этаже направо, спросить в справочном бюро штаб-офицеру Подточину, а та знает.

Собственноручная подпись? Обмакни!!

Прочитали и окаменели.

Крикнули инструктора Бобчинского:

— Катись на Тверской бульвар в арендуемое им предприятие и во двор, где его товары, может, там что откроется!

Возвращается Бобчинский. Глаза круглые.

— Чрезвычайное происшествие!

— Ну!!

— Никакого предприятия там нету. Это он адрес памятника Пушкину указал. И запасы не его, а «Ара».

Тут все взвыли:

— Святители угодники! Вот так гусь! А мы ему миллиарды!! Выходит, теперича ловить его надо!
И стали ловить.

VIII

Пальцем в кнопку ткнули:

— Кульера.

Отворилась дверь и предстал Петрушка. Он от Чичикова уже давно отошел и поступил курьером в учреждение.

— Берите немедленно этот пакет и немедленно отправляйтесь.

Петрушка сказал:

— Слушаю-с.

Немедленно взял пакет, немедленно отправился и немедленно его потерял.

Позвонили Селифану в гараж:

— Машину. Срочно.

— Чичас.

Селифан встрепенулся, закрыл мотор теплыми штанами, натянул на себя куртку, вскочил на сиденье, засвистел, загудел и полетел.

Какой же русский не любит быстрой езды?!

Любил ее и Селифан, и поэтому при самом въезде на Лубянку пришлось ему выбирать между трамваем и зеркальным окном магазина. Селифан в течение одной трети времени избрал второе, от трамвая увернулся и, как вихрь, с воплем: «спасите!» въехал в магазин через окно.

Тут даже у Тентетникова, который заведовал всеми Селифанами и Петрушками, лопнуло терпение:

— Уволить обоих к свиньям!

Уволили. Послали на биржу труда. Оттуда командировали: на место Петрушки — плюшкинского Прошку, на место Селифана — Григория Досжай-не-Доедешь. А дело тем временем кипело дальше!

— Авансовую ведомость!

— Извольте.

— Попросить сюда Неуважая-Корыто.

Оказалось, попросить невозможно. Неуважая месяца два

тому назад вычистили из партии, а уже из Москвы он и сам вычистился сейчас же после этого, так как делать ему в ней было больше решительно нечего.

— Кувшинное Рыло?

Уехал куда-то на куличку инструктировать Губотдел.

Принялись тогда за Елизавета Воробья. Нет такого! Есть, правда, машинистка Елизавета, но не Воробей. Есть помощник заместителя младшего делопроизводителя замзавподотдела Воробей, но он не Елизавета!

Прицепились к машинистке:

— Вы?!

— Ничего подобного! Почему это я? Здесь Елизавета с твердым знаком, а разве я с твердым? Совсем наоборот...

И в слезы. Оставили в покое.

А тем временем, пока возились с Воробьем, правозаступник Самосвистов дал знать Чичикову стороной, что по делу началась возня, и, понятное дело, Чичикова и след простыл.

И напрасно гоняли машину по адресу: поворотя направо, никакого, конечно, справочного бюро не оказалось, а была там заброшенная и разрушенная столовая общественного питания. И вышла к приехавшим уборщица Фетинья и сказала, что никого нетути.

Рядом, правда, поворотя налево, нашли справочное бюро, но сидела там не штаб-офицерша, а какая-то Подстега Сидоровна и, само собой разумеется, не знала не только чичиковского адреса, но даже и своего собственного.

IX

Тогда напало на всех отчаяние. Дело запуталось до того, что и черт бы в нем никакого вкуса не отыскал. Несуществующая аренда перемешалась с опилками, брабантские кружева с электрификацией, Коробочкина покупка с бриллиантами. Влип в дело Ноздрев, оказались замешанными и сочувствующий Ротозей Емельян, и беспартийный Вор Антошка, открылась какая-то панاما с пайками Собакевича. И пошла писать губерния!

Самосвистов работал не покладая рук и впутал в общую кашу и путешествия по сундукам, и дело о подложных счетах за разъезды (по одному ему оказалось замешано до 50 000 лиц), и проч., и проч. Словом, началось черт знает что. И те, у кого миллиарды из-под носа выписали, и те, кто их должны были отыскать, метались в ужасе, и перед глазами был только один непреложный факт: миллиарды были и исчезли.

Наконец, встал какой-то Дядя Митяй и сказал:

— Вот что, братцы... Видно, не миновать нам следственную комиссию назначить.

Х

И вот тут (чего во сне не увидишь!) вынырнул, как некий бог на машине, я и сказал:

— Поручите мне.

Изумились:

— А вы... того... сумеете?

А я:

— Будьте покойны.

Поколебались. Потом красным чернилом:

— Поручить.

Тут я и начал (в жизнь не видел приятнее сна!).

Полетели со всех сторон ко мне 35 тысяч мотоциклистов:

— Не угодно ли чего?

А я им:

— Ничего не угодно. Не отрывайтесь от ваших дел. Я сам справлюсь. Единолично.

Набрал воздуха и гаркнул так, что дрогнули стекла:

— Подать мне сюда Ляпкина-Тяпкина! Срочно! По телефону подать!

— Так что подать невозможно... Телефон сломался.

— А-а! Сломался! Провод оборвался? Так чтоб он даром не мотался, повесить на нем того, кто докладывает!!

Батюшки! Что тут началось!

— Помилуйте-с... что вы-с... Сию... хе-хе... минутку... Эй! Мастеров! Проволоки! Сейчас починят!

В два счета починили и подали.

И я рванул дальше:

— Тяпкин? М-мерзавец! Ляпкин? Взять его прохвоста! Подать мне списки! Что? Не готовы? Приготовить в пять минут, или вы сами очутитесь в списках покойников! Э-э-то кто?! Жена Манилова — регистраторша? В шею! Улинька Бетрищева — машинистка? В шею! Собакевич? Взять его! У вас служит негодяй Мурзофейкин? Шулер Утешительный? Взять!! И того, что их назначил, — тоже! Схватить его! И его! И этого! И того! Фстинью вон! Поэта Тряпичкина, Селифана и Петрушку в учетное отделение! Ноздрева в подвал... В минуту! В секунду!! Кто подписал ведомость? Подать его, каналью!! Со дня моря достать!!

Гром пошел по пеклу...

— Вот черт налетел! И откуда такого достали?!

А я:

— Чичикова мне сюда!!

— Н... н... невозможно сыскать. Они скрымшись...

— Ах, скрымшись? Чудесно! Так вы сядете на его место.

— Помил...

— Молчать!!

— Сию минуточку... Сию... Повремените секундочку. Ищут-с.

И через два мгновения нашли!

И напрасно Чичиков валялся у меня в ногах и рвал на себе волосы и френч и уверял, что у него нетрудоспособная мать.

— Мать?! — гремел я, — мать?.. Где миллиарды? Где народные деньги?! Вор!!! Взрезать его, мерзавца! У него бриллианты в животе!

Вскрыли его. Тут они.

— Все?

— Все-с.

— Камень на шею и в прорубь!

И стало тихо и чисто.

И я по телефону:

— Чисто.

А мне в ответ.

— Спасибо. Просите, чего хотите.

Так я и взметнулся около телефона. И чуть было не выложился в трубку все сметные предположения, которые давно уже терзали меня:

«Брюки... фунт сахару... лампу в 25 свечей...»

Но вдруг вспомнил, что порядочный литератор должен быть бескорыстен, увял и пробормотал в трубку:

— Ничего, кроме сочинений Гоголя в переплете, какие сочинения мной недавно проданы на толчке.

И... бац! У меня на столе золотообрезный Гоголь!

Обрадовался я Николаю Васильевичу, который не раз утешал меня в хмурые бессонные ночи, до того, что рывкнул:

— Ура!

И...

ЭПИЛОГ

...конечно, проснулся. И ничего: ни Чичикова, ни Ноздрева и, главное, ни Гоголя...

— Э-хе-хе, — подумал я себе и стал одеваться, и вновь пошла передо мной по-будничному щеголять жизнь.

«Накануне», 24 сентября 1922 г., «Литературное приложение» № 19.

Кроме того, рассказ напечатан в газете «Бакинский рабочий», 9 октября 1922 г.

Публикуется по сборнику: М.Булгаков. Дьяволиада, издательство «Недра», Мосполиграф, 1925 г., с необходимыми уточнениями, в частности, вместо: «Поэма в 10-ти пунктах...» в сборнике — ошибочно: «в 2-х».



КРАСНАЯ КОРОНА

(*Hiztoria mordi*¹)

Больше всего я ненавижу солнце, громкие человеческие голоса и стук. Частый, частый стук. Людей боюсь до того, что, если вечером я заслпшу в коридоре чужие шаги и говор, начинаю вскрикивать. Поэтому и комната у меня особенная, покойная и лучшая, в самом конце коридора, № 27. Никто не может ко мне прийти. Но чтобы еще вернее обезопасить себя, я долго упрашивал Ивана Васильевича (плакал перед ним) чтобы он выдал мне удостоверение на машинке. Он согласился и написал, что я нахожусь под его покровительством и что никто не имеет права меня взять. Но я не очень верил, сказать по правде, в силу его подписи. Тогда он заставил подписать и профессора и приложил к бумаге круглую синюю печать. Это другое дело. Я знаю много случаев, когда люди оставались живы только благодаря тому, что у них нашли в кармане бумажку с круглой печатью. Правда, того рабочего в Бердянске, со щекой, вымазанной сажей, повесили на фонаре именно после того, как нашли у него в сапоге скомканную бумажку с печатью... Она его загнала на фонарь, а фонарь стал причиной моей болезни (не беспокойтесь, я прекрасно знаю, что я болен).

В сущности, еще раньше Коли со мной случилось что-то. Я ушел, чтоб не видеть, как человека вешают, но страх ушел вместе со мной в трясущихся ногах. Тогда я, конечно, не мог ничего поделать, но теперь я смело бы сказал:

— Господин генерал, вы — зверь! Не смейте вешать людей!

Уже по этому вы можете видеть, что я не труслив, о печати заговорил не из страха перед смертью. О нет, я ее не

¹ История болезни (лат.).

боюсь. Я сам застрелюсь, и это будет скоро, потому что Коля доведет меня до отчаяния. Но я застрелюсь сам, чтобы не видеть и не слышать Колю. Мысль же, что придут другие люди. Это отвратно.

Целыми днями напролет я лежу на кушетке и смотрю в окно. Над нашим зеленым садом воздушный провал, за ним желтая громада в семь этажей повернулась ко мне глухой безоконной стеной, и под самой крышей — огромный ржавый квадрат. Вывеска. Зуботехническая лаборатория. Белыми буквами. Вначале я ее ненавижу. Потом привык, и если бы ее сняли, я, пожалуй, скучал бы без нее. Она маячит целый день, на ней сосредоточиваю внимание и размышляю о многих важных вещах. Но вот наступает вечер. Темнеет купол, исчезают из глаз белые буквы. Я становлюсь серым, растворяюсь в мрачной гуще, как растворяются мои мысли. Сумерки — страшное и значительное время суток. Все гаснет, все мешается. Рыженький кот начинает бродить бархатными шажками по коридорам, и изредка я вскрикиваю. Но света не позволяю зажигать, потому что если вспыхнет лампа, я целый вечер буду рыдать, заламывая руки. Лучше покорно ждать той минуты, когда в струистой тьме загорится самая важная, последняя картина.

Старуха мать сказала мне:

— Я долго так не проживу. Я вижу: безумие. Ты старший, и я знаю, что ты любишь его. Верни Колю. Верни. Ты старший.

Я молчал.

Тогда она вложила в свои слова всю жажду и всю ее боль:

— Найди его! Ты притворяешься, что так нужно. Но я знаю тебя. Ты умный и давно уже понимаешь, что все это — безумие. Приведи его ко мне на день. Один. Я опять отпущу его.

Она лгала. Разве она отпустила бы его опять?

Я молчал.

— Я только хочу поцеловать его глаза. Ведь все равно его убьют. Ведь жалко? Он — мой мальчик. Кого же мне еще просить? Ты старший. Приведи его.

Я не выдержал и сказал, пряча глаза:

— Хорошо.

Но она схватила меня за рукав и повернула так, чтобы глянуть в лицо.

— Нет, ты поклянись, что привезешь его живым.

Как можно дать такую клятву?

Но я, безумный человек, поклялся:

— Клянусь.

Мать малодушна. С этой мыслью я уехал. Но видел в Бердянске покосившийся фонарь. Господин генерал, я согласен, что я был преступен не менее вас, я страшно отвечаю за человека, выпачканного сажей, но брат здесь ни при чем. Ему девятнадцать лет.

После Бердянска я твердо выполнил клятву и нашел его в двадцати верстах у речонки. Необыкновенно яркий был день. В мутных клубах белой пыли по дороге в деревню, от которой тянуло гарью, шагом шел конный строй. В первой шеренге с краю он ехал, надвинув козырек на глаза. Все помню: первая шпора спустилась к самому каблуку. Ремешок от фуражки тянулся по щеке под подбородок.

— Коля! Коля! — Я вскрикнул и побежал к придорожной канаве.

Он дрогнул. В шеренге хмурые потные солдаты повернули головы.

— А, брат! — крикнул он в ответ. Он меня почему-то никогда не называл по имени, а всегда — брат. Я старше его на десять лет. И он всегда внимательно слушал мои слова. — Стой. Стой здесь, — продолжал он, — у лесочка. Сейчас мы подойдем. Я не могу остановить эскадрон.

У опушки, в стороне от спешившегося эскадрона, мы курили жадно. Я был спокоен и тверд. Все — безумие. Мать была совершенно права.

И я шептал ему:

— Лишь только из деревни вернетесь, едешь со мной в город. И немедленно отсюда и навсегда.

— Что ты, брат?

— Молчи, — говорил я, — молчи. Я знаю.

Эскадрон сел. Колыхнулись, рысью пошли на черные клубы. И застучало вдали. Частый, частый стук.

Что может случиться за один час? Придут обратно. И я стал ждать у палатки с красным крестом.

Через час я увидел его. Так же рысью он возвращался. А эскадрона не было. Лишь два всадника с пиками скакали по бокам, и один из них — правый — то и дело склонялся к брату, как будто что-то шептал ему. Щурясь от солнца, я глядел на странный маскарад. Уехал в серенькой фуражке, вернулся в красной. И день окончился. Стал черный щит, на нем цветной головной убор. Не было волос и не было лба. Вместо него был красный венчик с желтыми зубьями-кочьями.

Всадник — брат мой, в красной лохматой короне, сидел неподвижно на взмыленной лошади, и если б не поддерживал его бережно правый, можно было бы подумать: он едет на парад.

Всадник был горд в седле, но он был слеп и нем. Два красных пятна с потеками были там, где час назад светились ясные глаза...

Левый всадник спешил, левой рукой схватил повод, а правой тихонько потянул Колю за руку. Тот качнулся.

И голос сказал:

— Эх, вольноопределяющего нашего... осколком. Санитар, зови доктора...

Другой охнул и ответил:

— С-с... Что ж, брат, доктора? Тут давай попа.

Тогда флер черный стал гуще и все затянул, даже головной убор...

Я ко всему привык. К белому нашему зданию, к сумеркам, к рыженькому коту, что трется у двери, но к его приходам я привыкнуть не могу. В первый раз еще внизу, в № 63, он вышел из стены. В красной короне. В этом не было ничего страшного. Таким его я вижу во сне. Но я прекрасно знаю: раз он в короне — значит, мертвый. И вот он говорил, шевелил губами, запекшимися кровью. Он расклеил их, свел ноги вместе, руку к короне приложил и сказал:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

И с тех пор всегда, всегда одно и то же. Приходит в гимнастерке с ремнями через плечо, с кривой шашкой и беззвучными шпорами и говорит одно и то же. Честь. Затем:

— Брат, я не могу оставить эскадрон.

Что он сделал со мной в первый раз! Он испугнул всю клинику. Мое же дело было кончено. Я рассуждаю здраво: раз в венчике — убитый, а если убитый приходит и говорит — значит, я сошел с ума.

Да. Вот сумерки. Важный час расплаты. Но был один раз, когда я заснул и увидел гостиную со старенькой мебелью красного плюша. Уютное кресло с треснувшей ножкой. В раме пыльной и черной портрет на стене. Цветы на подставках. Пианино раскрыто, и партитура «Фауста» на нем. В дверях стоял он, и буйная радость зажгла мое сердце. Он не был всадником. Он был такой, как до проклятых дней. В черной тужурке с вымазанным мелом локтем. Живые глаза лукаво смеялись, и клочок волос свисал на лоб. Он кивал головой:

— Брат, идем ко мне в комнату. Что я тебе покажу!..

В гостиной было светло от луча, что тянулся из глаз, и бремя угрызения растаяло во мне. Никогда не было зловещего дня, в который я послал его, сказав: «Иди», не было стука и дымогари. Он никогда не уезжал, и всадником он не был. Он играл на пианино, звучали белые костяшки, все брызгал золотой сноп, и голос был жив и смеялся.

Потом я проснулся. И ничего нет. Ни света, ни глаз. Никогда больше не было такого сна. И зато в ту же ночь, чтобы усилить мою адскую муку, все ж таки пришел, неслышно ступая, всадник в боевом снаряжении и сказал, как решил мне говорить вечно.

Я решил положить конец. Сказал ему с силой:

— Что же ты, вечный мой палач? Зачем ты ходишь? Я все сознаю. С тебя я снимаю вину на себя — за то, что послал тебя на смертное дело. Тяжесть того, что был повешен, тоже кладу на себя. Раз я это говорю, ты прости и оставь меня.

Господин генерал, он промолчал и не ушел.

Тогда я ожесточился от муки и всей моей волей пожелал, чтобы он хоть раз пришел к вам и руку к короне приложил. Уверяю вас, вы были бы кончены, так же как и я. В два счета. Впрочем, может быть, вы тоже не одиноки в часы ночи? Кто знает, не ходит ли к вам тот, грязный, в саже, с фонаря в Бердянске? Если так, по справедливости мы терпим. Помогать вам повесить я послал Колю, вешали же вы. По словесному приказу без номера.

Итак, он не ушел. Тогда я испугнул его криком. Все встали. Прибежала фельдшерица, будили Ивана Васильевича. Я не хотел начать следующего дня, но мне не дали угробить себя. Связали полотном, из рук вырвали стекло, забинтовали. С тех пор я в номере двадцать седьмом. После снадобья я стал засыпать и слышал, как фельдшерица говорила в коридоре:

— Безнадежен.

Это верно. У меня нет надежды. Напрасно в жгучей тоске в сумерки я жду сна — старую знакомую комнату и мирный свет лучистых глаз. Ничего этого нет и никогда не будет.

Не тает бремя. И в ночь покорно жду, что придет знакомый всадник с незрячими глазами и скажет мне хрипло:

— Я не могу оставить эскадрон.

Да, я безнадежен. Он замучит меня.

*«Накануне» (литературное приложение),
22 октября 1922 г.*



В НОЧЬ НА 3-Е ЧИСЛО

Из романа «Альби мах»

Пан куренный в ослепительном свете фонаря блеснул инеем, как елочный дед, и завопил на диковинном языке, состоящем из смеси русских, украинских и слов, сочиненных им самим — паном куренным.

— В Бога и в мать!! Скидай сапоги, кажу тебе! Скидай, сволочь! И если ты не поморозив, так я тебе росстриляю, Бога, душу, твою мать!!

Пан куренный взмахнул маузером, навел его на звезду Венеры, повисшую над Слободкой, и двинул гашетку. Косая молния резнула пять раз, пять раз оглушительно весело ударил грохот из руки пана куренного, и пять же раз, кувыркнувшись весело — трах-тах-ах-тах-дах, — взмыло в обледеневших пролетах игривое эхо.

Затем будущего приват-доцента и квалифицированного специалиста доктора Бакалейникова сбросили с моста. Сечевики шарахнулись, как обезумевшее стадо, больничные халаты насели на них черной стеной, гнилой парапет крикнул, лопнул, и доктор Бакалейников, вскрикнув жалобно, упал, как куль с овсом.

Там — снег холодный. Но если с высоты трех сажень с моста в бездонный сугроб — он горячий, как кипяток.

Доктор Бакалейников вонзился, как перочинный ножик, пробил тонкий наст и, подняв на сажень обжигающую белую тучу, по горло исчез. Задохнувшись, рухнул на бок, еще глубже, нечеловеческим усилием взметнул вторую тучу, ощутил кипяток на щеках и за воротником и каким-то чудом вылез. Сначала по грудь, потом по колена, по щиколотки (кипяток в кальсонах) и наконец — твердая обледеневшая покатошь.

На ней доктор сделал, против всякого своего желания, гигантский пируэт, ободрал об колючую проволоку левую руку в кровь и сел прямо на лед.

С моста два раза стукнул маузер, забушевал гул и топот. А выше этажом — бархатная божественная ночь в алмазных брызгах.

К дрожащим звездам доктор обратил свое лицо с белоснежными мохнатыми ресницами и звездам же начал свою речь, выплевывая снег изо рта:

— Я дурак. Я жалкая сволочь.

Слезы выступили на глазах у доктора, и он продолжал звездам и желтым мигающим огням Слободки:

— Дураков надо учить. Так мне и надо.

Он стал закоченевшей рукой тащить носовой платок из кармана брюк. Вытащил и обмотал кисть. На платке сейчас же выступила черная полоса. Доктор продолжал, уставившись в волшебное небо:

— Господи. Если ты существуешь, сделай так, чтобы большевики сию минуту появились в Слободке. Сию минуту.

Впиваясь в желтые приветливые огоньки в приплюснутых домишках, доктор сделал глубочайший вздох...

— Я монархист по своим убеждениям. Но в данный момент тут требуются большевики. Черт! Течет... здорово ободрал. Ах, мерзавцы! Ну и мерзавцы! Господи... Дай так, чтобы большевики сейчас же вот оттуда, из черной тьмы за Слободкой, обрушились на мост.

Доктор сладострастно зашипел, представив себе матросов в черных бушлатах. Они влетают, как ураган, и больничные халаты бегут врассыпную. Остается пан куренный и эта гнусная обезьяна в алой шапке — полковник Машенко. Оба они падают на колени.

— Змилуйтесь, добродию! — вопят они.

Но доктор Бакалейников выступает вперед и говорит:

— Нет, товарищи! Нет. Я монар... Нет, это лишнее... А так: я против смертной казни. Да. Против. Карла Маркса я, признаться, не читал и даже не совсем понимаю, при чем он здесь в этой кутерьме, но этих двух нужно убить, как бешеных собак. Это негодяи. Гнусные погромщики и грабители.

— А-а... так... — зловеще отвечают матросы.

А доктор Бакалейников продолжает:

— Да, т-товарищи. Я сам застрелю их!

В руках у доктора матросский револьвер. Он целится. В голову. Одному. В голову. Другому.

Тут снег за шиворотом растаял, озноб прошел по спине, и доктор Бакалейников опомнился. Весь в снеговой пудре, искрясь и сверкая, полез он по откосу обратно на мост. Руку нестерпимо дергало, и в голове звонили колокола.

Черные халаты стали полукругом. Серые толпы бежали перед ними и сгнули в загадочной Слободке. В двух шагах от пулемета на истоптанном снегу сидел сечевик без шапки и, тупо глядя в землю, разувался. Пан куренный, левой рукой упершись в бок, правой помахивал в такт своим словам маузером.

— Скидай, скидай, зануда, — говорил он.

На его круглом прыщеватом лице была холодная решимость. Хлопцы в тазах на головах, раскрыв рты, смотрели на сечевика. Жгучее любопытство светилось в щелочках глаз.

Сечевик возился долго. Сапог с дырой наконец слез. Под сапогом была сизо-черная, заскорузлая портянка. Свинцовых года полтора пронеслось над доктором, пока сечевик размотал мерзлую тряпку.

«Убьет... убьет... — гудело в голове, — ведь целы ноги у этого дурака. Господи, чего ж он молчит?»

Не то вздох, не то гул вырвался у хлопцев.

Сечевик сбросил наконец омерзительную тряпку, медленно обеими руками поднял ногу к самому носу куренного. Торчала совершенно замороженная белая, корявая ступня.

Мутное облако растерянности смыло с круглого лица пана куренного решимость. И моргнули белые ресницы.

— До лазарету. Пропустить його!

Расступились больничные халаты, и сечевик пошел на мост, ковыляя. Доктор Бакалейников глядел, как человек с босой ногой нес в руках сапог и ворох тряпья, и жгучая зависть терзала его сердце. Вот бы за ним! Тут. Вот он — город — тут! Горит на горах за рекой владимирский крест, и в небе лежит фосфорический бледный отсвет фонарей. Дома. Дома. Боже мой! О, мир! О, благостный покой!

Звериный визг вырвался внезапно из белого здания. Визг, потом уханье. Визг.

— Жида порют, — негромко и сочно звякнул голос.

Бакалейников застыл в морозной пудре, и колыхались перед глазами то белая стена и черные глазницы с выбитыми стеклами, то широкоскулое нечто, смутно напоминающее человеческое лицо, прикрытое серым германским тазом.

Словно ковер выколачивали в здании. И визг ширился, рос до того, что казалось, будто вся Слободка полна воем тысячи человек.

— Что ж это такое?! — чей-то голос выкрикнул звонко и резко. Только когда широкоскулое подобие оказалось возле самых глаз Бакалейникова, он понял, что голос был его собственный, а также ясно понял, что еще секунда человеческого воя — и он с легким и радостным сердцем члустит ногти в рот широкого нечто и раздерет его в кровь. Нечто же, расширив глаза до предела, пятилось в тумане.

— За что вы его бьете?

Не произошло непоправимой беды для будущего придоцента только потому, что грохот с моста утопил в себе и визг и удары, а водоворот закрутил и рожу в шлеме, и самого Бакалейникова.

Новая толпа дезертиров — сечевиков и гайдамаков — посыпалась из пасти Слободки к мосту. Пан куренный, пятась, поверх голов послал в черное устье четыре пули.

— Сыняя дывызя! Покажи себе! — как колотушка, стукнул голос полковника Мащенко. Шапка с алым верхом взметнулась, жеребец, сдавленный черными халатами, храпя от налезавшей щетины штыков, встал на дыбы.

— Кро-ком рушь!

Черный батальон Синей дивизии грянул хрустом сотен ног и, вынося в клещах конных старшин, выдавив последние остатки временного деревянного парапета, ввалился в черное устье и погнал перед собой обезумевших сечевиков. В грохоте смутно слышался голос:

— Хай живе батько Петлюра!!

О, звездные родные украинские ночи. О, мир и благодный покой!.....

В девять, когда черный строй смел перед собой и уважаемого доктора, и все вообще к черту, в городе за рекой, в собственной квартире доктора Бакалейникова, был обычный мир в вещах и смятение в душах. Варвара Афанасьевна — жена доктора — металась от одного черного окна к другому и все всматривалась в них, как будто хотела разглядеть в черной гуще с редкими огнями мужа и Слободку.

Колька Бакалейников и Юрий Леонидович ходили за нею по пятам.

— Да брось, Варя! Ну, чего ты беспокоишься? Ничего с ним не случилось. Правда, он дурак, что пошел, но я думаю, догадается же он удрать!

— Ей-богу, ничего не случится, — утверждал Юрий Леонидович, и намащенные перья стояли у него на голове дыбом.

— Ах, вы только утешаете!.. Они его в Галицию увезут.

— Ну, что ты, ей-богу. Придет он...

— Варвара Афанасьевна!!

— Хорошо, я проаккомпанирую... Боже мой! Что это за гадость? Что за перья?! Да вы с ума сошли! Где пробор?

— Хи-хи. Это он сделал прическу а-ля большевик.

— Ничего подобного, — залившись густой краской, солгал Юрий Леонидович.

Это, однако, была сущая правда. Под вечер, выходя от парикмахера Жана, который два месяца при Петлюре работал под загадочной вывеской «Голярня», Юрий Леонидович зазевался, глядя, как петлюровские штабные с красными хвостами драли в автомобилях на вокзал, и вплотную столкнулся с каким-то черным блузником. Юрий Леонидович — вправо, и тот вправо, влево и влево. Наконец разминулись.

— Подумаешь, украинский барин! Полтротуара занимает. Палки-то с золотыми шарами отберут в общую кассу.

Вдумчивый и внимательный Юрий Леонидович обернулся, смерил черную замасленную спину; улыбнулся так, словно прочел на ней какие-то письма, и пробормотал:

— Не стоит связываться. Поздравляю. Большевики ночью будут в городе.

Поэтому, приехав домой, он решил изменить облик и изменил его на удивление. Вместо вполне приличного пиджака

ка оказался свэтр с дырой на животе; палка с золотым набалдашником была сдана на хранение матери. Упавшая дрянь заменила бобровую шапку. А под дрянью на голове было черт знает что. Юрий Леонидович размочил сооружение Жана из «Голярни» и волосы зачесал назад. Получилось будто бы ничего, но когда они высохли и приподнялись... Боже!

— Уберите это! Я не буду аккомпанировать. Черт знает... Папуас!

— Команч, Вождь — Соколиный Глаз.

Юрий Леонидович покорно опустил голову.

— Ну, хорошо, я перечешусь.

— Я думаю — перечешетесь! Колька, отведи его в свою комнату.

Когда вернулись, Юрий Леонидович был по-прежнему не команч, а гладко причесанный бывший гвардейский офицер, а ныне ученик оперной студии Макрушина, обладатель феноменального баритона.

Город прекрасный... Го-о-род счастливый!
Моря царица, Веденец славный!..
Тн-и-хо порхает...

Бархатная лава затопила гостиную и смягчила сердца, полные тревоги.

О, го-о-о-о-родди-и-вный!!

Звенящая лава залила до красн комнату, загремела бесчисленными отражениями от стен и дрогнувших стекол. И только когда приглаженный команч, приглушив звук, царствуя над коренными аккордами, вывел изумительным меццо:

Месяц сия-а-а-ет с неба ночного!... —

и Колька и Варвара Афанасьевна расслышали дьявольски-грозный звон тазов.

Аккорд оборвался, но под педалью еще пело. «до», оборвался и голос, и Колька вскочил как ужаленный.

— Голову даю наотрез, что это Василиса! Он, он, проклятый!

— Боже мой...

— Ах, успокойтесь...

— Голову даю! И как такого труса земля терпит?

За окном плыл, глухо раскатываясь, шабаш. Колька метался, втискивая в карман револьвер.

— Коля, брось браунинг! Коля, прошу тебя...

— Да не бойся ты, Господи!

Стукнула дверь в столовой, затем на веранде, выходящей во двор. Шабаш ворвался на минуту в комнату. Во дворе, рядом во дворе и дальше по всей улице звонили тазы для варенья. Разлился, потрясая морозный воздух, гулкий, качающийся, тревожный грохот.

— Коля, не ходи со двора. Юрий Леонидович, не пускайте его!

Но дверь захлопнулась, оба исчезли, и глухо поплыло за стеной: дон... дон... дон...

Колька угадал. Василиса, домовладелец и буржуй, инженер и трус, был причиной тревоги. Не только в эту грозную, смутную ночь, когда ждали советскую власть на смену Петлюре, но и в течение всего года, что город принимал и отправлял куда-то вдаль самые различные власти, жил бедный Василиса в состоянии непрерывного хронического кошмара. В нем сменялись и прыгали то грозные лица матросов с золотыми буквами на георгиевских лентах, то белые бумажки с синими печатями, то лихие гайдамацкие хвосты, то рожи германских лейтенантов с моноклями. В ушах стреляли винтовки ночью и днем, звонили тазы, из домовладельца Василиса превратился в председателя домкома, и каждое утро, вставая, ждал бедняга какого-то еще нового, чрезвычайного, всем сюрпризам сюрприза. И прежде всего дождался того, что природное свое имя, отчество и фамилию — Василий Иванович Лисович — утратил и стал Василисой.

На бесчисленных бумажках и анкетах, которых всякая власть требовала целые груды, преддомком начал писать: Вас. Лис. и длинную дрожащую закорючку. Все это в предвидении какой-то страшной, необычайной ответственности перед грядущей, еще неизвестной, но, по мнению преддомкома, карающей властью.

Нечего и говорить, что лишь только Колька Бакалейников получил первую сахарную карточку с «Вас.» и «Лис.», весь двор начал называть домовладельца Василисой, а затем

и все знакомые в городе. Так что имя Василий Иванович осталось в обращении лишь на крайний случай при разговоре с Василисой в упор.

Колька, ведавший в качестве секретаря домкома списками домово́й охраны, не мог отказать себе в удовольствии в великую ночь на третье число поставить на дежурство именно Василису в паре с самой рыхлой и сдобной женщиной во дворе — Авдотьей Семеновной, женой сапожника. Поэтому в графе: «2-е число, от 8 до 10» — Авдотья и Василиса.

Вообще удовольствия было много. Целый вечер Колька учил Василису обращению с австрийским карабином. Василиса сидел на скамейке под стеной, обмякший и с помутневшими глазами, а Колька с сухим стуком выбрасывал экстрактором патроны, стараясь попадать ими в Василису.

Наконец, насладившись вдоволь, собственноручно прикрепит к ветке акации медный таз для варенья (бить тревогу) и ушел, оставив на скамейке совершенно неподвижного Василису рядом с хмурой Авдотьей.

— Вы посматривайте, Васил...ис... Иванович, — уныло-озабоченно бросил Колька на прощание, — в случае чего... того... на мушку, — и он зловеще подмигнул на карабин.

Авдотья плюнула.

— Чтоб он издох, этот Петлюра, сколько беспокойства людям...

Василиса пошевелился единственный раз после ухода Кольки. Он осторожно приподнял карабин руками за дуло и за ложе, положил его под скамейку дулом в сторону и замер.

Отчаяние овладело Василисой в десять, когда в городе начали замирать звуки жизни, а Авдотья заявила категорически, что ей нужно отлучиться на пять минут. Песнь Веденецкого гостя, глухо разлившаяся за кремовыми шторами, немного облегчила сердце несчастного Василисы. Но только на минуту. Как раз в это время на пригорке за забором, над крышей сарая, к которому уступами сбегал запущенный снегом сад, совершенно явственно мелькнула тень и с шелестом обвалился пласт снега. Василиса закрыл глаза и в течение мгновения увидел целый ряд картин: вот ворвались бандиты, вот перерезали Василисе горло, и

вот он — Василиса — лежит в гробу мертвый. И Василиса, слабо охнув, два раза ударил палкой в таз. Тотчас же грохнули в соседнем дворе, затем через двор, а через минуту вся Андреевская улица завывала медными угрожающими голосами, а в номере 17-м немедленно начали стрелять. Василиса, растопылив ноги, закоченел с палкой в руках.

Месяц сиял...

Загремела дверь, и выскочил, натаскивая пальто в рукава, Колька, за ним Юрий Леонидович.

— Что случилось?

Василиса вместо ответа ткнул пальцем, указывая за сарай. Колька с Юрием Леонидовичем осторожно заглянули в калитку сада. Пусто и молчаливо было в нем, и Авдотьян кот давно уже удрал, ошалевший от дьявольского грохота.

— Вы первый ударили?

Василиса судорожно вздохнул, лизнул губы и ответил:

— Нет, кажется, не я...

Колька, отвернувшись, возвел глаза к небу и прошептал:

— О, что это за человек!

Затем он выбежал в калитку и пропадал с четверть часа. Сперва перестали греметь рядом, затем в номере 17-м, потом в номере 19-м, и только долго, долго кто-то еще стрелял в конце улицы, но перестал в конце концов и он. И опять наступило тревожное безмолвие.

Колька, вернувшись, прекратил пытку Василисы, властной рукой секретаря домкома вызвал Драбинского с женой (10 — 12 час.) и юркнул обратно в дом. Вбежав на цыпочках в зал, Колька перевел дух и крикнул суфлерским шепотом:

— Ура! Радуйся, Варвара... Ура! Гонят Петлюру! Красные идут.

— Да что ты?

— Слушайте... Я сейчас выбежал на улицу, видел обоз. Уходят хвосты, говорю вам, уходят.

— Ты не врешь?

— Чудачка! Какая ж мне корысть?

Варвара Афанасьевна вскочила с кресла и заговорила топорливо:

— Неужели Михаил вернется?

— Да, конечно. Я уверен, что их выдавили уже из Слободки. Ты слушай: как только их погонят, куда они пойдут? На город, ясно, через мост. Через город когда будут проходить, тут Михаил и уйдет!

— А если они не пустят?

— Ну-у... не пустят. Дураком не надо быть. Пусть сам бежит.

— Ясно, — подтвердил Юрий Леонидович и подбежал к пианино. Уселся, ткнул пальцем в клавиши и начал тихонько:

— Соль... до!..

Проклятьем заклеямен... —

а Колька, зажав руками рот, изобразил, как солдаты кричат «ура»:

— У-а-а-а!..

— Вы с ума сошли оба! Петлюровцы на улице!..

— У-а-а-а!.. Долой Петлю... ап!..

Варвара Афанасьевна бросилась к Кольке и зажала ему рот рукой.

Первое убийство в своей жизни доктор Бакалейников увидел секунда в секунду на переломе ночи со второго на третье число. В полночь у входа на проклятый мост. Человека в разорванном черном пальто с лицом, синим и черным в потеках крови, волокли по снегу два хлопца, а пан куренный бежал рядом и бил его шомполом по спине. Голова моталась при каждом ударе, но окровавленный уже не вскрикивал, а только странно ухал. Тяжело и хлестко впивался шомпол в разодранное в клочья пальто, и каждому удару отвечало сиплое:

— Ух... а...

Ноги Бакалейникова стали ватными, подогнулись, и качнулась заснеженная Слободка.

— А-а, жидовская морда! — иступленно кричал пан куренный. — К штабелю его на расстрел! Я тебе покажу, як по темным углам ховаться! Я т-тебе покажу! Що ты робив за штабелем? Що?!

Но окровавленный не отвечал. Тогда пан куренный забежал спереди, и хлопцы отскочили, чтоб самим увернуться от взлетевшей блестящей трости. Пан куренный не рассчитал удара и молниеносно опустил шомпол на голову.

Что-то кракнуло, черный окровавленный не ответил уже: «Ух...» Как-то странно, подвернув руку и мотнув головой, с колен рухнул на бок и, широко отмахнув другой рукой, откинул ее, словно хотел побольше захватить для себя истоптанной, унавоженной белой земли.

Еще отчетливо Бакалейников видел, как крючковато согнулись пальцы и загребли снег. Потом в темной луже несколько раз дернул нижней челюстью лежащий, как будто давился, и разом стих.

Странно, словно каркнув, Бакалейников всхлипнул, пошел, пьяно шатаясь, вперед и в сторону от моста к белому зданию. Подняв голову к небу, увидел шипящий белый фонарь, а выше опять светило черное небо, опоясанное бледной перевязью Млечного Пути, и играющие звезды. И в ту же минуту, когда черный лежащий испустил дух, увидел доктор в небе чудо. Звезда Венера над Слободкой вдруг разорвалась в застывшей выси огненной змеей, брызнула огнем и оглушительно ударила. Черная даль, долго терпевшая злодейство, пришла наконец на помощь обессилевшему и жалкому в бессилье человеку. Вслед за звездой даль подала страшный звук, ударила громом тяжело и длинно. И тотчас хлопнула вторая звезда, но ниже, над самыми крышами, погребенными под снегом.

...Бежали серым стадом сечевики. И некому их было удержать. Бежала и Синяя дивизия нестройными толпами, и хвостатые шапки гайдамаков плясали над черной лентой. Исчез пан куренный, исчез полковник Машенко. Остались позади навеки Слободка с желтыми огнями и ослепительной цепью белых огней освещенный мост. И город прекрасный, город счастливый выплывал навстречу на горах.

У белой церкви с колоннами доктор Бакалейников вдруг отделился от черной ленты и, не чувствуя сердца, на

странных негнувшихся ногах пошел в сторону прямо на церковь. Ближе колонны. Еще ближе. Спину начали жечь как будто тысячи взглядов. Боже, все заколочено! Нет ни души. Куда бежать? Куда? И вот оно сзади наконец, страшное:

— Стый!

Ближе колонна. Сердца нет.

— Стый! Сты-ый!

Тут доктор Бакалейников — солидный человек — сорвался и кинулся бежать так, что засвистело в лицо.

— Тримай! Тримай його!!

Раз. Грохнуло. Раз. Грохнуло. Удар. Удар. Удар. Третья колонна. Миг. Четвертая колонна. Пятая. Тут доктор случайно выиграл жизнь, кинулся в переулок. Иначе бы в момент догнали конные гайдамаки на освещенной, прямой, заколоченной Александровской улице. Но дальше — сеть переулков кривых и черных. Прощайте!

В пролом стены вдавился доктор Бакалейников. С минуту ждал смерти от разрыва сердца и глотал раскаленный воздух. Развевал по ветру удостоверение, что он мобилизован в качестве врача «першого полку Синей дывизии». На случай, если в пустом городе встретится красный первый патруль.

Около трех ночи в квартире доктора Бакалейникова залился оглушительный звонок.

— Ну я ж говорил! — заорал Колька. — Перестань реветь! Перестань...

— Варвара Афанасьевна! Это он. Полноте.

Колька сорвался и полетел открывать.

— Боже ты мой!

Варвара Афанасьевна кинулась к Бакалейникову и отшатнулась.

— Да ты... да ты седой...

Бакалейников тупо посмотрел в зеркало и улыбнулся криво, дернул щекой. Затем, поморщившись, с помощью Кольки стащил пальто и, ни слова ни говоря, прошел в столовую, опустился на стул и весь обвис, как мешок. Варвара

Афанасьевна глянула на него, и слезы опять закапали у нее из глаз. Юрий Леонидович и Колька, открыв рты, глядели в затылок Бакалейникову на белый вихор, и папиросы у обоих потухли.

Бакалейников обвел глазами тихую столовую, остановил мутный взгляд на самоваре, несколько секунд вглядывался в свое искаженное изображение в блестящей грани.

— Да, — наконец выдавил он из себя бессмысленно.

Колька, услышав это первое слово, решился спросить:

— Слушай, ты... Бежал, конечно? Да ты скажи, что ты у них делал.

— Вы знаете, — медленно ответил Бакалейников, — они, представьте... в больничных халатах, эти самые синие-то петлюровцы. В черных...

Еще что-то хотел сказать Бакалейников, но вместо речи получилось неожиданное. Он всхлипнул звонко, всхлипнул еще раз и разрыдался, как женщина, уткнув голову с седым вихром в руки. Варвара Афанасьевна, не зная еще, в чем дело, заплакала в ту же секунду. Юрий Леонидович и Колька растерялись до того, что даже побледнели. Колька опомнился первый и полетел в кабинет за валерянкой, а Юрий Леонидович сказал, прочистив горло, неизвестно к чему:

— Да, каналья этот Петлюра.

Бакалейников же поднял искаженное плачем лицо и, всхлипывая, выкрикнул:

— Бандиты... Но я... я... интеллигентская мразь! — и тоже неизвестно к чему...

И распространился запах эфира. Колька дрожащими руками начал отсчитывать капли в рюмку.

Через час город спал. Спал доктор Бакалейников. Молчали улица, заколоченные подъезды, закрытые ворота. И не было ни одного человека на улицах. И даль молчала. Из-за реки, от Слободки с желтыми потревоженными огнями, от моста с бледной цепью фонарей не долетало ни звука. И сгнула черная лента, пересекая город, в мраке на другой стороне. Небо висело — бархатный полог с алмазными брызга-

ми, чудом склеившаяся Венера над Слободкой опять играла, чуть красноватая, и лежала белая перевязь — путь серебряный, млечный.

*«Накануне» (литературное приложение),
10 декабря 1922 г.*



№ 13. ДОМ ЭЛЬПИТ-РАБКОММУНА

Так было. Каждый вечер мышасто-серая пятиэтажная громада загоралась сто семидесятью окнами на асфальтированный двор с каменной девушкой у фонтана. И зеленоликая, немая, обнаженная, с кувшином на плече, все лето гляделась томно в кругло-бездонное зеркало. Зимой же снежный венец ложился на взбитые каменные волосы. На гигантском гладком полукруте у подъездов ежевечерне клокотали и содрогались машины, на кончиках оглоблей лихачей сияли фонарики-сударики. Ах, до чего был известный дом. Шикарный дом Эльпит...

Однажды, например, в десять вечера, стосильная машина, грянув веселый мажорный сигнал, стала у первого парадного. Два сыщика, словно тени, выскочили из земли и метнулись в тень, а один прошмыгнул в черные ворота, а там по скользким ступеням в дворницкий подвал. Открылась дверца лакированной каретки, и, закутанный в шубу, высадился дорогой гость.

В квартире № 3 генерала от кавалерии де-Баррейн он до трех гостил.

До трех, припав к подножию серой карнатиды, истомленный волчьей жизнью, бодрствовал шпион. Другой до трех на полутемном марше лестницы курил, слушая приглушенный коврами то звон венгерской рапсодии, *carpiscioso*, — то цыганские буйные взрывы:

Сегодня пьем! Завтра пьем!
Пьем мы всю неде-е-лю — эх!
Раз... еще раз...

До трех сидел третий на ситцево-лоскутной дряни в конуре старшего дворника. И конусы резкого белого света до

трех горели на полукруге. И из этажа в этаж по невидимому телефону бежал шепчущий горделивый слух: Распутин здесь. Распутин. Смуглый обладатель сейфа, торговец живым товаром, Борис Самойлович Христи, гениальнейший из всех московских управляющих, после ночи у де-Баррейна, стал как будто еще загадочнее, еще надменнее.

Искры стальной гордости появились у него в черных глазах, и на квартиры жестоко набавили.

А в № 2 Христи, да что Христи... Сам Эльпит снимал, в бурю ли, в снег ли, каракулевую шапку, сталкиваясь с выходящей из зеркальной каретки женщиной в пеншилях. И улыбался. Счета женщины гасил человек столь вознесенный, что у него не было фамилии. Подписывался именем с хитрым росчерком. Да что говорить. Был дом... Большие люди — большая жизнь.

В зимние вечера, когда бес, прикинувшись вьюгой, кувыркался и выл под железными желобами крыши, проворные дворники гнали перед собой щитами сугробы, до асфальта расчищали двор. Четыре лифта ходили беззвучно вверх и вниз. Утром и вечером, словно по волшебству, серые гармонии труб во всех 75 квартирах наваливались теплом. В кронштейнах на площадках горели лампы... В недрах квартир белые ванны, в важных полутемных передних тусклый блеск телефонных аппаратов... Ковры... В кабинетах беззвучно-торжественно. Массивные кожаные кресла. И до самых верхних площадок жили крупные массивные люди. Директор банка, умница, государственный человек с лицом Сен-Бри из «Гугенотов», лишь чуть испорченным какими-то странноватыми, не то большими, не то уголовными глазами, фабрикант (афинские ночи со съемками при магии), золотистые выкормленные женщины, всемирный феноменальный бас-солист, еще генерал, еще... И мелочь: присяжные поверенные в визитках, доктора по абортам...

Большое было время...

И ничего не стало. *Sic transit gloria mundi!*¹

Страшно жить, когда падают царства. И самая память стала угасать. Да было ли это, Господи?.. Генерал от кавалерии!.. Слово какое!

¹ Так проходит мирская слава! (лат.)

Да... А вещи остались. Вывезти никому не дали.

Эльпит сам ушел в чем был.

Вот тогда у ворот, рядом с фонарем (огненный «№ 13»), прилипла белая таблица и странная надпись на ней: «Рабкоммуна». Во всех 75 квартирах оказался невиданный люд. Пианино умолкли, но граммофоны были живы и часто пели зловещими голосами. Поперек гостиных протянулись веревки, а на них сырое белье. Примусы шипели по-змеинному, и днем, и ночью плыл по лестницам щиплющий чад. Из всех кронштейнов лампы исчезли, и наступал ежевечерне мрак. В нем спотыкались тени с узлом и тоскливо вскрикивали:

— Мань, а Ма-ань! Где ж ты? Черт те возьми!

В квартире 50 в двух комнатах вытопили паркет. Лифты... Да, впрочем, что тут рассказывать...

Но было чудо: Эльпит-Рабкоммуну топили.

Дело в том, что в полуподвальной квартире, в двух комнатах, остался... Христи.

Те три человека, которым досталась львиная доля эльпитовских ковров и которые вывесили на двери де-Баррейна в бельэтаже лоскуток: «Правление», поняли, что без Христи дом Рабкоммуны не простоит и месяца. Рассыплется. И матово-черного дельца в фуражке с лакированным козырьком оставили за зелеными занавесками в полуподвале. Чудовищное соединение: с одной стороны, шумное, заскорузлое правление, с другой — «смотритель»! Это Христи-то! Но это было прочнейшее в мире соединение. Христи был именно тот человек, который не менее правления желал, чтобы Рабкоммуна стояла бы невредимо мышастой громадой, а не упала бы в прах.

И вот, Христи не только не обидели, но положили ему жалованье. Ну, правда, ничтожное. Около 1/10 того, что платил ему Эльпит, без всяких признаков жизни сидящий в двух комнатухах на другом конце Москвы.

— Черт с ними, с унитазами, черт с проводами! — страстно говорил Эльпит, сжимая кулаки. — Но лишь бы топить. Сохранить главное. Борис Самойлович, сберегите мне дом, пока все это кончится, и я сумею вас отблагодарить! Что? Верьте мне!

Христи верил, кивал стриженной седеющей головой и уезжал после доклада хмурый и озабоченный. Подъезжая, видел в воротах правление и закрывал глаза от ненависти, бледнел. Но это только миг. А потом улыбался. Он умел терпеть.

А главное — топить. И вот, добывали ордера, нефть возили. Трубы нагревались. 12 градусов, 12 градусов! Если там, откуда получали нефть, что-то заедало, крупно платился Эльпит. У него горели глаза.

— Ну, хорошо... Я заплачу. Дайте обоим и секретарю. Что? Перестать? О, нет, нет! Ни на минуту...

Христи был гениален. В среднем корпусе, в пятом этаже, на квартиру, в которой когда-то студия была, табу наложил.

— Нилушкина Егора туда вселить...

— Нет уж, товарищи, будьте добры. Мне без хозяйственного склада нельзя. Для дома ведь, для вас же.

В сущности, был хлам. Какие-то глупые декорации, арматура. Но... Но были и тридцать бидонов с бензином эльпитовским и еще что-то в свертках, что хранил Христи до лучших дней.

И жила серая Рабкоммуна № 13 под недреманным оком. Правда, в левом крыле то и дело угасал свет... Монтер, начавший пить с января 18-го года, вытертый, как войлок, озверевший монтер, бабам кричал:

— А, чтоб вы издохли! Дверью больше хлопайте у щита! Что я вам, каторжный? Сверхурочные.

И бабы злобно-тоскливо вопили во мраке:

— Мань! А Ма-ань! Где ты?

Опять к монтеру ходили:

— Сво-о-лочь ты! Пьяндыга. Христи пожалуемся.

И от одного имени Христи свет волшебным образом загорался.

Да-с, Христи был человек.

Мучил он правление до тех пор, пока оно не выделило из своей среды Нилушкина Егора, с титулом «санитарный наблюдающий». Нилушкин Егор два раза в неделю обходил все 75 квартир. Грохотал кулаками в запертые двери, а в незапертые входил без церемонии, хоть будь тут голые бабы, пролезал под сырыми подштанниками и кричал сипло и страшно:

— Которые тут гадют, всех в 24 часа!
И с уличенных брал дань.

И вот жили, жили, ан в феврале, в самый мороз, заело вновь с нефтью. И Эльпит ничего не мог сделать. Взятку взяли, но сказали:

— Дадим через неделю.

Христи на докладе у Эльпита промолвил тяжко:

— Ой... Я так устал! Если бы вы знали, Адольф Иосифович, как я устал. Когда же все это кончится?

И тут, действительно, можно было видеть, что у Христи тоскливые стали, замученные глаза. У стального Христи.

Эльпит страстно ответил:

— Борис Самойлович! Вы верите мне? Ну, так вот вам: это последняя зима. И так же легко, как я эту папироску выкурю, я их вышвырну будущим летом к чертовой матери. Что? Верьте мне. Но только я вас прошу, очень прошу, уж эту неделю вы сами, сами посмотрите. Боже сохрани — печки! Эта вентиляция... Я так боюсь. Но и стекла чтобы не резали. Ведь не сдохнут же они за неделю? Ну, может, шесть дней. Я сам завтра съезжу к Иван Ивановичу.

В Рабкоммуне вечером Христи, выдыхая беловатый пар, говорил:

— Ну, что ж... Ну, потерпим. Четыре-пять дней. Но без печек...

И правление соглашалось:

— Конечно. Мыслимо ли? Это не дымоходы. Долго ли до беды.

И Христи сам ходил, сам ходил каждый день, в особенности в пятый этаж. Зорко глядел, чтобы не наставили черных буржук, не вывели бы труб в отверстия, что предательски-приветливо глядели в углах комнат под самым потолком.

И Нилушкин Егор ходил.

— Ежели мне которые... Это вам не дымоходы. В двадцать четыре часа.

На шестой день пытка стала нестерпимой. Бич дома, Пыляева Аннушка, простоволосая, кричала в пролет удаляющемуся Нилушкину Егору:

— Сволочи! Зажирели за нашими спинами! Только и знают — самогон лакают. А как обзавестись топить — их нету! У-у, треклятые души! Да с места не сойти, затоплю седни. Права такого нет, не позволять! Косой черт (это про Христи)! Ему одно: как бы дом не закоптить... Хозяина дожидается, нам все известно!.. По его, рабочий человек хоть издохни!..

И Нилушкин Егор, отступая со ступеньки на ступеньку, растерянно бормотал:

— Ах, зануда баба... Ну, и зануда ж!

Но все же оборачивался и гулко отстреливался:

— Я те затоплю! В двадцать четыре...

Сверху:

— Сук-кин сын! Я до Карпова дойду! Что? Морозить рабочего человека!

Не осуждайте. Пытка — мороз. Озверевает всякий...

.....
...В два часа ночи, когда Христи спал, когда Нилушкин спал, когда во всех комнатах под тряпьем и шубами, свернувшись, как собачонки, спали люди, в квартире 50, ком. 5 стало как в раю. За черными окнами была бесовская метель, а в маленькой печечке танцевал огненный маленький принц, сжигая паркетные квадратики.

— Ах, тяга хороша! — восхищалась Пыляева Аннушка, поглядывая то на чайничек, постукивающий крышкой, то на черное кольцо, уходившее в отверстие, — замечательная тяга! Вот псы, прости Господи! Жалко им, что ли? Ну, да ладно. Шито крыто.

И принц плясал, и искры неслись по черной трубе и улетали в загадочную пасть... А там в черные извивы узкого вентиляционного хода, обитого войлоком... Да на чердак...

.....
Первыми блеснули дрожащие факелы Арбатской... Христи одной рукой рвал телефонную трубку с крючка, другой оборвал зеленую занавеску...

... Пречистенскую даешь! Царица небесная! Товарищи!! Девятьсот тридцать человек проснулись одновременно. Увидели — змеиным дрожанием окровавились стекла. Угодники-святители! Во-ой! Двери забили, как пулеметы, в перебой... Барышня! Ох, барышня!! Один — ох — двадцать два... восемнадцать. 18... Краснопресненскую даешь!..

...Каскадами с пятого этажа по ступеням хлынуло. В пролетах, в лифтах Ниагара до подвала. По-мо-ги-те!.. Хамовническую даешь!!

Эх, молодцы пожарные! Бесстрашные рыцари в золотокровавых шлемах, в парусине. Развинчивали лестницы, серые шланги поползли как удавы. В Бога! В мать!! Рвали крюками железные листы. Топорами били страшно, как в бою. Свистели струи вправо, влево, в небо. Мать! Мать!! А гром, гром, гром. На двадцатой минуте Городская с искрами, с огнями, с касками...

Но бензин, голубчики, бензин! Бензин! Пропали головушки горькие, бензин! Рядом с Пыляевой Аннушкой, с комнатой 5. Ударило: раз. Еще: p-раз!

... Еще много, много раз...

А там совсем уже грозно заиграл, да не маленький принц, а огненный король, рапсодио. Да не саргиссио, а страшно — briosо. Сретенская с переулка — дае-ешь!! Качай, качай! А огонь Сретенской — салют! Ахнуло так, что в левом крыле во мгновение ока ни стекла. В среднем корпусе бездна огненная, а над бездной как траурные плащи-бабочки полетели железные листы.

Медные шлемы ударили штурмом на левое крыло, а в среднем бес раздул так, что в 4-м этаже в 49 номере бабкс Павловне, что тянучками торговала, ходу-то и нет! И, взыв предсмертно, вылетела бабка из окна, сверкнув желтыми голыми ногами. Скорую помощь! 1-22-31!! Кровавую лепешку лечить! Угодники Божис! Ванюшка сгорел! Ванюшка!! Где папанька? Ой! Ой! Машинку-то, машинку! Швейную, батюшки! Узлы из окон на асфальт бу-ух! Стой! Не кидай! Товарищи!.. А с пятого этажа, в правом крыле, в узле тарелок одиннадцать штук, фаянс буржуйской бывшей, как чвякнуло! И был Нилушкин Егор, и нет Нилушкина Егора. Вместо Нилушкиной головы месиво, вместо фаянса — черепки в простыне. Товарищи! Ой! Таньку забыли!.. Оцепить с переулка! Осади! Назад! В мать, в Бога!

Током ударило одного из бесстрашных рыцарей в подвале. Славной смертью другой погиб в бензиновом ручье, левшем в яростных легких огнях вниз. Балку оторвало, ударило и третьему перебило позвоночный столб.

С самоваром в одной руке, в другой тихий белый старичок, Серафим Саровский, в серебряной ризе. В одних руба-

хах. Визг, визг. В визге топоры гремят, гремят. Осади!! По-толок! Как саданет, как рухнет с третьего во второй, со второго в первый этаж.

И тут уже ад. Чистый ад. Из среднего хлещет так, что волосы дыбом встают. Стекла последние, самые отдаленные — бенц! Бенц!

Трубки в дыму давятся, качаются, напором брандспойты из рук рвет. Резерв даешь!! Да что — резерв! Уже к среднему на десять саженей не подходи! Глаза лопнут...

.....

В первый раз в жизни Христи плакал. Седеющий, стальной Христи. У сырого ствола в палисаднике в переулке, где было светло, хоть мелкое письмо читай. Шуба свисала с плеча, и голая грудь была видна у Христи. Да не было холодно. И стало у Христи такое лицо, словно он сам горел в огне, но был нем и ничего не мог выкрикнуть. Все смотрел, не отрываясь, туда, где сквозь метавшиеся черные тени виднелись пламеневшие неподвижные лица кариатид. Слезы медленно сползали по синеватым щекам. Он не смахивал их и все смотрел да смотрел:

Раз только он мотнул головой, когда Эльпит тронул за плечо и сказал хрипло:

— Ну, что уж больше... Едем, Борис Самойлович. Простудитесь. Едем.

Но Христи еще раз качнул головой.

— Поезжайте... Я сейчас.

Эльпит утонул среди теней, среди факелов, шлепая по распутившемуся снегу, пробираясь к извозчику. Христи остался, только перевел взгляд на бледневшее небо, на котором колыхался, распластавшись, жаркий оранжевый зверь...

... На зверя смотрела и Пыляева Аннушка. С заглушенными вздохами и стонами бежала она тихими снежными переулками, и лицо у нее от сажи и слез как у ведьмы было.

То шептала чепуху какую-то:

— Засудят... Засудят, головушка горькая...

То всхлипывала.

Уж давно, давно остались позади и вой, и крик, и голые люди, и страшные вспышки на шлемах. Тихо было в переулке, и чуть порошил снежок. Но звериное брюхо все висело на небе. Все дрожало и переливалось. И так исстрадалась, истомилась Пыляева Аннушка от черной мысли «беда», от этого

огненного брюха-отсвета, что торжествующе разливалось по небу... так исстрадалась, что пришло к ней тупое успокоение, а главное, в голове в первый раз в жизни просветлело.

Остановившись, чтобы отдышаться, ткнулась она на ступеньку, села. И слезы высохли.

Подперла голову и отчетливо помыслила в первый раз в жизни так:

— Люди мы темные. Темные люди. Учить нас надо, дураков...

Отдышавшись, поднялась, пошла уже медленно, на зверя не оглядывалась, только все по лицу размазывала сажу, носом шмыгала.

А зверь, как побледнело небо, и сам стал бледнеть, туманиться. Туманился, туманился, съежился, свился черным дымом и совсем исчез.

И на небе не осталось никакого знака, что сгорел знаменитый № 13 дом Эльпит-Рабкоммуна.

*«Красный журнал для всех»,
1922, № 2, декабрь.*

Публикуется по книге: М. Булгаков. Дьяволиада, издательство «Недра», Мосполиграф, 1925 г.



СТОЛИЦА В БЛОКНОТЕ

I

БОГ РЕМОНТ

Каждый бог на свой фасон. Меркурий, например, с крылышками на ногах. Он — нэпман и жулик. А мой любимый бог — бог Ремонт, вселившийся в Москву в 1922 году, в переднике, вымазан известкой, от него пахнет махоркой. Он и меня зацепил своей кистью, и до сих пор я храню след божественного прикосновения на своем осеннем пальто, в котором я хожу и зимой. Почему? Ах, да, за границей, вероятно, неизвестно, что в Москве существует целый класс, считающий модным ходить зимой в осеннем. К этому классу принадлежит так называемая мыслящая интеллигенция и интеллигенция будущая: рабфаки и проч. Эти последние, впрочем, даже и не в пальто, а в каких-то кургуzych куртках. Холодно?..

Вздор. Очень легко можно привыкнуть.

Итак, это было золотой осенью, когда мы с приятелем моим — спецом — выходили из гостиницы. Там зверски орудовал прекрасный бог. Стояли козлы, со стен бежали белые ручьи, вкусно пахло масляной краской.

Тут-то Он меня и мазнул.

Спец жадно вдохнул запах краски и гордо сказал:

— Не угодно ли. Погодите, еще годик — не узнаете Москвы. Теперь «мы» (ударение на этом слове) покажем, на что мы способны!

К сожалению, ничего особенного спец показать не успел, так как через неделю после этого стал очередной жертвой «большевистского террора». Именно: его посадили в Бутырки.

За что, совершенно неизвестно.

Жена его говорит по этому поводу что-то невнятное:

— Это безобразие! Ведь расписки нет? Нет? Пусть покажут расписку. Сидоров (или Иванов, не помню) — под-

лец! Говорит, двадцать миллиардов. Во-первых, пятнадцать!

Расписки, действительно, нету (не идиот же спец, в самом деле!), поэтому спеца скоро выпустят. Но тогда уж он действительно покажет. Набравшись сил в Бутырках.

Но спеца нет, бог Ремонт остался. Может быть, потому, что, сколько бы спецов ни сажали, остается все же неимоверное количество (точная моя статистика: в Москве — 1.000.000, не ме-не-е!), или потому, что можно обойтись и без спецов, но бог неугомонный, прекрасный — штукатур, маляр и каменщик — орудует. И даже теперь он не затих, хоть уже зима и валит мягкий снег.

На Лубянке, на углу Мясницкой, было Бог знает что: какая-то выгрызенная плешь, покрытая битым кирпичом и осколками бутылок. А теперь, правда, одноэтажное, но все же здание! З-д-а-н-и-е! Цельные стекла. Все как полагается. За стеклами, правда, ничего еще нет, но снаружи уже красуется надпись золотыми буквами «Трикотаж».

Вообще на глазах происходят чудеса. Зияющие двери в нижних этажах вдруг застекляются. День... два, и за стеклами загораются лампы, и... или материи каскадами, или же красуется под зеленым абажуром какая-то голова, склонившаяся над бумагами. Не знаю, почему и какая голова, но что он делает, могу сказать, не заглядывая внутрь:

— Составляет ведомость на сверхурочные.

И откровенно скажу: материи — хорошо, а голова — это не нужно. Пишут, пишут... Но с этим, видно, ничего не поделаешь.

Я верю: материи и посуда, зонтики и калоши вытеснят в конце концов плешивые чиновничьи головы начисто. Пейзаж московский станет восхитительным. На мой вкус.

Я с чувством наслаждения прохожу теперь пассажи. Петровка и Кузнецкий в сумерки горят огнями. И буйные гаммы красок за стеклами — улыбаются лики игрушек кустарей.

Лифты пошли! Сам видел сегодня. Имею я право верить своим глазам?

Этот сезон подновляли, штукатурили, подклеивали. На будущий сезон, я верю, будут строить. Осенью, глядя на сверкающие адским пламенем котлы с асфальтом на улицах, я вздрагивал от радостного предчувствия. Будут строить,

несмотря ни на что. Быть может, это фантазия правоверного москвича... А по-моему, воля ваша, вижу — Ренессанс.

Московская эпиталама:

Пою тебе, о бог Ремонта!

II

ГНИЛАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

Расстался я с ним в июне месяце. Он пришел тогда ко мне, свернул махорочную козью ногу и сказал мрачно:

— Ну, вот и кончил университет.

— Поздравляю вас, доктор, — с чувством ответил я.

Перспективы у новоиспеченного доктора вырисовывались в таком виде: в здравотделе сказали: «вы свободны», в общежитии студентов-медиков сказали: «ну, теперь вы кончили, так выезжайте», в клиниках, больницах и т. под. учреждений сказали: «сокращение штатов».

Получался, в общем, полнейший мрак.

После этого он исчез и утонул в московской бездне.

— Значит, погиб, — спокойно констатировал я, занятый своими личными делами (т. наз. «борьба за существование»).

Я доборолся до самого ноября и собирался бороться дальше, как он появился неожиданно.

На плечах еще висела вытертая дрянь (бывшее студенческое пальто), но из-под нее выглядывали новенькие брюки.

По одной складке, аристократически заглаженной, я безошибочно определил: куплены на Сухаревке за 75 миллионов.

Он вынул футляр от шприца и угостил меня «Ирой» рассыпной.

Раздавленный изумлением, я ждал объяснений. Они последовали немедленно:

— Грузчиком работаю в артели. Знаешь, симпатичная такая артель — 6 студентов 5-го курса и я...

— Что же вы грузите?!

— Мебель в магазины. У нас уж и постоянные давальцы есть.

— Сколько ж ты зарабатываешь?

— Да вот за предыдущую неделю 275 лимоначиков.

Я мгновенно сделал перемножение $275 \times 4 = 1$ миллиард сто! В месяц.

— А медицина?!

— А медицина сама собой. Грузим раз-два в неделю. Остальное время я в клинике, рентгеном занимаюсь.

— А комната?

Он хихикнул.

— И комната есть... Оригинально так, знаешь, вышло... Перевозили мы мебель в квартиру одной артистки. Она меня и спрашивает с удивлением: «А вы, позвольте узнать, кто, на самом деле? У вас лицо такое интеллигентное». Я, говорю, доктор. Если б ты видел, что с ней сделалось!.. Чаем напоила, расспрашивала. «А где вы, говорит, живете?» А я, говорю, нигде не живу. Такое участие приняла, дай ей Бог здоровья. Через нее я и комнату получил, у ее знакомых. Только условие: чтобы я не женился.

— Это что ж, артистка условие такое поставила?

— Зачем артистка... Хозяева. Одному, говорят, сдадим, двоим ни в коем случае.

Очарованный сказочными успехами моего приятеля, я сказал после раздумья:

— Вот писали все: гнилая интеллигенция, гнилая... Ведь, пожалуй, она уже умерла. После революции народилась новая, железная интеллигенция. Она и мебель может грузить, и дрова колоть, и рентгеном заниматься.

— Я верю, — продолжал я, впадая в лирический тон, — она не пропадет! Выживет.

Он подтвердил, распространяя удушливые клубы «Ирой» рассыпной:

— Зачем пропадать. Пропадать мы не согласны.

Москва, ноябрь 1922 г.

III

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННЫЙ МАЛЬЧИК

Вчера утром на Тверской я видел мальчика. За ним шла, раскрыв рты, группа ошеломленных граждан мужского и

женского пола и тянулась вереница пустых извозчиков, как за покойником.

Со встречного трамвая № 6 свешивались пассажиры и указывали на мальчика пальцами. Утверждать не стану, но мне показалось, что торговка яблоками у дома № 73 зарыдала от счастья, а зазевавшийся шофер срезал угол и чуть не угодил в участок.

Лишь протерев глаза, я понял, в чем дело.

У мальчика на животе не было лотка с сахариновым ирисом, и мальчик не выл диким голосом:

— Посольские! Ява!! Мурсал!!! Газетатачкапрокатывается!..

Мальчик не вырывал из рук у другого мальчика скомканных лимонов и не лягал его ногами. У мальчика не было во рту папиросы. Мальчик не ругался скверными словами.

Мальчик не входил в трамвай в живописных лохмотьях и, фальшиво бегая по сытым лицам спекулянтов, не гнул:

— Пода-айте... Христа ради...

Нет, граждане. Этот единственный, впервые встретившийся мне мальчик шел, степенно покачиваясь и не спеша, в прекрасной уютной шапке с наушниками, и на лице у него были написаны все добродетели, какие только могут быть у мальчика 11—12 лет.

Нет, не мальчик это был. Это был чистой воды херувим в теплых перчатках и валенках. И на спине у херувима был р-а-н-е-ц, из которого торчал уголок измызанного задачника.

Мальчик шел в школу 1-й степени у-ч-и-т-ь-с-я.

Довольно. Точка.

IV

ТРИЛЛИОНЕР

Отправился я к знакомым нэпманам. Надоело мне бывать у писателей. Богема хороша только у Мюрже — красное вино, барышни... Московская же литературная богема угнетает.

Придешь и — или попросят сесть на ящик, а в ящике — ржавые гвозди, или чаю нет, или чай есть, но сахару нет, или в соседней комнате хозяйка квартиры варит самогон и туда шмыгают какие-то люди с распухшими лицами, и сидишь, как на иголках, потому что боишься, что придут — распух-

ших арестовывать и тебя захватят, или (хуже всего) молодые поэты начнут свои стихи читать. Один, потом другой, потом третий... Словом — нестерпимая обстановка.

У нэпманов оказалось до чрезвычайности хорошо. Чай, лимон, печенье, горничная, всюду пахнет духами, серебряные ложки (примечание для испуганного иностранца: платоническое удовольствие), на пианино дочь играет Молитву девы, диван, «не хотите ли со сливками», никто стихов не читает и т. д.

Единственное неудобство: в зеркальных отражениях маленькая дырка на твоих штанах превращается в дырищу величиной с чайное блюдечко, и приходится прикрывать ее ладонью, а чай мешать левой рукой. А хозяйка, очаровательно улыбаясь, говорит:

— Вы очень милый и интересный, но почему вы не купите себе новые брюки? А заодно и шапку...

После этого «заодно» я подавился чаем и золотушная Молитва девы показалась мне данс макабром.

Но прозвучал звонок и спас меня.

Вошел некто, перед которым все побледнело и даже серебряные ложки съежились и сделались похожими на подержанное фразэ.

На пальце у вошедшего сидело что-то, напоминающее крест на Храме Христа Спасителя на закате.

— Каратов девяносто... Не иначе как он его с короны снял, — шепнул мне мой сосед — поэт, человек, воспевающий в стихах драгоценные камни, но по своей жестокой бедности не имеющий понятия о том, что такое карат.

По камню, от которого сыпались во все стороны разноцветные лучи, по тому, как на плечах у толстой жены вошедшего сидел рыжий палантин, по тому, как у вошедшего юрко бегали глаза, я догадался, что передо мной всем нэпманам — нэпман, да еще, вероятно, из треста.

Хозяйка вспыхнула, заулыбалась золотыми коронками, кинулась навстречу, что-то восклицая, и прервалась Молитва девы на самом интересном месте.

Затем началось оживленное чаепитие, причем нэпман был в центре внимания.

Я почему-то обиделся (ну что ж из того, что он нэпман? Я разве не человек?) и решил завязать разговор. И завязал его удачно.

— Сколько вы получаете жалованья? — спросил я у обладателя сокровища.

Тут же с двух сторон под столом мне наступили на ноги. На правой ноге я ощутил сапог поэта (кривой стоптанный каблук), на левой ногу хозяйки (французский острый каблук).

Но богатч не обиделся. Напротив, мой вопрос ему польстил почему-то.

Он остановил на мне глаза на секунду, причем тут только я разглядел, что они похожи на две десятки одесской работы.

— М... м... как вам сказать... Э... пустяки. Два, три миллиарда, — ответил он, посылая мне с пальца снопы света.

— А сколько стоит ваше бри... — начал я и взвизгнул от боли.

— ...бритье?! — выкрикнул я, не помня себя, вместо «бриллиантовое кольцо».

— Бритье стоит 20 лимонов, — изумленно ответил нэпман, а хозяйка сделала ему глазами: «не обращайтесь внимания. Он идиот».

И мгновенно меня сняли с репертуара. Защебетала хозяйка, но благодаря моему блестящему почину разговор так и увяз в лимонном болоте.

Во-первых, поэт всплеснул руками и простонал:

— 20 лимонов! Ай, яй, яй! (он брился последний раз в июне).

Во-вторых, сама хозяйка ляпнула что-то несуразно-малое насчет оборотов в тресте.

Нэпман понял, что он находится в компании денежных младенцев, и решил поставить нас на место.

— Приходит ко мне в трест неизвестный человек, — начал он, поблескивая черными глазами, — и говорит: возьму у вас товару на 200 миллиардов. Плачу векселями. Позвольте, — отвечаю я, — вы — лицо частное... э... какая же гарантия, что ваши уважаемые векселя... А, пожалуйста, — отвечает тот. И вынул книжку своего текущего счета. И как вы думаете, — нэпман победоносно обвел глазами сидящих за столом, — сколько у него оказалось на текущем счету?

— 300 миллиардов? — крикнул поэт (этот проклятый санюлот не держал в руках больше 50 лимонов).

— 800, — сказала хозяйка.

— 940, — робко пискнул я, убрав ноги под стол.

Нэпман артистически выдержал паузу и сказал:

— Тридцать три триллиона.

Тут я упал в обморок и, что было дальше, не знаю.

Примечание для иностранцев: триллионом в московских трестах называют тысячу миллиардов, 33 триллиона пишут так:

33.000.000.000.000.

Москва, 9 янв.

V

ЧЕЛОВЕК ВО ФРАКЕ

Опера Зимина. «Гугеноты». Совершенно такие же, как «Гугеноты» 1893 г., «Гугеноты» 1903 г., 1913, наконец, и 1923 г.!

Как раз с 1913 г. я и не видел этих «Гугенотов». Первое впечатление — ошалевашь. Две витых зеленых колонны и бесконечное количество голубоватых ляжек в трико. Затем тенор начинает петь такое, что сразу мучительно хочется в буфет и:

— Гражданин служающий, пива! («человеков» в Москве еще нет).

В ушах ляпает громовое «Пиф-Паф!!» Марселя, а в мозгу вопрос:

— Должно быть, это действительно прекрасно, ежели последние бурные годы не выперли этих гугенотов вон из театра, окрашенного в какие-то жабы тона.

Куда там выперли! В партере, в ложах, в ярусах ни клочка места. Взоры сосредоточены на желтых сапогах Марселя. И Марсель, посылая партнеру сердитые взгляды, угрожает:

Пощады не ждите,
Она не придет-е-е-т...

Рокочущие низы.

Солисты, посипев под гримом, прорезывают гремющую массу хора и медных. Ползет занавес. Свет. Сразу хочется бутербродов и курить. Первое — невозможно, ибо для того, чтобы есть бутерброды, нужно зарабатывать миллиардов десять в месяц, второе — мыслимо.

У вешалок сквозняк, дымовая завеса. В фойе — шарканье, гул, пахнет дешевыми духами. Зеленейшая тоска после папиросы.

Все по-прежнему, как было пятьсот лет назад. За исключением, пожалуй, костюмов. Пиджачки сомнительные, френчи вытертые.

Ишь ты, — подумал я, наблюдая, — публика та, да не та...

И только что подумал, как увидел у входа в партер человека. Он был во фраке! Все, честь честью, было на месте. Ослепительный пластрон, давно заутюженные брюки, лакированные туфли и, наконец, сам фрак!

Он не посрамил бы французской комедии. Первоначально так и подумал: не иностранец ли? От тех всего жди. Но оказался свой.

Гораздо интереснее фрака было лицо его обладателя. Выражение унылой озабоченности портило расплывчатый лик москвича. В глазах его читалось совершенно явственно:

— Да-с, фрак. Выкуси. Ничто не имеет мне права слово сказать. Декрета насчет фраков нету.

И, действительно, никто фрачника не трогал, и даже особенно острого любопытства он не возбуждал. И стоял он незыблемо, как скала, омываемая пиджачным и френчным потоком.

Фрак этот до того меня заинтриговал, что я даже оперы не дослушал.

В голове моей вопрос:

Что должен означать фрак? Музейная ли это редкость в Москве среди френчей 1923 г., или фрачник представляет собой некий живой сигнал:

— Выкуси. Через полгода все оденемся во фраки.

Вы думаете, что, может быть, это праздный вопрос? Не скажите...

VI

БИОМЕХАНИЧЕСКАЯ ГЛАВА

*Зови меня вандалом,
Я это имя заслужил.*

Признаюсь: прежде чем написать эти строки, я долго колебался. Боялся. Потом решил рискнуть.

После того, как я убедился, что «Гугеноты» и «Риголетто» перестали меня развлекать, я резко кинулся на левый фронт. Причиной этому был И. Эренбург, написавший книгу «А все-таки она вертится», и двое длинноволосых московских футуристов, которые, появляясь ко мне ежедневно в течение недели, за вечерним чаем ругали меня «мещанином».

Неприятно, когда это слово тычут в глаза, и я пошел, будь они прокляты! Пошел в театр Гитис на «Великодушного рогоносца» в постановке Мейерхольда.

Дело вот в чем: я человек рабочий. Каждый миллион дается мне путем ночных бессонниц и дневной зверской беготни. Мои денежки как раз те самые, что носят название кровных. Театр для меня — наслаждение, покой, развлечение, словом, все что угодно, кроме средства нажить новую хорошую неврастению, тем более что в Москве есть десятки возможностей нажить ее без затраты на театральные билеты.

Я не И. Эренбург и не театральный мудрый критик, но судите сами:

В общипанном, ободранном, сквозняковом театре вместо сцены — дыра (занавеса, конечно, нету и следа). В глубине — голая кирпичная стена с двумя гробовыми окнами.

А перед стеной сооружение. По сравнению с ним проект Татлина может считаться образцом ясности и простоты. Какие-то клетки, наклонные плоскости, палки, дверки и колеса. И на колесах буквы кверху ногами «с ч» и «т е». Театральные плотники, как дома, ходят взад и вперед, и долго нельзя понять, началось уже действие или еще нет.

Когда же оно начинается (узнаешь об этом потому, что все-таки вспыхивает откуда-то сбоку свет на сцене), появляются синие люди (актеры и актрисы все в синем. Театральные критики называют это прозодеждой. Послал бы я их на завод денька хоть на два! Узнали бы они, что такое прозодежда!).

Действие: женщина, подобрав синюю юбку, съезжает с наклонной плоскости на том, на чем и женщины и мужчины сидят. Женщина мужчине чистит зад платяной щеткой. Женщина на плечах у мужчин ездит, прикрывая стыдливо ноги прозодеждой юбкой.

— Это биомеханика, — пояснил мне приятель. Биомеханика!! Беспомощность этих синих биомехаников, в свое время учившихся произносить слащавые монологи, вне конкуренции. И это, заметьте, в двух шагах от Никитского цирка, где клоун Лазаренко ошеломляет чудовищными трюками!

Кого-то вертящейся дверью колотят уныло и настойчиво опять по тому же самому месту. В зале настроение, как на кладбище у могилы любимой жены. Колеса вертятся и скрипят.

После первого акта капельдинер:

— Не понравилось у нас, господин?

Улыбка настолько нагла, что мучительно хотелось биоманхнуть его по уху.

— Вы опоздали родиться, — сказал мне футурист.

Нет, это Мейерхольд поспешил родиться.

— Мейерхольд — гений! — завывал футурист.

Не спорю. Очень возможно. Пускай — гений. Мне все равно. Но не следует забывать, что гений одинок, а я — масса. Я — зритель. Театр для меня. Желая ходить в понятный театр.

— Искусство будущего!! — налетели на меня с кулаками.

А если будущего, то пускай, пожалуйста, Мейерхольд умрет и воскреснет в ХХI веке. От этого выиграют все, и прежде всего он сам. Его поймут. Публика будет довольна его колесами, он сам получит удовлетворение гения, а я буду в могиле, мне не будут сниться деревянные вертушки.

Вообще к черту эту механику. Я устал.

VII

ЯРОН

Спас меня от биомеханической тоски артист оперетки Ярон, и ему с горячей благодарностью посвящаю эти строки. После первого же его падения на колени к графу Люксембургу, стукнувшему его по плечу, я понял, что значит это проклятое слово «биомеханика», и когда оперетка карусельным галопом пошла вокруг Ярона, как вокруг стержня, я понял, что значит настоящая буффонада.

Грим! Жесты! В зале гул и гром! И нельзя не хохотать. Немыслимо.

Бескорыстная реклама Ярону, верьте совести: исключительный талант.

VIII

ВО ЧТО ОБХОДИТСЯ КУРЕНИЕ

Из хаоса каким-то образом рождается порядок. Некоторые об этом узнают из газет со значительным опозданием, а некоторые по горькому опыту на месте и в процессе создания этого порядка.

Так, например, нэпман, о котором я расскажу, познакомился с новым порядком в коридоре плацкартного вагона на станции Николаевской железной дороги.

Он был в общем благодушный человек, и единственно, что выводило его из себя, это большевики. О большевиках он не мог говорить спокойно. О золотой валюте — спокойно. О сале — спокойно. О театре — спокойно. О большевиках — слюна. Я думаю, что если бы маленькую порцию этой слюны вспрыснуть кролику — кролик издох бы во мгновение ока. 2-х граммов было бы достаточно, чтобы отравить эскадрон Буденного с лошадьми вместе.

Слюны же у нэпмана было много, потому что он курил.

И когда он залез в вагон со своим твердым чемоданом и огляделся, презрительная усмешка исказила его выразительное лицо.

— Гм... подумаешь, — заговорил он... или, вернее, не заговорил, а как-то заскрипел, — свинячили, свинячили четыре года, а теперь вздумали чистоту наводить! К чему, спрашивается, было все это разрушать? И вы думаете, что я верю в то, что у них что-нибудь выйдет? Держи карман. Русский народ — хам.

И все им опять заплывает!

И в тоске и отчаянии швырнул окурочек на пол и растоптал. И немедленно (черт его знает, откуда он взялся — словно из стены вырос) появился некто с квитанционной книжкой в руках и сказал, побивая рекорд лаконичности:

— Тридцать миллионов.

Не берусь описать лицо нэпмана. Я боялся, что его хватит удар.

Вот она какая история, товарищи берлинцы. А вы говорите «bolscheviki», «bolscheviki»! Люблю порядок.

Прихожу в театр. Давно не был. И всюду висят плакаты «курить строго воспрещается». И думаю я, что за чудеса: никто под этими плакатами не курит. Чем это объясняется? Объяснилось это очень просто, так же, как и в вагоне. Лишь только некий с черной бородкой — прочитав плакат — сладко затаился два раза, как вырос молодой человек симпатичной, но непреклонной наружности и:

— Двадцать миллионов.

Негодованию черной бородки не было предела.

Она не пожелала платить. Я ждал взрыва со стороны симпатичного молодого человека, игравшего благодушно квитанциями. Никакого взрыва не последовало, но за спиной молодого человека без всякого сигнала с его стороны (большевистские фокусы!) из воздуха соткался милиционер. Положительно, это было Гофманское нечто. Милиционер не произнес ни одного слова, не сделал ни одного жеста. Нет! Это было просто воплощение укоризны в серой шинели с револьвером и свистком. Черная бородка заплатила со сверхъестественной гофманской же быстротой.

И лишь тогда ангел-хранитель, у которого вместо крыльев за плечами помещалась небольшая изящная винтовка, отошел в сторону и «добродушная пролетарская улыбка заиграла на его лице» (так пишут молодые барышни революционные романы).

Случай с черной бородкой так подействовал на мою впечатлительную душу (у меня есть подозрение, что и не только на мою), что теперь, куда бы я ни пришел, прежде чем взяться за портсигар, я тревожно осматриваю стены — нет ли на них какой-нибудь печатной каверзы. И ежели плакат «строго воспрещается», подманивающий русского человека на курение и плевки, то я ни курить, ни плевать не стану ни за что.

ЗОЛОТОЙ ВЕК

Фридрихштрасской уверенности, что Россия прикончилась, я не разделяю, и даже больше того: по мере того, как я наблюдаю московский калейдоскоп, во мне рождается предчувствие, что «все образуется» и мы еще можем пожить довольно славно.

Однако я далек от мысли, что Золотой Век уже наступил. Мне почему-то кажется, что наступит он не ранее, чем порядок, симптомы которого так ясно начали проступать в столь незначительных, казалось бы, явлениях, как все эти некурительные и неплевательные события, пустит окончательные корни.

ГУМ с тысячами огней и гладко выбритыми приказчиками, блестящие швейцары в государственных магазинах на Петровке и Кузнецком, «верхнее платье снимать обязательно» и т. под. — это великолепные ступени на лестнице, ведущей в Рай, но еще не самый Рай.

Для меня означенный Рай наступит в то самое мгновение, как в Москве исчезнут семечки. Весьма возможно, что я выродок, не понимающий великого значения этого чисто национального продукта, столь же свойственного нам, как табачная жвачка славным американским героям сносшибательных фильмов, но весьма возможно, что просто-напросто семечки — мерзость, которая угрожает утопить нас в своей слюнявой шелухе.

Боюсь, что мысль моя покажется дикой и непонятной утонченным европейцам, а то я сказал бы, что с момента изгнания семечек для меня непреложной станет вера в электрификацию поезда (150 километров в час), всеобщую грамотность и проч., что уже, несомненно, означает Рай.

И миленькая надежда у меня закопошилась в сердце после того, как на Тверской меня чуть не сшибла с ног туча баб и мальчишек, с лотками летевших куда-то с полями:

— Дунька! Ходу! Он идет!!

«Он» оказался, как я и предполагал, воплощением в сером, но уже не укоризны, а ярости.

Граждане, это священная ярость. Я приветствую ее.

Их надо изгнать, семечки. Их надо изгнать. В противном случае быстроходный электрический поезд мы построим, а Дуньки наплюют шелухи в механизм, и поезд остановится — и все к черту.

Х

КРАСНАЯ ПАЛОЧКА

Нет пагубнее заблуждения, как представить себе загадочную великую Москву 1923 года отпечатанной в одну краску.

Это спектр. Световые эффекты в ней поразительны. Контрасты — чудовищны. Дуньки и нищие (о, смерть моя — московские нищие! Родился НЭП в лакированных ботинках, немедленно родился и тот страшный, в дырах, с гнусавым голосом, и сел на всех перекрестках, занял у подъездов, заковылял по переулкам), благой мат ископаемых извозчиков и бесшумное скольжение машин, сияющих лаком, афиши с мировыми именами... а в будке на Страстной площади торгует журналами, временно исполняя обязанности отлучившегося продавца, неграмотная баба!

Клянусь — неграмотная!

Я сам лично подошел к будке. Спросил «Россию», она мне подала «Корабль» (похож шрифт!). Не то. Баба заметалась в будке. Подала другое. Не то.

— Да что вы, неграмотная?! (это я иронически спросил).

Но долой иронию, да здравствует отчаяние! Баба, действительно, неграмотная.

Москва — котел: в нем варят новую жизнь. Это очень трудно. Самим приходится вариться. Среди Дуnek и неграмотных рождается новый, пронизывающий все углы бытия, организационный скелет.

В отчаянии от бабы с «Кораблем» в руках, в отчаянии от зверских извозчиков, понимающих коллективную нашу мамашу, я кинулся в Столешников переулок и на скрещении его с Большой Дмитровской увидел этих самых извозчиков. На скрещении было, очевидно, какое-то препятствие. Вереница бородачей на козлах была неподвижна. Я был пора-

жен. Почему же не гремит ругань? Почему не вырываются вперед пыльные извозчики?

Боже мой! Препятствие-то, препятствие... Только всего, что в руках у милиционера была красная палочка и он застыл, подняв ее вверх.

Но лица извозчиков! На них было сияние, как на Пасху!

И когда милиционер, пропустив трамвай и два автомобиля, махнул палочкой, прибавив уже несвойственное констеблям и шудманам ласковое:

— Давай! —

извозчики поехали так нежно и аккуратно, словно везли не здоровых москвичей, а тяжело раненных.

В порядке дайте нам опоры точку, и мы сдвинем шар земной.

«Накануне», 21 декабря 1922 г.,

20 января 1923 г.,

9 февраля 1923 г.,

1 марта 1923 г.

М ю р ж е А н р и (1822—1861) — французский писатель. Его роман «Сцены из жизни богемы» (1851) — основа для либретто оперы Дж. Пуччини «Богема», премьера которой состоялась 1 февраля 1896 года в Турине.

«Г у г е н о т ы» — опера Дж. Мейербера (1791—1864), крупнейшего представителя романтического музыкального театра Франции.

«В е л и к о д у ш н ы й р о г о н о с е ц» — спектакль Вс. Мейерхольда (1874—1940) по пьесе Ф. Кроммелинка (1888—1970).

Т а т л и н В. Е. (1885—1953) — русский живописец, график, театральный художник.

Л а з а р е н к о В. Е. (1890—1939) — клоун, заслуженный артист РСФСР.

Я р о н Г. М. (1893—1963) — знаменитый артист оперетты, народный артист РСФСР.



ЧАША ЖИЗНИ

*Веселый московский рассказ
с печальным концом*

Истинно, как перед Богом, скажу вам, гражданин, пропадаю через проклятого Пал Васильича... Соблазнил меня чашей жизни, а сам предал, подлец!..

Так дело было. Сижу я, знаете ли, тихо-мирно дома и калькуляцией занимаюсь. Ну, конечно, это только так говорится, калькуляцией, а на самом деле жалованья — 210. Пятьдесят в кармане. Ну и считаешь: 10 дней до первого. Это сколько же? Выходит — пятерка в день. Правильно. Можно дотянуть? Можно, ежели с калькуляцией. Превосходно. И вот открывается дверь и входит Пал Васильич. Я вам доложу: доха на нем не доха, шапка — не шапка! Вот, сволочь, думаю! Лицо красное, и слышу я — портвейном от него пахнет. И ползет за ним какой-то, тоже одет хорошо.

Пал Васильич сейчас же знакомит:

— Познакомьтесь, — говорит, — наш, тоже трестовый.

И как шваркнет шапку эту об стол и кричит:

— Переутомился я, друзья! Засла меня работа! Хочу я отдохнуть, провести вечер в вашем кругу! Молю я, друзья, давайте будем пить чашу жизни! Едем! Едем!

Ну, деньги у меня какие? Я и докладываю: пятьдесят. А человек я деликатный, на дурничку не привык. А на пятьдесят-то что сделаешь? Да и последние!

Я и отвечаю:

— Денег у меня...

Он как глянет на меня.

— Свинья ты, — кричит, — обижаешь друга?!

Ну, думаю, раз так... И пошли мы.

И только вышли, начались у нас чудеса! Дворник тротуар скребет. А Пал Васильич подлетел к нему, хватъ у него скребок из рук и начал сам скрести.

При этом кричит:

— Я — интеллигентный пролетарий! Не гнушаюсь работой!

И прохожему товарищу по калоше — чик! И разрезал ее. Дворник к Пал Васильичу и скребок у него из рук выхватил. А Пал Васильич как заорет:

— Товарищи! Караул! Меня, ответственного работника, избивают!

Конечно, скандал. Публика собралась. Вижу я — дело плохо. Подхватили мы с трестовым его под руки — и в первую дверь. А на двери написано: «и подача вин». Товарищ за нами, калоша в руках.

— Позвольте деньги за калошу.

И что ж вы думаете? Расстегнул Пал Васильич бумажник, и как заглянул я в него — ужаснулся! Одни сотенные. Пачка пальца в четыре толщины. Боже ты мой, думаю. А Пал Васильич отслюнил две бумажки и презрительно товарищу:

— П-палучите, т-товарищ.

И при этом в нос засмеялся, как актер:

— А. Ха. Ха.

Тот, конечно, смылся. Калошам-то красная цена сегодня была полтинник. Ну, завтра, думаю, за шестьдесят купит.

Прекрасно. Уселись мы и пошли. Портвейн московский, знаете? Человек от него не пьянеет, а так лишается всякого понятия. Помню, раков мы ели и неожиданно оказались на Страстной площади. И на Страстной площади Пал Васильич какую-то даму обнял и троекратно поцеловал: в правую щеку, в левую и опять в правую. Помню, хохотали мы, а дама так и осталась в оцепенении. Пушкин стоит, на даму смотрит, а дама на Пушкина.

И тут же налетели с букетами, и Пал Васильич купил букет и растоптал его ногами.

И слышу голос сдавленный из горла:

— Я вас? К-катаю?

Сели мы. Оборачивается к нам и спрашивает:

— Куда, Ваше Сиятельство, прикажете?

Это Пал Васильич! Сиятельство! Вот, сволочь, думаю!

А Пал Васильич доху распахнул и отвечает:

— Куда хочешь.

Тот в момент рулем крутанул, и полетели мы как вихрь. И через пять минут — стоп на Неглинном. И тут этот рожком три раза хрюкнул, как свинья:

— Хрр... Хрю... Хрю...

И что же вы думаете! На это самое «хрю» — лакеи! Выскочили из двери и под руки нас. И метрдотель, как какой-нибудь граф:

— Сто-лик.

Скрипки:

Под знойным небом Аргентины...

И какой-то человек в шапке и в пальто, и вся половина в снегу, между столиками танцует. Тут стал уже Пал Васильич не красный, а какой-то пятнистый, и грянул:

— Долой портвейны эти! Желая пить шампанское!

Лакеи врассыпную кинулись, а метрдотель наклонил пробор:

— Могу рекомендовать марку...

И залетали вокруг нас пробки, как бабочки.

Пал Васильич меня обнял и кричит:

— Люблю тебя! Довольно тебе киснуть в твоём Центросоюзе. Устраиваю тебя к нам в трест. У нас теперь сокращение штатов, стало быть, вакансии есть. А я в тресте и царь и бог! А трестовый его приятель гаркнул «верно!» и от восторга бокал об пол и вдребезги.

Что тут с Пал Васильичем сделалось!

— Что, — кричит, — ширину души желаешь показать? Бокальчик разбил и счастлив? А. Ха. Ха. Гляди!!

И с этими словами вазу на ножке об пол — раз! А трестовый приятель — бокал! А Пал Васильич — судок! А трестовый — бокал!

Очнулся я только, когда нам счет подали. И тут глянул я сквозь туман — о-д-и-н м-и-л-л-и-а-р-д девятьсот двенадцать миллионов. Да-с.

Помню я, слюнул Пал Васильич бумажки и вдруг вытаскивает пять сотенных и мне:

— Друг! Бери займы! Прозябашь ты в своём Центросоюзе! Бери пятьсот! Поступишь к нам в трест и сам будешь иметь!

Не выдержал я, гражданин. И взял у этого подлеца пятьсот. Судите сами: ведь все равно пропъет, каналья. Деньги у

них в трестах легкие. И вот, верите ли, как взял я эти проклятые пятьсот, так вдруг и сжало мне что-то сердце. И обернулся я машинально и вижу сквозь пелену — сидит в углу какой-то человек и стоит перед ним бутылка сельтерской. И смотрит он в потолок, а мне, знаете ли, почудилось, что смотрит он на меня. Словно, знаете ли, невидимые глаза у него — вторая пара на щеке.

И так мне стало как-то вдруг тошно, выразить вам не могу!

— Гоп ца, дрица, гоп, ца, ца!!

И как боком к двери. А лакеи впереди понесли и салфетками машут!

И тут пахнуло воздухом мне в лицо. Помню еще, захрюкал опять шофер и будто ехал я стоя. А куда — неизвестно. Начисто память отшибло...

И просыпаюсь я дома! Половина третьего.

И голова — Боже ты мой! — поднять не могу! Кой-как припомнил, что это было вчера, и первым долгом за карман — хватъ. Тут они — пятьсот! Ну, думаю — здорово! И хоть голова у меня разваливается, лежу и мечтаю, как это я в тресте буду служить. Отлежался, чаю выпил, и полегчало немного в голове. И рано я вечером заснул.

И вот ночью звонок...

А, думаю, это, вероятно, тетка ко мне из Саратова.

И через дверь босиком спрашиваю:

— Тетя, вы?

И из-за двери голос незнакомый:

— Да. Откройте.

Открыл я и оцепенел...

— Позвольте... — говорю, а голоса нету, — узнать, за что же?..

Ах, подлец!! Что ж оказывается? На допросе у следователя Пал Васильич (его еще утром взяли) и показал:

— А пятьсот из них я передал гражданину такому-то — это мне, стало быть!

Хотел было я крикнуть: ничего подобного!!

И, знаете ли, глянул этому, который с портфелем, в глаза... И вспомнил! Батюшки, сельтерская! Он! Глаза-то, что на щеке были, у него во лбу!

Замер я... не помню уж как, вынул пятьсот... Тот хладнокровно другому:

— Приобщите к делу.

И мне:

— Потрудитесь одеться.

Боже мой! Боже мой! И уж как подъезжали мы, вижу я сквозь слезы, лампочка горит над надписью «комендатура». Тут и осмелился я спросить:

— Что ж такое он, подлец, сделал, что я должен из-за него свободы лишиться?..

А этот сквозь зубы и насмешливо:

— О, пустяки. Да и не касается это вас.

А что не касается! Потом узнаю: его чуть ли не по семи статьям... тут и дача взятки, и взятие, и небрежное хранение, а самое-то главное — растрата! Вот оно какие пустяки, оказывается! Это он — негодяй, стало быть, последний вечер доживал тогда — чашу жизни пил! Ну-с, коротко говоря, выпустили меня через две недели. Кинулся я к себе в отдел. И чувствовало мое сердце: сидит за моим столом какой-то новый во френче, с пробором.

— Сокращение штатов. И кроме того, что было... Даже странно...

И задом повернулся и к телефону.

Помертвел я... получил ликвидационные... за две недели вперед — 105 и вышел.

И вот с тех пор без перерыва и хожу... и хожу. И ежели еще неделька так, думаю, то я на себя руки наложу!..

*«Накануне» (литературное
приложение), 31 декабря 1922 г*



В ТЕАТРЕ ЗИМИНА

(Наброски карандашом)

Не узнать зиминского театра. Окрашенные в какие-то жабыи серые тона, ярусы скрылись под темно-красными полотнищами с цифрой «5». Кресла в ярусах белеют пятнами — на спинах их разостланы номера юбилейного «Гудка».

Зал наполняется, наполняется... Головы вырастают во всех ярусах. Белые полотнища газет кольпнутся в руках. Слышен смутный, волнующий говор и шорох. В оркестре переливаются трели кларнетов и флейт.

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

— Смотри... смотри, — шепчет кто-то, — вон Калинин сидит.

И точно, в первом ряду на сцене среди гостей сидит, благодушно и терпеливо ожидая начала заседания, всероссийский староста. Всматриваешься и начинаешь вспоминать, глядя в эти пытливые глаза: когда-то этот человек, что стоит во главе пролетарского правительства, сам работал в железнодорожных мастерских.

ИНТЕРНАЦИОНАЛ

— Торжественное заседание союза железнодорожников разрешите считать открытым, — объявляет т. Андреев.

В ярусах и партере встает живой человеческий лес. Встает оркестр, и катятся победные звуки Интернационала.

Долго перекатываются и стучат спинки опускаемых стульев. Сотни людей садятся, шурша газетными листами.

Начинаются речи...

КАК ВСТРЕЧАЛИ ВСЕРОССИЙСКОГО СТАРОСТУ

— Слово для приветствия от Всероссийского Центрального Исполни... — начал было т. Андреев и не мог окончить фразы. Лишь только Михаил Иванович Калинин поднялся со стула, в зале начался грохот всплесков. Несколько минут бушевали в театре аплодисменты, и взволнованный Калинин не мог начать своей речи.

Кричали приветствия, потом рукоплескали, опять кричали, опять грохотали... За партером встали ярусы, встали на сцене и тянулись к Калинин у сотни плещущих рук.

КАЛИНИН — ПОЧЕТНЫЙ ЧЛЕН СОЮЗА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНИКОВ

Встал т. Андрейчик и предложил избрать т. Калинина почетным членом союза. Конец его фразы покрыл гул голов и грохот рукоплесканий.

— Просим... просим!!!

ВАГОН-МОДЕЛЬ

Двое мастеров в серых куртках выходят на авансцену. Один из них читает приветствие союзу, другой сбрасывает красное сукно, и под ним оказывается великолепно исполненный товарный вагон-модель — в 1/10 настоящей величины. Это — дар союзу от калужских главных мастеровских.

В зале и на сцене приподнимаются и смотрят на художественно исполненную модель. Гремят аплодисменты.

КРАСНОЙ АРМИИ ПРИВЕТ!

Волна бурного прибоя... Катится грохот: прочитали привет Красной армии — соратнику железнодорожников в великой борьбе. Встают, как один. Без оркестра поют сотни голосов Интернационал. Музыканты, услышав пение, начинают наполнять оркестр. Берутся за инструменты... и медные звуки труб прорезывают тысячный великий хор.

М. Б.

«Гудок», 11 февраля 1923 г.



СОРОК СОРОКОВ

Решительно скажу: едва
Другая сыщется столица, как Москва.

ПАНОРАМА ПЕРВАЯ: ГОЛЫЕ ВРЕМЕНА

Панорама первая была в густой тьме, потому что въехал я в Москву ночью. Это было в конце сентября 1921-го года. По гроб моей жизни не забуду ослепительного фонаря на Брянском вокзале и двух фонарей на Дорогомиловском мосту, указывающих путь в родную столицу. Ибо, что бы ни происходило, что бы вы ни говорили, Москва — мать, Москва — родной город. Итак, первая панорама: глыба мрака и три огня.

Затем Москва показалась при дневном освещении сперва в слезливом осеннем тумане, в последующие дни в жгучем морозе. Белые дни и драповое пальто. Драп, драп. О, чертова дерюга! Я не могу описать, насколько я мерз. Мерз и бегал. Бегал и мерз.

Теперь, когда все откормились жирами и фосфором, поэты начинают писать о том, что это были героические времена. Категорически заявляю, что я не герой. У меня нет этого в натуре. Я человек обыкновенный — рожденный ползать — и, ползая по Москве, я чуть не умер с голоду. Никто кормить меня не желал. Все буржуи заперлись на дверные цепочки и через щель высовывали липовые мандаты и удостоверения. Закутавшись в мандаты, как в простыни, они великолепно пережили голод, холод, нашествие «чижигов», трудужналог и т. под. напасти. Сердца их стали черствы, как булки, продававшиеся тогда под часами на углу Садовой и Тверской.

К героям нечего было и идти. Герои были сами голы, как соколы, и питались какими-то инструкциями и желтой крупой, в которой попадались небольшие красивые камушки вроде аметистов.

Я оказался как раз посредине обеих групп, и совершенно ясно и просто предо мною лег лотерейный билет с надписью

сю — смерть. Увидав его, я словно проснулся. Я развил энергию неслыханную, чудовищную. Я не погиб, несмотря на то, что удары сыпались на меня градом и при этом с двух сторон. Буржуи гнали меня при первом же взгляде на мой костюм в стан пролетариев. Пролетарии выселяли меня с квартиры на том основании, что если я и не чистой воды буржуй, то во всяком случае его суррогат. И не выселили. И не выселят. Смеем вас заверить. Я перенял защитные приемы в обоих лагерях. Я оброс мандатами, как собака шерстью, и научился питаться мелкокаратной разноцветной кашей. Тело мое стало худым и жилистым, сердце железным, глаза зоркими. Я — закален.

Закаленный, с удостоверениями в кармане, в драповой дерюге я шел по Москве и видел панораму. Окна были в пыли. Они были заколочены. Но кое-где уже торговали пирогами. На углах обязательно помещалась вывеска «Распределитель №...» Убейте меня, и до сих пор не знаю, что в них распределяли. Внутри не было ничего, кроме паутины и сморщенной бабы в шерстяном платке с дырой на темени. Баба, как сейчас помню, взмахивала руками и шипло бормотала:

— Заперто... заперто, и никого, товарищ, нетути!

И после этого провалилась в какой-то люк.

Возможно, что это были героические времена, но это были голые времена.

ПАНОРАМА ВТОРАЯ: СВЕРХУ ВНИЗ

На самую высшую точку в центре Москвы я поднялся в серый апрельский день. Это была высшая точка — верхняя платформа на плоской крыше дома бывшего Нирензес, а ныне Дома Советов в Гнездниковском переулке. Москва лежала, до самых краев видная, внизу. Не то дым, не то туман стлался над ней, но сквозь дымку глядели бесчисленные кровли, фабричные трубы и маковки сорока сороков. Апрельский ветер дул на платформы крыши, на ней было пусто, как пусто на душе. Но все же это был уже теплый ветер. И казалось, что он задувает снизу, что тепло подыма-

ется от чрева Москвы. Оно еще не ворчало, как ворчит грозно и радостно чрево больших, живых городов, но снизу сквозь тонкую завесу тумана подымался все же какой-то звук. Он был неясен, слаб, но всеобъемлющ. От центра до бульварных колец, от бульварных колец далеко до самых краев, до сизой дымки, скрывающей подмосковные пространства.

— Москва звучит, кажется, — неуверенно сказал я, наклоняясь над перилами.

— Это — нэп, — ответил мой спутник, придерживая шляпу.

— Брось ты это чертовое слово! — ответил я, — это вовсе не нэп, это сама жизнь. Москва начинает жить.

На душе у меня было радостно и страшно. Москва начинает жить, это было ясно, но буду ли жить я? Ах, это были еще трудные времена. За завтрашний день нельзя было поручиться. Но все же я и подобные мне не ели уже крупы и сахарину. Было мясо на обед. Впервые за три года я не «получил» ботинки, а «купил» их; они были не вдвое больше моей ноги, а только номера на два.

Внизу было занято и страшновато. Нэпманы уже ездили на извозчиках, хамили по всей Москве. Я со страхом глядел на их лики и испытывал дрожь при мысли, что они заполняют всю Москву, что у них в кармане золотые десятки, что они меня выбросят из моей комнаты, что они сильные, зубастые, злобные, с каменными сердцами.

И спустившись с высшей точки в гущу, я начал жить опять. Они не выбросили. И не выбросят, смею уверить.

Внизу меня ждала радость, ибо нет Нэпа без добра: баб с дырами на темени выкинули всех до единой. Паутина исчезла; в окнах кое-где горели электрические лампочки и гирляндами висели подтяжки.

Это был апрель 1922-го года.

ПАНОРАМА ТРЕТЬЯ: НА ПОЛНЫЙ ХОД

В июльский душный вечер я вновь поднялся на кровлю того же девятиэтажного нирензеевского дома. Цепями огней светились бульварные кольца, и радиусы огней уходили к краям Москвы. Пыль не достигала сюда, но звук до-

стиг. Теперь это был явственный звук: Москва ворчала, гудела внутри. Огни, казалось, трепетали, то желтые, то белые огни в черно-синей ночи. Скрежет шел от трамваев, они звякали внизу, и глухо, вперебой, с бульвара неслись звуки оркестров.

На вышке трепетал свет. Гудел аппарат — на экране был помещичий дом с белыми колоннами. А на нижней платформе, окаймляющей верхнюю, при набегавшем иногда востро шелестели белые салфетки на столах и фрачные лакеи бежали с блестящими блюдами. Нэпманы влезли и на крышу. Под ногами были четыре приплюснутых головы с низкими лбами и мощными челюстями. Четыре накрашенных женских лица торчали среди нэпмановских голов, и стол был залит цветами. Белые, красные, голубые розы покрывали стол. На нем было только пять кусочков свободного места, и эти места были заняты бутылками. На эстраде некто в красной рубашке, с партнершей девицей в сарафане, пел частушки:

У Чичерина в Москве
Нотное издательство!

Пианино рассыпалось каскадами.

— Бра-во! — кричали нэпманы, звеня стаканами, — бис!

Приплюснутая и сверху казавшаяся лишенной ног девица семенила к столу с фужером, полным цветов.

— Бис! — кричал нэпман, потоптал ногами, левой рукой обнимал даму за талию, а правой покупал цветок. За неизменным местом в фужерах на столе, он воткнул его в даму, как раз в то место, где кончался корсаж и начиналось ее желтое тело. Дама хихикнула, дрогнула и ошпарила нэпмана таким взглядом, что он долго глядел мутно, словно сквозь пелену. Лакей вырос из асфальта и перегнулся. Нэпман колебался не более минуты над карточкой и заказал. Лакей махнул салфеткой, всунул в стеклянную дыру и четко бросил:

— Восемь раз оливье, два лангет-пикана, два бифштекса.

С эстрады грянул и затоптал лихой, веселый матросский танец. Замелькали ноги в лакированных туфлях и в штанах клешем.

Я спустился с верхней площадки на нижнюю, потом в стеклянную дверь и по бесконечным широким нирензеев-

ским лестницам ушел вниз. Тверская приняла меня огнями, автомобильными глазами, шорохом ног. У Страстного монастыря толпа стояла черной стеной, давали сигналы автомобили, обходя ее. Над толпой висел экран. Дрожа, дробясь черными точками, мутясь, погасая и опять вспыхивая на белом полотне,плыли картины. Бронепоезд с открытыми площадками шел, колыхаясь. На площадке, молниеносно взмахивая руками, оборванные артиллеристы с бантами на груди вгоняли снаряд в орудие. Взмах руки, орудие вздрагивало, и облако дыма отлетало от него.

На Тверской звенели трамваи, и мостовая была извороченной грудой кубиков. Горели жаровни. Москву чинили и днем и ночью.

Это был душный июль 1922 года.

ПАНОРАМА ЧЕТВЕРТАЯ: СЕЙЧАС

Иногда кажется, что Больших театров в Москве два. Один такой: в сумерки на нем загорается огненная надпись. В кронштейнах вырастают красные флаги. След от сорванного орла на фронте бледнеет. Зеленая квадрага чернеет, очертания ее расплываются в сумерках. Она становится мрачной. Сквер пустеет. Цепями протягиваются непреклонные фигуры в тулупах поверх шинелей, в шлемах, с винтовками с примкнутыми штыками. В переулках на конях сидят всадники в черных шлемах. Окна светятся. В Большом идет съезд. Другой такой: в излюбленный час театральной музыки, в семь с половиной, нет сияющей звезды, нет флагов, нет длинной цепи часовых у сквера. Большой стоит громадой, как стоял десятки лет. Между колоннами желто-тускловатые пятна света. Приветливые театральные огни. Черные фигуры текут к колоннам. Часа через два внутри полутемного зала в ярусах громоздятся головы. В ложах на темном фоне ряды светлых треугольников и ромбов от раздвинутых завес. На сукне волны света, и волной катится в грохоте меди и раскатах хора триумф Радамеса. В антрактах в свете золотым и красным сияет Театр и кажется таким же нарядным, как раньше.

В антракте золото-красный зал шелестит. В ложах бенуара причесанные парикмахером женские головы. Штат-

ские сидят, заложив ножку на ножку, и, как загипнотизированные, смотрят на кончики своих лакированных ботинок (я тоже купил себе лакированные). Чин антрактового действия нарушает только одна нэпманша. Перегнувшись через барьеры ложи бельэтажа, она взволнованно кричит через весь партер, сложив руки рупором:

— Дора! Пробирайся сюда! Митя и Соня у нас в ложе!

Днем стоит Большой театр желтый и грузный, облупившийся, потертый. Трамваи огибают Малый, идут к нему. Мюр и Мерелиз, лишь чуть начнет темнеть, показывает в огромных стеклах ряды желтых огней. На крыше его вырос круглый щит с буквами: «Государственный универсальный магазин». В центре щита лампа загорается вечером. Над Незлобинским театром две огненные строчки то гаснут, то вспыхивают: «сегодня банкноты 251». В Столешниковом на экране корявые строчки: «Почему мы советуем покупать ботинки только в...». На Страстной площади на крыше экран — объявления то цветные, то черные вспыхивают и погасают. Там же, но на другом углу, купол вспыхнет, потом потемнеет, вспыхнет и потемнеет «Реклама».

Все больше и больше этих зыбких цветных огней на Тверской, Мясницкой, на Арбате, Петровке. Москва заливается огнями с каждым днем все сильней. В окнах магазинов всю ночь не гаснут дежурные лампы, а в некоторых почему-то освещение *adiorno*¹. До полуночи торгуют гастрономические магазины МПО.

Москва спит теперь и ночью, не гася всех огненных глаз.

С утра вспыхивает гудками, звонками, разбрасывает по тротуарам волны пешеходов. Грузовики, ковыляя и погромыхая цепями, ползут по разъезженному рыхлому бурому снегу. В ясные дни с Ходынки летят с басовым гудением аэропланы. На Лубянке вкруговую, как и прежде, идут трамваи, выскакивая с Мясницкой и с Большой Лубянки. Мимо первопечатника Федорова под старой зубчатой стеной они один за другим валят под уклон вниз к Метрополю. Мутные стекла в первом этаже Метрополя просветлили, словно с них бельма сняли, и показали ряды цветных книжных обложек. Ночью драгоценным камнем над подъездом

¹ Как днем (*итал.*).

светится шар. Госкино П. Напротив через сквер неожиданно воскрес Тестов и высунул в подъезде карточку: крестьянский суп. В Охотном ряду вывески так огромны, что подавляют магазинчики. Но Параскева Пятница глядит печально и тускло. Говорят, что ее снесут. Это жаль. Сколько видал этот узкий проход между окнами с мясными тушами и ларьками букинистов и белым боком церкви, ставшей по самой середине улицы.

Часовню, что была на маленькой площади, там, где Тверская скрещивается с Охотным и Моховой, уже снесли.

Торговые ряды на Красной площади, являвшие несколько лет изумительный пример мерзости запустения, полны магазинов. В центре у фонтана гудит и шаркает толпа людей, торгующих валютой. Их симпатичные лица портит одно: некоторое выражение неуверенности в глазах. Это, похожему, вполне понятно: в ГУМе лишь три выхода. Другое дело у Ильинских ворот — сквер, простор, далеко видно... Эпидемически буйно растут трактиры и воскресают. На Цветном бульваре в дыму, в грохоте рвутся с лязгом звуки «натуральной» польки:

Пойдем, пойдем, ангел милый,
Польку танцевать с тобой.
С-с-с-с-лышу, с-с-с-лышу, с-с-с-с...
...Польки звуки неземной!!

Извозчики теперь оборачиваются с козел, вступают в беседу, жалуются на тугие времена, на то, что их много, а публика норовит сесть в трамвай. Ветер мотает кинорекламы на полотнищах поперек улицы. Заборы исчезли под миллионами разноцветных афиш. Зовут на новые заграничные фильмы, возвещают «Суд над проституткой Заборовой, заразившей красноармейца сифилисом», десятки диспутов, лекций, концертов. Судят «Санина», судят «Яму» Куприна, судят «Отца Сергия», играют без дирижера Вагнера, ставят «Землю дыбом» с военными прожекторами и автомобилями, дают концерты по радио, портные шьют стрелецкие гимнастерки, нашивают сияющие звезды на рукава и шевроны, полные ромбов. Завалили киоски журналами и десятками газет...

И вот брызнуло мартовское солнце, растопило снег. Еще басистей загудели грузовики, яростней и веселей. К Воро-

бьевым горам уже провели ветку, там роют, возят доски, там скрипят тачки — готовят всероссийскую выставку.

И, сидя у себя в пятом этаже, в комнате, заваленной букинистическими книгами, я мечтаю, как летом взлезу на Воробьевы, туда, откуда глядел Наполеон, и посмотрю, как горят сорок сороков на семи холмах, как дышит, блестит Москва. Москва-мать.

«Накануне», 15 апреля 1923 г.



ПОД СТЕКЛЯННЫМ НЕБОМ

Жулябия в серых полосатых брюках и шапке, обитой вытертым мехом, с небольшим мешочком в руках. Физиономия, словно пчелами искусанная, и между толстыми губами жеваная папироска.

Мимо блестящего швейцара просунулась фигурка. В серой шинели и в фуражке с треснувшим пополам козырьком. На лице беспокойство, растерянность. Самогонный нос. Несомненно, курьер из какого-нибудь учреждения. Жулябия, метнув глазами, зашаркала резиновыми галошами и подсунулась к курьеру.

— Что продаешь?

— Облигацию... — ответил курьер и разжал кулак. Из него выглянула сизая облигация.

— Почему? — жулябины глаза ввинтились в облигацию.

— Сто десять бы... — квакнул, заикнувшись, курьер. Боевые искры сверкнули в глазах на распухом лице.

— Симпатичное лицо у тебя, вот что я тебе скажу, — заговорила жулябия, — за лицо тебе предлагаю: девяносто рублей. Желает? Другому бы не дала. Но ты мне понравился.

У курьера рот от изумления стал круглым под мочальными усами. Он машинально повернулся к зеркальному окну магазина, ища в нем своего отражения. Веселые огни заиграли в жулябиных глазах. Курьер отразился в зеркале во всем очаровании своего симпатичного лица под перебитым козырьком.

— По рукам? — стремительно произвела второй натиск жулябия.

— Да как же... Господи, — ведь давали-то нам по 125...

— Чудак! Давали! Дать и я тебе дам за 125. Хотя сию минуту. Ты, брат, не забывай, что давать — это одно, а брать — совсем другое.

— Да ведь они в мае 200 будут...

— Это резонно! — победно рывкнула жулябия, — так вот, даю тебе совет: держи ее до мая!

И тут жулябия круто вильнула на 180 градусов и сделала вид, что уходит. Но на курьера уже наплывали двое новых ловцов. Бронзовый лик юго-восточного человека и расплывчатый бритый московский блин. Поэтому жулябия круто сыграла назад.

— Вот последнее мое слово. Чтобы не ходил ты тут и не страдал, даю тебе еще два рублика. Мой трамвай. Исключительно потому, что ты — хороший человек.

— Давайте! — пискнул в каком-то отчаянии курьер и двинул фуражку на затылок.

В бесконечных продолговатых стеклянных крышах торговых рядов — бледный весенний свет. На балконе над фонтаном медный оркестр играет то нудные вальсы, то какую-то музыкальную гнусность — «попурри из русских песен», от которой вянут уши.

Вокруг фонтана непрерывное шарканье и шелест. Ни выкриков, ни громкого говора. Но то и дело проходящие фигуры начинают бормотать:

— Куплю доллары, продам доллары.

— Куплю займ, банкноты куплю.

И чаще всего таинственнее, настороженнее:

— Куплю золото. Продам золото...

— Золото... золото... золото... золото...

Золота не видно, золота не слышно, но золото чувствуется в воздухе. Незримое золото где-то тут бьется в крови.

Выныривает в куцей куртке валютчик и начинает волчьим шагом уходить по проходу вбок от фонтана. За ним тащится другая фигура. В укромном пустом углу у дверей, ведущих к памятнику Минина и Пожарского, остановка.

Из недр куцего пальто словно волшебством выскакивает золотой диск. Вот оно, золото.

Фигура вертит в руках, озираясь, золотушку с царским портретом.

— А она, того... хорошая?

Куцее пальто презрительно фыркает:

— Здесь не Сухаревка. Я их сам не делаю.

Фигура боязливо озирается, наклоняется и легонько бросает монетку на пол. Мгновенный, ясный золотой звон. Золото! Монетка исчезает в кармане пальто. Кудее пальто мнет и пересчитывает дензнаки. Быстро расходятся. И снова непрерывное кружение у фонтана. И шепот, шепот... золото... золо... зо...

Один из коридоров рядов загорожен. У загородки сидит загадочно улыбающийся гражданин с билетной книжкой в руках. Угодно идти совершать операции на бирже, пожалуйста билет за 40 лимонов. Вне огороженного пространства операции не поощряются ни в какой мере. Но ведь нельзя же людям запретить гулять в рядах возле фонтана! А если люди бормочут словно во сне? Опять-таки никакого криминала в этом обнаружить нельзя. Идет гражданин и шепчет, даже ни к кому не обращаясь:

— Куплю мелкое серебро... Куплю мелкое серебро...

Мало ли оригиналов!..

Среди сомнамбулических джентльменов появляются дамы салонного вида с тревожными глазами. Жены чиновников — случайные валютчицы. Или пришли продать золотишки, что на черный день хранились в штопаных носках в комод, или, обуреваемые жадностью, пришли купить одну-две монеты. Нажужжали знакомые в уши, что десятка растет, растет... растет... Золото... золото...

— Золото, Марь'Иванна, надо купить. Это дело верное.

Марь'Иванна жметя в темный угол в рядах. Марь'Иванна звякнет монеткой об пол.

— А она не обтертая?

— Вы, мадам... — обижается валютчик, — довольно странно с вашей стороны, мадам!

— Ну, ну, вы не обижайтесь! Да вот царь тут какой-то странный. Выражение лица у него...

— Я, мадам, ему выражения лица не делал. Обыкновенное выражение.

Марь'Иванна торопливо вытаскивает из сумочки скомканные бумажки. Монетка исчезает на дне сумочки.

В толпе профессионалов мелькают случайные фуражки с вытертыми околышами. Все по тому же случайному золотому делу. Мелькают подкрашенные и бледные ночные бабоч-

ки-женщины. Обыкновенные прохожие, что сквозным током идут через галереи с Николаевской на Ильинку, покупатели в бесчисленные магазины Гума в рядах. Они смешиваются, сталкиваются, растворяются в гуще валютчиков, вертящихся у фонтана и в галереях. Среди них профессионалы всех типов и видов. Московские в шапках с наушниками, с мрачной думой в глазах, с неряшливыми небритыми лицами, темные восточные, западные и южные люди. Вытертые, ветром подбитые пальто и дорогие бобровые воротники. Сухаревские ботинки-лепешки и изящная лаковая обувь. Седые и безусые. Наглые и вежливые. Медлительные и неуловимые, как ртуть. Профессионалы. Ничем не занимаются, ничем не интересуются, кроме золота, золота, золота. Часами бродят у фонтана. Выглядывают, высматривают, выклеывают.

В пять часов дня. Когда в куполах еще полный серо-матовый, дневной, весенний, стеклянный свет, в галереях светло, гулко. В окнах магазинов горят лампы. На углу у фонтана в витринах играют золотые искры на портсигарах, кубках, подстаканниках, на камнях-самоцветах. Из кафе пахнет жареным. Лотереи-аллегри с полубутылочками кислого вина и миниатюрными коробками конфет бойко торгуют.

Но вот сверлит свисток. Конец черной бирже на сегодняшней день. Из-за загородки сыпят биржевики. Конец и фонтанной чернейшей бирже, что торгует шепотом и озираясь. Еще шелестит торопливо:

— Золото... золото.

Еще ловят быстрыми взглядами покупателей. Десятка прыгнула на 15 лимонов вверх. Но уже редееет толпа. Расползаются к выходам черные шубы, серые пальто. Пустеют коридоры. Звонко стучат шаги. Ближе весенний вечер, и в стеклянном продолговатом, мелко переплетенном небе нежно и медленно разливается вечерняя заря.

«Накануне», 24 апреля 1923 г.



МОСКОВСКИЕ СЦЕНЫ

I

НА ПЕРЕДОВЫХ ПОЗИЦИЯХ

— Ну-с, господа, прошу вас, — любезно сказал хозяин и царственным жестом указал на стол.

Мы, не заставив себя просить вторично, уселись и развернули стоящие дыбом крахмальные салфетки.

Село нас четверо: хозяин — присяжный поверенный, кузен его — бывший присяжный поверенный же, кузина, бывшая вдова действительного статского советника, впоследствии служащая в Совнархозе, а ныне просто Зинаида Ивановна, и гость — я — бывший... впрочем, это все равно... ныне человек с занятиями, называемыми неопределенными.

Первоапрельское солнце ударило в окно и заиграло в рюмках.

— Вот и весна, слава Богу; измучились с этой зимой, — сказал хозяин и нежно взялся за горлышко графинчика.

— И не говорите! — воскликнул я и, вытащив из коробки кильку, вмиг ободрал с нее шкуру, затем намазал на кусок батона сливочного масла, прикрыл его килечным растерзанным телом и, любезно оскалив зубы в сторону Зинаиды Ивановны, добавил: — Ваше здоровье!

И затем мы глотнули.

— Не слабо ли... кхм... разбавил? — заботливо осведомился хозяин.

— Самый раз, — ответил я, переводя дух.

— Немножко, как будто, слабовато, — отозвалась Зинаида Ивановна.

Мужчины хором запротестовали, и мы выпили по второй. Горничная внесла миску с супом.

После второй рюмки божественная теплота разлилась у меня внутри и благодущие приняло меня в свои объятия. Я мгновенно полюбил хозяина, его кузена и нашел, что Зи-

наида Ивановна, несмотря на свои 38 лет, еще очень и очень недурна и борода Карла Маркса, помещавшаяся прямо против меня рядом с картой железных дорог на стене, вовсе не так уж чудовищно огромна, как это принято думать. История появления Карла Маркса в квартире поверенного, ненавидевшего его всей душой, — такова. Хозяин мой — один из самых сообразительных людей в Москве, если не самый сообразительный. Он едва ли не первый почувствовал, что происходящее — штука серьезная и долгая, и поэтому окопался в своей квартире не кое-как, кустарным способом, а основательно. Первым долгом он призвал Терентия, и Терентий изгадил ему всю квартиру, соорудив в столовой нечто вроде глиняного гроба. Тот же Терентий проковырял во всех стенах громадные дыры, сквозь которые просунул толстые черные трубы. После этого хозяин, полубоивавшись работой Терентия, сказал:

— Могут не топить парового, бандиты, — и поехал на Плющиху. С Плющихи он привез Зинаиду Ивановну и поселил ее в бывшей спальне, комнате на солнечной стороне. Кузен приехал через три дня из Минска. Он кузена охотно и быстро приютил в бывшей приемной (из передней направо) и поставил ему черную печечку. Затем пятнадцать пудов муки он всунул в библиотеку (прямо по коридору), запер дверь на ключ, повесил на дверь ковер, к коврику приставил этажерку, на этажерку пустые бутылки и какие-то старые газеты, и библиотека словно сгнула — сам черт не нашел бы в нее хода. Таким образом, из шести комнат осталось три. В одной он поселился сам с удостоверением, что у него порок сердца, а между оставшимися двумя комнатами (гостиная и кабинет) снял двери, превратив их в странное двойное помещение.

Это не была одна комната, потому что их было две, но и жить в них, как в двух, было невозможно, тем более что в первой (гостиной) непосредственно под статуей голой женщины и рядом с пианино поставил кровать и, призвав из кухни Сашу, сказал ей:

— Тут будут приходить эти. Так скажешь, что спишь здесь.

Саша заговорщически усмехнулась и ответила:

— Хорошо, барин.

Дверь кабинета он облепил мандатами, из которых явствовало, что ему — юрисконсульту такого-то учреждения —

полагается «добавочная площадь». На добавочной площади он устроил такие баррикады из двух полок с книгами, старого велосипеда без шин, стульев с гвоздями и трех карнизов, что даже я, отлично знакомый с его квартирой, в первый же визит после приведения квартиры в боевой вид разбил себе оба колена, лицо и руки и разорвал сзади и спереди пиджак по живому месту.

На пианино он налепил удостоверение, что Зинаида Ивановна — учительница музыки, на двери ее комнаты удостоверение, что она служит в Совнархозе, на двери кузена, что тот секретарь. Двери он стал отворять сам после 3-го звонка, а Саша в это время лежала на кровати возле пианино.

Три года люди в серых шинелях и черных пальто, объединенных молью, и девицы с портфелями и в дождевых брезентовых плащах рвались в квартиру, как пехота на проводочные заграждения, и ни черта не добились. Вернувшись через три года в Москву, из которой я легкомысленно уехал, я застал все на прежнем месте. Хозяин только немного похудел и жаловался, что его совершенно замучили.

Тогда же он и купил четыре портрета. Луначарского он пристроил в гостиной на самом видном месте, так что нарком стал виден решительно со всех точек в комнате. В столовой он повесил портрет Маркса, а в комнате кузена над великолепным зеркальным желтым шкафом кнопками прикрепит Л. Троцкого. Троцкий был изображен en face, в пенсне, как полагается, и с достаточно благодушной улыбкой на губах. Но лишь хозяин впился четырьмя кнопками в фотографию, мне показалось, что председатель Реввоенсовета нахмурился. Так хмурым он и остался. Затем хозяин вынул из папки Карла Либкнехта и направился в комнату кузины. Та встретила его на пороге и, ударив себя по бедрам, обтянутым полосатой юбкой, вскричала:

— Эт-того недоставало! Пока я жива, Александр Палыч, никаких Маратов и Дантонов в моей комнате не будет!

— Зин... при чем здесь Мара... — начал было хозяин, но энергичная женщина повернула его за плечи и выпихнула вон. Хозяин задумчиво повертел в руках цветную фотографию и сдал ее в архив.

Ровно через полчаса последовала очередная атака. После третьего звонка и стука кулаками в цветные волнистые стекла парадной двери хозяин, накинув вместо пиджака

измызганный френч, впустил трех. Двое были в сером, один в черном с рыжим портфелем.

— У вас тут комнаты... — начал первый серый и ошеломленно окинул переднюю взором. Хозяин предусмотрительно не зажег электричества, и зеркала, вешалки, дорогие кожаные стулья и олени рога расплылись во мгле.

— Что вы, товарищи! — ахнул хозяин и всплеснул руками, — какие тут комнаты?! Верите ли, шесть комиссий до вас было на этой неделе. Хоть и не смотрите! Не только лишней комнаты нет, но еще мне не хватает. Извольте видеть, — хозяин вытащил из кармана бумажку, — мне полагается 16 аршин добавочных, а у меня 13 1/2. Да-с. Где я, спрашивается, возьму 2 1/2 аршина?

— Ну, мы посмотрим, — мрачно сказал второй серый.

— П-пожалуйста, товарищи!..

И тотчас перед ними предстал А. В. Луначарский. Трое, открыв рты, посмотрели на наркомпроса.

— Тут кто? — спросил первый серый, указывая на кровать.

— Товарищ Епишина Александра Ивановна.

— Она кто?

— Техническая работница, — сладко улыбаясь, ответил хозяин, — стиркой занимается.

— А не прислуга она у вас? — подозрительно спросил черный.

В ответ хозяин судорожно засмеялся.

— Да что вы, товарищ! Что я, буржуй какой-нибудь, чтобы прислугу держать! Тут на еду не хватает, а вы прислуга! Хи-хи!

— Тут? — лаконически спросил черный, указывая на дыру в кабинет.

— Добавочная, 13 1/2, под конторой моего учреждения, — скороговоркой ответил хозяин.

Черный немедленно шагнул в полутемный кабинет. Через секунду в кабинете с грохотом рухнул таз, и я слышал, как черный, падая, ударился головой об велосипедную цепь.

— Вот видите, товарищи, — зловеще сказал хозяин, — я предупреждал: чертова теснота.

Черный выбрался из волчьей ямы с искаженным лицом. Оба колена у него были разорваны.

— Не ушиблись ли вы? — испуганно спросил хозяин.

— А... бу... бу... ту... ту... ма... — невнятно пробурчал что-то черный.

— Тут товарищ Настурцына, — водил и показывал хозяин, — тут я, — и хозяин широко показал на Карла Маркса. Изумление нарастало на лицах трех. — А тут товарищ Щербовский, — и торжественно он махнул рукой на Л. Д. Троцкого.

Трое в ужасе глядели на портрет.

— Да он что, партийный, что ли? — спросил второй серый.

— Он не партийный, — сладко ухмыльнулся хозяин, — но он сочувствующий. Коммунист в душе. Как и я сам. Тут у нас все ответственные работники живут, товарищи.

— Ответственные, сочувствующие, — хмуро забубнил черный, потирая колено, — а шкафы зеркальные. Предметы роскоши.

— Рос-ко-ши?! — укоризненно ахнул хозяин, — что вы, товарищ?! Белье тут лежит последнее, рваное. Белье, товарищ, предмет необходимости. — Тут хозяин полез в карман за ключом и мгновенно остановился, побледнев, потому что вспомнил, что как раз вчера шесть серебряных подстаканников заложил между рванными наволочками.

— Белье, товарищи, — предмет чистоты. И наши дорогие вожди, — хозяин обеими руками указал на портреты, — все время указывают пролетариату на необходимость держать себя в чистоте. Эпидемические заболевания... тиф, чума и холера, все от того, что мы, товарищи, еще недостаточно осознали, что единственным спасением, товарищи, является содержание себя в чистоте. Наш вождь...

Тут мне совершенно явственно показалось, что судорога прошла по лицу фотографического Троцкого и губы его расклеились, как будто он что-то хотел сказать. То же самое, вероятно, почудилось и хозяину, потому что он смолк внезапно и быстро перевел речь:

— Тут, товарищи, уборная, тут ванна, но, конечно, испорченная, видите, в ней ящик с тряпками лежит, не до ванн теперь... вот кухня — холодная. Не до кухонь теперь. На примусе готовим. Александра Ивановна, вы чего здесь в кухне? Там вам письмо есть в вашей комнате. Вот, товарищи, и все! Я думаю просить себе еще дополнительную комнату, а то, знаете, каждый день себе коленки разбивать — эт-

то, знаете ли, слишком накладно. Куда это нужно обратиться, чтобы мне еще одну комнату дали в этом доме? Под контору?

— Идем, Степан, — безнадежно махнув рукой, сказал первый серый, и все трое направились, стуча сапогами, в переднюю.

Когда шаги смолкли на лестнице, хозяин рухнул на стул.

— Вот, любуйтесь, — вскричал он, — и это каждый Божий день! Честное вам даю слово, что они меня доконают.

— Ну, знаете ли, — ответил я, — это неизвестно, кто кого доконает!

— Хи-хи! — хихикнул хозяин и весело грянул: — Саша! Давай самовар!..

Такова была история портретов, и в частности Маркса. Но возвращаюсь к рассказу.

...После супа мы съели беф-Строганов, выпили по стаканчику белого «Ай-Даниля» винделправления, и Саша внесла кофе. И тут в кабинете грянул рассыпчатый телефонный звонок.

— Маргарита Михална, наверно, — приятно улыбнулся хозяин и полетел в кабинет.

— Да... да... — послышалось из кабинета, но через три мгновения из кабинета донесся вопль:

— Как?!

Глухо заквакала трубка, и опять вопль:

— Владимир Иванович! Я же просил! Все служащие! Как же так?!

— А-а! — ахнула кузина, — уж не обложили ли его?!

Загремела с размаху трубка, и хозяин появился в дверях.

— Обложили? — крикнула кузина.

— Поздравляю, — бешено ответил хозяин, — обложили вас, дорогая!

— Как?! — кузина встала вся в пятнах, — они не имеют права! Я же говорила, что в то время я служила!

— Говорила, говорила! — передразнил хозяин, — не говорить нужно было, а самой посмотреть, что этот мерзавец-домовой в списке пишет! А все ты! — повернулся он к кузену, — просил ведь, сходи, сходи! А теперь, не угодно ли: он нас всех трех пометил!

— Ду-рак ты, — ответил кузен, наливаясь кровью, — при чем здесь я? Я два раза говорил этой каналье, чтоб отме-

тил как служащих! Ты сам виноват! Он твой знакомый. Сам бы и просил!

— Сволочь он, а не знакомый! — загремел хозяин. — Называется приятель! Трус несчастный. Ему лишь бы с себя ответственность снять!

— На сколько? — крикнула кузина.

— На пять-с!

— А почему только меня? — спросила кузина.

— Не беспокойся! — саркастически ответил хозяин, — дойдет и до меня и до него. Буква, видно, не дошла. Но только если тебя на пять, то на сколько же они меня шарахнут?! Ну, вот что — рассиживаться тут нечего. Одевайтесь, поезжайте к районному инспектору — объясните, что ошибка. Я тоже поеду. Живо, живо!

Кузина полетела из комнаты.

— Что ж это такое? — горестно завопил хозяин, — ведь это ни отдыху, ни сроку не дают. Не в дверь, так по телефону! От реквизиций отбрились, теперь налог. Доколе это будет продолжаться? Что они еще придумают?!

Он взвел глаза на Карла Маркса, но тот сидел неподвижно и безмолвно. Выражение лица у него было такое, как будто он хотел сказать:

— Это меня не касается!

Край его бороды золотило апрельское солнце.

«Накануне» (литературное приложение), 6 мая 1923 г.

Переиздан в сборнике: М. Булгаков. Трактат о жилище.

М.-Л., Земля и Фабрика, 1926.

В хозяине квартиры легко угадывается, по воспоминаниям современников, Владимир Евгеньевич Коморский и его жена Зинаида Васильевна; здесь часто бывал М.А., читал свои произведения.



КИТАЙСКАЯ ИСТОРИЯ

6 картин вместо рассказа

I

РЕКА И ЧАСЫ

Это был замечательный ходя, настоящий шафранный представитель Небесной империи, лет 25, а может быть, и сорока? Черт его знает! Кажется, ему было 23 года.

Никто не знает, почему загадочный ходя пролетел, как сухой листик, несколько тысяч верст и оказался на берегу реки под изгрызенной зубчатой стеной. На ходе была тогда шапка с лохматыми ушами, короткий полушубок с распоротым швом, стеганые штаны, разодранные на заднице, и великолепные желтые ботинки. Видно было, что у ходи немножко кривые, но жилистые ноги. Денег у ходи не было ни гроша.

Лохматый, как ушастая шапка, пренеприятный ветер летал под зубчатой стеной. Одного взгляда на реку было достаточно, чтобы убедиться, что это дьявольски холодная, чужая река. Позади ходи была пустая трамвайная линия, перед ходей — ноздреватый гранит, за гранитом на откосе лодка с пробитым днищем, за лодкой эта самая проклятая река, за рекой опять гранит, а за гранитом дома, каменные дома, черт знает сколько домов. Дурацкая река зачем-то затекла в самую середину города.

Полюбовавшись на длинные красные трубы и зеленые крыши, ходя перевел взор на небо. Ну, уж небо было хуже всего. Серое-пресерое, грязное-прегрязное... и очень низко, цепляясь за орлы и луковицы, торчащие за стеной, ползли по серому небу, выпятив брюхо, жирные тучи. Ходю небо окончательно пристукнуло по лохматой шапке. Совершенно очевидно было, что если не сейчас, то немного погода все-таки пойдет из этого неба холодный, мокрый снег и, вообще, ничего хорошего, сытного и приятного под таким небом произойти не может.

— О-о-о! — что-то пробормотал ходя и еще тоскливо прибавил несколько слов на никому не понятном языке.

Ходя зажмурил глаза, и тотчас же всплыло перед ним очень жаркое круглое солнце, очень желтая пыльная дорога, в стороне, как золотая стена, — гаолян, потом два раскидистых дуба, от которых на растрескавшейся земле лежала резная тень, и глиняный порог у фанзы. И будто бы ходя — маленький, сидел на корточках, жевал очень вкусную лепешку, свободной левой рукой гладил горячую, как огонь, землю. Ему очень хотелось пить, но лень было вставать, и он ждал, пока мать выйдет из-за дуба. У матери на коромысле два ведра, а в ведрах студеная вода...

Ходю, как бритвой, резануло внутри, и он решил, что опять он поедет через огромное пространство. Ехать — как? Есть — что? Как-нибудь. Китай-са... Пусты ваг-о-о-н.

За углом зубчатой громады высоко заиграла колокольная музыка. Колокола лепетали невнятно, вперебой, но все же было очевидно, что они хотят сыграть складно и победоносно какую-то мелодию. Ходя затопал за угол и, посмотрев вдаль и вверх, убедился, что музыка происходит из круглых черных часов с золотыми стрелками на серой длинной башне. Часы поиграли, поиграли и смолкли. Ходя глубоко вздохнул, проводил взглядом тарахтящую ободранную мотоциклетку, въехавшую прямо в башню, глубже надвинул шапку и ушел в неизвестном направлении.

II

ЧЕРНЫЙ ДЫМ. ХРУСТАЛЬНЫЙ ЗАЛ

Вечером ходя оказался далеко, далеко от черных часов с музыкальным фокусом и серых бойниц. На грязной окраине в двухэтажном домике во втором проходном дворе, за которым непосредственно открывался покрытый полосами гниющего серого снега и осколками битого рыжего кирпича пустырь. В последней комнате по воңючему коридору, за дверью, обитой рваной в клочья клеенкой, в печурке красноватым зловещим пламенем горели дрова. Перед заслонкой с огненными круглыми дырочками на корточках сидел очень пожилой китаец. Ему было лет 55,

а может быть, и восемьдесят. Лицо у него было, как кора, и глаза, когда китаец открывал заслонку, казались злыми, как у демона, а когда закрывал — печальными, глубокими и холодными. Ходя сидел на засаленном лоскутном одеяле на погнувшейся складной кровати, в которой жили смелые и крупные клопы, испуганно и настороженно смотрел, как колышутся и расхаживают по закопченному потолку красные и черные тени, часто передергивал лопатками, засовывал руку за ворот, яростно чесался и слушал, что рассказывает старый китаец.

Старик надувал щеки, дул в печку и тер кулаками глаза, когда в них залезал едкий дым. В такие моменты рассказ прерывался. Затем китаец захлопывал заслонку, потухал в тени и говорил на никому, кроме ходя, не понятном языке.

Из слов старого китаезы выходило что-то чрезвычайно унылое и короткое. По-русски было бы так: Хлеб — нет. Никакой — нет. Сам — голодный. Торговать — нет и нет. Кокаин — мало есть. Опиум — нет. Последнее старый хитрый китай особенно подчеркнул. Нет опиума. Опиума — нет, нет. Горе, но опиума нет. Старые китайские глаза при этом совершенно прятались в раскосые щели, и огни из печки не могли пробить их таинственную глубину.

— Что есть? — Ходя спросил отчаянно и судорожно пошевелил плечами.

— Есть?

Было, конечно, кое-что, но все такое, от чего лучше и отказаться.

— Холодно — есть. Чека ловила — есть. Ударили ножом на пустыре за пакет с кокаином. Отнимал убийца, негодяй — Настькин сволочь.

Старый ткнул пальцем в тонкую стену. Ходя, прислушавшись, разобрал сиплый женский смех, какое-то шипение и клекотание.

— Самогон — есть.

Так пояснил старик и, откинув рукав засаленной кофты, показал на желтом предплечье, перевитом узловатыми жилами, косой, свежий трехвершковый шрам. Очевидно было, что этот след от хорошо отточенного финского ножа. При взгляде на багровый шрам глаза старого Китая затуманились, сухая шея потемнела. Глядя в стену, старик прошепел по-русски:

— Бандит — есть!

Затем наклонился, открыл заслонку, всунул в огненную пасть две щепки и, надув щеки, стал похож на китайского нечистого духа.

Через четверть часа дрова гудели ровно и мощно, и черная труба начинала краснеть. Жара заливала комнату, и ходя вылез из полушубка, слез с кровати и сидел на корточках на полу. Старый китаеза, раздобрев от тепла, поджав ноги, сидел и плел туманную речь. Ходя моргал желтыми веками, отдувался от жара и изредка скорбно и недоуменно лопотал вопросы. А старый бурчал. Ему, старому, все равно. Ленин — есть. Самый главный очень есть. Буржуи — нет, о, нет! Зато Красная армия есть. Много — есть. Музыка? Да, да. Музыка, потому что Ленин. В башне с часами — сиди, сиди. За башней? За башней — Красная армия.

— Домой ехать? Нет, о нет! Пропуск — нет. Хороший китаец смирно сиди.

— Я — хороший! Где жить?

— Жить — нет, нет и нет. Красная армия — везде жить.

— Карас-ни... — оторопев, прошептал ходя, глядя в огненные дыры.

Прошел час. Смолкло гудение, и шесть дыр в заслонке глядели, как шесть красных глаз. Ходя, в зыбких тенях и красноватом отблеске сморщившийся и постаревший, валялся на полу и, простирая руки к старику, умолял его о чем-то.

Прошел час, еще час. Шесть дыр в заслонке ослепли, и в прикрытую оконную форточку тянул сладкий черный дым. Щель над дверью была наглухо забита тряпками, а дырка от ключа залеплена грязным воском. Спиртовка тощим синеватым пламеньком колыхалась на полу, а ходя лежал рядом с нею на полушубке на боку. В руках у него была полуаршинная желтая трубка с распластанным на ней драконом-ящерицей. В медном, похожем на золотой, наконечнике багровой точкой таял черный шарик. По другую сторону спиртовки на рваном одеяле лежал старый китайский хрыч, с такой же желтой трубкой. И вокруг него, как вокруг ходи, таял и плыл черный дым и тянулся к форточке.

Под утро на полу, рядом с угасающим язычком пламени смутно виднелись два оскала зубов — желтый с чернью и белый. Где был старик — никому не известно. Ходя же жил в хрустальном зале под огромными часами, которые звенели каждую минуту, лишь только золотые стрелки обегали круг. Звон пробуждал смех в хрустале, и выходил очень радостный Ленин в желтой кофте, с огромной блестящей и тугой косой, в шапочке с пуговкой на темени. Он схватывал за хвост стрелу-маятник и гнал ее вправо — тогда часы звенели налево, а когда гнал влево — колокола звенели направо. Погромев в колокола, Ленин водил ходю на балкон — показывать Красную армию. Жить — в хрустальном зале. Тепло — есть. Настька — есть. Настька, красавица неописанная, шла по хрустальному зеркалу, и ножки в башмачках у нее были такие маленькие, что их можно было спрятать в ноздрю. А Настькин сволочь, убийца, бандит с финским ножом, сунулся было в зал, но ходя встал, страшный и храбрый, как великан, и, взмахнув широким мечом, отрубил ему голову. И голова скатилась с балкона, а ходя обезглавленный труп схватил за шиворот и сбросил вслед за головой. И всему миру стало легко и радостно, что такой негодяй больше не будет ходить с ножом. Ленин в награду сыграл для ходи громоносную мелодию на колоколах и повесил ему на грудь бриллиантовую звезду. Колокола опять пошли звенеть и звонили, наконец, на хрустальном полу поросль золотого гаоляна, над головой круглое, жаркое солнце и резную тень у дуба... И мать шла, а в ведрах на коромыслах у нее была студеная вода.

III

СНОВ НЕТ — ЕСТЬ ДЕЙТЕЛЬНОСТЬ

Неизвестно, что было в двухэтажном домике в следующие четыре дня. Известно, что на пятый день, постаревший лет на пять, ходя вышел на грязную улицу, но уже не в полубубке, а в мешке с черным клеймом на спине «цейх № 4712» и не в желтых шикарных ботинках, а в рыжих опорках, из которых выглядывали его красные большие пальцы с перламутровыми ногтями. На углу под кривым фонарем ходя по-

смотрел сосредоточенно на серое небо, решительно махнул рукой, пропел, как скрипка, сам себе:

— Карас-ни...

И зашагал в неизвестном направлении.

IV

КИТАЙСКИЙ КАМРАД

И оказался ходя через два дня после этого в гигантском зале с полукруглыми сводами на деревянных нарах. Ходя сидел, свесив ноги в опорках, как бы в белье, а в партере громоздились безусые и усатые головы в шишаках с огромными красными звездами. Ходя долго смотрел на лица под звездами и, наконец, почувствовав, что необходимо как-нибудь отозваться на внимание, первоначально изобразил на своем лице лучшую из своих шафранных улыбок, а затем певуче и тонко сказал все, что узнал за страшный пробег от круглого солнца в столицу колокольных часов:

— Хлеб... пусти вагон... карасни... китай-са... — и еще три слова, сочетание которых давало изумительную комбинацию, обладавшую чудодейственным эффектом. По опыту ходя знал, что комбинация могла отворить дверь теплушки, но она же могла и навлечь тяжкие побои кулаком по китайской стриженной голове. Женщины бежали от нее, а мужчины поступали очень различно: то давали хлеба, то, наоборот, порывались бить. В данном случае произошли радостные последствия. Громовой вал смеха ударил в сводчатом зале и взмыл до самого потолка. Ходя ответил на первый раскат улыбкой № 2 с несколько заговорщическим оттенком и повторением трех слов. После этого он думал, что он оглохнет. Пронзительный голос прорезал грохот:

— Ваня! Вали сюда! Вольноопределяющийся китаец по матери знаменито кроет!

Возле ходи бушевало, потом стихло, потом ходе сразу дали махорки, хлеба и мутного чаю в жестяной кружке. Ходя во мгновение ока с остервенением съел три ломтя, хрустящих на зубах, выпил чай и жадно закурил вертушку. Затем ходя предстал перед неким человеком в зеленой гимнастерке. Человек, сидящий под лампой с разбитым кол-

паком возле пишущей машины, на ходу взглянул благо-склонно, голове, просунувшейся в дверь, сказал:

— Товарищи, ничего любопытного. Обыкновенный китаец...

И немедленно, после того, как голова исчезла, вынул из ящика лист бумаги, взял в руку перо и спросил:

— Имя? Отчество и фамилия?

Ходя ответил улыбкой, но от каких бы то ни было слов удержался.

На лице у некоего человека появилась растерянность.

— К-хэм... ты что, товарищ, не понимаешь? По-русски? А? Как звать? — Он пальцем ткнул легонько по направлению ходи. — Имя? Из Китая?

— Китаи-са... — пропел ходя.

— Ну, ну! Китаец, это я понимаю. А вот звать как тебя, камрад? А?

Ходя замкнулся в лучезарной и сытой улыбке. Хлеб с чаем переваривался в желудке, давая ощущение приятной истомы.

— Ак-казия, — пробормотал некий, озлобленно почесав левую бровь.

Потом он подумал, поглядел на ходя, лист спрятал в ящик и сказал облегченно:

— Военком придет сейчас. Ужо тогда.

V

ВИРТУОЗ! ВИРТУОЗ!

Прошло месяца два. И когда небо из серого превратилось в голубое, с кремовыми пузатыми облаками, все уже знали, что как Франц Лист был рожден, чтобы играть на рояле свои чудовищные рапсодии, ходя Сен-Зин-По явился в мир, чтобы стрелять из пулемета. Первоначально поползли неясные слухи, затем они вздулись в легенды, окружившие голову Сен-Зин-По. Началось с коровы, перерезанной пополам. Кончилось тем, что в полках говорили, как ходя головы отрезает на 2 тысячи шагов. Головы не головы, но действительно было исключительно 100% попадания. Рождалась мысль о непрочности и условности 100! Может быть, 105? В агатовых косых глазах от рождения сидела чу-

десная прицельная панорама, иначе ничем нельзя было бы объяснить такую стрельбу.

На стрельбище приезжал на огромной машине важный, в серой шинели, пушистоусый, с любопытством смотрел в бинокль. Ходя, впившись прищуренными глазами вдаль, давил ручки гремевшего «максима» и резал рошу, как баба жнет хлеб.

— Действительно, черт знает что такое! В первый раз вижу, — говорил пушистоусый, после того как стих раскаленный «максим». И, обратившись к ходе, добавил со смеющимися глазами: — Виртуоз!

— Вирту-зи... — ответил ходя и стал похож на китайского ангела.

Через неделю командир полка говорил басом командиру пулеметной команды:

— Сукин сын какой-то! — и, восхищенно пожимая плечами, прибавил, поворачиваясь к Сен-Зин-По: — Ему премиальные надо платить!

— Пре-ми-али... палаты, палаты, — ответил ходя, испуская желтоватое сияние.

Командир громыхнул как в бочку, пулеметчики ответили ему раскатами. В этот же вечер в канцелярии под разбитым тюльпаном некий в гимнастерке доложил, что получена бумага — ходю откомандировать в интернациональный полк. Командир залился кровью и стукнул в нижнее «до».

— А фи не хо? — и при этом показал колоссальных размеров волосатую фигу. Некий немедленно сел сочинять начерно бумагу, начинающуюся словами: как есть пулеметчик Сен-Зин-По Железного полка гордость и виртуоз...

VI

БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ДЕБЮТ

Месяц прошел, на небе не было ни одного маленького облачка, и жаркое солнце сидело над самой головой. Синие перелески в двух верстах гремели, как гроза, а сзади и налево отходил Железный полк, уйдя в землю, перекатывался дроб-

но и сухо. Ходя, заваленный грудой лент, торчал на пологом склоне над востроносим пулеметом. Ходино лицо выражало некоторую задумчивость. Временами он обращал свой взор к небу, потом всматривался в перелески, иногда поворачивал голову в сторону и видел тогда знакомого пулеметчика. Голова его, а под ней лохматый красный бант на груди выглядывали из-за кустиков шагах в сорока. Покосившись на пулеметчика, ходя вновь глядел, прищурившись, на солнышко, которое пекло ему фуражку, вытирал пот и ожидал, какой оборот примут все эти клокочущие события.

Они развернулись так. Под синими лесочками вдали появились черные цепочки и, то принимаясь до самой земли, то вырастая, ширясь и густея, стали приближаться к пологому холму. Железный полк сзади и налево ходи загремел яростней и гуще. Пронзительный голос взвился за ходей над холмом:

— А-гонь!

И тотчас пулеметчик с бантом загрохотал из кустов. Отозвалось где-то слева, и перед вырастающей цепочкой из земли стал подыматься пыльный туман. Ходя сел плотнее, наложил свои желтые виртуозные руки на ручки пулемета, несколько мгновений молчал, чуть поводя ствол из стороны в сторону, потом прогремел коротко и призывно, стал... прогремел опять и вдруг, залившись оглушающим треском, заиграл свою страшную рапсодию. В несколько секунд раскаленные пули заплевали цепь от края до края. Она припала, встала, стала прерываться и разламываться. Восхищенный охрипший голос взмыл сзади:

— Ходя! Строчи! Огонь! А-гонь!

Сквозь марево и пыль ходя непрерывным ливнем посылали пули во вторую цепь. И тут справа, вдали из земли выросли темные полосы, и столбы пыли встали над ними. Ток тревоги незримо пробежал по скату холма. Голос, осипши, срываясь, прокричал:

— По наступающей ка-ва-лерии...

Гул закачал землю до самого ходи, и темные полосы стали приближаться с чудовищной быстротой. В тот момент как ходя поворачивал пулемет вправо, воздух над ним рассадило бледным огнем, что-то бросило ходю грудью прямо на ручки, и ходя перестал что-либо видеть.

Когда он снова воспринял солнце и снова перед ним из тумана выплыл пулемет и смятая трава, все кругом сломалось и полетело куда-то. Полк сзади раздробленно вспыхивал треском и погасал. Еле дыша от жгучей боли в груди, ходя, повернувшись, увидел сзади летящую в туче массу всадников, которые обрушились туда, где гремел Железный полк. Пулеметчик справа исчез. А к холму, огибая его полулунием, бежали цепями люди в зеленом, и их наплечья поблескивали золотыми пятнами. С каждым мигом их становилось все больше, и ходя начал уже различать медные лица. Проскрипев от боли, ходя растерянно глянул, схватился за ручки, повел ствол и загремел. Лица и золотые пятна стали проваливаться в траву перед ходей. Справа зато они выросли и неслись к ходе. Рядом появился командир пулеметного взвода. Ходя смутно и мгновенно видел, что кровь течет у него по левому рукаву. Командир ничего не прокричал ходе. Вытянувшись во весь рост, он протянул правую руку и сухо выстрелил в набегавших. Затем на глазах пораженного ходи сунул дуло маузера себе в рот и выстрелил. Ходя смолк на мгновенье. Потом прогремел опять.

Держа винтовку на изготовку, задыхаясь в беге, опережая цепь, рвался справа к Сен-Зин-По меднолицый юнкер.

— Бро-сай пулемет... чертова китаеза!! — хрипел он, и пена пузырями вскакивала у него на губах, — сдавайся...

— Сдавайся!!! — выло и справа и слева, и золотые пятна и острые жала запрыгали под самым скатом. А-р-ра-пах! — последний раз проиграл пулемет и разом стих. Ходя встал, усилием воли задавил в себе боль в груди и ту зловещую тревогу, что вдруг стеснила сердце. В последние мгновенья чудесным образом перед ним под жарким солнцем успела мелькнуть потрескавшаяся земля и резная тень и поросль золотого гаоляна. Ехать, ехать домой. Глуша боль, он вызвал на раскосом лице лучезарный венчик и, теперь уже ясно чувствуя, что надежда умирает, все-таки сказал, обращаясь к небу.

— Премияли... карасни виртузи... палати! палати!

И гигантский медно-красный юнкер ударил его, тяжело размахнувшись штыком, в горло, так что перебил ему позвоночный столб. Черные часы с золотыми стрелками успели прозвенеть мелодию грохочущими медными колоколами, и

вокруг ходи засверкал хрустальный зал. Никакая боль не может проникнуть в него. И ходя, безбольный и спокойный, с примерзшей к лицу улыбкой, не слышал, как юнкера кололи его штыками.

«Иллюстрации «Петроградской правды», 1923, № 7 (иллюстрированное приложение к газете «Петроградская правда»).

Публикуется по книге: М.Булгаков. Дьяволиада, издательство «Недра», Мосполиграф, 1925.



БЕНЕФИС ЛОРДА КЕРЗОНА

От нашего московского корреспондента

Ровно в шесть утра поезд вбежал под купол Брянского вокзала. Москва. Опять дома. После карикатурной провинции без газет, без книг, с дикими слухами — Москва, город громадный, город единственный, государство, в нем только и можно жить.

Вот они, извозчики. На Садовую запросили 80 миллионов. Сторговался за полтинник. Поехали. Москва. Москва. Из парков уже идут трамваи. Люди уже куда-то спешат. Что-то здесь за месяц новенького? Извозчик повернулся, сел боком, повел туманные, двоедушные речи. С одной стороны, правительство ему нравится, но с другой — шины полтора миллиарда! Первое мая ему нравится, но антирелигиозная пропаганда «не соответствует». А чему, неизвестно. На физиономии написано, что есть какая-то новость, но узнать ее невозможно.

Пошел весенний, благодатный дождь, я спрятался под кузов, и извозчик, помахивая кнутом, все рассказывал разные разности, причем триллионы называл «триллиардами» и плел какую-то околесицу насчет патриарха Тихона, из которой можно было видеть только одно, что он — извозчик — путает Цепляка, Тихона и епископа Кентерберийского.

И вот дома. А никуда я больше из Москвы не поеду. В десять простыня «Известий», месяц в руках не держал. На первой же полосе — «Убийство Воровского!».

Вот оно что. То-то у извозчика — физиономия. В Москве уже знали вчера. Спать не придется днем. Надо идти на улицу, смотреть, что будет. Тут не только Воровский. Керзон. Керзон. Керзон. Ультиматум. Канонерка. Тральщики. К протесту, товарищи!! Вот так события! Встретила Москва. То-то показалось, что в воздухе какое-то электричество!

И все-таки сон сморил. Спал до двух дня. А в два проснулся и стал прислушиваться. Ну да, конечно, со стороны Тверской — оркестр. Вот еще. Другой. Идут, очевидно.

В два часа дня Тверскую уже нельзя было пересечь. Непрерывным потоком, сколько хватал глаз, катилась медленно людская лента, а над ней шел лес плакатов и знамен. Масса старых знакомых, октябрьских и майских, но среди них мельком новые, с изумительной быстротой изготовленные, с надписями, весьма многозначительными. Проплыл черный траурный плакат «Убийство Воровского — смертный час европейской буржуазии». Потом красный «Не шутите с огнем, господин Керзон». «Порох держим сухим».

Поток густел, густел, стало трудно пробираться вперед по краю тротуара. Магазины закрылись, задержали решетками двери. С балконов, с подоконников глядели сотни голов. Хотел уйти в переулок, чтобы окольным путем выйти на Страстную площадь, но в Мамонтовском безнадежно застряли ломовики, две машины и извозчики. Решил катиться по течению. Над толпой поплыл грузовик-колесница. Лорд Керзон в цилиндре, с раскрашенным багровым лицом, в помпезном фраке, ехал стоя. В руках он держал веревочные цепи, накинутые на шею восточным людям в пестрых халатах, и погонял их бичом. В толпе сверлил пронзительный свист. Комсомольцы пели хором:

Пиши, Керзон, но знай ответ:
Бумага стерпит, а мы нет!

На Страстной площади навстречу покатился второй поток. Шли красноармейцы рядами без оружия. Комсомольцы кричали им по складам:

Да здрав-ству-ет Крас-на-я ар-ми-я!!

Милиционер ухитрился на несколько секунд прорвать реку и пропустил по бульвару два автомобиля и кабриолет. Потом ломовикам хрипло кричал:

— В объезд!

Лента хлынула на Тверскую и поплыла вниз. Из переулочка вынырнул знакомый спекулянт, посмотрел: знамена, многозначительно хмыкнул и сказал:

— Не нравится мне это что-то... Впрочем, у меня грыжа. Толпа его затерла за угол, и он исчез.

В Совете окна были открыты, балкон забит людьми. Трубы в потоке играли «Интернационал», Керзон, покачиваясь, ехал над головами. С балкона кричали по-английски и по-русски:

— Долой Керзона!

А напротив на балкончике под обелиском свободы Маяковский, раскрыв свой чудовищный квадратный рот, бухал над толпой надтреснутым басом:

...британ-ский лев вой!
Ле-вой! Ле-вой!

— Ле-во! Ле-вой! — отвечала ему толпа. Из Столешникова выкатывалась новая лента, загибалась к обелиску. Толпа звала Маяковского. Он вырос опять на балкончике и загремел:

— Вы слышали, товарищи, звон, да не знаете, кто такой лорд Керзон!

И стал объяснять:

— Из-под маски вежливого лорда глядит клыкастое лицо!.. Когда убивали бакинских коммунистов...

Опять загрохотали трубы у Совета. Тонкие женские голоса пели:

— Вставай, проклятьем заклейменный!

Маяковский все выбрасывал тяжелые, как булыжники, слова, у подножия памятника кипело, как в муравейнике, и чей-то голос с балкона прорезал шум:

— В отставку Керзона!

В Охотном во всю ширину шли бесконечные ряды, и видно было, что Театральная площадь залита народом сплошь. У Иверской трепетно и тревожно колыхались огоньки на свечках и припадали к иконе с тяжкими вздохами четыре старушки, а мимо Иверской через оба пролета Вознесенских ворот бурно сыпали ряды. Медные трубы играли марши. Здесь Керзона несли на штыках, сзади бежал рабочий и бил его лопатой по голове. Голова в скомканном цилиндре моталась беспомощно в разные стороны. За Керзоном из пролета выехал джентльмен с доской на груди: «Нота», затем гигантский картонный кукиш с надписью: «А вот наш ответ».

По Никольской удалось проскочить, но в Третьяковском опять хлынул навстречу поток. Тут Керзон мотался на веревке на шесте. Его били головой о мостовую. По Театральному проезду в людских волнах катились виселицы с деревянными скелетами и надписями: «Вот плоды политики Керзона». Лакированные машины застряли у поворота на Неглинный в гуще народа, а на Театральной площади было сплошное море. Ничего подобного в Москве я не видел даже в октябрьские дни. Несколько минут пришлось нырять в рядах и закипающих водоворотах, пока удалось пересечь ленту юных пионеров с флажками, затем серую стену красноармейцев и выбраться на забитый тротуар у Центральнх бань. На Неглинной было свободно. Трамваи всех номеров, спутав маршруты, поспешно уходили по Неглинному. До Кузнецкого было свободно, но на Кузнецком опять засверкали красные пятна и посыпались ряды. Рахмановским переулком на Петровку, оттуда на бульварное кольцо, по которому один за другим шли трамваи. У Страстного снова толпы. Выхала колесница-клетка. В клетке сидели Пилсудский, Керзон, Муссолини. Мальчуган на грузовике трубил в огромную картонную трубу. Публика с тротуаров задирала головы. Над Москвой медленно плыл на восток желтый воздушный шар. На нем была отчетливо видна часть знакомой надписи: «...всех стран, соеди...»

Из корзины пилоты выбрасывали листы летучек, и они, ныряя и чернея на голубом фоне, тихо падали в Москву.

«Накануне», 19 мая 1923 г.

Керзон Джордж Натаннел (1859—1925) — министр иностранных дел Великобритании в 1919—1924 гг.

В дневнике за 24 мая 1923 года Булгаков записывал: «12 мая вернулся в Москву. И вот тут начались большие события: советского представителя Вацлава Вацлавовича Воровского убил Конради... 12-го мая в Москве была грандиозно инсценированная демонстрация. Убийство Воровского совпало с ультиматумом Керзона России: взять обратно дерзкие ноты Вайнштейна, отправленные через английского торгового представителя в Москве».

«Театр», 1990, № 2, с. 145.

ПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ

СКОРЫЙ № 7: МОСКВА — ОДЕССА

Отъезд

Новый Брянский вокзал грандиозен и чист. Человеку, не ездившему никуда в течение двух лет, все в нем кажется сверхъестественным. Уйма свободного места, блестящие полы, носильщики, кассы, возле которых нет остервеневших, измученных людей, рвущихся куда-то со стоном и руганью. Нет проклятой, липкой и тяжелой ругани, серых страшных мешков, раздавленных ребят, нет шмыгающих таинственных людей, живших похищением чемоданов и узлов в адской сумятице. Словом, совершенно какой-то неописуемый вокзал. Карманников мало, и одеты они все по-европейски. Носильщики, правда, еще хранят загадочный вид, но уже с некоторым оттенком меланхолии. Ведь билет теперь можно купить за день в Метрополе (очередь 5—6 человек!), а можно и по телефону его заказать. И вам его на дом пришлют.

Единственный раз защемило сердце, это когда у дверей, ведущих на перрон, я заметил штук тридцать женщин и мужчин с чайниками, сидевших на чемоданах. Чемоданы, чайники и ребята загибались хвостом в общий зал. Увидев этот хвост, увидев, с каким напряжением и хмурой сосредоточенностью люди на чемоданах глядят на двери и друг на друга, я застыл и побледнел.

Боже мой! Неужели же вся эта чистота, простор и спокойствие — обман?! Боже мой! Распахнутся двери, взвоят дети, посыпятся стекла, «свистнут» бумажник... Кошмар! Посадка! Кошмар!

Проходивший мимо некто в железнодорожной фуражке успокоил меня:

— Не сомневайтесь, гражданин. Это они по глупости. Ничего не будет. Места нумерованы. Идите гулять, а за пять минут придете и сядете в вагон.

Сердце мое тотчас наполнилось радостью, и я ушел осматривать вокзал.

Минута в минуту — 10 ч. 20 м. — мимо состава мелькнула красная фуражка, впереди хрипло свистнул паровоз, исчез застекленный гигантский купол, и мимо окон побежали трубы, вагоны, поздний апрельский снег.

В пути

Это черт знает что такое! Хуже вокзала. Купе на два места. На диванах явно новые чехлы, на окнах занавески. Проводник пришел, отобрал билет и плацкарту и выдал квитанцию. В дверь постучали. Вежливости неописуемой человек в кожаной тужурке спросил:

— Завтракать будете?

— О, да! Я буду завтракать!

А вот гармоник предохранительных между вагонами нет. Из вагона в вагон, через мотающиеся в беге площадки, в предпоследний вагон — ресторан. Огромные стекла, пол сплошь закрыт ковром, белые скатерти. Паровое отопление работает, и при входе сразу охватывает истома.

Стелется синеватый, слоистый дым над столами, а мимо в широких стеклах бегут перелески, поля с белыми пятнами снега, обнаженные ветви, рощи, опять поля.

И опять домой, к себе в вагон через «жесткие», бывшие третьеклассные вагоны. В купе та же истома, от трубы под окном веет теплом — проводник затопил.

Вечером после второго путешествия в ресторан и возвращения начинает темнеть. Как будто меньше снегу на полях. Как будто здесь уже теплее. В лампах в купе накаливаются нити, звучат голоса в коридоре. Слышны слова «банкнот», «безбожник». Мелькают пестрые листы журналов, и часто проходит проводник с метелкой, выбрасывает окурки. В ресторан уходят джентльмены в изящных пальто, в остроносых башмаках, в перчатках. Станции пробегают в сумерках. Поезд стоит недолго, несколько минут. И опять и опять мотает вагоны, сильнее идет тепло от труб.

Ночью стихает мягкий вагон, в купе раздеваются, не слышно сонного бормотания о банкноте, валюте, калькуляции, и в тепле и сне уходят сотни верст, Брянск, Конотоп, Бахмач.

Утром становится ясно: снегу здесь нет и здесь тепло.

В Нежине, вынырнув из-под колес вагона, с таинственным и взбудораженным лицом выскакивает мальчишка. Под мышками у него два бочонка с солеными огурцами.

— Пятнадцать лимонов! — пищит мальчишка.

— Давай их сюда! — радостно кричат пассажиры, размахивая деньгами. Но с мальчишкой делается что-то страшное. Лицо его искажается, он проваливается сквозь землю.

— Сумасшедший! — недоумевают москвичи. Вслед за мальчишкой выскакивает баба и тоже в корчах исчезает.

Загадка объясняется тотчас же. Мимо вагонов идет непреклонный страх в кавалерийской шинели до пят и раздраженно бормочет:

— Вот чертовы бабы!

Потом обращается к пассажирам:

— Граждане! Не нарушайте правил. Не покупайте у вагона. Вон — лавка!

Пассажиры устремляются в погоню за нежинскими огурцами и покупают их без нарушения правил и с нарушением таковых.

Около часу дня, с опозданием часа на два, показывается из-за дарницких лесов Днепр, поезд входит на заштопанный после взрывов железнодорожный мост, тянется высоко над мутными волнами, и на том берегу разворачивается в зелени на горах самый красивый город в России — Киев.

Под обрывами разбегаются заржавевшие пути. Начинают тянуться бесконечные и побитые в трепке войны составы классные и товарные. Мелькает смутная стертая надпись на паровозе «Пролетар»...

Пробегают здание, и на нем надпись — Київ II.

«Накануне», 25 мая 1923 г.



КАЭНПЕ И КАПЕ

Большая комната. За столом расположилась комиссия и секретарь с кипой заявлений. В коридоре за дверью ожидает очереди толпа школьных работников. Вызывают первую фамилию. Дверь открывается, показав на мгновение несколько взволнованных лиц, и входит учительница. Она работала эти годы в провинции, теперь приехала в Москву. Одета бедно и по-провинциальному — на ногах сапоги мужского фасона. Еще у двери тяжело вздыхает.

— Садитесь, пожалуйста.

— Мер...си, — говорит учительница прерывающимся голосом и садится на кончик стула. Просматривают ее заявление и анкету.

— Чем же вы занимались там с детьми?

— Экскурсии... — говорит тихо испытуемая.

— Ну расскажите же, что вы делали на экскурсиях?

Пауза. Учительница шевелит пальцами, потом говорит, то бледнея, то краснея:

— Ну... цветок разбирали...

— Как разбирали, расскажите.

Пауза.

— Ну, разбирали... Зачем? С какой целью?

Учительница после тяжелого вздоха:

— Кра-со-та...

— Какая красота?

— Цветок... красивый... рассказывала детям, какой цветок красивый...

— Вы полагаете, что дети получают представление о красоте цветка из ваших рассказов?

Молчание и предсмертная тоска в глазах кандидатки. На верхней губе мелким бисером выступает пот.

— Что читали по экскурсионному делу?

Молчание.

— Достаточно, — со вздохом говорит председатель.

Кандидатка, шумно и глубоко вздохнув, уходит.

— Казнпе, — говорит председатель, — плохо. (КНП означает «кандидатура неприемлема».)

Следующая желает поступить в детский дом.

— Какие цели ставит себе детский дом?

— Я бы постаралась развить детей, занялась бы с ними...

— Погодите. Какие цели ставит себе детский дом?

— Я бы старалась...

— Цели какие ставит себе детский дом?

— Я бы...

— Ну, хорошо. Что бы вы делали с детьми?

— Я бы... э... познакомила их с новыми современными течениями... я бы...

— Говорите попросту, по совести. Какие там современные течения... Что бы вы делали с детьми? Просто. Может быть, это в тысячу раз лучше было бы, чем все эти ухищрения и течения.

— Праздники бы устраивала... я бы...

— Гм... Какое значение праздникам придаете вы в жизни детей?

— Они рвутся... поездки... 1 Май...

— Какое значение придаете праздникам?

— Я бы...

— Достаточно.

Немка. Говорит с акцентом.

— К русскому языку прибегаете на уроках?

— Я стараюсь... избегать... ухо ребенка привыкает...

— Расскажите по-немецки, как занимаетесь?

— Ja... das ist sehr schön, — и немка бойко рассказывает о своей методе.

— Достаточно.

Немка вежливо говорит и прощается:

— Danke schön. Auf Wiedersehen!

Капе. Хорошо. (КП — кандидатура приемлема.)

Пожилая учительница из Самары. Со стажем.

— Какой состав учеников был там у вас в школе?

— Русские, немцы и... хохлы.

— Помилуйте, — укоризненно говорит председатель, — зачем же так называть? Неприятно же будет, если нас станут называть — кацапы! Украинцы, а не хохлы.

— Какие же украинцы... — равнодушно протестует учительница, — украинцы больше на Украине. А наши заволжские... так... хохлы. Они и говорят-то неправильно...

— Гм... тэк-с. Русскому языку учили? Какими книгами пользовались?

— Да какие там у нас книги. В начале революции солдаты стояли, все книги выкурили.

— Гм... что ж вы делали?

— Экскурсии.

— По плану экскурсии?

— О, да.

— Куда же водили детей?

— На костомольный завод. На раскопки.

Еще несколько вопросов. Отвечает складно. Дело, по-видимому, смыслит. Кой-что читала. Достаточно.

Идут следующие. Кого тут только нет. Вон на клубную работу желает — специальность — ритмика, пластика, пение. Учительница немецкого языка. Учитель. Кандидатка на должность руководительницы в психоневрологической клинике. Воспитатель в интернате.

Вот одна в платке, в черном пальто. Желает руководить детским домом.

— Какую литературу читали?

— «Воспитательное чтение» Балталона, «Трудовую школу» Синицкого.

— А еще?

Молчание.

— Ваш взгляд на работу руководительницы детского дома?

— Я сочувствую новому течению.

— В чем?

Молчание.

— Что будете делать с детьми?

— Праздники... 1-е мая...

— Какое же объяснение дадите детям 1-го мая?

— Кому? детям?

— Ну, да. Детям.

Молчание.

— Что празднуется 8-го марта?

Молчание.

— О Международном дне работницы слышали?

Молчание.

— Газеты читаете когда-нибудь?

— Кхм... нет... газеты мало приходится.

— Достаточно. Каэнпе.

Следующая. Тоже стремится в детский дом.

— Что будете делать с детьми?

— Праздники... 1-е мая.

— Гм... ну, а кроме праздников. Например, вот если придется по религиозному вопросу с детьми гово...

— Я против всякой религии! — бодро отвечает кандидатка.

— Гм... ну, это хорошо. А вот с детьми если придет...

— Религия — дурман для народа! — уверенно отвечает учительница.

— Ну да. Но если с детьми придется...

— Да, церковь отделена от государства!

— Ну да. Но если придется с детьми говорить по вопросу о религии. Вот, например, слышат дети колокольный звон. Заинтересуются. Какое собеседование с ними устроите?

Молчание.

— О комплексном методе преподавания что скажете?

— Я что-то не слыхала о нем...

— Гм. Достаточно.

Молодой учитель из захолустья — из города Сурожа. Приехал сюда учиться в медико-педагогическом институте. Средств нет. Хочет поступить преподавателем в школу.

— Как же вы будете совмещать институт со школой? От этого вред и институту и школе.

— Что поделаешь, — вздыхает, — многие так делают. Придется жертвовать частью лекций. Трудно приходится.

И, действительно, видно, трудно. Полушубочек старенький на нем. Замасленная рубашка.

Комиссия начинает задавать вопросы. Складно рассказывает об устройстве экскурсии.

— Почему весной хотите устраивать экскурсии?

— Весной природа возрождается. Будут наблюдать распускание цветов.

— Какой первый цветок встретите. Самый ранний?

— Сон-трава.

Еще вопросы. Отвечает продуманно. На наиболее за-
мысловатые вопросы честно говорит:

— Этого я сам не уяснил себе.

Комиссия совещается и дает ему испытательный стаж.

Вот квалифицированная. С высших женских курсов.
Оканчивает Петровскую академию. Желает во 2-ю загород-
ную школу с сельскохозяйственным уклоном. Можно. Капе.

Вот уже пожилой учитель. В руках фуражка с вылиняв-
шим бархатным околышем. Преподавал в провинции в
Моршанске в школе 2-й ступени французский язык и рус-
ский. Писал в газетах. Вот его стихотворение «Учащейся мо-
лодежи». Гимн.

— Переведите ваш гимн на французский язык.

— A la jeunesse étudiante... — начинает учитель, — ...nous
espérons...

Немного запинаясь.

— Произношение у вас неважное. А вот по русскому
языку расскажите, что делали?

— Я должен сказать... — учитель, кашлянув, продолжа-
ет, — на занятиях тяжело отражалось отсутствие топки...
Дров не было. Холодно. Но кое-что все-таки сделали.

Рассказывает, как разбирал произведение Горького, Че-
хова, по поводу темы «Об общественном служении».

Комиссия совещается, признает его достойным занять
место преподавателя русского языка.

Еще идут. Все больше неквалифицированный элемент.
Мало читали. Мало знают. Вялы, безынициативны.

Но вот одна. Хочет в детский дом. Отвечает бойко. Есть
навык, сметка. Сбивается только на одном. Комиссия спра-
шивает о том, какие стихотворения даст в первой группе
детям.

— А вот тютчевское:

Умом Россию не понять,
Аршином общим не измерить:
У ней особенная стать —
В Россию можно только верить...

— Это дали бы?

Учительница мнется...

— Это! Кхм...

— Как бы вы объяснили слова: «В Россию можно только верить»?

Вздыхает. Мнется.

— Сами как бы их истолковали?

Молчит.

— Ну как их истолковать?

— Н... не знаю, — сознается учительница.

За дверью все меньше народа. Уменьшается стопка заявлений. Проходят последние.

Молодой человек с треском проваливается — ничего не читал. Пыхтит. Молчит. Казнпе.

Молоденькая учительница из провинции. Ничего не читала. Знаний никаких. Краснеет. Кудряшки прилипают ко лбу.

Плохо. Казнпе.

— Все, — говорит секретарь. Комиссия встает и расходится. По коридорам бодро уходят те, что отвечали удачно, и несчастливцы, чующие отрицательный ответ.

Комната пустеет. Пустеет коридор.

*«Голос работника просвещения»,
1923, № 4.*



В ШКОЛЕ ГОРОДКА Ш ИНТЕРНАЦИОНАЛА

Полдень. Перемена. В гулком пустынном зале звенят голоса.

— Вол-о-о-дя!

Круглоголовый стриженный малый, топая подшитыми валенками, погнался за другим. Нагнал, схватил.

— Сто-ой!

Две девочки, степенно сторонясь, прошли в коридор. Под мышкой ранец, у другой связка истрепанных книжек. Туго заплетены косички и вздернуты носы. Прошел преподаватель, шурясь сквозь дешевенькие очки. На преподавателе студенческая тужурка, косоворотка, на ногах тоже неизбежные валенки.

— Володька! Володька!

И Володьку к стене спиной — хлоп!

Разъяренный Володька полетел за обидчиком. Засверкали Володькины пятки. Володька маленький, а ноги у Володьки как у слоненка, потому что валенки.

Сверлит в зале звон. Гулкие коридоры. Полдень. Перемена.

В музее тишина и глухо доносится в светлую комнату Володькин победный вопль.

В музее тишина и стены глядят бесчисленными цветными рисунками. И-с-т-о-р-и-я р-е-в-о-л-ю-ц-и-и. Печатными крупными буквами. Ниже рядами ученические рисунки. 9 января 1905 года. Толпой идут рабочие. Вон — цветные баррикады. Забастовка.

Пестреют стены. Заголовки — «Родной язык». Под заголовком на картинке рыжая лисица. Хвост пушистый, а на морде написана хитрость и умиление. Это та самая лисица, что глядела на сыр во рту глупой вороны. Ниже по улицам

слонов водили. И слон серо-фиолетового цвета, одинокий, добродушный, идет мимо булочной с деловым видом, а испуганные прохожие разбегаются. Один зевака тащится за тонким слонячьим хвостом.

Известно, что слоны в диковинку у нас. В школе широко принят иллюстрированный метод. Слушают ребяташки 1-й ступени крыловские басни и рисуют, рисуют, и стены покрываются цветными пятнами, и вырастает живой настоящий музей. Разложены альбомы, полные детских рисунков, иллюстрирующих классное чтение.

Крепостное право. Рисунки, снимки с картин. На противоположной стене — коллекция по естествознанию. Засушенные растения. Эта коллекция — результат экскурсий учеников за Москву.

А вот экскурсии по Москве. Старорусские яркие кафтаны. Цветные мазки. Это ребяташки зарисовывали в Кремле.

По обществоведению читали им курс, и старшие группы дали ряд диаграмм.

Музей полон живым духом. В рисунках — от этих стройных диаграмм до кривых и ярких фигурок людей в праздничных одеждах с изюминками-глазами — настоящая жизнь. Все это запоминается, останется навсегда. Это не мертвая схоластическая сушь учебы, это настоящее учение.

В зале и коридорах стихло после перемены, и в маленьком классе за черными столами двадцать стриженных и с косичками голов.

— Wiewiel Bilder sind hier?

— Hier sind drei Bilder. Bilder.

Малый шмыгнул носом и опять начал:

— Хир зинд дрей.

— Драй, — поправила учительница, и малыш со вздохом согласился:

— Зинд драй...

И посмотрел так, чтобы увидеть одновременно и покрытую кляксами страницу и того, кто вошел.

Здесь одна из младших групп занимается по-немецки.

А в физическом кабинете за столами, уставленными приборами, те, что постарше, заняты практическими работами по физике. Стучит метроном, в колбе закипает жидкость,

сыплется дробь на весы, и пытливые детские глаза следят за шкалой термометра.

В классе самой старшей группы 2-й ступени за старенькими партами подростки решают задачу по физике о грузе, погруженном в воду. Преподаватель, пошлепывая валенками, переходит от парты к парте, наклоняется к тетрадкам, к обкусанным карандашам, близоруко шурится...

Потом звонок. Опять перемена. Опять вместо тишины высоко взмывающий гул.

Из класса, где шел урок одной из старших групп, выходит преподаватель-математик. Студенческая тужурка. Потертые брюки упрятаны в те же неизбежные валенки.

— Холодно у вас.

— Нет, тепло, — отвечает он, радостно улыбаясь.

— То есть как? Я в шубе, а тем не менее...

— А бывает гораздо холоднее, — поясняет математик.

И действительно, видно, что и ребятишки и учителя не избалованы теплом. Все они почти в пальто. Но есть и стойкие, привычные люди. И этот человек с лицом типичного студента бодро часами сидит в школе в одной тужурке, постукивает мелом и рисует на доске груз в 5 килограммов или термометр, на котором полных пятнадцать градусов. Настоящий термометр, однако, показывает меньше. И даже гораздо меньше, судя по тому, что все время является желание засунуть руки в рукава.

Да, в школе холодно. Школа бедна. Шеф ее — Коминтерн — дал ей немного угля, но вот уголь вышел, и школа выкраивает из своих скудных средств гроши на дрова. И покупает их на частном складе.

Школа бедна. Не только топливом. На всем лежит печать скудости. Кабинет физический беден. Приборов так мало, что сколько-нибудь сложных показательных опытов поставить нельзя. Беден естественный кабинет. Доски, парты в классах — все это старенькое, измызганное, потерянное, все это давно нужно на слом.

Живой дух в школе, но при 10 градусах и самый живой начинает ежиться.

Смотришь на преподавательниц, которые суетятся среди малышей. Смотришь на эти выцветшие вязаные кофточки, на штопанные юбки, подшитые валенки и думаешь:

— Чем живет вся эта учительская братия?

Этот математик — секретарь совета получает 150 миллионов в месяц.

— Одеваться не на что, — говорит математик и снисходительно смотрит на свою засаленную университетскую оболочку, — ну, донашиваем старое.

— Можно, конечно, прирабатывать частными уроками, — рассказывает учитель, — но на них не хватает времени. Школа берет его слишком много. Днем занятия, а вечером заседания, комиссия, совещания, разработка учебного плана... Мало ли что...

Что может быть в результате такой жизни?

Бегство бывает. Каждую весну, не выдержавшие, пачками покидают шатающиеся стулья в классах, идут куда глаза глядят. На конторскую службу. Или стараются попасть в Моно.

При слове «Моно» глаза учителя загораются.

— О, Моно!.. — он сияет, — у Моно ставки в три раза больше...

— $150 \times 3 = 450$, — мысленно перемножаю я.

— Там замечательно... — ликует математик, — школы Моссовета бога-а-тые... А наши... — он машет рукой, — наши...

— Какие ваши?

— Да, вот — Главсоцвосовские. Все бедные. Трудно. Трудно. Потому и бегут каждую весну. А бегство — школе тяжкая рана. Приходят новые, но преемственность работы теряется, а это очень плохо...

Опять кончается перемена. Стихает в коридорах. За партами рядами вырастают стриженные головки. Пора уходить.

О положении учителей писали много раз. И сам я читал и пропускал мимо ушей. Но глянцевитые вытертые локти и стоптанные валенки глядят слишком выразительно. Надо

принимать меры к тому, чтобы обеспечить хоть самым необходимым учительские кадры, а то они растают, их съест туберкулез, и некому будет в классах школы городка III-го Интернационала наполнять знанием стриженные головенки советских ребят.

М.Б.



1-Я ДЕТСКАЯ КОММУНА

Одна из руководительниц в пальто и калошах стояла в вестибюле и говорила:

— Заведующий поехал на заседание, а Сергей Федорович пошел по воинской повинности, и мне, как назло, сейчас нужно уходить. Такая досада... Как же тут быть? Впрочем, может быть, вам Леша все покажет?..

Дискант с площадки лестницы отозвался:

— Леша чинит замки.

— Позовите Лешу!

— Сейчас!

И вверху дискант закричал:

— Ле-еша!

Послышались откуда-то издали сверху звуки пианино, а в ответ ему птичье пересвистыванье и писк. В вестибюле висел матовый с бронзой фонарь, было тихо и очень тепло, и, если бы не плакат, на котором с одной стороны был мощный корабль, с другой паровоз, а посредине — «Знание все победит», — казалось бы, что это вовсе не в коммуне, а дома, как в детстве — в доме уютном и очень теплом.

Леша пришел через несколько минут. Леша оказался председателем президиума детской коммуны — блондином-подростком в черных штанах и защитной куртке. В руках у него были старенькие замки. За Лешей тотчас вынырнул некто круглоголовый, стриженный и румяный. Из расспросов выяснилось, что это не кто иной, как —

— Кузьмик Евстафий, 13-ти лет.

Кузьмик Евстафий был в серой куртке, коротких серых же штанах и по-домашнему совершенно босой.

Леша повел в светлый зал-студию художественного творчества. Тут руководительница ушла, облегченно вздохнув, и на прощание сказала еще раз:

— Они вам все объяснят...

Студия — как музей. На стенах, столах, на подставках нет клочка места, где бы не было детских работ. Высоко на стене надпись: «Не сознание людей определяет их бытие, но напротив — общественная жизнь определяет их сознание». Под надписью ряды рисунков, а на широких подставках, сделанных из картона, палок и ваты — снежные пространства и юрты, северные угрюмые люди в мехах и олени.

— Какая жизнь у них, такой и бог, — говорит Леша. Это верно. При такой жизни хорошего бога не сочинишь, и бог северных некультурных людей — безобразный, с дико-изумленными глазами, неумный, по-видимому, и мрачный, холодный, северный бог на стене.

Свистает, товарищ,
Работать давай.
Работы усиленной
Требует край.

Под четверостишием — завод имени Бухарина. Он электрифицирован! У картонного корпуса — лампы. К ограде идут рабочие. И сразу видно, что они сознательные, потому что у одного из них в руках газета.

Рядом макет: «Как жил рабочий раньше и теперь». В правой половине тьма, сумерки, мрачная печь, голый стол, теснота, нары, а в левой — опрятная комната с занавесками, мебель, просторно и чисто.

«Школа прежде и теперь». Прежняя школа под эмблемой: цепь, религиозная книжка, кнут; новая — под серпом и молотом. В старой школе — выпиленные из дерева горбатые ученики уткнулись носами в парты, и стоит сердитый учитель с палкой. В новой — парт нет. Там телескоп, там станки, рубанки, книги. И розоватый свет льется через огромные окна в новую просторную школу.

— А вот некоторые девочки думают, что с партами лучше, по-прежнему, — говорит Леша.

Школа, фабрика, театр — нет угла жизни, который бы не отразился в рисунках и макетах, сотворенных детскими руками в этой огромной комнате, где разбегаются глаза. Старшие ребята соорудили макеты к «Вию», младшие нагромодили маленькие примитивные и наивные макеты с декорациями к пьесам, которые они видели.

Стена полна рисунков карандашом и красками. И сверху гордо красуется надпись «Иллюстрация».

— А почему одно «л»?

— А это малыш ошибся.

Под «иллюстрацией» все что угодно. В красках: красноармеец продает цветок в день борьбы с туберкулезом. Покупают его два явных буржуа и буржуйка в мехах. Видел малыш такую сцену и нарисовал: «Охота зимой на зайца» — представлена лихим охотником и зайцем, который перевернулся кверху ногами. Другой заяц сам летит на охотника. Рисунки, рисунки... Дальше детские поделки: валенки, перчатки, сумочки, рукоделье.

— Это девочки делали.

В теплом коридоре рядом со студией свистят и перекликаются птицы. Прыгают по жердочкам чижи и воробьи.

И лишь открывается дверь в класс естествознания, рыжая белка с шорохом сбегает со стола, прыгает на Кузьмика Евстафия, цепляясь, заглядывает острой мордочкой в карман.

В светлом классе — все жизнь. Побегі вербы в бутылках с водой заполнили их серебристыми корнями. Белка живет в настоящем дупле в верхнем этаже огромной клетки. В аквариумах плывут красноватые и золотистые рыбки. Двое аксолотлей, похожих на белых маленьких крокодилов, шевелят красноватыми мохнатыми ожерельями в тазу.

— Они жили в аквариуме, да там на рыбок села болель — плесень, вот мы их перевели временно в таз, — объясняет естествовед Кузьмик Евстафий.

По стенам — гербарии, коллекции бабочек, на стойках — минералы.

В библиотеке — ковер, тишина, давно невиданный уют, богатство книг в застекленных шкафах. Две девочки сидят, читают. Лежат газеты на столах. Все звучит и звучит в отдалении пианино, и в зале со сценой — занавес, за ним на деревянных подмостках декорации.

И нигде нет взрослых, начинает казаться, что они и не нужны совсем в этой изумительной ребячьей республике-коммуне.

В спальнях ребят внизу чистота поражающая.

На спинках кроватей полотенца. На полу нет соринки.

— Кто убирает у вас?

— Сами. Вон расписание дежурств.

В вестибюле в глиняной нише, в которую скупно льется свет из стеклянной пятиконечной звезды — розового окна — электротехнический отдел. Мальчуган спускается по ступенькам к нише и начинает возиться с проводами. Вспыхивает свет в маленьком трамвае, и с гудением он начинает идти по рельсам. Трамвай, как настоящий — с дугой, с мотором.

Между двумя картонными семизэтажными стенами лифт.

Пукают в него ток, и лифт, освещенный электрической лампой, ползет вверх. Дальше телеграф. Мальчуган стучит по клавише и объясняет мне, как устроен телеграф. Электрический звонок. Электромагниты.

Все это ребята соорудили под руководством электротехника-руководителя.

Эта коммуна живет в особняке купца Шинкова на Полянке. В ней 65 ребят, мальчиков и девочек от 8 до 16 лет, большею частью сироты рабочих. В две смены, утреннюю и вечернюю, они учатся в соседних школах, а дома у себя в коммуне готовятся по различным предметам.

Управляется эта коммуна детским самоуправлением. Есть семь комиссий — хозяйственная, бельевая, библиотечная, санитарная, учетно-распределительная, инвентарная. Сверх того, была еще и «кролиководная». Образовалась она, как только коммунальные ребята поселили на чердаке кроликов. Но вслед за кроликами раздобыла коммуна лисицу. Дрянь-лисица забралась на чердак и передумала всех кроликов, прикончив тем самым и кролиководную комиссию.

Итак, от каждой из комиссий выделен один представитель в правление, а правление выделило президиум из трех человек. Во главе его и стоит этот самый Леша-блондин.

Судя по тому, что видишь в шинковском особняке, правление справляется со своей задачей не хуже, если не лучше взрослых. Ведает она всем распорядком жизни. В его руках все грани ребячьей жизни. Зорким глазом смотрит правление за всем, вплоть до того, чтобы не сорили.

— А если кто подсолнушки грызет, — говорит зловеще Кузьмик, — так его назначают на дежурство по кухне.

Но не только подсолнушки в поле зрения ребячьего управления. Решают ребята и более сложные вопросы.

Недавно мэр Лиона, Эррио, посетил коммуну. Он долго осматривал ее, объяснялся с ребятами через переводчика. Наконец, уезжая, вынул стомиллионную бумажку детям на конфеты. Но дети ее не взяли. Потом уже, чтоб не обидеть иностранца, составили тут же заседание, потолковали и постановили:

— Взять и истратить на газеты и журналы...

Правление улаживает все конфликты и ссоры между ребятами, лишь только они возникают.

— А если кто ссорится... — внушительно начинает Кузьмик: — Правление ведает назначением на дежурства, снабжением коммуны хлебом, наблюдением за кухней. Президиум ведет собрания. У президиума в руках нити ко всем комиссиям. И комиссии блестяще ведут библиотечное дело. Комиссии смотрят за санитарным состоянием коммуны. Благодаря им в чистоте, тепле живет ребяческая коммуна в шиповском особняке.

— Работа наладилась, — говорит Леша. — Правление уже изживает себя. Оно слишком громоздко. Нам теперь достаточно трех человек президиума.

Идем смотреть последнее, что осталось — столовую в нижнем этаже, где ребяташки в 8 часов утра пьют чай, в два обедают. В столовой, как и всюду, чисто. На стене плакат: «Кто не работает, тот не ест».

Опять в вестибюле, с разрисованными стенами, с беззвучной лестницей с ковром. Опять прислушиваешься, как нежно и глухо сверху несутся звуки пианино — девочки играют в четыре руки, да птицы, снегири и чижи, гомонят в клетках, прыгают.

И нужно прощаться с председателем президиума — Лешей и знаменитым румяным кролиководом — Кузьмиком Евстафием 13-ти лет.



ПТИЦЫ В МАНСАРДЕ

Весеннее солнце буйно льется на второй двор в Ваганьковском переулке в доме № 5, что против Румянцевского музея.

Москва — город грязный, сомнений в этом нет, и много есть в ней ужасных дворов, но такого двора другого нету. Распустилась под весенним солнцем жижа, бурая и черная, и прилипает к сапогам. Пруд из треснувших бочек! Помои и шелуха картофельная приветливо глядят сквозь сгнившие обручи. А в углу под сарайчиками близ входа в трехэтажный флигель с пыльными окнами желтыми узорами выются человеческие экскременты.

На Пречистенке час назад из беловатого чистого здания, где помещается Мпино, вышел молодой человек в высоких сапогах и засаленной куртке и на вопрос:

— А где же, товарищ, это самое ваше общежитие?

— Валяйте прямо на Ваганьковское кладбище!

— Что это за глупые шутки!

— Да вы не обижайтесь, товарищ, — моргая, ответил человек в сапогах, — это я не вас. Так мы называем общежитие. Садитесь на трамвай № 34, доедете до Румянцевского музея. — Он указал рукой на восток, приветливо улыбнулся и исчез.

И вот этот двор. Вот и флигель серый, грязный, мрачный, трехэтажный. По выщербленным ступенькам поднимался, по дороге стучался в неприветливые двери. То на двери: «типография», то вообще никого нет. И ничего добиться нельзя.

Но вот встретилась женская фигурка, вынырнула из какой-то двери, испытующе поглядела и сказала:

— Выш.

Выше дверь, потом мрачное пространство, а дальше за дощатой дверью голоса:

— Войдите!

Вошел.

И оказался в огромной комнате, т.е., вернее, не комнате, а так — в большом, высоком помещении с серыми облупленными стенами. И прежде всего бросился в глаза большой лист на серой стене с крупной печатной надписью «Тригонометрические формулы» и открытое окно. Ветер весело веял в него.

Посредине помещения был длинный вытертый засаленный стол, возле него зыбкие деревянные скамьи. По стенам под самыми окнами стояли железные кровати с разъехавшимися досками. На них кой-где реденькие, старенькие одеяла, кое-где какой-то засаленный хлам горами, тряпье, пачки книг. Лампочка на тонкой нити свешивалась над столом, довершая обстановку. Все.

И было шесть молодых людей, глядевших во все глаза.

Когда все недоумения уладились и состоялось знакомство, все расселись на скамьях и полились речи.

— Но ведь печки же нет... как же топить? — робко спрашивал я.

— Нет! — хором перебивали голоса, — печка есть, но мы ее сняли теперь. Вон она где, проклятая, стояла! Вон.

На полу, на память от печки, чернело круглое выжженное пятно.

— Почему она проклятая? Не греет разве?

— В том-то и беда, что греет!! — загremели голоса. — Как ее затопишь, сейчас же 3 градуса, и шабаш. Пропали мы тогда!

— На нос, — сказал курносый строго.

— Капает!! — ревели голоса, — капает со стен и с потолка. Течет, тает, как весной.

— На книги льется, главное.

— Неприятно жить. Оттепель.

— Курьезная печка, — задумчиво сказал блондин, — дымит, как сволочь. А между тем дымить ей не следовало. Тяга хорошая, приладили мы ее как следует, — он испытующе поглядел куда-то вверх, в ободранный пятнистый угол в потолке, — но дымит. По неизвестной причине.

— И дымит, знаете ли, как-то особенно. Дым знаменами по всей комнате. Синий-пресиний. А глаза красные.

— Не топить — здоровее, — сказал бас.

— Только тогда немного холодно, — спорил блондин, — встанешь, а в тазу лед. Кулаком проломишь, под ним тогда вода. Холодная такая.

— Умывальника абсолютно нет.

— У вас вообще ничего нет! — укоризненно сказал я. — За этой дверью что?

— Тут отдельное помещение. Комната. Зимой мы в ней поместили одного нашего. Вот, говорим, будет тебе отдельная комната. Ну, он два дня прожил, потом выходит, говорит: «Ну вас к чертовой матери с вашим отдельным помещением». Вещи вытащил и сюда переехал, говорит: «Вы тут дышите, это совсем другое дело». Ну он вообще слабого здоровья. Изнеженный. У него насморк был. Так мы устроили в отдельном помещении кладовку. Муку положили.

— Это все проклятая фотография.

— При чем здесь фотография?

Оказалось, что за стеной, где дверь в отдельное помещение, находится ателье. Оно вдребезги разбито, зимой ветер свистал в него. А стена тонкая, фанерная.

— Уборная-то по крайней мере у вас теплая?

— Как вам сказать... — задумался блондин. — Она, может, и теплая, но она, видите ли, не работает. Потому что трубы в ней промерзли и полопались. Так что она закрыта.

— Господи, твоя воля! Как же вы были зимой?

— А мы записались на чтение книг в Румянцевском музее. Там великолепная уборная. Ну, а ночью, когда музей закрыт, на Пречистенский бульвар ходили. Или так вообще...

Блондин загадочно повертел пальцами и указал в раскрытое окно, сквозь которое вместе с ветром влетал пока еще слабый и смутный запах второго ваганьковского двора.

— Черт знает что такое!

— Теперь что! — грянули собеседники, — благодать! Весна! Самое главное — вышибли печку, будь она проклята. А уборная — она оттает.

— На какого дьявола тут эти трубы. И вообще, что было раньше в этом сарае?

— Это не сарай, — хором обиделись эмпиновцы, — здесь — мастерская раньше была. Но теперь все, конечно, в ветхость пришло. Вообще не ремонтируется. Никто внимания не обращает.

— За загородкой что?

— Там еще четверо наших. Там хорошо.

За загородкой было, действительно, неизмеримо лучше. Напоминало ночлежку. Были четыре кровати с одеялами и даже картинки на стене. И черная печка.

— А где студентки помещаются?

— Студентки ниже.

Всей компанией затоптали вниз по лестнице, по дороге заглянули в уборную. Гадость неопишуемая.

Студентки были ошеломлены появлением всей компании с неизвестным лицом во главе.

— По поводу чего? По какому поводу? — добивались они.

И лишь одна сидела на сундуке и шила. По лицу ее блуждала скептическая улыбка.

— Осмотреть? Прекрасно! Осмотрите!

— Чего тут смотреть! Общежитие дайте! Вот что!

— Я, товарищи, не могу, к сожалению, вам дать общежитие... Описать могу...

Скептическая улыбка заиграла сильнее у сидящей на сундуке.

У студенток было чуть-чуть лучше, нежели у студентов. Во-первых, висел какой-то рыжий занавес, напоминающий занавес в театральной студии; во-вторых, кровати были как-то уютнее и приличнее застланы! Видна женская рука.

В остальном одинаково со студентами. Собачий холод зимой, та же беготня в Румянцевский музей за надобностями, ничего общего с прямым назначением музея не имеющими.

Вслед мне пел дружный хор мужских и женских голосов, как в фуге Баха:

— Общежитие нужно!..

— Вы напишите!

— Нужно!

— Здесь невозможно жить! Общежитие...

Живуч эм-пиновец-студент! Живуч, черт возьми! Но меня, например, если бы озолотили и сказали: «живи на Ваганьковском кладбище, за это педагогом будешь».

Не согласился бы.

*«Голос работника просвещения»,
1923, № 7—8.*



КОМАРОВСКОЕ ДЕЛО

С начала 1922 года в Москве стали пропадать люди. Случалось это почему-то чаще всего с московскими лошадиными барышниками или подмосковными крестьянами, приезжавшими покупать лошадей. Выходило так, что человек и лошади не покупал, и сам исчезал.

В то же время ночами обнаруживались странные и неприятные находки — на пустырях Замоскворечья, в развалинах домов, в брошенных, недостроенных банях на Шаболовке оказывались смрадные, серые мешки. В них были голые трупы мужчин.

После нескольких таких находок в московском уголовном розыске началась острая тревога. Дело было в том, что все мешки с убитыми носили на себе печать одних и тех же рук — одной работы. Головы были размозжены, по-видимому, одним и тем же тупым предметом, вязка трупов была одинаковая — всегда умелая и аккуратная. — руки и ноги притянуты к животу. Завязано прочно, на совесть.

Розыск начал работать по странному делу настойчиво. Но времени прошло немало, и свыше тридцати человек улеглись в мешки среди груд замоскворецких кирпичей.

Розыск шел медленно, но упорно. Мешки вязались характерно — так вяжут люди, привычные к запряжке лошадей. Не извозчик ли убийца? На дне некоторых мешков нашлись следы овса. Большая вероятность — извозчик. 22 трупа уже нашли, но опознали из них только семерых. Удалось выяснить, что все были в Москве по лошадиному делу. Несомненно — извозчик.

Но больше никаких следов. Никаких нитей абсолютно от момента, когда человек хотел купить лошадь, и до момента, когда его находили мертвым, не было. Ни следа, ни раз-

говоров, ни встреч. В этом отношении дело, действительно, исключительное.

Итак — извозчик. Трупы в Замоскворечье, опять в Замоскворечье, опять. Убийца — извозчик, живет в Замоскворечье.

Агентская широкая петля охватила коимные площади, чайные, стоянки, трактиры. Шли по следам замоскворецкого извозчика.

И вот в это время очередной труп нашли со свежей пеленкой, окутывающей разможенную голову. Петля сразу сузилась — искали семейного, у него недавно ребенок.

Среди тысячи извозчиков нашли.

Василий Иванович Комаров, легковой, проживал на Шаболовке в доме № 26. Извозным промыслом занимался странно — почти никогда не рядился, но на конной площади часто бывал. Деньги имел всегда. Пил много.

Ночью на 18 мая в квартиру на Шаболовку явилась агента с ордером окружной милиции, якобы по поводу самогонки. Легковой встретил их с невозмутимым спокойствием. Но когда стали открывать дверь в чуланчик на лестнице, он, выпрыгнув со второго этажа в сад, ухитрился бежать, не смотря на то, что квартиру оцепили.

Но ловили слишком серьезно и в ту же ночь поймали в подмосковном Никольском, у знакомой молочницы Комарова. Застали Комарова за делом. Он сидел и писал на обороте удостоверения личности показание о совершенных им убийствах и в этом показании зачем-то путал и оговаривал своих соседей.

В Москве на Шаболовке в это время агенты осматривали последний труп, найденный в чулане. Когда чулан открыли, убитый был еще теплый.

Пока шло следствие, Москва гудела словом «Комаров-извозчик». Говорили женщины о наволочках, полных денег, о том, что Комаров кормил свиней людскими внутренностями и т. д.

Все это, конечно, вздор.

Но та сушая правда, что выяснилась на следствии, такого сорта, что уж лучше были бы и груды денег в наволочках, и даже гнусная кормежка свиней или какие-нибудь зверства,

извращения. Оно, пожалуй, было бы легче, если б было запутанней и страшней, потому что тогда стало бы понятно самое страшное во всем этом деле — именно сам этот человек — Комаров (несущественная деталь: он, конечно, не Комаров Василий Иванович, а Петров Василий Терентьевич. Фальшивая фамилия, вероятно, след уголовного, черного прошлого... Но это неважно, повторяю).

Никакого желания нет писать уголовный фельетон, уверяю читателя, но нет возможности заняться ничем другим, потому что сегодня неотступно целый день сидит в голове желание все-таки этого Комарова понять.

Он, оказывается, рогожи специальные имел, на эти рогожи спускал из трупов кровь (чтобы мешков не марать и саней); когда позволили средства, для этой же цели купил оцинкованное корыто. Убивал аккуратно и необычайно хозяйственно: всегда одним и тем же приемом, одним молотком по темени, без шума и спешки, в тихом разговоре (убитые все и были эти интересовавшиеся лошадьми люди. Он предлагал им на конной свою лошадь и приглашал их для переговоров на квартиру) наедине, без всяких сообщников — улав жену и детей.

Так бьют скотину. Без сожаления, но и без всякой ненависти. Выгоду имел, но не фантастически большую. У покупателя в кармане была приблизительно стоимость лошади. Никаких богатств у него в наволочках не оказалось, но он пил и ел на эти деньги и семью содержал. Имел как бы убойный завод у себя.

Вне этого был обыкновенным плохим человеком, каких миллионы. И жену, и детей бил и пьянствовал, но по праздникам приглашал к себе священников, те служили у него, он их угощал вином. Вообще был богомольный, тяжелого характера человек.

Репортеры, фельетонисты, обыватели щеголяли две недели словом «человек-зверь». Слово унылое, бессодержательное, ничего не объясняющее. И настолько выявлялась эта мясная хозяйственность в убийствах, что для меня лично она сразу убила все эти несуществующие «зверства», и утвердилась у меня другая формула «и не зверь, но и ни в коем случае не человек».

Никак нельзя назвать человеком Комарова, как нельзя назвать часами одну луковицу, из которой вынут механизм.

Эту формулу для меня процесс подтвердил. Предстал перед судом футляр от человека — не имеющий в себе никаких признаков зверства. Впрочем, может быть, какие-нибудь особенные, доступные специалисту — психиатру черты и есть, но на обыкновенный взгляд — пожилой обыкновенный человек, лицо неприятное, но не зверское, и нет в нем никаких признаков вырождения.

Но когда это создание заговорило перед судом, и в особенности захихикало сиплым смешком, хоть и не вполне, но в значительной мере (не знаю, как другим), мне стало понятно, что это значит, — «не человек».

Когда его первая жена отравилась, оно — это существо — сказало:

— Ну и черт с ней!

Когда существо женилось второй раз, оно не поинтересовалось даже узнать, откуда его жена, кто она такая.

— Мне-то что, детей, что ли с ней крестить! (смешок).

— Раз и квас! (на вопрос, как убивал. Смешок).

— Хрен его знает! (на многие вопросы эта идиотская поговорка. Смешок).

— Человечиной не кормили ваших поросят?

— Нет (хи-хи!)... да если б кормил, я бы больше поросят завел... (хи-хи!)

Дальше — больше. Все в жизни — этот залихватский, гнусный «хрен», сопровождаемый хихиканьем. Оказывается, людей кругом нет. Есть «чудаки» и «хомуты». Презирает. Какая тут «звериность»? Если б зверино ненавидел и с яростью убивал, не так бы оскорбил всех окружающих, как этим изумительным презрением. Собаку — животное можно было бы замучить этим из ряда выходящим невниманием, которым Комаров награждал окружающих людей. Жена его — «римско-католическая пани» (хи-хи). «Много кушает». Ни злобы, ни скупости. «Пусть кушает возле меня эта римско-католическая рвань». Злобы нет, но «оплеухи иногда я ей давал». Детей бил «для науки».

— Зачем убивали?

Тут сразу двойное. Но все понятно. Во-первых, для денег. Во-вторых, вот «не любил людей». Вот, бывают такие животные, что убить его — двойная прибыль: и польза, и сознание, что избавишься от созерцания неприятного Божьего создания. Гусеница, скажем, или змея... Так Комарову — люди.

Словом, создание — мираж в оболочке извозчика. Хроническое, холодное нежелание считать, что в мире существуют люди. Вне людей.

Жуткий ореол «человека-зверя» исчез. Страшного не было. Но необычайно отталкивающее.

Изъять. Он боялся? Нет. Он — сильное, не трусливое существо.

По-моему, над интервьюерами, следствием и судом полегоньку даже глумился. Иногда чепуху какую-то городил. Но вяло. С усмешечкой. Интересуетесь? Извольте. «Цыганку бы убить или попа»... Зачем? «Да так»...

И чувствуется, что никакой цыганки убивать ему вовсе не хотелось, равно как и попа: так — насели с вопросами «чудаки», он и говорит первое, что взбредет на ум.

Интервьюер спросил, что он думает о том, что его ожидает. «Э... все поколеем!»

Равнодушен, силен, не труслив и очень глупый в человеческом смысле. Прибаутки его ни к селу, ни к городу, мысли скупые, нелепые. И на человеческой глупости блестящая, великолепная амальгама того специфического смрадного хамства, которым пропитаны многие, очень многие замоскворецкие мещане!.. все это чуйки, отправленные большими городами.

Что касается силы.

В одну из ночей, не знаю, после какого именно убийства, вез запакованный обескровленный труп к Москве-реке. Милиционер остановил:

— Что везешь?

— А ты, дурной, — мягко ответил Комаров, — пощупай.

Милиционер был действительно «дурной». Он потрогал мешок и пропустил Комарова. Потом Комаров стал ездить с женой.

Вследствие этих поездок на скамье рядом с Комаровым оказалась Софья Комарова.

Лицо тоже знакомое. Не раз на Сухаревке, на Домниковке, на Смоленском приходилось видеть такие длинные, унылые лица, желтые бабьи лица, окаймленные платком.

Комарова выводили, когда Софья давала показания, и, несмотря на это, сложилось впечатление, что она чего-то недоговаривала. Думается, что никаких особенных тайн, впрочем, она не скрыла. Во время убийств Комаров ее высылал вместе с ребятами. А может быть, и помогала временами — прибрать, замыть после работы. Дело — женское. Ну, и вот эти поездки.

«Так... дурочка... слабая» — определил ее муж. Несомненно, над тупой, пустой «римско-католической» бабой висела камнем воля мужа.

Приговор?

Ну, что тут о нем толковать.

Приговор в первый раз вынесли Комарову, когда милиция под конвоем повезла его, чтобы он показал, где закопал часть трупов (несколько убитых он зарыл близ своей квартиры на Шаболовке).

Словно по сигналу слетелась толпа. Вначале были выкрики, истерические вопли баб. Затем толпа зарычала потихоньку и стала наваливаться на милицейскую цепь — хотела Комарова рвать.

Непостижимо, как удалось милиции отбить и увезти Комарова.

Бабы в доме, где я живу, тоже вынесли приговор — «сварить живьем».

— Зверюга. Мясорубка. У этих тридцати пяти мужиков сколько сирот оставил, сукин сын.

На суде три психиатра смотрели:

— Совершенно нормален. Софья — тоже.

Значит...

— Василия Комарова и жену его Софью к высшей мере наказания, детей воспитывать на государственный счет.

От души желаю, чтобы детей помиловал тяжкий закон наследственности.

Не дай Бог походить на покойных отца и мать

«Накануне», 20 июня 1923 г



КИЕВ-ГОРОД

Экскурс в область истории

Весной зацветали белым цветом сады, одевался в зелень Царский сад, солнце ломилось во все окна, зажигало в них пожары. А Днепр! А закаты! А Выдубецкий монастырь на склонах! Зеленое море уступами сбегало к разноцветному ласковому Днепру. Черно-синие густые ночи над водой, электрический крест Св. Владимира, висящий в вышоте...

Словом, город прекрасный, город счастливый. Мать городов русских.

Но это были времена легендарные, те времена, когда в садах самого прекрасного города нашей Родины жило беспечальное, юное поколение. Тогда-то в сердцах у этого поколения родилась уверенность, что вся жизнь пройдет в белом цвете, тихо, спокойно, зори, закаты, Днепр, Крещатик, солнечные улицы летом, а зимой не холодный, не жесткий, крупный ласковый снег...

...И вышло совершенно наоборот.

Легендарные времена оборвались, и внезапно, и грозно наступила история. Я совершенно точно могу указать момент ее появления: это было в 10 час. утра 2-го марта 1917 г., когда в Киев пришла телеграмма, подписанная двумя загадочными словами:

— Депутат Бубликов.

Ни один человек в Киеве, за это я ручаюсь, не знал, что должны были обозначать эти таинственные 15 букв, но знаю одно: ими история подала Киеву сигнал к началу. И началось и продолжалось в течение четырех лет. Что за это время происходило в знаменитом городе, никакому описанию не поддается. Будто уэльсовская атомистическая бомба лопнула под могилами Аскольда и Дира, и в течение 1000 дней гре-

мело и клокотало и полыхало пламенем не только в самом Киеве, но и в его пригородах, и в дачных его местах в окружности 20 верст радиусом.

Когда небесный гром (ведь и небесному терпению есть предел) убьет всех до единого современных писателей и явится лет через 50 новый, настоящий Лев Толстой, будет создана изумительная книга о великих боях в Киеве. Наживутся тогда книгоиздатели на грандиозном памятнике 1917—1920 годам.

Пока что можно сказать одно: по счету киевлян у них было 18 переворотов. Некоторые из теплушечных мемуаристов насчитали их 12; я точно могу сообщить, что их было 14, причем 10 из них я лично пережил.

В Киеве не было только греков. Не попали они в Киев случайно, потому что умное начальство их спешно увело из Одессы. Последнее их слово было русское слово:

— Вата!

Я их искренне поздравляю, что они не пришли в Киев. Там бы их ожидала еще худшая вата. Нет никаких сомнений, что их выкинули бы вон. Достаточно припомнить: немцы, железные немцы в тазах на головах, явились в Киев с фельдмаршалом Эйхгорном и великолепными, туго завязанными обозными фурами. Уехали они без фельдмаршала и без фур, и даже без пулеметов. Все отняли у них разъяренные крестьяне.

Рекорд побил знаменитый бухгалтер, впоследствии служащий союза городов Семен Васильич Петлюра. Четыре раза он являлся в Киев, и четыре раза его выгоняли. Самыми последними, под занавес, приехали зачем-то польские паны (явление XIV-ое) с французскими дальнобойными пушками.

Полтора месяца они гуляли по Киеву. Искушенные опытом киевляне, посмотрев на толстые пушки и малиновые вышки, уверенно сказали:

— Большевики опять будут скоро.

И все сбылось как по-писаному. На переломе второго месяца среди совершенно безоблачного неба советская конница грубо и буденно заехала куда-то, куда не нужно, и паны в течение нескольких часов оставили заколдованный город. Но тут следует сделать маленькую оговорку. Все, кто раньше делали визит в Киев, уходили из него по-хорошему, огра-

ничиваясь относительно безвредной шестидюймовой стрельбой по Киеву со святошинских позиций. Наши же европеизированные кузены вздумали щегольнуть своими подрывными средствами и разбили три моста через Днепр, причем Цепной — вдребезги.

И посейчас из воды вместо великолепного сооружения — гордости Киева, торчат только серые унылые быки. А поляки, поляки... Ай, яй, яй!..

Спасибо сердечное скажет вам русский народ.

Не унывайте, милые киевские граждане! Когда-нибудь поляки перестанут на нас сердиться и отстроят нам новый мост, еще лучше прежнего. И при этом на свой счет.

Будьте уверены. Только терпение.

Status praesens.

Сказать, что «Печерска нет», это будет, пожалуй, преувеличением. Печерск есть, но домов в Печерске на большинстве улиц нету. Стоят обглоданные руины, и в окнах кой-где переплетенная проволока, заржавевшая, спутанная. Если в сумерки пройтись по пустынным и гулким широким улицам, охватят воспоминания. Как будто шевелятся тени, как будто шорох из земли. Кажется, мелькают в перебежке цепи, дробно стучат затворы... вот, вот вырастет из булыжной мостовой серая, расплывчатая фигура и ахнет сипло:

— Стой!

То мелькнет в беге цепь и тускло блеснут золотые погоны, то пропляшет в беззвучной рыси разведка в жупанах, в шапках с малиновыми хвостами, то лейтенант в монокле, с негнувшейся спиной, то выложенный польский офицер, то с оглушающим бешеным матом пролетят, мотая колоколами-шганами, тени русских матросов.

Эх, жемчужина — Киев! Беспокойное ты место!..

Но это, впрочем, фантазия, сумерки, воспоминание.

Днем, в ярком солнце, в дивных парках над обрывами — великий покой. Начинают зеленеть кроны каштанов, одеваются липы. Сторожа жгут кучи прошлогодних листьев, тянет дымом в путынных аллеях. Редкие фигурки бродят по Мариинскому парку, склоняясь, читают надписи на выли-

нявших лентах венков. Здесь зеленые боевые могилки. И щит, окаймленный иссохшей зеленью. На щите исковерканные трубки, осколки измерительных приборов, разломанный винт. Значит, упал в бою с высоты неизвестный летчик и лег в гроб в Марииинском парке.

В садах большой покой. В Царском светлая тишина. Будят ее только птичьи переклики да изредка доносящиеся из города звонки киевского коммунального трамвая.

Но скамеек нигде ни одной. Ни даже признаков скамеек. Больше того: воздушный мост — стрелой перекинутый между двумя обрывами Царского сада, лишился совершенно всех деревянных частей. До последней щепочки разнесли настил киевляне на дрова. Остался только железный остов, по которому, рискуя своей драгоценной жизнью, мальчики пробираются ползком и цепляясь.

В самом городе тоже есть порядочные дыры. Так, у бывш. Царской площади в начале Крещатика вместо огромного семиэтажного дома стоит обугленный скелет. Интересно, что самое бурное время дом пережил и пропал на хозрасчете. По точному свидетельству туземцев, дело произошло так. Было в этом здании учреждение хозяйственно-продовольственного типа. И был, как полагается, заведующий. И, как полагается, дозаведывался он до того, что или самому ему пропасть, или канцелярии его сгореть. И загорелась ночью канцелярия. Слетелись, как соколы, пожарные, находящиеся на хозрасчете. И вышел заведующий и начал вертеться между медными касками. И словно заколдовал шланги. Лилась вода, гремела ругань, лазили по лестницам, и ничего не вышло — не отстояли канцелярию.

Но проклятый огонь, не состоящий на хозрасчете и не поддающийся колдовству, с канцелярии полез дальше и выше, и дом сгорел, как соломенный.

Киевляне — народ правдивый, и все в один голос рассказывали эту историю. Но даже если это и не так, все-таки основной факт налицо — дом сгорел.

Но это ничего. Киевское коммунальное хозяйство начало обнаруживать признаки бурной энергии. С течением времени, если все будет, даст Бог, благополучно, все это отстроится.

И сейчас уже в квартирах в Киеве горит свет, из кранов течет вода, идут ремонты, на улицах чисто и ходит по улицам этот самый коммунальный трамвай.

ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Это киевские вывески. Что на них только написано, уму непостижимо.

Оговариваюсь раз и навсегда: я с уважением отношусь ко всем языкам и наречиям, но, тем не менее, киевские вывески необходимо переписать.

Нельзя же, в самом деле, отбить в слове «гомеопатическая» букву «я» и думать, что благодаря этому аптека превратится из русской в украинскую. Нужно, наконец, условиться, как будет называться то место, где стригут и бреют граждан: «голярня», «перукарня», «цирульня» или просто-напросто «парикмахерская»!

Мне кажется, что из четырех слов — «молошна», «молочно», «молочарня» и «молошная» — самым подходящим будет пятое — молочная.

Ежели я заблуждаюсь в этом случае, то в основном я все-таки прав — можно установить единообразие. По-украински так по-украински. Но правильно и всюду одинаково.

А то что, например, значит «С. М. Р. іхел»? Я думал, что это фамилия. Но на голубом фоне совершенно отчистливы точки после каждой из трех первых букв. Значит, это начальные буквы каких-то слов? Каких?

Прохожий киевлянин на мой вопрос ответил:

— Чтоб я так жил, как я это знаю.

Что такое «Кагасік» — это понятно, означает «Портной Карасик»; «Дитячий притулок» — понятно благодаря тому, что для удобства национальных меньшинств сделан тут же перевод: «Детский сад», но «смеріхел» непонятен еще более, чем «Коуту всерокомпама», и еще более ошеломляющ, чем «ідальяня».

НАСЕЛЕНИЕ: НРАВЫ И ОБЫЧАИ

Какая резкая разница между киевлянами и москвичами! Москвичи — зубастые, напористые, летающие, спешащие,

американизированные. Киевляне — тихие, медленные и без всякой американизации. Но американской складки людей любят. И когда некто в уродливом пиджаке с дамской грудью и наглых штанах, подтянутых почти до колен, прямо с поезда врывается в их переднюю, они спешат предложить ему чаю, и в глазах у них живейший интерес. Киевляне обожают рассказы о Москве, но ни одному москвичу я не советую им что-нибудь рассказывать. Потому что, как только вы выйдете за порог, они хором вас признают лгуном. За вашу чистую правду.

Лишь только я раскрыл рот и начал бесстрастное повествование, в глазах у моих слушателей появились такие веселые огни, что я моментально обиделся и закрылся. Попробуйте им объяснить, что такое казино, или «Эрмитаж» с цыганскими хорами, или московские пивные, где выпивают море пива и хоры с гармониками поют песнь о разбойнике Кудеяре:

...«Господу Богу помолимся»,

что такое движение в Москве, как Мейерхольд ставит пьесы, как происходит сообщение по воздуху между Москвой и Кенигсбергом или какие хваты сидят в трестах и т. д.

Киев такая тихая заводь теперь, темп жизни так непохож на московский, что киевлянам все это непонятно.

Киев стихает к полуночи. Наутро чиновники идут на службу в свои всерокомпомы, а жены нянчат ребят, а свояченицы, чудом не сокращенные, напудрив носы, отправляются служить в «Ару».

«Ара» — солнце, вокруг которого, как Земля, ходит Киев. Все население Киева разделяется на пьющих какао счастливых, служащих в «Аре» (1-й сорт людей), счастливых, получающих из Америки штаны и муку (2-й сорт), и чернь, не имеющую к «Аре» никакого отношения.

Женитьба заведующего «Арой» (пятая по счету) — событие, о котором говорят все. Ободранное здание бывшей Европейской гостиницы, возле которого стоят киевские джинрикши, — великий храм, набитый салом, хинином и банками.

И вот кончается все это. «Ара» в Киеве закрывается, заведующий-молодожен уезжает в июне на пароходе в свою Америку, а между свояченицами стоит скрежет

зубовный. И в самом деле, что будет — неизвестно. Хозрасчет лезет в тихую заводь, из всех щелей, управляющий домом угрожает ремонтом парового отопления и носится с каким-то листом, в котором написано «смета в золотом исчислении».

А какое тут золотое исчисление у киевлян! Они гораздо беднее москвичей. И, сократившись, куда сунется киевская барышня! Плацдарм маленький, и всекомпомов на всех не хватит.

АСКЕТИЗМ

Нэп катится на периферию медленно, с большим опозданием. В Киеве теперь то, что в Москве было в конце 1921 года. Киев еще не вышел из периода аскетизма. В нем, например, еще запрещена оперетка. В Киеве торгуют магазины (к слову говоря, дрянь), но не выпирают нагло «Эрмитажи», не играют в лото на каждом перекрестке и не шляются на дутых шинах до рассвета, напившись «Абрау-Дюрсо».

СЛУХИ

Но зато киевляне вознаграждают себя слухами. Нужно сказать, что в Киеве целая пропасть старушек и пожилых дам, оставшихся ни при чем. Буйные боевые годы разбили семьи, как нигде. Сыновья, мужья, племянники или пропали без вести, или умерли в сыпняке, или оказались в гостеприимной загранице, из которой не знают, как обратно выбраться, или «сокращены по штату». Никаким компанам старушки не нужны, собес не может их накормить, потому что не такое учреждение собес, чтоб в нем были деньги. Старушкам, действительно, неведомо, и живут они в странном состоянии: им кажется, что все происходящее — сон. Во сне они видят сон другой — желанную, чаемую действительность. В их головах рождаются картины...

Киевляне же, надо отдать им справедливость, газет не читают, находясь в твердой уверенности, что там заключается «обман». Но так как человек без информации немыс-

лим на земном шаре, им приходится получать сведения с евбаза (еврейский базар), где старушки вынуждены продавать канделябры.

Оторванность киевлян от Москвы, тлетворная их близость к местам, где зарождались всякие Тютюники, и, наконец, порожденная 19-м годом уверенность в непрочности земного является причиной того, что в телеграммах, посылаемых с евбазы, они не видят ничего невероятного.

Поэтому: епископ Кентерберийский инкогнито был в Киеве, чтобы посмотреть, что там делают большевики (я не шучу). Папа римский заявил, что если «это не прекратится», то он уйдет в пустыню. Письма бывшей императрицы сочинил Демьян Бедный...

В конце концов, пришлось плюнуть и не разуверять.

ТРИ ЦЕРКВИ

Это еще более достопримечательно, нежели вывески. Три церкви это слишком много для Киева. Старая, живая и автокефальная, или украинская.

Представители второй из них получили от остроумных киевлян кличку:

— Живые попы.

Более меткого прозвища я не слыхал во всю свою жизнь. Оно определяет означенных представителей полностью — не только со стороны их принадлежности, но и со стороны свойств их характера.

В живости и проворстве они уступают только одной организации — попам украинским.

И представляют полную противоположность представителям старой церкви, которые не только не обнаруживают никакой живости, но, наоборот, медлительны, растеряны и крайне мрачны.

Положение таково: старая ненавидит живую и автокефальную, живая — старую и автокефальную, автокефальная — старую и живую.

Чем кончится полезная деятельность всех трех церквей, сердца служителей которых питаются злобой, могу сказать с полнейшей уверенностью: массовым отпадением верующих

от всех трех церквей и ввержением их в пучину самого голого атеизма. И повинны будут в этом не кто иные, как сами попы, дискредитировавшие в лоск не только самих себя, но самую идею веры.

В старом, прекрасном, полном мрачных фресок, в Софийском соборе детские голоса — дисканты нежно возносят моления на украинском языке, а из царских врат выходит молодой человек, совершенно бритый и в митре. Умолчу о том, как выглядит сверкающая митра в сочетании с белесым лицом и живыми беспокойными глазами, чтобы приверженцы автокефальной церкви не расстраивались и не вздумали бы сердиться на меня (должен сказать, что пишу я все это отнюдь не весело, а с горечью).

Рядом — в малой церкви, потолок которой затянут траурными фестонами многолетней паутины, служат старые по-славянски. Живые тоже облюбовали себе места, где служат по-русски. Они молятся за Республику, старым полагается молиться за патриарха Тихона, но этого нельзя ни в коем случае, и думается, что не столько они молятся, сколько тихо анафемствуют, и, наконец, за что молятся автокефальные, — я не знаю. Но подозреваю. Если же догадка моя справедлива, могу им посоветовать не тратить сил. Молитвы не дойдут. Бухгалтеру в Киеве не бывать.

В результате в головах киевских евбазных старушек произошло полное затмение. Представители старой церкви открыли богословские курсы; кадрами слушателей явились эти самые старушки (ведь это же нужно додуматься!). Смысл лекций прост — виноват во всей тройной кутерьме — сатана.

Мысль безобидная, на курсы смотрят сквозь пальцы, как на учреждение, которое может причинить вред лишь его участникам.

Первую неприятность из-за этих курсов получили лично я. Добрая старушка, знающая меня с детства, наслушавшись моих разговоров о церквях, пришла в ужас, принесла мне толстую книгу, содержащую в себе истолкование ветхозаветных пророчеств, с наказом непременно ее прочитать.

— Прочти, — сказала она, — и ты увидишь, что антихрист придет в 1932 году. Царство его уже наступило.

Книгу я прочел, и терпение мое лопнуло. Тряхнув кой-каким багажом, я доказал старушке, что, во-первых, антихрист в 1932 г. не придет, а во-вторых, что книгу писал несомненный и грязно невежественный шарлатан.

После этого старушка отправилась к лектору курсов, изложила всю историю и слезно просила наставить меня на путь истины.

Лектор прочитал лекцию, посвященную уже специально мне, из которой вывел как дважды два четыре, что я не кто иной, как один из служителей и предтеч антихриста, осрабив меня перед всеми моими киевскими знакомыми.

После этого я дал себе клятву в богословские дела не вмешиваться, какие бы они ни были — старые, живые или же автокефальные.

НАУКА, ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

Нет.

Слов для описания черного бюста Карла Маркса, поставленного перед Думой в обрамлении белой арки, у меня нет. Я не знаю, какой художник сотворил его, но это недопустимо.

Необходимо отказаться от мысли, что изображение знаменитого германского ученого может вылепить всякий, кому не лень.

Трехлетняя племянница моя, указав на памятник, нежно говорила:

— Дядя Карла. Цёрный.

ФИНАЛ

Город прекрасный, город счастливый. Над разлившимся Днепром, весь в зелени каштанов, весь в солнечных пятнах.

Сейчас в нем великая усталость после страшных громыхавших лет. Покой.

Но трепет новой жизни я слышу. Его отстроят, опять закипят его улицы, и станет над рекой, которую Гоголь любил, опять царственный город. А память о Петлюре да сгинет.

«Накануне», 6 июля 1923 г.



САМОЦВЕТНЫЙ БЫТ

Из моей коллекции

Все правда, за исключением последнего: «прогрессивный аппетит».

1. В ВОЛНАХ АЗАРТА

Знакомый журналист сообщил мне содержание следующего документа:

Гражданину директору казино
Капельмейстера З.

Заявление.

Имею честь заявить, что в Вашем уважаемом Монако я проиграл: бесценные мои наследственные золотые часы, пять тысяч рублей дензнаками 23 г. и 16 инструментов введенного мне духового оркестра, каковой вследствие этого закрылся 5 числа.

Ввиду того, что я нахожусь теперь в ожидании пролетарского суда за несдачу казенного обмундирования, выразившегося в гимнастерке, штанах и поясе, прошу для облегчения моей участи выдать мне хотя бы три тысячи.

На заявлении почерком ошеломленного человека написано: «Выдать».

2. СРЕДСТВО ОТ ЗАСТЕНЧИВОСТИ

Лично я получил такую заметку, направленную из глухой провинции в редакцию столичной газеты:

«Товарищ редактор,

пропустите, пожалуйста, мою статью или, проще выразиться, заметку с пригвождением к черной доске нашего мастера Якова (отчество и фамилия). Означенный Яков (отчество и фамилия) омрачил наш международный праздник работницы 8 марта, появившись на эстраде в качестве содокладчика как зюзя пьяный. По своему состоянию он, не читая содоклада, а держась руками за лозунги и оборвав два из них, лишь улыбался бесчисленной аудитории наших работниц, которая дружно, как один, заполнила клуб.

Когда заведующий культотделом спросил у Якова о причине его такого позорного выступления, он ответил, что выпил перед содокладом от страха, ввиду того, что он с женским полом застенчив. Позор Якову (отчество и фамилия). Таких застенчивых в нашем профессиональном союзе не нужно».

3. СКОЛЬКО БРОКГАУЗА МОЖЕТ ВЫНЕСТИ ОРГАНИЗМ

В провинциальном городишке В. лентяй-библиотекарь с лентяями из местного культотдела плюнули на работу, перестав заботиться о сколько-нибудь осмысленном снабжении рабочих книгами.

Один молодой рабочий, упорный человек, мечтающий об университете, отравлял библиотекарю существование, спрашивая у него советов о том, что ему читать. Библиотечная крыса, чтобы отвязаться, заявила, что сведения «обо всем решительно» имеются в словаре Брокгауза.

Тогда рабочий начал читать Брокгауза. С первой буквы А.

Чудовищно было то, что он дошел до пятой книги (Банки — Бергер).

Правда, уже со второго тома слесарь стал плохо есть, как-то осунулся и сделался рассеянным. Он со вздохом, меняя прочитанную книгу на новую, спрашивал у культотдelsкой гримзы, засевшей в пыльных книжных баррикадах, «много ли осталось?». В пятой книге с ним стали происходить странные вещи. Так, среди бела дня он увидел на улице В., у входа в мастерские Бана Абуль Абас-Ахмет-Ибн-

Магомет-Отман-Ибн-Аль, знаменитого арабского математика в белой чалме.

Слесарь был молчалив в день появления араба, написавшего «Тальме-Амаль-Аль-Хисоп», догадался, что нужно сделать антракт, и до вечера не читал. Это, однако, не спасло от 2-х визитов в молчании бессонной ночи — сперва развитого синдика вольного ганзейского города Эдуарда Банка, а затем правителя канцелярии малороссийского губернатора Дмитрия Николаевича Бантыш-Каменского.

День болела голова. Не читал. Но через день двинулся дальше. И все-таки прошел через Банювангис, Бньюмас, Бомньер-де-Бигир и через два Боньякавало, человека и город.

Крах произошел на самом простом слове «Барановские». Их было 9: Владимир, Войцех, Игнатий, Степан, 2 Яна, а затем Мечислав, Болеслав и Богуслав.

Что-то сломалось в голове у несчастной жертвы библиотекера:

— Читаю, читаю, — рассказывал слесарь корреспонденту, — слова легкие: Мечислав, Богуслав, и, хоть убей, — не помню — какой кто. Закрою книгу — все вылетело. Помню одно: Мадриан. Какой, думаю, Мадриан? Нет там никакого Мадриана. На левой стороне есть 2 Баранецких. Один господин Адриан, другой Мариан. А у меня Мадриан.

У него на глазах были слезы.

Корреспондент вырвал у него словарь, прекратив пытку. Посоветовал забыть все, что прочитал, и написал о библиотекере фельетон, в котором, не выходя из пределов той же пятой книги, обругал его безголовым моллюском и барсучьей шкурой.

4. ИНОСТРАННОЕ СЛОВО «МОТИВИРОВАТЬ»

На Н... заводе в провинции нэпман совместно с администрацией отвоевали у рабочего квартиру, зажав его с семьей в сыром и вонючем подвале.

Бедняга долго барахтался в сетях юридических кляуз, пока, наконец, не пришел в отчаяние и не написал в московскую газету послание, предлагая «заплатить последнее», лишь бы его напечатать.

Газета письмо напечатала. Через две недели пришло второе:

«Не знаю, как Вас и благодарить. Дали квартиру. Только администрация мотивировала меня разными словами в оправдание своих доводов, как кляузника».

5. «РАБОТА СРЕДИ ЖЕНЩИН»

Ответственный работник из центра, прямо с поезда сорвавшись, обрушился в провинциальное учреждение типа просветительного.

— Как, товарищ, у вас работа среди женщин? — скороговоркой грянул столичный, типа — *Time is money*.

— Ничего, — добродушно ответил ему провинциальный, безответственный, беспартийный, дыхнув самогонкой, — у нас насчет этого хорошо. Я с третьей бабой живу.

6. Р.У.Р.

— Мы вам не Рур, — было написано на плакате.

— Российское Управление Романовых, — прочитала моя знакомая дама и прибавила: — Это остроумно. Хотя, вообще говоря, я не люблю большевистского остроумия.

7. КУРСКАЯ АНОМАЛИЯ

— А много ее действительно, — спросил квартхоз, возвращая мне газету, — или так, очки втирают? Ежели много, можно было бы англичанам продать...

— Вот именно, — согласился я, — пускай подавятся!

8. ПРОГРЕССИВНЫЙ АППЕТИТ

Подходный налог. Одного обложили в 10 миллиардов. Срок 10-го числа в 4 час. дня. Он 9-го утром принес деньги и не протестовал и не подавал заявлений. Молча уплатил.

— Мы его мало обложили, — смекнул инспектор и обложил дополнительно в 100 миллиардов. Срок 15-го, 4 час. дня.

14-го в 10 ч. утра принес.

— Эге-ге! — сказал инспектор.

Обложили в триллион. 20-го, 4 час. дня.

20-го в 4 час. дня обложенный привез на ломовике печатный станок.

— Печатайте сами, — сказал он растерянно.

Анекдот сочинен московскими нэпманами, изъязвленными налогом.

*«Накануне» (литературное приложение),
15 июля 1923 г.*



САМОГОННОЕ ОЗЕРО

(Повествование)

В десять часов вечера под Светлое Воскресенье утих наш проклятый коридор. В блаженной тишине родилась у меня жгучая мысль о том, что исполнилось мое мечтанье и бабка Павловна, торгующая папиросами, умерла. Решил это я потому, что из комнаты Павловны не доносилось криков истязуемого ее сына Шурки.

Я сладострастно улыбнулся, сел в драное кресло и развернул томик Марка Твена. О, миг блаженный, светлый час!..

...И в десять с четвертью вечера в коридоре трижды пропел петух.

Петух — ничего особенного. Ведь жил же у Павловны полгода поросенок в комнате. Вообще Москва не Берлин, это раз, а во-вторых, человека, живущего полтора года в коридоре № 50, не удивишь ничем. Не факт неожиданного появления петуха испугал меня, а то обстоятельство, что петух пел в десять часов вечера. Петух — не соловей и в довоенное время пел на рассвете.

— Неужели эти мерзавцы напоили петуха? — спросил я, оторвавшись от Твена, у моей несчастной жены.

Но та не успела ответить. Вслед за вступительной петушиной фанфарой начался непрерывный вопль петуха. Затем завыл мужской голос. Но как! Это был непрерывный басовый вой в до-диез, вой душевной боли и отчаяния, предсмертный тяжкий вой.

Захлопали все двери, загремели шаги. Твена я бросил и кинулся в коридор.

В коридоре под лампочкой, в тесном кольце изумленных жителей знаменитого коридора, стоял неизвестный мне гражданин. Ноги его были растопырены, как ижица, он по-

качивался и, не закрывая рта, выпускал этот самый иступленный вой, испугавший меня. В коридоре я расслышал, что нечленораздельная длинная нота (фермато) сменилась речитативом.

— Так-то, — хрипло давился и завывал неизвестный гражданин, обливаясь крупными слезами, — Христос воскресе! Очень хорошо поступаете! Так не доставайся же никому!! А-а-а-а!!

И с этими словами он драл пучками перья из хвоста у петуха, который бился у него в руках.

Одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что петух совершенно трезв. Но на лице у петуха была написана нечеловеческая мука. Глаза его вылезали из орбит, он хлопал крыльями и выдирался из цепких рук неизвестного.

Павловна, Шурка, шофер, Аннушка, Аннушкин Миша, Дуськин муж и обе Дуськи стояли кольцом в совершенном молчании и неподвижно, как вколоченные в пол. На сей раз я их не виню. Даже они лишились дара слова. Сцену обдирания живого петуха они видели, как и я, впервые.

Квартхоз квартиры № 50 Василий Иванович криво и отчаянно улыбался, хватая петуха то за неуловимое крыло, то за ноги, пытался вырвать его у неизвестного гражданина.

— Иван Гаврилович! Побойся Бога! — вскрикивал он, трезвея на моих глазах. — Никто твоего петуха не берет, будь он трижды проклят! Не мучай птицу под Светлое Христово Воскресение! Иван Гаврилович, приди в себя!

Я опомнился первый и вдохновенным вольтом выбил петуха из рук гражданина. Петух взметнулся, ударился грузно о лампочку, затем снизился и исчез за поворотом, там, где Павловнина кладовка. И гражданин мгновенно стих.

Случай был экстраординарный, как хотите, и лишь поэтому он кончился для меня благополучно. Квартхоз не говорил мне, что я, если мне не нравится эта квартира, могу подыскать себе особняк. Павловна не говорила, что я жгу лампочку до пяти часов, занимаясь «неизвестно какими делами», и что я вообще совершенно напрасно затесал-

ся туда, где проживает она. Шурку она имеет право бить, потому что это ее Шурка. И пусть я заведу себе «своих Шурок» и ем их с кашей. «Я, Павловна, если вы еще раз ударите Шурку по голове, подам на вас в суд, и вы будете сидеть год за истязание ребенка», — помогало плохо. Павловна грозилась, что она подаст «заявку» в правление, чтобы меня выселили. «Ежели кому не нравится, пусть идет туда, где образованные».

Словом, на сей раз ничего не было. В гробовом молчании разошлись все обитатели самой знаменитой квартиры в Москве. Неизвестного гражданина квартхоз и Катерина Ивановна под руки вывели на лестницу. Неизвестный шел, багровый, дрожа и покачиваясь, молча и выкатив убойные, угасающие глаза. Он был похож на отравленного беленой (*atropa belladonna*).

Обессилевшего петуха Павловна и Шурка поймали под кадушкой и тоже унесли.

Катерина Ивановна, вернувшись, рассказала:

— Пошел мой сукин сын (читай квартхоз — муж Катерины Ивановны) как добрый за покупками. Купил-таки у Сидоровны четверть. Гаврилыча пригласил — идем, говорит, попробуем. Все люди как люди, а они налакались, прости Господи мое согрешение, еще поп в церкви не звякнул. Ума не приложу, что с Гаврилычем сделалось. Выпили они, мой ему и говорит: чем тебе, Гаврилыч, с петухом в уборную иттить, дай я его подержу. А тот возьми и взбеленись. А, говорит, ты, говорит, петуха моего хочешь присвоить? И начал выть. Что ему почудилось, Господь его ведаст!..

В два часа ночи квартхоз, разговевшись, выбил все стекла, избил жену и свой поступок объяснил тем, что она заела ему жизнь. Я в это время был с женою у заутрени, и скандал шел без моего участия. Население квартиры дрогнуло и вызвало председателя правления. Председатель правления явился немедленно. С блестящими глазами и красный, как флаг, посмотрел на посиневшую Катерину Ивановну и сказал:

— Удивляюсь я тебе, Василь Иваныч. Глава дома и не можешь с бабой совладать.

Это был первый случай в жизни нашего председателя, когда он не обрадовался своим словам. Ему лично, шоферу

и Дуськину мужу пришлось обезоруживать Василь Ивановича, причем он порезал себе руку (Василь Иванович, после слов председателя, вооружился кухонным ножом, чтобы резать Катерину Ивановну: «Так я ж ей покажу»).

Председатель, заперев Катерину Ивановну в кладовке Павловны, внушал Иванычу, что Катерина Ивановна убежала, а Василь Иванович заснул со словами:

— Ладно. Я ее завтра зарежу. Она моих рук не избежит.

Председатель ушел со словами:

— Ну и самогон у Сидоровны. Зверь самогон.

В три часа ночи явился Иван Сидорыч. Публично заявляю: если бы я был мужчина, а не тряпка, я, конечно, выкинул бы Ивана Сидорыча вон из своей комнаты. Но я его боюсь. Он самое сильное лицо в правлении после председателя. Может быть, выселить ему и не удастся (а может, и удастся, черт его знает!), но отравить мне существование он может совершенно свободно. Для меня же это самое ужасное. Если мне отравят существование, я не могу писать фельетоны, а если я не буду писать фельетоны, то произойдет финансовый крах.

— Драсс... гражданин журн...лист, — сказал Иван Сидорыч, качаясь, как былинка под ветром. — Я к вам.

— Очень приятно.

— Я насчет эсперанто...

— ?

— Заметку бы написа... статью... Желаю открыть общество... Так и написать. Иван Сидорыч эсперантист желает, мол...

И вдруг Сидорыч заговорил на эсперанто (кстати: удивительно противный язык).

Не знаю, что прочел эсперантист в моих глазах, но только он вдруг съезжился, странные кургузые слова, похожие на помесь латинско-русских слов, стали обрываться, и Иван Сидорыч перешел на общедоступный язык.

— Впрочем... извин... с... я завтра.

— Милости просим, — ласково ответил я, подводя Ивана Сидорыча к двери (он почему-то хотел выйти через стену).

— Его нельзя выгнать? — спросила по уходе жена.

— Нет, детка, нельзя.

Утром в девять праздник начался матлотом, исполненным Василием Ивановичем на гармонике (плясала Катерина Ивановна) и речью вдребезги пьяного Аннушкиного Миши, обращенной ко мне. Миша от своего лица и от лица неизвестных мне граждан выразил мне свое уважение.

В 10 пришел младший дворник (выпивший слегка), в 10 час. 20 мин. старший (мертво-пьяный), в 10 час. 25 мин. истопник (в страшном состоянии, молчал и молча ушел, 5 миллионов, данные мною, потерял тут же в коридоре).

В полдень Сидоровна нахально недолила на три пальца четверть Василию Ивановичу. Тот тогда, взяв пустую четверть, отправился куда следует и заявил:

— Самогоном торгуют. Желаю арестовать.

— А ты не путаешь? — мрачно спросили его где следует. — По нашим сведениям, самогону в вашем квартале нету.

— Нету? — горько усмехнулся Василий Иванович. — Очень даже замечательны ваши слова.

— Так вот и нету. И как ты оказался трезвый, ежели у вас самогон? Иди-ка лучше — проспись. Завтра подашь заявление, которое с самогоном.

— Тэк-с... понимаем, — сказал, ошеломленно улыбаясь, Василий Иваныч. — Стало быть, управы на них нету? Пущай недоливают. А что касается, какой я трезвый, понюхайте четверть.

Четверть оказалась «с явно выраженным запахом сивушных масел».

— Веди! — сказали тогда Василию Ивановичу. И он привел.

Когда Василий Иванович проснулся, он сказал Катерине Ивановне:

— Сбегай к Сидоровне за четвертью.

— Очнись, окаянная душа, — ответила Катерина Ивановна. — Сидоровну закрыли.

— Как? Как же они пронюхали? — удивился Василий Иванович.

Я ликовал. Но ненадолго. Через полчаса Катерина Ивановна явилась с полной четвертью. Оказалось, что забил свеженький источник у Макеича через два дома

от Сидоровны. В 7 час. вечера я вырвал Наташу из рук ее супруга пекаря Володи. («Не смей бить!!», «Моя жена» и т. д.)

В 8 час. вечера, когда грянул лихой матлот и заплясала Аннушка, жена встала с дивана и сказала:

— Больше я не могу. Сделай что хочешь, но мы должны уехать отсюда.

— Детка, — ответил я в отчаянии. — Что я могу сделать? Я не могу достать комнату. Она стоит 20 миллиардов, я получаю четыре. Пока я не допишу романа, мы не можем ни на что надеяться. Терпи.

— Я не о себе, — ответила жена. — Но ты никогда не допишешь романа. Никогда. Жизнь безнадежна. Я приму морфий.

При этих словах я почувствовал, что я стал железным.

Я ответил, и голос мой был полон металла:

— Морфию ты не примешь, потому что я тебе этого не позволю. А роман я допишу, и, смею уверить, это будет такой роман, что от него небу станет жарко.

Затем помог жене одеться, запер дверь на ключ и замок, попросил Дусю первую (не пьет ничего, кроме портвейна) смотреть, чтобы замок никто не ломал, и увез жену на три дня праздника на Никитскую к сестре.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

У меня есть проект. В течение двух месяцев я берусь произвести осушение Москвы если не полностью, то на 90%.

Условия: во главе стану я. Штат помощников подберу я сам из студентов. Жалованье им нужно положить очень высокое (рублей 400 золотом. Дело оправдает). 100 человек. Мне — квартиру в три комнаты с кухней и одновременно 1000 рублей золотом. Пенсию жене, в случае, если меня убьют.

Полномочия неограниченные. По моему ордеру брать немедля. Судебное разбирательство в течение 24 часов, и никаких замен штрафом.

Я произведу разгром всех Сидоровн и Макенчей и отра-

женный попутный разгром «Уголков», «Цветков Грузии», «Замков Тамары» и т. под. мест.

Москва станет как Сахара, и в оазисах под электрическими вывесками «Торговля до 12 час. ночи» будет только легкое красное и белое вино.

*«Накануне» (литературное приложение),
29 июля 1923 г.*



ШАНСОН Д'ЭТЭ

ДОЖДЛИВАЯ ИНТРОДУКЦИЯ

Лето 1923-е в Москве было очень дождливое. Слово «очень» следует здесь расшифровать. Оно не значит, что дождь шел часто, скажем, через день или даже каждый день, нет, дождь шел три раза в день, а были дни, когда он не прекращался в течение всего дня. Кроме того, раза три в неделю он шел по ночам. Вне очереди начинались ливни. Полуторачасовые густые ливни с зелеными молниями и градом, достигавшим размеров голубинового яйца.

По окончании потопа, лишь только в небе появлялись первые голубые клочья, на улицах Москвы происходили оригинальные путешествия: за 5 миллионов переезжали на извозчиках и ломовых с одного тротуара на другой. Кроме того, можно было видеть мужчин ездивших друг на друге, и женщин, шедших с ногами, обнаженными до пределов допустимого и выше этих пределов.

В редкие антракты, когда небо над Москвой было похоже на взбитые сливки, москвичи говорили:

— Ну, слава Богу, погода устанавливается, уже полчаса дождя не было...

На Тверскую и Театральную площадь выезжали несколько серо-синих бочек, запряженных в одну лошадь, управляемую человеком в прозодежде (брезентовое пальто и брезентовый же шлем). Через горизонтальную трубку, помещенную сзади бочки, сквозь частые отверстия сочилась по столовой ложке вода, оставляя сзади шагом едущей бочки сырую дорожку шириной в два аршина.

Сидя у окна трамвая, я сделал карандашиком в записной книжке подсчет: чтобы полить Театральную площадь, нужно 90 таких одновременно работающих бочек при условии, если они будут ездить карьером.

Небо на издевательство поливального обоза отвечало жуткими пушечными раскатами, косым пулеметным градом, выбивавшим стекла, и реками воды, затоплявшими подвалы. На Неглинной утонули две женщины, потому что Неглинка под землей прорвала трубу и взорвала мостовую. Пожарные команды работали, откачивая воду из кафе «Риш», извозчики клячи бесились от секшего града. Это было в июне и в июле. После этого сырой обоз исчез и дождь принял нормальные формы.

Но если обоз опять появится на Театральной, чтобы дразнить небеса, ответственность за гибель Москвы да ляжет на него.

РАЗНОЦВЕТНЫЕ ГРИБЫ

Дожди вызвали в Москве интересный грибной всход. Первыми появились на всех скрещенниях красноголовцы. Это были милиционеры в новой форме. На них фуражки с красными околышами, черным верхом и зеленым кантом, зеленые же петлицы и зеленая же гимнастерка и галифе. Со свистками, кокардами и жезлами в чехлах они имеют вид настолько бравый, что глаз приятно отдыхает на них. Милицейское же начальство положительно блестяще.

Ревущие, воющие, кричающие машины в количестве 3 1/2 тысяч бегают по Москве и на всех перекрестках кокетливо-европейски объезжают изваянные красноголовые фигурки на зеленых ножках.

Трамваи в Москве имеют стройный вид: ни на подножках, ни на дугах нет ни одного висящего, и никто — ни один человек в Москве — не прыгает и не соскакивает на ходу. Добился трамвайного идеала Московский Совет в каких-нибудь 5—6 дней гениальным и простым установлением 50-рублевого штрафа на месте преступления. Но в течение этих шести дней возле трамваев и в трамваях была порядочная кутерьма. Красноголовцы с квитанционными книжками выскакивали точно из-под земли и вежливо штрафовали ошалевших россиян.

Наиболее строптивые платили не 50, а пятьсот, и уже не на месте прыжка, а в милиции.

ПОЗВОЛЬТЕ ПРИКУРИТЬ

Трамвайный штраф имел совершенно неожиданные последствия. Ровно неделю тому назад на Лубянке я подошел на трамвайной остановке к гражданину и попросил у него прикурить. Вместо того, чтобы протянуть мне папиросу, гражданин бросился от меня бежать. Решив, что он сумасшедший, я двинулся дальше по Театральному проезду и получил еще три отказа.

При слове:

— Позвольте прикурить, —

граждане бледнели и прятали папиросы за спину. Прикурил я за колонной у Александровского пассажа рядом с Мюром, причем дававший прикурить озирался, как волк. От него я узнал, что вышло постановление штрафовать за прикуривание на улице. Основание: бездельники задерживают спешащих на службу совработников.

Чистосердечно признаюсь, я был в числе тех, кто поверил. Кончилось все через несколько дней заметкой в «Известиях», в которой московские жители именовались «обывателями». Но меланхолический тон заметки ясно показывал, что исполненный гражданского мужества автор и сам не прикуривал.

Вслед за красными грибами выросли грибы невиданные: с черными головами. Молодые люди мужского и женского пола в кеппи, точь-в-точь таких, в каких бывают мальчишки-портые на заграничных кинематографических фильмах. Черноголовцы имеют на руках повязки, а на животах лотки с папиросами. На кеппи золотая надпись: «Моссельпром».

Итак, Моссельпром пошел в окончательный и решительный бой с уличной нелегальной торговлей. Мысль великодушная, тем более что черноголовые, оказывается, безработные студенты. Но дело в том, что студенты любят читать книжки. Поэтому очень часто на животе лоток, а на лотке «Исторический материализм» Бухарина. «Исторический материализм», спору нет — книга интересная, но торговля имеет свои капризы и законы. Она требует, чтобы человек вертелся, орал, приставал, напоминал о своем существовании. Публика смотрит на черноголовых благосклонно, но товар иногда боится спрашивать у человека с книжкой, по-

тому что приставать с требованием спичек к юноше, занятому чтением, — хамство. Может быть, он к экзамену готовится?

Я бы на этих лотках написал золотом:

«Книжке — время, а торговле — час».

Мне лично больше всего понравился гриб белый. Это многоэтажный дом на Новинском бульваре, который вырос на месте недостроенных, брошенных в военное время красных кирпичных стен.

Строить, строить, строить! С этой мыслью нам нужно ложиться, с нею вставать. В постройке наше спасение, наш выход, успех. На выставке выросли уже павильоны, выросла железнодорожная ветка, из парков временами выходят блестящие лакированные трамвайные вагоны (вероятно, капитальный ремонт), но нам нужнее дома.

ДАЧНИКИ, ЧЕРТ БЫ ИХ ВЗЯЛ!

Итак, в этом году началось. Они двинулись тучами по всем линиям, расходящимся от Москвы, и сели окрестным пейзазам на шею. Пейзазе приняли их, как библейскую саранчу, но саранчу жирную, и содрали с них за каждый час сидения сколько могли. Весь март Акулины и Егоры покупали на задаточные деньги коров, материал на штаны, косы и домашнюю посуду.

Иван Иванычи и Марья Ивановны забрали с собой керосиновые лампы. «Ключи счастья», одеяла, золотушных детей, и поселились в деревянных курятниках, и взвыли от комаров. Чрез неделю оказалось, что комары малярийные. Дачники питались пейзазским молоком, разведенным на 50% водой, и хиной, за которую в дачных аптеках брали в три раза дороже, чем в Москве. На всех речонках расселись паразиты с гнилыми лодками, на станциях паразитки с мороженым, пивом, папиросами, грязными черешнями. В зелени, лаская глаз, выросла красивая надпись:

«ЛОТО НА КЛЯЗЬМЕ С 5 ЧАС. ВЕЧЕРА»

и повсюду: «Ресторан».

На речонках и прудах до рассвета лопотали моторы. У станций стаями торчали бородачи в синих кафтанах и драли за 1/4 версты дороже, чем в Москве за 1/2 версты.

За мясо, за яблоки, за дрова, за керосин, за синее молоко — вдвое!

— Пляж у нас, господин, замечательный... Останетесь довольны. В воскресенье — чистый срам. Голье, ну, в чем мать родила, по всей реке лежат. Только вот — дождик!

(В сторону) — Что это за люди, прости Господи! Днем голые на реке лежат, ночью их черти по лесу носят!

Пейзане вставали в 3 часа утра, чтобы работать, дачники в это время ложились спать. Днем пейзажи доили коров, косили, жали, убирали, стучали топорами, дачники изнывали в деревянных клетушках, читали «Атлантиду» Бенуа, шлялись под дождем в тоскливых поисках пива, приглашали дачных врачей, чтобы их лечили от малярии, и по утрам пачками, зевая и томясь, стоя, неслись в дачных вагонах в Москву.

Наконец, дождь их доконал, и целыми батальонами они начали дезертировать. В Москву, в Эрмитаж и Аквариум. Еще дней 5—6, и они вернутся все.

Нету от них спасения!

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ АККОРД

Дождь, представьте, опять пошел. Выйдем на берег. Там волны будут нам ноги лобзать.

«Накануне», 16 августа 1923 г.

В дневнике М. А. за 25 июля 1923 года записал: «Лето 1923 г. в Москве исключительное. Дня не проходит без того, чтобы не лил дождь и иногда по несколько раз. В июне было два знаменитых ливня, когда на Неглинной провалилась мостовая и заливало мостовые. Сегодня было нечто подобное — ливень с крупным градом...» (*«Театр», 1990, № 2, с. 145*).



ДЕНЬ НАШЕЙ ЖИЗНИ

- А вот угле-ей... углееееей!..
- Вот чертова глотка.
- ...глей... глей!!
- Который час?
- Половина девятого, чтоб ему издохнуть.
- Это, значит, я с шести не сплю. Они навеки в отдушины поселились. Как шесть часов, отец семейства летит и орет, как сумасшедший, а потом дети. Знаешь, что я придумала? Ты в них камнем швырни. Прицелься хорошенько, и попадешь.
- Ну да. Прямо в студию, а потом за стекло два месяца служить.
- Да, пожалуй. Дрянные птицы. И почему в Москве такая масса ворон... Вон за границей голуби... В Ита-лии...
- Голуби тоже сволочь порядочная. Ах, черт возьми! Погляди-ка...
- Боже мой! Не понимаю, как ты ухитряешься рвать?
- Да помилуй! При чем здесь я? Ведь он сверху донизу лопнул. Вот тебе твой ГУМ универсальный!
- Он такой же мой, как и твой. Сто миллионов носки на один день. Лучше бы я ромовой бабки купила. На, зеленые.
- Ничего, я булавочкой заколю. Вот и незаметно. Осторожнее, ради Бога!..
- Ты знаешь, Сема говорит, что это не примус, а опта-мус.
- Ну и что?
- Говорит, обязательно взорвет. Потому, что он швед-ский.
- Чепуху какую-то твой Сема говорит.

— Нет, не чепуху. Вчера в шестнадцатой квартире у комсомолки вся юбка обгорела. Бабы говорят, что это ее Бог наказал за то, что она в комсомол записалась.

— Бабы, конечно... они понимают...

— Нет, ты не смейся. Представь себе, только что она записалась, как — трах! — украли у нее новенькие лаковые туфли. Комсомолкина мамаша побежала к гадалке. Гадалка пошептала, пошептала и говорит: взяла их, говорит, женщина, небольшого росту, замужняя, на щеке у ей родинка...

— Постой, постой...

— Вот то-то ж. Ты слушай. То-то я удивляюсь, как ни прохожу, все комсомолкина мамаша на мою щеку смотрит. Наконец, потеряла я терпение и спрашиваю: что это вы на меня смотрите, товарищ? А она отвечает: так-с. Ничего. Проходите, куда шли. Только довольно нам это странно. Образованная дама, а между тем родинка. Я засмеялась и говорю: ничего не понимаю! А она: ничего-с, ничего-с, проходите. Видали мы блондинок!

— Ах, дрянь!

— Да ты не сердись. Прилетает комсомолка и говорит мамаше: дура ты, у ей муж по 12-му разряду, друг воздушно-го флота, захочет, так он ее туфлями обсыпет всю. Видала чулки телесного цвета? И надоели вы мне, говорит, мамаша, с вашими гадалками и иконами! И собиралась иконы вынести. Я, говорит, их на воздушный флот пожертвую. Что тут с мамашей сделалось! Выскочила она и закатила скандал на весь двор. Я, кричит, не посмотрю, что она комсомолка, а проклянущу ее до седьмого колена! А тебе, орет, желаю, чтоб ты с своего воздушного флота мордой об землю брякнулась!

Баб слетелось видимо-невидимо, и выходит, наконец, комендант и говорит: вы немного полегче, Анна Тимофеевна, а то за такие слова, знаете ли... Что касается вашей дочери, то она заслуживает полного уважения со стороны всего пролетариата нашего номера за борьбу с капиталом Маркса при помощи воздушного флота. А вы, Анна Тимофеевна, извините меня, но вы скандалистка, вам надо валерьянкины капли пить! А та как взбеленилась — и коменданту: пей сам, если тебе самогонка надоела!

Ну, тут уж комендант рассвирепел: я, говорит, тебя, паршивая баба, в 24 часа выселю из дома, так что ты у меня, как на аэроплане, вылетишь к свиньям! И ногами начал топтать.

Топал, топал, и вдруг прибегает Манька и кричит: Анна Тимофеевна, туфли нашлись.

Оказывается, никакая не блондинка, а это Сысоич, мамашин любовник, снес их самогонщице, а Манька...

— Да! Да! Войдите! В чем дело, товарищ?

— Деньги за энергию пожалуйста, 35 лимонов.

— Однако! Пять, десять...

— Это что. В следующем месяце 100 будет. Могэс по банкноту берет. Банкнот в гору. И коммунальная энергия за ним. До свиданьи-ус. Виноват-с. Вы к духовному сословию не принадлежите?

— Помилуйте! Кажется, видите... брюки...

— Хе-хе. Это я для порядку. Контора запрашивает для списков. Так я против вас напишу — трудящий элемент.

— Вот именно. Честь имею...

— Отцвели уж давно-о-о хризантемы в саду-у!

— Точить ножжжи-ножницы!..

— Но любовь все живет в моем сердце больном!

— Брось ты ему пять лимонов, чтоб он заткнулся.

— А за ним шарманка ползет...

— Ну, я полетел... Опаздываю... Приду в пять или в восемь!..

— Молочка не потребуется?... Дорогие братцы, сестрички, подайте калеке убогому... Клубника. Нобель замечательная... Булочки — свежие, французские... Папиросы «Красная звезда». Спички... Обратите внимание, граждане, на убожество мое!

— Извозчик! Свободен?

— Пожалте... Полтора рублика! Ваше сиятельство! Рублик! Господин! Я катал!! Семь гривен! Я даю! На резвой, ваше высокоблагородие! Куда ехать? Полтинник!

— Четвертак.

— Три гривенничка... Эх, ваше сиятельство, овес.

— Ты куда? Я т-тебе угол срежу!

— Вот оно, ваше превосходительство, житье извозчище.

— Эх, держи его! Так его. Не сигай на ходу!

— Вор?

— Никак нет. В трамвай на скаку сиганул. На 50 лимонов штрахують.

— Здесь. Стой! Здравствуйте, Алексей Алексеич.

— Праскухин-то... слышали? 25 червонцев позавчера пристроил! Пристало отделение, а он расписался и, конечно, на беге. Вчера является к заведывающему пустой, как барабан. Тот ему говорит — даю вам шесть часов срока, пополните. Ну, конечно, откуда он пополнит. Разве что сам напечатает. Ловят его теперь.

— Помилуйте, я его только что в трамвае видел. Едет с какими-то свертками и бутылками...

— Ну так что ж. К жене на дачу поехал отдыхать. Да вы не беспокойтесь. И на даче словят. И месяца не пройдет, как поймают.

— Алло... Да, я... Не готово еще. Хорошо... На отношение ваше за № 21 580 об организации при губотделе фонда взаимопомощи сообщаю, что ввиду того, что губкасса... Машинописки свободны?... На заседании губпроса было обращено внимание цекпроса на то, запятая, написали?... что изданное, перед «что» запятая, а не после «что», изданное Моно циркулярное распоряжение, направленное в Рono и Уono и Губоно... а также утвержденное губсоцвосом... Алло! Нет, повесьте трубку...

— А я тут к вам поэта направил из провинции.

— Ну и свинство с вашей стороны... Вы, товарищ? Позвольте посмотреть...

Но если даже люди
Меня затопчут в грязь,
Я воскликну, смеясь...

Видите ли, товарищ, стихи хорошие, но журнал чисто школьный, народное образование... Право, не могу вам посоветовать... журналов много... Попробуйте... Переутомился я, и денег нет... Сколько, вы говорите, за мной авансу? Уй; юй, юй! Ну, чтоб округлить, дайте еще пятьсот... Триста? Ну, хорошо. Я сейчас поеду по делу, так вы рукописи секретарю передайте... Извозчик! Гривенник!..

— Подайте, барин, сироткам...

— Стой! Здравствуйте, Семен Николаевич!

— В кассе денег ни копейки.

— Позвольте... Что ж вы так сразу... Я ведь еще и не заикнулся...

— Да ведь вы сегодня уже пятый.. Капитан, за капитаном — Юрий Самойлович, за Юрием Самойловичем...

— Знаю, знаю... А патриарх-то? А?

— Капитан поехал его интервьюировать...

— Это интересно... Кстати, о патриархе, сколько за мной авансу?.. Двести? Нет, триста... Извозчик! Двугривенный... Стой! Нет, граждане, ей-богу, я только на минуту, по делу. И вечером у меня срочная работа... Ну, разве на минуту... Общее собрание у них... Ну, мы подождем и их захватим... Стой!

Во Францию два генерала
Из русского плена брели!

Ого-го!.. А мы сейчас два столика сдвинем... Слуш... Раки получены... необыкновенные раки... Граждане, как вы насчет раков? А?.. Полдюжины... И трехгорного полдюжины... Или лучше, чтоб вам не ходить — сразу дюжину!.. Господа! Мы уже условились... на минуту...

Иная на сердце забота!..

Позвольте... позвольте... что ж это он поет?..

В плену... полководец... в плену-у-у...

А! Это другое дело. Ваше здоровье. Братья писатели!.. Семь раз солянка по-московски!

И выйдет к тебе... полководец!
Из гроба твой ве-е-ерный солдат!

Что это он все про полководцев?.. Великая французская... Раки-то, раки! В первый раз вижу...

Bis! Bis! Народу-то! Позвольте... что ж это такое? Да ведь это Праскухин! Где?! Вон в углу. С дамой сидит! Чудеса!.. Ну, значит, еще не поймали!.. Гражданин! Еще полдюжинки!

Вни-и-из по ма-а-а-тушке по Во-о-олге!.. Эх, гармония хороша! Еду на Волгу! Переутомился я! Билет бесплатный раздобуду, и только меня и видели, потому я устал!

По широкому-у раздолью!..

Батюшки! Выводят кого-то!

— Я не посмотрю, что ты герой труда!!! А... а!!

— Граждане, попрошу неприличными словами не выражаться...

— Граждане, а что, если нам красного «Напареули»?

А?.. Поехали! На минуточку... Сюда! Стоп! Шашлык семь раз...

Был душой велик! Умер он от ран!..

...Да на трамвае же!.. Да на полчаса!.. Плюньте, завтра напишете!..

— Захватывающее зрелище! Борьба чемпиона мира с живым медведем... Bis!! Что за черт! Что он, неуловимый, что ли?! Вон он! В ложе сидит!.. Батюшки, половина первого! Извозчик! Извозчик!..

— Три рублика!..

— Очень хорошо. Очень.

— Миленькая! Клянусь, общее собрание. Понимаешь. Общее собрание, и никаких! Не мог!

— Я вижу, ты и сейчас не можешь на ногах стоять!

— Деточка. Ей-богу. Что, бишь, я хотел сказать? Да. Праскухин-то, а? Понимаешь? Двадцать пять червонцев, и, понимаешь, в ложе сидит... Да бухгалтер же... Брюнет...

— Ложись ты лучше. Завтра поговорим.

— Это верно... Что, бишь, я хотел сделать? Да, лечь... Это правильно. Я ложусь... но только умоляю разбудить меня, разбудить меня, непременно, чтоб меня черт взял, в десять минут пятого... нет, пять десятого... Я начинаю новую жизнь... Завтра...

— Слышали. Спи.

«Накануне» (литературное приложение), 2 сентября 1923 г.



ПСАЛОМ

Первоначально кажется, что это крыса царапается в дверь. Но слышен очень вежливый человеческий голос:

— Можно зайти?

— Можно, пожалуйста.

Поют дверные петли.

— Иди и садись на диван!

(От двери) — А как я по паркету пойду?

— А ты тихонечко иди и не катайся. Ну-с, что новенького?

— Нициво.

— Позвольте, а кто сегодня утром ревел в коридоре?

(Тягостная пауза) — Я ревел.

— Почему?

— Меня мать наслепала.

— За что?

(Напряженная пауза) — Я Сурке ухо укусил.

— Однако.

— Мама говорит, Сурка — негодяй. Он дразнит меня, копейки поотнимал.

— Все равно, таких дскретов нет, чтоб из-за копеск ушн людям кусать. Ты, выходит, глупый мальчик.

(Обида) — Я с тобой не возусь.

— И не надо.

(Пауза) — Папа присдет, я ему сказу (пауза). Он тебя застрелит.

— Ах, так. Ну, тогда я чай не буду делать. К чему? Раз меня застрелит...

— Нет, ты цай делай.

— А ты выпьешь со мной?

— С конфетами? Да?

— Непременно.

— Я выпью.

На корточках два человеческих тела — большое и маленькое. Музыкальным звоном кипит чайник, и конус жаркого света лежит на странице Джером-Джерома.

— Стихи-то ты, наверно, забыл?

— Нет, не забыл.

— Ну, читай.

— Ку... Куплю я себе туфли...

— К фраку.

— К фраку и буду петь по ночам...

— Псалом.

— Псалом... И заведу... себе собаку...

— Ни...

— Ни-це-во-о...

— Как-нибудь проживем.

— Нибудь как. Пра-зи-ве-ем.

— Вот именно. Чай закипит, выпьем. Проживем.

(Глубокий вздох) — Пра-зи-ве-ем.

Звон. Джером. Пар. Конус. Лоснится паркет.

— Ты одинокий.

Джером падает на паркет. Страница угасает.

(Пауза) — Это кто же тебе говорил?

(Безмятежная ясность) — Мама.

— Когда?

— Тебе пуговицу когда присивала. Присивала. Присивает, присивает и говорит Натаске...

— Тэк-с. Погоди, погоди, не вертись, а то я тебя обва-рю... Ух!

— Горячий, ух.

— Конфету какую хочешь, такую и бери.

— Вот я эту большую хоцу.

— Подуй, подуй, и ногами не болтай.

(Женский голос за сценой) — Славка!

Стучит дверь. Петли поют приятно.

— Опять он у вас. Славка, иди домой!

— Нет, нет, мы с ним чай пьем.

— Он же недавно пил.

(Тихая откровенность) — Я... не пил.

— Вера Ивановна. Идите чай пить.

— Спасибо, я недавно...

— Идите, идите, я вас не пушу...

— Руки мокрые... белье я вешаю.

(Непрошенный заступник) — Не смей мою маму тянуть.

— Ну, хорошо, не буду тянуть... Вера Ивановна, садись...

— Погодите, я белье повешу, тогда приду.

— Великолепно. Я не буду тушить керосинку.

— А ты, Славка, выпьешь, иди к себе. Спать. Он вам мешает.

— Я не месаю. Я не салю.

Петли поют неприятно. Конусы в разные стороны. Чайник безмолвен.

— Ты уже спать хочешь?

— Нет, я не хочу. Ты мне сказку Расскажи.

— А у тебя уже глаза маленькие.

— Нет. Не маленькие, Расскажи.

— Ну, иди сюда, ко мне. Голову клади. Так. Сказку? Какую же тебе сказку рассказать? А?

— Про мальчика, про того...

— Про мальчика? Это, брат, трудная сказка. Ну, для тебя так и быть. Ну-с, так вот, жил, стало быть, на свете мальчик. Да-с. Маленький, лет так приблизительно четырех. В Москве. С мамой. И звали этого мальчика Славка.

— Угу... Как меня?

— Довольно красивый, но был он, к величайшему сожалению, драчун. И дрался он чем ни попало — кулаками, и ногами, и даже калошами. А однажды по лестнице девочку из 8-го номера, славная такая девочка, тихая, красавица, а он ее по морде книжкой ударил.

— Она сама дерется...

— Погоди. Это не о тебе речь идет.

— Другой Славка?

— Совершенно другой. На чем, бишь, я остановился? Да... Ну, натурально, пороли этого Славку каждый день, потому что нельзя же, в самом деле, драки позволять. А Славка все-таки не унимался. И дошло дело до того, что в один прекрасный день Славка поссорился с Шуркой, тоже мальчик такой был, и, не долго думая, хватя его зубами за ухо, и пол-уха как не бывало. Гвалт тут поднялся, Шурка орет, Славку порют, он тоже орет... Кой-как при-

клеили Шуркино ухо синдетиконом, Славку, конечно, в угол поставили... И вдруг — звонок. И является совершенно неизвестный господин с огромной рыжей бородой и в синих очках и спрашивает басом: «А позвольте узнать, кто здесь будет Славка?» Славка отвечает: «Это я — Славка». «Ну, вот что, — говорит, — Славка, я — надзиратель за всеми драчунами, и придется мне тебя, уважаемый Славка, удалить из Москвы. В Туркестан». Видит Славка, дело плохо, и чистосердечно раскаялся: «Признаюсь, — говорит, — что дрался я и на лестнице играл в копейки, а маме бессовестно наврал — сказал, что не играл... Но больше этого не будет, потому что я начинаю новую жизнь» «Ну, — говорит надзиратель, — это другое дело. Тогда тебе следует награда за чистосердечное твое раскаяние». И немедленно повел Славку в наградной раздаточный склад. И видит Славка, что там видимо-невидимо разных вещей. Тут и воздушные шары, и автомобили, и аэропланы, и полосатые мячики, и велосипеды, и барабаны. И говорит надзиратель: «Выбирай, что твоя душа хочет». А вот что Славка выбрал, я и забыл...

(Сладкий, сонный бас) — Велосипед!

— Да, да, вспомнил, — велосипед. И сел немедленно Славка на велосипед и покатил прямо на Кузнецкий мост. Катит и в рожок трубит, а публика стоит на тротуаре, удивляется: «Ну и замечательный же человек этот Славка. И как он под автомобиль не попадет?» А Славка сигналы дает и кричит извозчикам: «Право держи!» Извозчики летят, машины летят, Славка нажаривает, и идут солдагы и марш играют, так что в ушах звенит...

— Уже?..

Петли поют. Коридор. Дверь. Белые руки, обнаженные по локоть.

— Боже мой. Давайте я его раздену.

— Приходите же. Я жду.

— Поздно...

— Нет, нет... И слышать не хочу...

— Ну, хорошо.

Конусы света. Начинает звенеть. Выше фитили. Джером не нужен — лежит на полу. В слюдяном окне керосинки маленький радостный ад. Буду петь по ночам псалом. Как-нибудь проживем. Да, я одинокий. Псалом печален.

Я не умею жить. Мучительнее всего в жизни — пуговицы. Они отваливаются, как будто отгнивают. Отлетела на жилете вчера одна. Сегодня одна на пиджаке и одна на брюках сзади. Я не умею жить с пуговицами, но я все вижу и все понимаю. Он не придет. Он меня не застрелит. Она говорила тогда в коридоре Наташке: «Скоро вернется муж, и мы уедем в Петербург». Ничего он не вернется. Он не вернется, поверьте мне. Семь месяцев его нет, а три раза я видел случайно, как она плачет. Слезы, знаете ли, не скроешь. Но только он очень много потерял от того, что бросил эти белые, теплые руки. Это его дело, но я не понимаю, как же он мог Славку забыть...

Как радостно спели петли...

Конусов нет. В слюдяном окошке черная мгла. Давно замолк чайник.

Свет лампы тысячью маленьких глазков глядит сквозь реденький сатинет.

— Пальцы у вас замечательные. Вам бы пианисткой быть...

— Вот поеду в Петербург, опять буду играть...

— Вы не поедете в Петербург. У Славки на шее такие же завитки, как и у вас. А у меня тоска, знаете ли. Скучно так, чрезвычайно как-то.

Жить невозможно. Кругом пуговицы, пуговицы, пуго...

— Не целуйте меня... Не целуйте... Мне нужно уходить. Поздно.

— Вы не уйдете. Вы там начнете плакать. У вас есть эта привычка.

— Неправда. Я не плачу. Кто вам сказал?

— Я сам знаю. Я сам вижу. Вы будете плакать, а у меня тоска... тоска...

— Что я делаю... что вы делаете...

Конусов нет. Не светит лампа сквозь реденький сатинет. Мгла. Мгла.

Пуговиц нет. Я куплю Славке велосипед. Не куплю себе туфли к фрак, не буду петь по ночам псалом. Ничего, как-нибудь проживем.

«Накануне», 23 сентября 1923 г.

Рассказ переиздан в сборнике: М. Булгаков. Трактат о жилище. М.-Л., Земля и Фабрика, 1926 г.

ЗОЛОТИСТЫЙ ГОРОД

I

ПИЩА БОГОВ

— Жуткая свинья. От угла рояля до двери в комнату Анны Васильевны.

— Вася!! Ведь ты врешь?

— Вру? Вру? Поезжайте сами посмотрите! Это обидно, в конце концов, все, что ни скажу, все вру! Сто восемнадцать пудов свинья.

— Ты сам видел?

— Все видели.

— Нет, ты скажи, ты сам видел?

— Ну... мне Петров рассказывал... Чудовищная свинья!

— Лгун твой Петров чудовищный. Ведь такая свинья в товарный вагон не влезет, как же ее в Москву везли?

— Я почему знаю! Может быть, на этой... как ее... на открытой платформе. Или на грузовике.

— Где ж такую свинью развели?

— А черт ее знает! В каком-нибудь совхозе. Конечно, не мужицкая. Мужичьи свиньи паршивые, маленькие, как кошки. Вот и притащили им такую с автомобиль. Они посмотрят, посмотрят, да и сами заведут таких.

— Нет, Вася... Ты такой человек... такой человек...

— Ну, черт с вами! Не буду больше рассказывать!

II

НА МОСКВЕ-РЕКЕ

Августовский вечер ясен. В пыльной дымке по Садовому кольцу летят гроыхающие ящики трамвая «Б» с красным аншлагом: «На выставку». Полным-полно. Обгоняют гру-

зовики и легкие машины, поднимая облако пыли и бензинового дыму.

На Смоленском толчея усиливается. Среди шляпок и шляп вырастает белая чалма, среди спин пиджаков — полосатая спина бухарского халата. Еще какие-то шафранные скуластые лица, раскосые глаза.

Каменный мост в ущелье-улице показывается острыми красными пятнами флагов. По мосту, по пешеходным дорожкам льется струя людей, и навстречу, гудя, вылезает облупленный автобус. С моста разворачивается городок. С первого же взгляда в заходящем солнце на берегу Москвы-реки он легок, воздушен, стремителен и золотист.

Публика высыпается из трамвая, как из мешка. На усыпанных песком пространствах перед входами муравейник людей.

Продавцы с лотками выкрикивают:

— Дюшес, дюшес сладкий!

И машины рывкают, ползают, пробираясь в толпе. На остановках стена людей, осаждающих обратные «Б», а у касс хвосты.

И всюду дальше дерево, дерево, дерево. Свежее, оструганное, распиленное, золотое, сложившееся в причудливые башни, павильоны, фигуры, вышки.

Чешуя Москвы-реки делит два мира. На том берегу низенькие, одноэтажные красные, серенькие домики, привычный уют и уклад, а на этом — разметавшийся, острокрыший, островерхий, колючий город-павильон.

Из трамвая, отдуваясь, выбирается фигура хорошо и плотно одетая, с золотой цепочкой на животе, окидывает взором буйную толчею и бормочет:

— Черт их знает, действительно! На этом болоте лет пять надо было строить, а они в пять месяцев построили! Манечка! Надо будет узнать, где тут ресторан!

Толстая Манечка, гремя и сверкая кольцами, браслетами, цепями и камнями, впивается в пиджак, и пара спешит к кассам.

Турникеты скрипят, и продавцы и продавщицы значков воздушного флота налетают со всех сторон.

— Гражданин, значок! Значок!

— Газета «Смычка» с планом выставки! Десять рублей! С подробным планом!

Под ногами хрустит песок. Направо разноцветный, штучный, словно из детских кубиков сложенный павильон.

III

КУСТАРНЫЙ

Из глубины — медный марш. У входа, в синей форме, в синем мягком шлеме, дежурный пожарный. «Зажигать огонь и курить строго воспрещается». Сигнал. «В случае пожара...» и т. д. У стола отбирают дамские сумки и портфели.

Трехсветный, трехэтажный павильон весь залит пятнами цветных экспонатов по золотому деревянному фону, а в окнах синеющая и стальная гладь Москвы-реки.

«Sibcustprom» — изделия из мамонтовой кости. Маленький бюст Троцкого, резные фигурные шахматы, сотни вещиц и безделушек.

Горностаевым мехом по овчине белые буквы «Н.К.В.Т.» и щиты, и на щитах меха. Черно-бурые лисицы, черный редкий волк, песцы разные — недопесок, синяк, гагара. Соболя прибайкальские, якутские, нарынские, росомахи темные.

Бледный кисейный вечерний свет в окне и спальня красного дерева. Столовая. И всюду Троцкий, Троцкий, Троцкий. Черный бронзовый, белый гипсовый, костяной, всякий.

«Игрушки — радость детей», и кустсоюз выбросил ликующую золото-сине-красную гамму и карусель.

Мальцевский завод, кузнецовские фабрики работают, и Продасиликат уставил полки разноцветным стеклом, фарфором, фаянсом, глиной. Разрисованные чайники, чашки, посуда — экспорт на Восток, в Бухару.

Комиссия, ведающая местами заключения, показала работы заключенных: обувь, безделушки. Портрет Карла Маркса глядит сверху.

Gossspirit. От легких растворителей масел, метиловых спиртов и ректификата к разноцветным 20-ти градусным водкам, пестрозтикетной башенной рябиновке-смирновке. Мимо плывет публика, и вздохи их выются вокруг поставца,

ласкающего взоры. Рюмки в ряду ждут избранных — спецов-дегустаторов.

Уральские самоцветы, яшма, малахит, горный дымчатый хрусталь. На гигантском столе модель фабрики галош, опять меха, ткани, вышивки, кожи. Вижу в приводе, куда сбегают легкие лестницы, экипажи, брички показательной, образцовой мастерской. Бочки, оси, колеса... Лампы вспыхивают под потолком, на стенах, павильон наливается теплым светом, угасает Москва-река за окном.

IV

ЦВЕТНИК — ЛЕНИН

Шуршит песок. Тень легла на Москву. Белые шары горят, в высоте арка оделась огнями. Киоск с пивом осаждают. Духота.

Главное здание — причудливая смесь дерева и стекла.

В полумраке — внутренний цветник. У входа — гигантские разные деревянные тросы. А на огромной площади утонула трибуна в гуще тысячной толпы. Слов не слышно, но видна женская фигура. Несомненно, деревенская баба в белом платочке. Последние ее слова покрывает не крик, а грохот толпы, и отзывается на него издали затерявшийся под краем подковы — главного павильона — оркестр. С трибуны исчезает белый платок, вместо него черный мужской силуэт.

— Доро-гой! Ильич!!

Опять грохот. Затем буйный марш, и рядами толпа валит между огромным цветником и зданием открытого театра к Нескучному на концерт. В рядах плывут клинобродные мужики, армейцы в шлемах, пионеры в красных галстуках, с голыми коленями, женщины в платочках, сельские бородатые захолустные фигуры и московские рабчие в картузах.

Даму отрезало рекой от театра. Она шепчет:

— Не выставка, а черт знает что! От пролетариата прохода нет. Видеть больше не могу!

Пиджак отзывается сиплым шепотом:

— Н-да, трудновато!

И их начинает вертеть в водовороте.

К центру цветника непрерывное паломничество отдельных фигур. Там знаменитый на всю Москву цветочный портрет Ленина. Вертикально поставленный, чуть наклонный двускатный щит, обложенный землей, и на одном скате с изумительной точностью выращен из разноцветных цветов и трав громадный Ленин, до пояса. На противоположном скате отрывок из его речи.

Три электро-солнца бьют сквозь легкие трельяжи, решетки и мачты открытого театра. Все дерево, все воздушное, сквозное, просторное. На громадной сцене медный оркестр льет вальс, и черным-черны скамьи от народа. (Москва, август.)

V

ВЕЧЕР. УЗБЕКИ

Тень покрывает город и Москву-реку. В фантастическом выставочном цветнике полумрак, и в нем цветочный Ленин кажется нарисованным на громадном полотне.

Павильоны, что тянутся по берегу реки к Нескучному, начинают светиться. Ослепительно ярко загорается павильон с гипсовыми мощными торсами, поддерживающими серые пожарные шланги. На фронте, на стене надписи. Пожары в деревне. Борьба с пожарами. В павильоне полный свет, но еще стоят внутри кой-где леса. Он еще не окончен.

— Не беспокойтесь, завтра откроют. Со мной так было: утром придешь, посмотришь работу, а вечером этого места не узнаешь — кончили!

И опять: свет, потом полумрак. Горит павильон сельскохозяйственного союза. В стеклах дыни, груши. Рядом — темноватая глыба. Чернеет подпись «закрыто». В полумраке, в отсвете ламп с отдаленных фонарей, в кафе на берегу реки, едят и пьют. Сюда, на берег реки, еще не дали света.

По Москве-реке бегут огоньки на лодках. Стучит в отдалении мотор, и распластанный гидроплан прилепился к самому берегу. Армейцы в шлемах тучей облепили загородку, смотрят водяную алюминиевую птицу.

В полумраке же квадраты и шашечные клетки показателных орошаемых участков, темны и неясны очертания у

цветников, окаймляющих павильоны рядом белых астр. Пахнут по-вечернему цветы табака.

По дорожкам народ группами стремится к Туркестанскому павильону, входит в него толпами. Внутри блестит причудливая деревянная резьба, свет волной. Снаружи он расписан пестро, ярко, необыкновенно.

И тотчас возле него начинает приветливо пахнуть шашлыком.

Там, где беседка под самым берегом, память угасшего, отжившего века Екатерины — Павла — Александра, на грани, где зеленым морем надвигается Нескучный сад с огнями электрическими, резкими, новыми, вдоль берега кипят гигантские самовары, бродят тибетейки, чалмы.

За Туркестанским хитрым, расписным домом библейская какая-то арба. Колеса-гиганты, гигантские шляпки гвоздей, гигантские оглобли. Арба. Потом по берегу, вдоль дороги, под деревьями навесы деревянные и низкие настилы, крытые восточными коврами. Манит сюда запах шашлыка москвичей, и белые московские барышни, ребята, мужчины в европейских пиджаках, поджав ноги в остроносых ботинках, с расплывшимися улыбками на лицах, сидят на пестрых толстых тканях. Пьют из каких-то безруких чашек. Стоят перетянутые в талию, тускло блестящие восточные сосуды.

В печах под навесами бушует красное пламя, висят на перекладинах бараньи освежеванные туши. Мечутся фартуки. Мелькают черные головы.

Раскаленный уголь в извитую громоздкую трубку, и черный неизвестный восточный гражданин Республики курит.

— Кто вы такие? Откуда? Национальность?

— Узбеки. Мы.

Что ж. Узбеки так узбеки. К узбеку в кассы сыпят 50-ти и сторублевые бумажки.

— Четыре порции. Шашлык.

Пельмени ворчат у печей. Жаром веет. Хруст и говор. Едят маслящиеся пельмени, едят какой-то витой белый хлеб, волокут шашлык на тарелках.

Мимо навесов по дороге непрерывно идут и идут в Нескучный сад. Оттуда доносится то глухо, то ясными взрывами музыка.

ДВИЖЕНИЕ

По дорожкам, то утрамбованным, то зыбким и рыхлым, снуют и снуют, идут вперед к туркестанцам, идут назад к выходам. По дороге еще буфет и тоже темно. Также еще не дали свету. Но и там звенят ложечки и стаканы.

Круглое, светящееся преграждает путь. Павильон Нарпита. В кольцевой галерее снаружи, конечно, едят и пьют, и подает «услуживающий» в какой-то диковинной фуражке с красным ярлыком. Внутри, в стеклянном граненом павильоне, чинно и чисто. Диаграммы, масляными красками вдоль всей верхней части стены картины будущего общественного питания. Общественные кухни с наилучшим техническим оборудованием. Общественные столовые.

Посередине сервирован стол. Так чисто, на красивой посуде будут есть, когда процветет «Narpit».

Выставка теперь живет до 12 часов ночи. Но за два, за три часа по пескам, в суете, по пространству с уездный город, и вот ноги больше не хотят ходить.

На выставку надо ездить много — раз пять, шесть, чтобы успеть хоть сколько-нибудь добросовестно осмотреть, что-нибудь запомнить, всюду побывать.

На выход! На выход! Домой!

И вот у выходов долгий, скучный, тяжелый фокус. Отсюда в город трамвай идет полный, до отказа. Тучи ждут. Когда в него попадешь?

Вон мелькнула надежда. Стоит черный автомобиль с продолговатыми лавками.

— Берете публику?

— Нет. Это машина Горбанка.

Но вот спасительный красный ящик. Неуклюж, как слон, облуплен, тяжел, грузен.

— До Страстного?

— 75 рублей.

Скорее садиться. Места занимают вмиг.

О Боже! Кишки вытрясет!

Последним на ходу вскакивает некто с портфелем. Физиономия настолько озабоченная, портфель настолько внушительный, взгляды настолько сосредоточенные, что

сразу видно — не простой смертный, а выставочный. Так и есть.

— Вот я организую автобусное движение. На хороших машинах.

— Очень бы хорошо было. А то, знаете ли, пропадешь.

— Еще бы... Ведь это не машина, а...

Но не успел организатор сказать, что именно. Тряхнуло так, что язык вскочил между зубами.

Так и надо. Скорее организовывай.

И загудело, и замотало, и начало качать по набережной к Храму Христа.

— Только бы живым выйти!

VII

ЧЕРЕЗ ДВЕ НЕДЕЛИ

Две недели я не был на выставке, и за эти две недели резко изменился деревянный город.

Он окрасился, покрылся цветными пятнами. Затем исчезли последние леса у павильонов, исчез мусор. Почва под сентябрьским солнцем высохла, утрамбовалась, и идти теперь легко.

Потом город запыхтел, и застучал, и заиграл. Посетителей стало все больше, и в праздничные дни начинается толчея. Впечатление такое, что всех вливающих за турникеты охватывает какое-то радостное возбуждение. Крики газетчиков, звуки оркестров, толпа, краски — все это поднимает настроение. Как грибы, выросли киоски — пивные, папиросные, винные, фруктовые, молочные. И надо сказать, что они очень облегчают осмотр и хождение. За несколько часов ходьбы под теплым солнцем хочется пить.

VIII

НАДИЯ НА БОГА И ПОЖАРНЫЙ ТЕЛЕГРАФ

Зычный пожарный трубный сигнал. Белый павильон, испещренный лозунгами. «Центральный пожарный отдел».

Громадные белые торсы поддерживают серые шланги. Кто делал? Резинотрест.

Дальше брезентовые костюмы на манекенах, каски, упорж, насосы. Диаграммы, рисунки, плакаты, картины.

Смысл: деревню надо отстоять. Деревню надо учить не только бороться с пожарами, но и их предупреждать. Во всю стену огнеупорная стена из «Соломита» — прессованной соломой. Работа Стройноторга.

Над соломитом громадное полотно: без всяких футуристических ухищрений реально написана картина — горит деревня. Мечутся лошади, полыхает пламя, и женщины простоловые простирают руки к небу. Старуха с иконой.

Подпись:

— Кому разум не помог, молитва не поможет.

Харьков выставил литографии. На одной украинец, спокойный и веселый, у беленькой хаты. Он потому спокойный, что он меры против пожара принимал.

А рядом нищий, оборванный у пепелища.

— Я не вживав заходив проти пожеж. Жив на одчай и покладав надію на Бога — й пожежа довела мене до вбожества.

Красные блестящие коробки пожарных телеграфов, сложные телефоны, сигнализация, модели, показывающие, как проложить трубы от печек, чтобы они были безопасны, ценные огнетушители Богатыря и Рекорда, водоподъемник системы Шенелис, всевозможные виды керосиновых ламп и лозунги, лозунги и диаграммы.

Голос руководителя:

— Этим концом ударяете об землю и затем направляете струю куда угодно...

IX

КАК СБЕРЕЧЬ СВОИ ЛЕСА

В Дом Крестьянина — большой двухэтажный дом — вовлекла толпа экскурсантов.

Женщина с красной повязкой на рукаве шла впереди и объясняла:

— Сейчас, товарищи, мы с вами пройдем в Дом Крестьянина, где вы прежде всего увидите уголок нашего Владимира Ильича...

В Доме такая суета, что разбегаются глаза и смутно напоминаются лишь портреты Ленина, Калинина и еще какие-то картинки.

Стучат, идут вверх, вниз. И вдруг — дверь, и, оказывается, внутри театр. Сцена без занавеса. У избушки баба в платочке, целый конклав умных клинобородых мужиков в картузах и сапогах и один глупый, мочальный и курносый, в лаптях. Он, извольте видеть, без всякого понятия свел целый участок леса.

— Товарищ! Мыслимое ли это дело? А? — восклицает умный, украшенный картузом, обращаясь к публике, — прав он или не прав? Если не прав, поднимите руки.

Публика с удовольствием созерцает дурака, вырубившего участок, но не будучи еще приучена к соборному действию, рук не поднимает.

— Выходит, стало быть, прав? Пущай рубает? Здорово! — волнуется картуз на сцене, — товарищи, кто за то, что он не прав, прошу поднять руки!

Руки поднимаются у всех.

— Это так! — удовлетворен обладатель цивилизованного головного убора, — присудим мы его назвать дураком!

И дурак с позором уходит, а умные начинают хором петь куплеты. Заливается гармония:

Надо, надо нам учиться,
Как сберечь свои леса,
Чтоб потом не очутиться
Без избы и колеса!

Ходят, выходят, спешно распаковывают какую-то посуду. Вероятно, для крестьянской столовки. И опять валит на встречу толпа и опять женский голос:

— ...и увидите уголок Владимира...

Х

КАРАМЕЛЬ, ТАБАК И ПИВО

От Дома Крестьянина по берегу реки дальше вглубь, в зелень, к Нескучному саду. Неузнаваемое место. По-прежнему

вековые деревья и тени, гладь пруда, но в зелени белые, цветные, причудливые здания. И почти изо всех пыхтенье, стрекотание, стук машин.

Вот он, Моссельпром. Грибом каким-то. Под шапкой надпись «Ресторан».

И со входа сразу охватывает сладкий запах карамели. Белые колпаки, снежные халаты. Мнут карамельную массу, машина режет карамельные конуса. На плитах тазы с начинкой. Барышни-зрительницы висят на загородке — симпатичный павильон! 2-я государственная кондитерская фабрика имени П. А. Бабаева, бывшие знаменитые Абрикосова Сыновья.

На стенах — диаграммы государственного дрожжевого № 1 завода Моссельпром.

В банках и ампулах сепаризованные дрожжи, сусло, солод ячменный и овсяной, культуры дрожжей.

Диаграммы производительности 1-й государственной макаронной фабрики все того же вездесущего Моссельпрома.

В январе 1923 года макаронных изделий — 7042 пуда, в мае — 10 870 пудов.

В следующем отделении запах табака убивает карамель. Халаты на работницах синие. Дукат. По-иностранному тоже написано: «Doucat». Машины режут, набивают, клеют гильзы. Выставка разноцветных коробок, и среди них уже появились «Привет с выставки».

Дальше приютился славный фруктовый бывш. Калинкин, ныне первый завод фруктовых вод.

В карбонизаторе при 5 атмосферах углекислого насыщает воду. Фильтры Chamberland'a.

Разлив пива. Машина брызжет, моет бутылки, мелькают изумительного проворства руки работниц в тяжелых перчатках. Вертится барабан разливной машины, и пенистое золотистое пиво Моссельпрома лезет в бутылки.

За стойкой тут же посетители его покупают и пьют кружками.

Показательная выставка бутылок — что выпускает бывш. Калинкин-теперь? Все. По-прежнему сифоны с содовой и сельтерской, по-прежнему разноцветные бутылки со всевозможными водами. И приятны ярлыки: «на чистом сахаре».

ОПЯТЬ ТАБАК, ПОТОМ ШЕЛКА, А ПОТОМ УСТАЛОСТЬ

Здесь что? Павильон Табакотреста.

Здесь б. Асмолов, а теперь донская государственная фабрика в Ростове-на-Дону. Тоже режут машины табак, набивают папиросы. Здесь торгуют специальными расписными острогранными коробками по сотне только что изготовленных папирос.

Растут зеленые лапчатые табаки — тыккульк, дюбек, тютюн. Стоят модели огневых сушильных сараев, висят цапки, шнуры, иглы. Пестрят лозунги: «Мотыженье в пору даст обилие сбору», «Вершки и пасынок оборвешь, лучший лист соберешь».

Идет заведующий и говорит о том, насколько сократилась площадь плантаций в России и какие усилия употребляются, чтобы поощрить табаководство на Кубани, в Крыму, на Кавказе.

Гильз на рынке мало, и теперь в России не выделяют табаку, а только готовые папиросы.

Недалеко от павильона, где работает Асмолов, павильон с гигантским плакатом «Махорка». Плакат кричит крестьянину: «Сей махорку — это выгодно»...

Довольно табаку. Дальше!

И вот павильон текстильный. ВСНХ. Здесь прекрасно. Во-первых, он внешне хорош. Два корпуса, соединенных воздушной галереей — балконом с точеной балюстрадой. Зелень обступила текстильное царство. Внутри же бесконечная в двух этажах гамма красок, бесконечные волны шелков, полотен, шевитов, ситцу, сукон.

Начинается с Петроградского Гос. Пенькового Треста, «The Petrograd State Hemp Trust», выставившего канаты, и мешки, и веревки, и диаграммы, а дальше непрерывным рядом драпированных гостиных идут вязниковские льняные фабрики, опять пеньковые тресты, Гаврило-Ямская мануфактура с бельевыми и простынными полотнами и десятки

трестов: шелко-трест, хлопчатобумажный трест, суконный трест, Иваново-Вознесенский текстильный... камвольный «Мострикоб»...

Московский текстильный институт со своими шелковичными червями, которые тут же непрерывно жуют, жуют груды зеленых листьев...

После осмотра текстильного треста ноги больше не носят. Назад, к Москве-реке, к лавочкам, отдыхать, курить, смотреть, но не «осматривать»... В один раз не осмотришь все равно и десятой доли. Поэтому — назад. Мясохладобойни, скороморозилки Наркомтруда — потом, павильон НКПС'а — потом (сияющий паровоз вылезает прямо в цветник), Мосполиграф — потом...

К набережной — смотреть закат.

ХИ

КООПЕРАЦИЯ! КООПЕРАЦИЯ! НЕУДАЧНИК — ЯПОНЕЦ

А он прекрасен — закат. Вдали догорают золотые луковицы Христа Спасителя, на Москве-реке лежат зыбкие полосы, а в городе-выставке уже вспыхивают бледные электрические шары.

Толпа густо стоит перед балконом павильона Центросоюза, обращенным на реку. Цветные пестрые ширмы на балконе, а под ними три фигурки. Агитационный кооперативный Петрушка.

За прилавком круглый купец в жилетке объегоривает мужика. В толпе взмывает смех. И действительно, мужик замечательный. От картуза до котомки за спиной. Какое-то особенное, специфически мужицкое лицо. Сделана фигурка замечательно. И голос у мужика неподражаемый. Классный мужик.

— Фирма существует 2000 лет, — рассыпается купец.

— Батюшки! — изумляется мужик.

Он машет деревянными руками, и трясет бородой, и призывает Господа Бога, и получает от жулика-купца крохотный сверток товара за миллиард.

Но является длинноносый Петрушка — кооператор, в зеленом колпаке, и вмиг разоблачает штуки толстосума, и тут

же устраивает кооперативную лавку, и заваливает мужика товаром. Победенный купец валится на бок, а Петрушка танцует с мужиком дикий радостный танец, и оба поют победную песнь своими голосами:

Кооперация! Кооперация!
Даешь профит ты нации!..

— Товарищи, — вопит мужик, обращаясь к толпе, — заключим союз и вступим все в Центросоюз.

У пристани Доброфлота — сотни зрителей. Алюминиевая птица — гидроаэроплан RRDaе — в черных гигантских калошах стоит у берега. Полет над выставкой — один червонец с пассажира. В толпе — разговоры, уже описанные незабвенным Иваном Феодоровичем Горбуновым.

— Юнкерс шибче Фоккера!
— Ошибаетесь, мадам, Фоккер шибче.
— Удивляюсь, откуда вы все это знаете?
— Будьте покойны. Нам все это очень хорошо известно, потому мы в Петровском парке живем.

— Но ведь вы сами не летаете?
— Нам не к чему. Сел на 6-й номер, и в городе.
— Трусите?
— Червонца жалко.
— Идут. Смотрите, японцы идут! Летать будут!

Три японца, маленькие, солидные, сухие, хорошо одетые, в роговых очках. Публика встречает их сочувственным гулом за счет японской катастрофы.

Двое влезли благополучно и нырнули в кабину, третий сорвался с лестнички, и в полосатых брюках, и в клетчатом пальто, и в широких ботинках — сел в воду с плеском и грохотом.

В первый раз в жизни был свидетелем молчания московской толпы. Никто даже не хихикнул.

— Не везет японцам в последнее время...

Через минуту гидроплан стремительно проходит по воде, подымая бурный пенный вал, а через две — он уже уходит гудящим жуком над Нескучным Садам.

— Улетели три червончика, — говорит красноармеец.

**БОИ ЗА ТРАКТОР.
ВЛАДИМИРСКИЕ РОЖЕЧНИКИ**

Вечер. Весь город унизан огнями. Всюду белые ослепительные точки и кляксы света, а вдали начинают вертеться в темной вечерней зелени цветные рекламные колеса и звезды.

В театре три электрических солнца заливают сцену. На сцене стол, покрытый красным сукном, зеленый огромный ковер и зелень в кадках. За столом президиум — в пиджаках, куртках и пальтишках. Оказывается, идет диспут: «Трактор и электрификация в сельском хозяйстве».

Все лавки заняты. Особенно густо сидят.

Наступает жгучий момент диспута.

Выступал профессор-агроном и доказывал, что нам в настоящий момент трактор не нужен, что при нашем обнищании он ляжет тяжелым бременем на крестьянина. Возражать скептику и защищать его записалось 50 человек, несмотря на то, что диспут длится уже долго.

За конторкой появляется возбужденный оратор. В солдатской шинелишке и картузе.

— Дорогие товарищи! Тут мы слышали разные слова — электрификация, механизация, механизация и тому подобное, и так далее. Что должны означать эти слова? Эти слова должны обозначать не что иное, товарищи, что нам нужны в деревне электричество и машины. (Голоса в публике: «Правильно!») Профессор говорит, что нам, мол, трактор не нужен. Что это обозначает, товарищи? Это означает, товарищи, что профессор наш спит. Он нас на старое хочет повернуть, а мы старого не хотим. Мы голые и босые победили наших врагов, а теперь, когда мы хотим строить, нам говорят ученые — не надо? Ковырай, стало быть, землю лопатой? Не будет этого, товарищи («Браво! Правильно!»).

Появляются сапоги-бутылки из Смоленской губернии и сладким тенором спрашивают, какой может быть трактор, когда шпагат стоит 14 рублей золотом?

Профессор в складной речи говорит, что он ничего... Что он только против фантазий, вызывает к учету, к благоразумию, строгому расчету, требует заграничного кредита и, в конце концов, начинает говорить стихами.

Появляется куцая куртка и советует профессору, ежели ему не нравится в России, которая желает иметь тракторы, удалиться в какое-нибудь другое место, например, в Париж.

После этого расстроенный профессор накрывается панамой с цветной лентой и со словами:

— Не понимаю, почему меня называют мракобесом? — удаляется в тьму.

Оратор из Наркомзема разбивает положения профессора, ссылается на канадских эмигрантов и зовет к электрификации, к трактору, к машине.

Прения прекращаются.

И в заключительном слове председатель страстно говорит о фантазерах и утверждает, что народ, претворивший не одну уже фантазию в действительность в последние 5 изумительных лет, не остановится перед последней фантазией о машине. И добьется.

— А он не фантазер?

И рукой невольно указывает туда, где в сумеречном цветнике на щите стоит огромный Ленин.

Кончен диспут. Валит все гуще народ в театр. А на сцене, став полукругом, десять клинобородых владимирских рожечников высвистывают на длинных деревянных самодельных дудках старинные русские песни. То стонут, то заливаются дудки, и невольно встают перед глазами туманные поля, избы с лучинами, тихие заводы, сосновые суровые леса. И на душе не то печаль от этих дудок, не то какая-то неясная надежда. Обрывают дудки, обрывается мечта. И ясно гудит в последний раз гидроплан, садясь на реку, и гроздьями, букетами горят огни, и машут крыльями рекламы. Слышен из Нескучного медный марш.

«Накануне», 30 сентября 1923 г.

6 октября 1923 г.

12 октября 1923 г.

14 октября 1923 г.



БЕСПОКОЙНАЯ ПОЕЗДКА

*Монолог начальства
(не сказка, а быль)*

Мальбрук в поход собрался!

(Песня)

— Ну-с, происходило это, стало быть, таким образом! Напившись чаю, выехал я со своими сотрудниками, согласно маршруту, вечером со станции Новороссийск. Перед самым отъездом приходит какой-то и говорит:

— Вот, — говорит, — история: круг у нас поворотный ремонтируется. Ума не приложу, как нам вас повернуть?

Задумались мы. Наконец я и говорю: пушай нас в таком случае в Тихорецкой повернут. Ладно. В Тихорецкой так в Тихорецкой. Сели, засвистали, поехали. Нуте-с, приезжаем в Тихорецкую. Вовремя, представьте себе. Смотрю на часы — удивляюсь: минута в минуту! Вот, говорю, здорово. И, конечно, сглазил. Словно сатана у них на поворотный круг уселся. Вертели, вертели, часа полтора, может быть, вертели. Чувствую, что у меня головокружение начинается.

— Скоро ли?... — кричу.

— Сей минут, — отвечают.

Ну-с, повернули, стали поезд составлять. Я из окна смотрю: положительно, молодецкая работа — бегают, свистят, флажками машут. Молодцы, говорю, ребяташки на этой Тихорецкой — работяги! Ну и, конечно, сглазил. Перед самым отъездом является какой-то и говорит:

— Так что ехать невозможно...

— Как?! — кричу. — Почему?

— Да, — говорит, — вагоны сейчас из состава выкидать будем. Неисправные они.

— Так выкидайте скорей! — кричу. — На какого лешего вы их запихнули?..

Ничего не ответил. Застенчиво усмехнулся и вышел. Начали опять свистеть, махать, бегать. Наконец, выкинули

больные вагоны. Опоздали мы таким методом на два часика с половиной.

Наконец, тронулись. Слава тебе, Господи, думаю, теперь покатам. Ну и сглазил, понятное дело!

Развил наш поезд такую скорость, что, представьте, потерял я пенсне из окна, так проводник соскочил, подобрал и рысью поезд догнал. Я кричу тогда: «Что вы, смеетесь, что ли? Как же я при такой скорости состояние пути и подвижного состава определяю?.. Развить, — говорю, — мне в 24 секунды скорость, предельную для товарных поездов на означенном участке!»

Ну-с, вообразите, наорал на них. Таким манером, и жизни был не рад! Развили они скорость, и что тут началось — уму непостижимо! Загремели, покатались, через пять минут слышу вопль: «Стой, стой!! Стой, чтоб тебя раздавило!» Веревку дергают, флагом машут. Я перепугался насмерть, — ну, думаю, — пропали! «В чем дело?» — кричу. «Так что, — отвечают, — буксы горят». Вышел я из себя. Кричу: «Что это за безобразие! На каком основании горят? Прекратить! Убрать! Отцепить!» Великолепно-с. На первой станции отцепили вагон. Сыпанули мы дальше.

Ну, думаете ли, трех шагов не проскакали, как опять гвалт. В двух вагонах загорелись буксы! Выкинули эти два, на следующем перегоне еще в двух загорелись. Через пять станций глянул я в окно и ужаснулся: выехал я — был поезд длинный, как парижский меридиан, а теперь стал короткий, как поросячий хвост. Святые угодники, — думаю, — ведь этак еще верст сорок, и я весь поезд растеряю. А вдруг, думаю, и в моем вагоне загорится, — ведь они и меня отцепят к лешему на какой-нибудь станции. А меня в Ростове ждут. Призываю кого следует и говорю: «Вы, вот что, того... полегче. Ну вас в болото с вашей предельной скоростью. Поезжайте, как порядочные люди ездят, а не вылупив глаза».

Отлично-с, поехали мы, и направляюсь я к смотровому окну, чтобы на путь поглядеть, — и как вы думаете, что я вижу? Сидят перед самыми глазами у меня на буферах два каких-то кандибобера. Я высовываюсь из окна и спрашиваю: «Эт-то что такое?.. Что вы тут делаете?» А они, представьте, отвечают, да дерзко так:

— То же, что и ты. В Ростов едем.

— Как? — кричу. — На буферах?.. Дак вы, выходит зайцы?!

— Понятное дело, — отвечают, — не тигры.

— Как, — кричу, — зайцы?.. На буферах? У меня?! В служебном?.. Вагоне?! Вылетайте отсюда, как пробки!!

— Да, — отвечают, — вылетайте! Сам вылетай, если тебе жизнь надоела. Тут на ходу вылетишь, — руки-ноги поломаешь!

Что тут делать? А?.. кричу: «Дать сигнал! А-с-с-тановить поезд!.. Снять зайцев!» Не тут-то было. Сигнала-то, оказывается, нету. Никакой непосредственной связи с паровозом.

Стали мы в окна кричать машинисту:

— Эй! Милый человек! Э-эй! Как тебя? Будь друг, тормозни немножечко!

Не тут-то было. Не слышит!

Что прикажете делать? А эти сидят на буферах, хихикают.

— Что, — говорят, — сняли? Выкуси!

Понимаете, какое нахальство? Мало того, что нарушение правил, но, главное, не видно ни черта в смотровые окна. Торчат две какие-то улыбающиеся рожи и заслоняют весь пейзаж. Вижу я, ничего с ними не поделаешь, пустился в переговоры:

— Вот что, — говорю, — нате вам по пятьдесят целковых, чтоб вы только слезли.

Не согласились. Давай, говорят, по пятьсот! Что ты прикажешь делать?

И вот, представьте, как раз на мое счастье — подъем!.. Поезд, понятное дело, стал. Не берет. Ну, уж тут я обрадовался. Кричу, берите их, рабов Божьих! Пушай им покажут Кузькину мать, как на буферах ездить! Ну, понятное дело, слетелись кондуктора! Забрали их, посадили их в вагон и повезли. Прекрасно-с. Только что я пристроился к окну, как поезд — стоп!

«Что еще?!» — кричу. Оказывается, опять из-за зайцев этих проклятых. Удержать их нет возможности! Рвутся из рук, и шабаш! Сделали мы тут военный совет и, наконец, решили отпустить их к свиньям. Так и сделали. Выпустили их в четырех верстах от станции. Они поблагодарили, говорят, спасибо, нам как раз до этой станции, а четыре версты мы пешком пройдем!

Поехали, через десять минут — стоп! Что?! Заяц! Ну, тут уж я не вытерпел — заплакал. «Что ж это, — говорю, — за несчастье такое? Доеду я когда-нибудь до Ростова или нет?!» Говорю, а у самого слезы ручьем так и льются. Я плачу, кондуктора ревут, и заяц не выдержал, заревел. И до того стало мне противно все это, что глаза б мои не смотрели. Махнул я рукой, задернул занавески и спать лег. В Ростов приехал, от нервного расстройства лечился. Вот оно, какие поездки бывают.

*Монолог записал
Герасим Петрович Ухов*

«Гудок», 17 октября 1923 г.



ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!

Мы надеемся только на наших бывших союзников французов и в особенности на господина Пуанкаре...

(Из «манифеста» русских рабочих, напечатанного в «Новом Времени»)

— Не верят, подлецы! — сказал Михаил Суворин. — Говорит, русские рабочие такого и имени не выговорят: Пуанкаре. Прямо голову теряю. Если уж этот манифест неубедителен, так не знаю, что и предпринять!

— Я вот что думаю, — сказал Ренников, — пошлем депутацию в «Роте фане». От русских рабочих. Мне Коко Шаховской обещал опытных исполнителей найти, которые в «Плодах Просвещения» играли. Такие мужички выйдут — пальчики оближете...

— Ну, ну, — сказал устало Суворин.

Редактор «Роте фане» строго смотрел на депутатов и спрашивал: «А откуда вы, товарищи, так бойко немецкий язык знаете? Прямо удивительно!»

— Это от пленных, — быстро отпарировал глава депутации, незамужний хлебобоб Варсонофий Тыква. — За время войны их у нас по деревням много перебывало.

— Хороший народ — немецкие пленные! — поддержал Степан Сквозняков, питерский рабочий, — ведь вот и национальности враждебной и обычаев других, а как сошлись с нами... Прямо по пословице: les extrémités se touchent...

— Французскому языку вы, вероятно, тоже от пленных выучились? — иронически спросил редактор.

Депутаты смешались. От конфуза Степан Сквозняков даже вынул откуда-то из-за пазухи монокль и вставил его в глаз. Но услышав подозрительное шиканье остальных, спохватился и поспешил спрятать его обратно.

— Так вы говорите, Пуанкаре — самое популярное имя среди русских рабочих? — продолжал спрашивать редактор «Роте фане».

— Это уж наверняка! — сказал твердо Остап Степной, по мандату башкирский кочевник. — Я рабочий быт — во как знаю. У моего дяди, слава Богу, два завода было...

— В Башкирии? — задал ехидный вопрос редактор.

— Собственно говоря, — пробормотал, сконфузившись, депутат, — это не то что мой родной дядя. У нас в Башкирии дядями — соседей зовут. Дядя — сосед, а тетя — соседка.

— А бабушка? — поставил вопрос ребром редактор.

— Бабушка, это — если из другой деревни... — промямлил башкирец.

— Муссолини тоже очень популярное имя у русских рабочих, — поспешно заговорил глава депутации Варсонофий Тыква, чтобы переменить тему. — Пастух у нас на селе — симпатичный такой старичок, так прямо про него и выражается: ессе, — говорит!

— Классическое замечание! — расхохотавшись, сказал редактор. — Образованный старичок — пастух ваш. Вероятно, филолог?

— Юрист, — с готовностью подхватила депутатка Анна Чебоксарова, иваново-вознесенская текстильщица. — На прямой дороге в сенаторы был, а теперь...

— Мерзавцы! Подлецы! — грохотал Михаил Суворин. — Тоже! «Плоды Просвещения» ставили... Вас надо ставить, а не «Плоды Просвещения»! Выставить всех рядом да — по мордасам, по мордасам, по мордасам...

— Не виноваты мы ни в чем, — угрюмо возражал Варсонофий Тыква, он же Коко Шаховской. — Случай тут, и ничего больше! Все хорошо шло — без сучка и задоринки. Но только мадам Кускова заговорила — прахом вся затея! По голосу ее, каналья, признал. «Я, — говорит, — раз вас на лекции слышал. Извините, — говорит, — не проведете!»

— Подлецы! — процедил Суворин. — А Ренникова я...

Но Ренникова поблизости не оказалось. Он — Ренников — знал, что в случае неудачи Суворину опасно показываться. Рука у него тяжелая, а пресс-папье на письменном столе — еще тяжелее...

Ол-Райт.

АРИФМЕТИКА

— Начинается! — прохрипел запыхавшийся генерал, взбежал на 6-й этаж к «блюстителю русского престола» Кириллу.

Кирилл побледнел и, выпустив из рук насос примуса, который он накачивал, прошептал:

— Уже?

Запыхавшийся генерал сразу отпыхался.

— Помилуйте, ваше высочество, — отрапортовал он, — не так понять изволили. Не погромы начинаются, а реставрация-с!

Кирилл молниеносно пришел в себя.

— Не... не может быть!

— Честное слово.

— В России?

— Пока, ваше высочество, только в Германии. Кронпринц приехал, Вильгельм возвращается. Штреземан на этот счет так прямо и выразился: не позволю, говорит, чтобы хоть один немец оставался за границей...

— Ну?

— Ну и вот, ваше высочество... Мы так полагаем: сегодня Германия, а завтра и Россия. Ведь это — как эпидемия-с. Революция — эпидемия. И реставрация — эпидемия. Стоит только начать.

Вечером, когда к Кириллу заехали фрау Кускова и герр Милюков, чтоб узнать, когда его высочество собирается выехать, они застали странную картину.

Кирилл и генерал сидели на полу, засыпанные обрывками бумаг, и на полях какой-то книги лихорадочно множили цифры. От количества нулей рябило в глазах.

— Ехать! — завопил Кирилл в ответ на их почтительные вопросы. — Вы знаете, что это значит: ехать?

— Помилуйте, кронпринц...

— Чего вы мне тычете в глаза вашим кронпринцем! Кронпринц... Кронпринцу хорошо. Кронпринц гульденами содержание получает. Что ему, кронпринцу? Автомобиль — 10 гульденов. Шоферу на чай — 5 гульденов. Окорок ветчины — 3 гульдена... А мне марками выдают!

— Но, ваше высочество...

— Сам знаю, что высочество... Смотрите сюда: дорога на одного человека — шесть квинтильонов семьсот восемьдесят один квадрильон восемьсот тридцать пять триллионов... и еще мелочь какая-то. Ежели на четверых...

— Отбросим для краткости три нуля, ваше высочество...

— Погодите вы с тремя нулями... Бутербродов надо сделать? Кладите полбильона на бутерброды. Сорок восемь бильонов сто семьдесят два миллиона четыреста шестьдесят тысяч триста восемьдесят два... Ладно. Папирос надо взять...

— Рано изволили начать курить, ваше высочество... Хе-хе...

— Пошутите еще! Если десять папирос — четыре бильона двести двадцать один миллион четыреста...

— Кладите ровным счетом квадрильон! — сказал Милюков и снял пальто. — Позвольте, я это сейчас, ваше высочество. Двойной бухгалтерией...

— В германских газетах писали, — докладывал группе друзей русской монархии Милюков, — что попытка вел. кн. Кирилла вернуться в Россию свелась к нулю. Это, прежде всего, неверно фактически... Я сам принимал участие в приготовлениях к поездке его высочества и могу засвидетельствовать, что означенная поездка свелась к трем секстильонам пятидесяти пяти квинтильонам трехсот двадцати одному триллиону семидесяти восьми биillionам ста шестидесяти семи миллионам двумстам пятидесяти одной тысяче восемьсот двадцати четырем нулям...

Но мы, «Дрезина», держимся на весь этот счет иного мнения. Все это астрономическое количество нулей мы — при-

менительно к реставрационным возможностям Кирилла —
беремся свести в два счета:

— К двум нулям.

Это будет и по существу и, главное, благоვნно.

Ол-Райт.

«Дрезина», 1923, № 13.



ТАЙНЫ МАДРИДСКОГО ДВОРА

В комнате, освещенной керосиновой лампой, сидел конторщик 2-й восстановительной организации Угрюмый и говорил своему гостю, конторщику Петухову:

— Хорошо вам, чертям! Живете в Киеве. Там у вас древности всякие, святыни, монастыри, театры и кабаре... а в этом паршивом Полоцке ничего нет, кроме грязи и свиней. Правда, что у вас эти самые... купола обновляются?

— Врут, — басом ответил Петухов, — ходил я смотреть на сенной базар. Купол как купол. Это бабы выдумали.

— Плохо! — вздохнул Угрюмый. — Рамы разваливаются, а Бог и ухом не ведет... Вон Спасский монастырь... Совершенно рассыпался. Совзнаков нету на небе, вот главная беда.

Угрюмый вздохнул, поболтал ложечкой в мутном чае и продолжал:

— Кстати о совзнаках. Нету, нету, а то бывает — бац! — и свалятся они тебе на голову... У нас, например, изумительная история с этими знаками произошла. Сделали мы заявку на май на четыре миллиона двести одну тысячу с копейками из расчета на две тысячи семьсот рабочих, а центр возьми да и дай четыре миллиона семьсот тридцать тысяч на фактически бывшие 817 человек.

— Вре!!! — крикнул Петухов.

— Вот тебе и вре! — ответил Угрюмый. — Чтоб я с этого места не сошел!

— Так это, стало быть, остаток получается?

— А как же. Но тут, понимаешь ли, задача в том, чтобы денежки эти без остатка в расход запихнуть.

— Это как же? — изумился Петухов.

Угрюмый оглянулся, прислушался и таинственно зашептал:

— А на манер нашего начальника механических мастерских. У него, понимаешь ли, такой обычай — выпишет материалов на заказ в пять раз больше, чем нужно, и все в расход загонит! Ему уже говорили: смотрите, как бы вам по шапке не попало. Ну да, говорит, — по шапке... Руки коротки! У меня уважительная причина — кладовой нет. Способный парень!

— А не сядет? — восторженно спросил Петухов.

— Обязательно сядет. Вспомни мое слово. И сядет из-за мастерских. Не клеится у него с мастерскими, хоть ты плачь. Дрова вручную пилит, потому что приводная пила бездействует, а 30-сильный двигатель качает один вентилятор для четырех кузнечных горнов.

Петухов захохотал и подавился.

— Тише ты! — зашептал Угрюмый, — это что?.. А вот потеха была недавно с заклепками (Угрюмый хихикнул), — зачем, говорит, нам закупать заклепки, когда у нас своя мастерская есть? Я, говорит, на всю Россию заклепок наворочаю! Ну и наворочал... 308 пудов. Красивые замечательно: кривые, с утолщением и пережженные. Сто двадцать восемь пудов пришлось в переработку пустить, а остальные и до сих пор на складе стоят.

— Ну, дела! — ахнул Петухов.

— Это что! — оживился Угрюмый, — ты послушай, что у нас с отчетностью творится. У тебя волосы дыбом станут. Есть у нас в механической мастерской Эр-Ка-Ка и есть инструментальщик Белявский, — сипел Угрюмый, — он же и член Эр-Ка-Ка. Так он, представь себе, все заказы себе забрал. Сам расценивает, сам же исполняет, и сам деньги получает.

Инженер Гейнсман в целях упрощения всяких формальностей по счетно-финансовой части завел такой порядок. Смотрю я однажды и вижу: счет № 91 на стрелочные работы, исполненные сдельщиком Кузнецовым Михаилом с товарищами на сумму 42.475 р. Выдал артельщик такой-то, получил Кузнецов. И больше ничего!

— Постой, — перебил Петухов, — а может, у него товарищей никаких не было.

— Вот то-то и есть.

— Да и как же это?

— Наивный ты парень, — вздохнул Угрюмый, — у него ж, у Гейнемана этого, весь штат в конторе состоит из родственников. Заведующий Гейнеман, производитель работ — зять его Марков, техник — его родная сестра Эмма Маркова, конторщица — его дочь родная Гейнеман, табельщик — племянник Гейнеман, машинистка — Шульман — племянница родной жены!

— Внуков у Гейнемана нету? — спросил ошеломленный Петухов.

— Внуков нету, к сожалению.

Петухов глотнул чаю и спросил:

— Позволь, друг, а куда ж Эр-Ка-И смотрит?

Угрюмый свистнул и зашептал:

— Чудак! Эр-Ка-И! У нас Эр-Ка-И — Якутович Тимофей. Славный парнишка, свой человек. Ему что ни дай — все подпишет.

— Добродушный? — спросил Петухов.

— Ни черта не добродушный, а болтают у нас (Угрюмый наклонился к растопыренному уху Петухова), будто получил он десять возов дров из материалов мостов Западной Двины, 4 1/2 пуда муки и 43 аршина мануфактуры. Дай тебе мануфактуры, и ты будешь добродушный!

— Тайны Мадридского Двора! — восхищенно воскликнул Петухов.

— Да уж это тайны, — согласился Угрюмый, — только, понимаешь ли, вышли у нас с этими тайнами уже явные неприятности. Приезжают в один прекрасный день два каких-то фрукта. Невзрачные по виду, брючишки обтрепанные, и говорят: «Позвольте ваши книги». Ну, дали мы. И началась тут потеха. По-нашему, если отчетность на год отстала — пустяки! А по-ихнему — преступление. По-нашему, кассовые книги заверять и шнуровать не надо, а по-ихнему — надо! По-нашему — нарезать болты вручную продуктивно, а по-ихнему — нужно механически! Клепку мостовой фермы на мосту, по-нашему, нужно вручную производить, а по-ихнему — это преступно! Так и не столковались. Уехали, а у нас с тех пор никакого спокойствия нет. Не наделали б чего-нибудь эти самые визитеры? Вот и ходим кислые.

— М-да, это неприятности... — согласился Петухов.

Оба замолчали. Зеленый абажур окрашивал лица в зеленый цвет, и оба конторщика походили на таинственных гномов. Лампа зловеще гудела.

*Разговор подслушал
Г. П. Ухов*

«Гудок», 1 ноября 1923 года



НОЯБРЯ 7-ГО ДНЯ

(Как Москва праздновала)

За день, за два до праздника окна во многих магазинах уже стали наливать красным светом. Там развесили ряды лампочек и гирлянды, протянули ленты, выставили портреты вождей революции.

К вечеру, когда рабочие и служебная Москва разбежались по домам, среди бледных огней магазинов уже светились эти красные теплые ниши, напоминавшие о том, что приближается годовщина.

А на площади, перед зданием Московского Совета, целый день до позднего вечера сустились рабочие и горели жаровни. Рабочие отстраивали портал, новые белые стены, разбивали клумбы и цветники.

Накануне праздника торговля стала угасать к 5 часам дня. В дверях магазинов появились таблички с надписью «закрыто». Балконы оделись полотнищами. На балконах появились бюсты и портреты. По стенам протянулись гирлянды, а на здании Московского Совета вечером загорелся ослепительный треугольник, под ним цифра «VI».

Праздник 7 ноября первыми начали дети.

По улицам загудели грузовики, набитые ребятами, как кузова грибами. С платформы глядели белые, красные головенки, торчали острые флажки. Грузовики ездили и гудели, как шмели, и ребятки кричали, приветствуя всех встречаемых и поперечных, все первые, собирающиеся на площадях колонны со знаменами.

Милиция вышла парадная по-особенному — в новых кепи с красными верхами, с мерлушковой оторочкой, в новых шинелях.

В полдень на Тверской, сколько хватал глаз, стояла непрерывная густая лента, а над лентою был лес знамен.

Когда многотысячные толпы шли, они пели, оркестры, глядевшие в черной гуще своими сияющими раструбами, играли... Когда движение останавливалось, в группах закипала чехарда, друг друга качали, боролись, хохотали. У здания Моссовета, в густой людской толпе медленно продвигался искусственный паровоз Московско-Балтийской дороги, устроенный из огромного грузовика. Он был совсем как живой, но в смотровые окна выглядывали не машинист с кочегаром, а все те же детские лица.

Мать несла своего двухлетнего ребенка на руках в толпе, и он смотрел по сторонам и что-то лопотал и взмахивал руками. А когда вдруг заиграли оркестры и началось пение, он не выдержал и стал прыгать у нее на руках и что-то кричать.

В эту годовщину на улицы вышли не только спаянные и стройные колонны рабочих со своими плакатами, но мимо них беспрерывно шли толпами, кучками, отдельно обыватели — мужчины и женщины, которые вели своих ребят и говорили:

— Вырастешь, и ты пойдешь.

Когда через Красную площадь прошли последние ряды, толпы народа разошлись по всей Москве и стемнело, над зданием Московского Совета опять загорелся пунктирный огненный треугольник, по всей Москве рассеялись красные пятна огней, и в небе разливался бледный электрический свет, так что далеко было видно, как иллюминировала себя Москва в шестую годовщину Октябрьской революции 7-го ноября 1923 года.

«Гудок», 9 ноября 1923 г.



КАК РАЗБИЛСЯ БУЗЫГИН

Жуткая история в 17-и документах

1

Письмо рабочего Бузыгина со ст. Користовки Южных дорог шурину Бузыгина Могучему в город Москву.

На конверте штемпель: 12 мая 1923 г.

В первых строках моего письма, дорогой шурин, сообщаю тебе радостную новость. Писал ты, что живем мы, мол, кроты несчастные, в подземелье нашего невежества.

Позволь заметить, что ничего подобного, и случилась, наконец, радостная неожиданность и даже до известной степени сюрприз — открывают у нас на станции Користовка клуб в депо.

Депо это херовое, потому единодушным голосованием постановили мы, собравшись на собрании, затребовать его ремонта.

И я голоснул с речью, как сознательный человек, стоящий на позиции культработы. Выбрали меня председателем нашего клуба.

Еще поклон любимой жене вашей Анне Михайловне, дяде Прохору и председателю комячейки Жиркову.

По гроб жизни любящий вас Влас с товарищеским приветом.

2

Штамп
Местком сл. тяги
ст. Користовка
Южн. ж. д.
№ 6900
1 июня 10 дня.

Просим приступить к
ремонту помещения

ПЧ-1

депо ст. Користовка, предназначенного под железнодорожный клуб.

Основание: телеграмма Н за № таким-то от 9 мая с.г. и протокол постановления общего собрания рабочих от 11 мая.

Приложение: копия постановления на 17 (семнадцать) листах с приложением двух печатей.

Подписи: председатель месткома

Хулио Хуренито
Секретарь Кузя.

3

Телеграмма.

Принята 14 ч., 20 июня, 1923 г

Ответ отношение номер 69-два нуля запросил разрешение ремонт депо.

ПЧ-1

4

Письмо рабкора № 11205 в «Гудок».

Посылаю Вам, дорогой товарищ «Гудок», жизнеописание нашего рабочего Бузыгина Власа, единодушного борца культработы за наш клуб, и карточку его в двух экземплярах анфас.

22 июня с. г.

5

Открытка из Москвы Бузыгину Власу
Штемпель.

12 июля 1923 года.

Поздравляю тебя, Влас, как героя культработы. Ты теперь знаменит на оба полушария. Сегодня прочитал твой портрет в «Гудке». Ты даже немного похож на всероссийского старосту Калинина, но тот гораздо красивее.

Любящий тебя шурин Могучий.

6

Отрывок из письма Бузыгина в учкультотдел.

29 августа 1923 г.

Дорогие товарищи, посылаю вам вопль наших товарищей. Все на меня — как на героя культработы — почему не

ремонтируют депо? Посылаю вам мои стихи, которые сочинил в отчаянии поэзии.

Стоит депо облущенное,
Вызывая общее изумление,
И один в поле, как дуб я,
Каково ваше мнение?!

7

Штамп:
УЧКУЛЬТОТДЕЛ
№ 987.654.321
4 сентября 23 г.

ПЧ-1

Не откажите ускорить ремонт депо под клуб ст. Користовка.

Зав. учкультотделом тов. *Стрихнин*.

8

Телеграмма.
Принята 15 часов 8 сентября.

На номер 987.654.321 ускорить ремонта не могу той причине что он еще не начинался точка Только что запятая получил разрешение ремонт точка.

ПЧ-1

9

Штамп:
МЕСТКОМ
15 сентября.

ПЧ-1

Просим ответа, почему не начинается ремонт депо под клуб рабочих ст. Користовка.

Подписи:
За председателя *Иисус Навин*.
За секретаря *Румянцев-Задунайский*.

Штамп:
ПЧ-1
№ миллиард.

ПД-6

С получением сего, предписываю Вам начать ремонт депо на ст. Користовка.

ПЧ-1

11

Рапорт.

В ответ на распоряжение Ваше за номером миллиард доношу, что приступить к ремонту не представляется возможным по двум причинам:

1) Что здание высокое, так что при побелке люди могут упасть и убиться с высоты об твердый каменный пол.

2) Невозможно найти людей, коим можно было бы поручить означенный ремонт и двух индивидуумов плотников.

ПД-6 Умнов.

12

Штамп:
ПЧ-1
3 октября 1923 г.
№ миллиард сто десять.

ПД-Умиову

В отношении Вашем с летучим номером не видно, почему люди падают и убиваются, а равно и почему означенных людей нет.

ПЧ-1

13

Выдержка из письма Могучего Бузыгину от 19 октября 1923 г.

..... как же, дорогой Влас, поживает Ваш уважаемый клуб Депо...

Копия постановления общего собрания от 1 ноября 1923 г.
на ст. Користовка.

Слушали:
О ремонте депо
под клуб.

Постановили:
Выразить порицание культгерою
Бузыгину Власу и председателю
клуба за бездеятельность.

Выдержка из письма жены Бузыгина Могучему.
Штемпель: 5 ноября 1923 года.

...ой, горе мое, запил Влас, как алкоголик...

Записка Бузыгина Власа ПД-6 Умнову от 10 ноября 1923 года.

...Сам добровольцем вызываюсь лезть под означенный
потолок, белить буду! О чем и сообщаю Вам...

Телефонограмма.
Принята 13 часов 11 ноября 1923 года.

Бузыгин Влас рабочий службы тяги станции Користовка
упал во время культработы с потолка депо означенной стан-
ции запятая разбился до полной потери трудоспособности
запятая с переломом рук и ног точка Торжественные похоро-
ны с участием двенадцатого ноября 1923 года о чем извест-
ить всех рабочих.

За председателя месткома *Помпон.*

Документы собрал *Г. П. Ухов.*

«Гудок», 22 ноября 1923 г.



ЛЕСТНИЦА В РАЙ

(С патуры)

Лестница, ведущая в библиотеку ст. Москва-Белорусская (1 Мещанская улица), совершенно обледенела. Тьма полная: рабочие падают и убиваются.

Рабкор

Рабочий Косин упал удачно. С громом приехал со второго этажа в первый, там повернулся на площадке головой вниз и выехал на улицу. Следом за ним приехала шапка, за шапкой — книжка «Война и мир», сочинение Л. Толстого. Книжка выехала горбом, переплет дыбом и остановилась рядом с Косиным.

— Ну, как? — спросили ожидавшие внизу своей очереди.

— Штаны порвал, — ответил глухо Косин, — хорошие штаны, жена набрала на Сухаревке, — и ощупал великолепный звездный разрыв на бедре.

Затем он поднял произведение Толстого, накрылся шапкой и, прихрамывая, ушел домой.

Вторым рискнул Балчугов.

— Я тебя осилю, я тебя одолею, — бормотал он, прижимая к груди собрание сочинений Гоголя в одном томе, — я, может, на Карпаты в 15-м году лазил и то ни слова не сказал. Ранен два раза... За спиной мешок, а в руках винтовка, на ногах сапоги, а тут с Гоголем, — с Гоголем да не осилить... Я «Азбуку коммунизма» желаю взять, я... чтоб тебя разорвало!.. (он терялся в кромешной тьме)... чтоб вам с вашей библиотекой ни дна ни крыши!..

Он сделал попытку ухватиться за невидимые перила, но те мгновенно ускользнули из рук. Затем ускользнул Гоголь и через мгновение был на улице.

— Ох! — пискнул Балчугов, чувствуя, что нечистая сила отрывает его от обледеневших ступенек и тащит куда-то в бездну.

— Спа... — начал он и не кончил.

Ледяной горб под ногами коварно спихнул Балчугова куда-то, где его встретил железный болт. Балчугов был неудачник, и болт пришелся ему прямо в зубы.

— ...Сп... — ахнул Балчугов, падая головой вниз.

— ...те!! — кончил он, уже сидя на снегу.

— Ты снегом... — посоветовали ожидающие, глядя, как Балчугов плюет красивой красной кровью.

— Не снегом, — ответил Балчугов шепеляво (щеку его раздувало на глазах), — а колом по голове этого шамого библиотекаря и правление клуба тоже... мордой бы... по этой лешнице...

Он пошарил руками по снегу и собрал разлетевшиеся листки «Тараса Бульбы». Затем поднялся, наплевал на снегу красным и ушел домой.

— Обменял книжку, — бубнил он, держась за щеку, — вот так обменял, шатается...

Тьма поглотила его.

— Полезем, что ль, Митя? — робко спросил ожидающий. — Газетку охота почитать.

— Ну их к свиньям собачьим, — ответил Митя, — живота решишься, а я женился недавно. У меня жена. Вдова останется. Идем домой!

Тьма съела и их.

Ф. С-ов.

«Гудок», 12 декабря 1923 г.



НАЛЕТ

(В волшебном фонаре)

Разорвало черную кашу метели косым бледным огнем, и сразу из тучи вывалились длинные, темные лошадиные морды.

Храп. Потом ударило огнем второй раз, Абрам упал в глубокий снег под натиском бесформенной морды и страшной лошадиной груди, покатился, не выпуская из рук... Стоптаный и смятый, поднялся в жемчужных, рассыпавшихся мухами столбах.

Холода он не почувствовал. Наоборот, по всему телу прошел очень сухой жар, и этот жар уступил место поту до ступней ног. Тогда же Абрам почувствовал, что это обозначает смертельный страх.

Вьюга и он — жаркий страх — залепили ему глаза, так что несколько мгновений он совсем ничего не видел. Черным и холодным косо мело, и проплыли перед глазами огненные кольца.

— Тильки стрельни... стрельни, сучья кровь, — сказал сверху голос, и Абрам понял, что это — голос с лошади.

Тогда он вспомнил почему-то огонь в черной печечке, недописанную акварель на стене — зимний день, дом, чай и тепло. Понял, что случилось именно то нелепое и страшное, что мерещилось, когда Абрам, пугливо и настороженно стоя на посту, представлял себе, глядя в вертящуюся метель. Стрельни? О нет, стрелять он не думал. Абрам уронил винтовку в снег и судорожно вздохнул. Стрелять было бесполезно, морды коней торчали в поредевшем столбе метели, чернела недалеко сторожевая будка, и серой грудой тряпья казались сваленные в груды щиты. Совсем близко показался темный бесформенный второй часовой Стрельцов в остром башлыке, а третий, Щукин, пропал.

— Якого полку? — сипло спросил голос.

Абрам вздохнул, взвел глаза кверху, стремясь, вероятно, глянуть на минутку на небо, но сверху сыпало черным и холодным, винт свивался ввысь — неба там не было никакого.

— Ну, ты мне заговоришь! — сказала тоже с высоты, но с другой стороны, и Абрам чутко тотчас услышал сквозь гудение вьюги большую сдержанную злобу. Абрам не успел заслониться. Черное и твердое мелькнуло перед лицом, как птица, затем яростная обжигающая боль раздробила ему челюсти, мозг и зубы, и показалось, что в огне треснула вся голова.

— А... а-га-а, — судорожно выговорил Абрам, хрустя костяной кашей во рту и давясь соленой кровью.

Тут же мгновенно вспыхнул Стрельцов — бледно-голубым и растерзанным — в конусе электрического фонарика и еще совершенно явственно означился третий — часовой Щукин, лежавший, свернувшись, в сугробе.

— Якого?! — взвизгнула метель.

Абрам, зная, что второй удар будет еще страшнее первого, задохнувшись, ответил:

— Караульного полка.

Стрельцов погас, потом вновь вспыхнул.

Мушки метели неслись беззлобным роем, прыгали, кувыркались в ярком конусе света.

— Тю! Жида взяли! — резнул голос в темноте за фонарем, а фонарь повернулся, потушил Стрельцова и в самые глаза Абраму впился большим выпуклым глазом. Зрачок в нем сверкал. Абрам увидел кровь на своих руках, ногу в стремени и черное острое дуло из деревянной кобуры.

— Жид, жид! — радостно пробурчал ураган за спиной.

— И другой? — жадно откликнулся бас.

Слышало только левое ухо Абрама, правое было мертво, как мертвая щека и мозг. Рукой Абрам вытер липкую густую кровь с губ, причем огненная боль прошла по левой щеке в грудь и сердце. Фонарь погасил половину Абрама, а всего Стрельцова показал в кругу света. Рука с седла сбила папаху с головы Стрельцова, и прядь волос на нем стала дыбом.

Стрельцов качнул головой, открыл рот и неожиданно сказал слабо в порохе метели:

— У-у, бандитье. Язви вашу душу.

Свет прыгнул вверх, потом в ноги Абраму. Глухо ударили Стрельцова. Затем опять наехала морда.

Оба — Абрам и Стрельцов — стояли рядом у высоченной груды щитов все в том же голубоватом сиянии фонарика, а в упор перед ними метались, спешиваясь, люди в серых шинелях. В конус попадала то винтовка с рукой, то красный хвост с галуном и кистью на папаше, то бренчащий, зажеванный, в беловой пене мундштук.

Светились два огня — белый на станции, холодный и высокий, и низенький, похороненный в снегу на той стороне за полотном. Мело все реже, все жиже, и не гудело, и не шарало, высыпая в лицо и за шею сухие, холодные тучи, летела ровно и плавно в конус слабеющая метель.

Стрельцов стоял с лицом, залепленным красной маской, — его били долго и тяжело за дерзость, размолотив всю голову. От ударов он остервенел, стал совершенно нечувствительным и, глядя одним глазом, зрячим и ненавистным, а другим — зрячим багровым, опираясь вывернутыми руками на штабель, сипя и харкая кровью, говорил:

— Ух... бандитье... У, мать вашу... Всех половят, всех расстреляют, — всех.

Иногда вскакивала в конус фигура с черным костлявым пистолетом в руке и была рукояткою Стрельцова. Он тогда ослабевал, рычал, и ноги его отползали от штабеля, и удерживался он только руками.

— Скорейше!

— Скорей!

Со стороны высокого белого станционного огня донесся веером залп и пропал.

— Ну, бей, бей же скорей! — сипло вскрикнул Стрельцов, — нечего людей мучить зря.

Стрельцов стоял в одной рубаше и желтых стеганых штанах; шинели и сапог на нем не было, и разматавшиеся пятнистые портянки ползли за ним, когда отползали от щитов. Абрам же был в своей гадкой шинели и в валенках. Никто на них не польстился, и золотистая солома мирно глядела из правого разорванного носа так же, как и всегда.

Лицо у Абрама было никем никогда не виданное.

— Жид смеется! — удивилась тьма за конусом.

— Он мне посмеется, — ответил бас.

У Абрама сами собой не щекотно и не больно вытекали из глаз слезы, а рот был разодран, словно он улыбнулся чему-то, да так и остался. Расстегнутая шинель распахнулась, и руками он почему-то держался за канты своих черных штанов, молчал и смотрел на выпуклый глаз с ослепляющим зрачком.

«Так вот все и кончилось, — думал он, — как я и полагал. Акварели не увижу ни в коем случае больше, ни огня. И ничего не случится. Нечего ждать — конец».

— А ну, — подстерегала тьма. Сдвинулся конус, глаз перешел влево и прямо в темноте, против часовых в дырочках винтовок притаился этот самый черный конец. Тут Абрам разом ослабел и стал оползать — ноги поехали. Поэтому сверкнувшего конца он совсем не почувствовал.

Винтом унесло метель по полотну, и в час все изменилось. Перестало сыпать сверху и с боков. Далеко, над снежными полями разорвало тучи, их сносило, и в прорези временами выглядывал край венца на золотой луне. Тогда на поле ложился жидко-молочный коварный отсвет, и рельсы струились вдаль, а груда щитов становилась черной и уродливой. Высокий огонь на станции ослабел, а желтоватый, низенький, был неизменен. Его первым увидел Абрам, приподняв веки, и очень долго, как прикованный, смотрел на него. Огонь был неизменен, но веки Абрама то открывались, то закрывались, и поэтому чудилось, что тот огонь мигает и шурится.

Мысли у Абрама были странные, тяжелые, необъяснимые и вялые — о том, почему он не сошел с ума, об удивительном чуде и о желтом огне...

Ноги он волочил, как перебитые, работая локтями по снегу, тянул простреленную грудь и полз к Стрельцову очень долго: минут пять — пять шагов. Когда дополз, рукой ощупал его, убедился, что Стрельцов холодный, занесенный снегом, и стал отползать. Стал на колени, потом покачался, напрягся и встал на ноги, зажал грудь обеими руками. Прошел немного, свалился и опять пополз к полотну, никогда не теряя из виду желтый огонь.

— Кто же это, Господи? Кто? — женщина спросила в испуге, цепляясь за скобу двери. — Одна я, ей-богу, ребенок больной. Идите себе на станцию, идите.

— Пусти меня, пусти. Я ранен, — настойчиво повторял Абрам, но голос его был сух, тонок и певуч. Руками он хватался за дверь, но рука не слушалась и соскакивала, и Абрам больше всего боялся, что женщина закроет дверь. — Ранен я, слышите, — повторил он.

— Ой, лишенько, — ответила женщина и приоткрыла дверь.

Абрам на коленях вполз в черные сенцы. У женщины провалились в кругах глаза, и она смотрела на ползущего, а Абрам смотрел вперед на желтый огонь и видел его совсем близко. Он шипел в трехлинейной лампочке.

Вполне ночь расцвела уже под самое утро. Студеная и вся усеянная звездами. Крестами, кустами, квадратами — звезды сидели над погребенной землей, и в самой высшей точке и далеко за молчащими лесами на горизонте. Холод, мороз и радужный венец на склоне неба, у луны.

В сторожке у полотна был душный мир, и огонек, по-прежнему неутомимый и желтый, горел скупно, с шипением.

Сторожиха бессонно сидела на лавке у стола, глядела мимо огня на печь, где под грудой тряпья и бараньим тулупом с шипением жило тело Абрама.

Жар ходил волнами от мозга к ногам, потом возвращался в грудь и стремился задуть ледяную свечку, сидящую в сердце. Она ритмически сжималась и расширялась, отсчитывая секунды, и выбивала их ровно и тихо. Абрам свечки не слышал, он слышал ровное шипение огня в трехлинейном стекле, причем ему казалось, что огонь живет в его голове, и этому огню Абрам рассказывал про винт метели, про дробящую боль в скулах и мозгу, про Стрельцова, занесенного снегом. Абрам хотел Стрельцова вынуть из сугроба и вытащить на печь, но тот был тяжелый и грузный, как вбитый в землю кол. Абрам хотел мучительный желтый огонь в мозгу вынуть и выбросить, но огонь упорно сидел и выжигал все, что было внутри оглохшей головы. Ледяная стрелка в сердце делала перебой, и часы жизни начинали идти странным образом, наоборот, — холод вместо жара шел от головы к

ногам, свечка перемещалась в голову, а желтый огонь в сердце, и сломанное тело Абрама колотило мелкой дрожью в терции, вперебой и нелад со стуком жизни, и уже мало было бараньего меха, и хотелось доверху заложить мехами всю сторожку, съежиться и лечь на раскаленные кирпичи.

Прошли годы. И случилось столь же радостное, сколь и неестественное событие: в клуб привезли дрова.

Конечно, они были сырые, но и сырые дрова загораются — загорелись и эти. Устье печки изрыгало уродливых огненных чертей, жар выплывал и танцевал на засохшей елочной гирлянде, на лентах портрета, выхватывая край бороды, на полу и на лице Брони. Броня сидела на корточках у самого устья, глядела в пламя, охватив колени руками, и бурочные мохнатые сапоги торчали носами и нагревались от огненного черта. Голова Брони была маково-красной от неизменной повязки, стянутой в лихой узел.

Остальные сидели на дырявых стульях полукругом и слушали, как повествовал Грузный. Як басом рассказал про атаки, про студеные ночи, про жгучую войну. Получилось так, что Як был храбрый и неунывающий человек. И действительно, он был храбрый. Когда он кончил, плюнул в серое, перетянутое в талии ведро и выпустил клуб паршивого дыма от гнилого, дешевого табаку.

— Теперь Абрам, — сказала Броня, — суший профессор. Он тоже может рассказать что-нибудь интересенькое. Ваша очередь, Абрам, — она говорила с запинкой, потому что Абрам — единственный, недавний, приезжий человек получал от нее в разговоре вы.

Маленький, взъерошенный, как воробей, вылез из заднего ряда и попал в пламя во всей своей красоте. На нем была куртка на вате, как некогда носили лабазники, и замечательные на всем рабфаке и вряд ли в целом мире не единственные штаны: коричневые, со странным зеленоватым отливом, широкие сверху и узкие внизу. Правое ухо башмака они почему-то никогда не закрывали и покоились сверху, позволяя каждому видеть полосу серого Абрамова чулка.

Обладатель брюк был глух и поэтому на лице всегда сохранял вежливую конфузливую улыбку, в нужных случаях руку щитком прикладывал к левому уху.

— Ваша очередь, Абрам, — распорядилась Броня громко, как все говорили с ним, — вы, вероятно, не воевали, так вы расскажите что-нибудь вообще.

Взъерошенный воробей поглядел в печь и, сдерживая голос, чтобы не говорить громче, чем надо, стал рассказывать. В конце концов он увлекся и, обращаясь к пламени и к маковой Брониной повязке, рассказывал страстно. Он хотел вложить в рассказ все: и винт метели, и внезапные лошадиные морды, и какой бывает бесформенный страшный страх, когда умираешь, а надежды нет. Говорил в третьем лице про двух часовых караульного полка, говорил, жалостливо поднимая брови, как недострелили одного из них и он пополз прямо, все время на желтый огонь, про бабу-сторожиху, про госпиталь, в котором врач ручался, что часовой ни за что не выживет, и как этот часовой выжил... Абрам левую руку держал в кармане куртки, а правой указывал в печь на огонь, как будто бы там огонь и рисовал ему эту картину. Когда кончил, то посмотрел в печку с ужасом и сказал:

— Вот так.

Все помолчали.

Як снисходительно посмотрел на коричневые штаны и сказал:

— Бывало... Отчего ж... Это бывало на Украине... А это с кем произошло?

Воробей помолчал и ответил серьезно:

— Это со мной произошло.

Потом помолчал и добавил:

— Ну, я пойду в библиотеку.

И ушел, по своему обыкновению прихрамывая.

Все головы повернулись ему вслед, и все долго смотрели, не отрываясь, на коричневые штаны, пока ноги Абрама не пересекли весь большой зал и не скрылись в дверях.

М. Б.

«Гудок», 25 декабря 1923 г.



СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩЕЕ СРЕДСТВО

Пьеса в 1-м действии

Если К. Войтенко не уплатят жалования, пьеса будет отправлена «Гудком» в Малый театр, в Москву, где ее и поставят

Действующие лица:

К л а в д и я В о й т е н к о, учительница неопределенного возраста. В шубке и шапочке, в руках какие-то бумаги.
К р ы м с к и й к у л ь т о т д е л ь щ и к — среднего возраста, симпатичный. Одет в рыжий френч и такие же штаны.
К у р ь е р из культотдела — 50 лет.

Сцена представляет кабинет крымского культотдела. Накурено, тесно, паршиво. На первом плане стол с телефоном и чернильницей. Над столом три плаката: «Если ты пришел к занятому человеку — ты погиб», «Кончил дело — гуляй смело», «Рукопожатия отменяются раз и навсегда». Культотдельщик сидит за столом и задумчиво смотрит в зрительный зал.

У двери на стуле курьер. Полдень.

К у р ь е р. О-хо-хо... *(Кашляет.)*

(Пауза.)

Дверь открывается, и входит Войтенко.

К у р ь е р. Куды? Куды? Вам кого?

В о й т е н к о. Мне его *(указывает пальцем на культотдельщика)*.

К у р ь е р. Они заняты, нельзя.

В о й т е н к о *(застенчиво)*. Ну, я подожду.

К у р ь е р. Сядьте тут, только не шумите.

(Войтенко садится на стул. Пауза.)

В о й т е н к о *(шепотом)*. Чем же он занят? Никого нету.

К у р ь е р. Это нам неизвестно. Может, они думают...
Что к чему...

(Пауза.)

В о й т е н к о. Мне, голубчик, на поезд надо. Опоздаю я. Может, ты б сказал ему...

К у р ь е р. Ну, ладно. Доложу. *(Идет к столу и кашляет. Пауза. Кашляет.)*

К у л ь т о т д е л ь щ и к *(очнулся)*. Уйди, Афанасий, ты мне надоел. *(Задумался.)*

К у р ь е р *(вернулся)*. Ну, вот... я ж говорил... а ну вас к Богу.

В о й т е н к о *(волнуется)*. Мне в Евпаторию надо, я опоздаю.

(Идет к столу и кашляет.)

К у л ь т о т д е л ь щ и к *(рассеянно)*. Уйдешь ли ты, Афанасий? *(Поднял глаза.)* Пардон! Вы ко мне?

В о й т е н к о. К вам, извините...

К у л ь т о т д е л ь щ и к. С кем имею честь?

В о й т е н к о *(приседает)*. Позвольте представиться: учительница школы ликбеза на ст. Евпатория Южных железных дорог Клавдия Войтенко, урожденная Манько.

К у л ь т о т д е л ь щ и к. Тэк-с. Что ж вам угодно, урожденная Манько?

В о й т е н к о *(волнуется)*. Изволите ли видеть, я еще за август жалования не получала.

К у л ь т о т д е л ь щ и к. Гм... Какая история! Вы, наверное, списков не прислали.

В о й т е н к о *(устало)*. Какое там не прислали. Присылали. *(Вертит какие-то бумаги.)* Список прислали, и профуполномоченному нашему евпаторскому я говорила... двадцать раз.

К у л ь т о т д е л ь щ и к. Гм... Аф-фанасий!

К у р ь е р. Чего изволите?

К у л ь т о т д е л ь щ и к. Потрудись узнать, где список на жалование урожденной Манько!

(Пауза. Курьер возвращается.)

Курьер. Нету урожденной... (кашляет).

Культоотдельщик. Ну, вот видите!

Войтенко. Позвольте, что ж я вижу? (Волнуется.) Это вы должны видеть! Если у вас пропадает...

Культоотдельщик. Виноват-с. Прошу быть осторожнее. Это вам не Евпатория.

Войтенко (начинает плакать). С августа месяца... сего... бегаешь... ходишь... ходишь...

Культоотдельщик (растерялся). Прошу не плакать в присутственном месте.

Курьер. Наплачут полные комнаты, а вытирать мне... Только и делаешь, что с тряпкой бегаешь. (Ворчит неразборчиво.)

Войтенко (рыдает).

Культоотдельщик. Прошу вас успокоиться!

Войтенко (рыдает).

Культоотдельщик. Подайте другие списки!

Войтенко (сквозь бурные рыдания). Я на вас жалобу подам в Ка-Ка.

Культоотдельщик (обиделся). По-пожалуйста. Хотя в Ка-Ка, хоть в Р-Ка-Ка. Не испугаете!

Войтенко. В «Гудок» напишу!! Как вы...

Культоотдельщик (бледный, как смерть). Виноват... Хе-хе, зачем же так? Э... спешить? Афанасий, стакан воды урожденной Манько. Присядьте, прошу вас. Хе-хе, экая вы горячка!.. Сейчас... Фррр! Фррр! «Гудок»!.. Афанасий! Сбегай к Марье Ивановне. Скажи, чтоб был список. Со дна моря чтоб его достала. Хе-хе. Знаете ли, бумаг целая гибель, голова кругом идет.

Войтенко (просыхает, вытирает глаза платочком).

Курьер (входит). Нашлось. (Протягивает бумагу.)

Культоотдельщик (с торжеством). Ну, вот видите, и нашлось. А вы сейчас плакать... «Гудок»! Вот мы вам сейчас резолюцейку напишем... Чирк перышком, и готово... Выдать деньги.

Войтенко (совсем высохла). Я уж надежду потерял!

Культоотдельщик. Что вы! Что вы! Никогда не следует терять надежд! Вот с этой резолюцией прямо, потом направо, потом опять направо, потом налево, там отдадите...

Войтенко (сияет). Благодарю вас, благодарю вас!

Ку л ь т о т д е л ь щ и к. Что вы, помилуйте, это мой долг! А «Гудок», это, знаете, ни к чему... Ну зачем раздувать факты. Аф-фа-на-сий! Проводи! (*Приятно улыбается.*)

Занавес

Михаил Б.

«Гудок», 3 января 1924 г.



СЕРИЯ НОЛЬ ШЕСТЬ № 0660243

Истинное происшествие

В 4 часа дня служащий Ежиков предстал перед кассиром и получил от него один свеженький хрустящий червонец, один червонец потрепанный с желтым пятном, шесть великолепных разноцветных дензнаков и сизую бумагу большого формата.

— Облигация-с, — ласково улыбнувшись, молвил кассир.

Ежиков презрительно покрутил носом на бумагу и спрятал ее в карман.

В канцелярии стоял сослуживец Ежикова — Петухов, известный математик, философ и болван.

Петухов взмахивал облигацией и говорил тесно облепившим его служащим:

— По теории вероятности, главный выигрыш упадет на нечетный номер. Говорю это на основании изучения таблиц двух предыдущих тиражей. Поэтому я нарочно взял у кассира нечетный. Вот: оканчивается на 827.

Все служащие смотрели свои номера. Двое не выдержали и побежали к кассиру менять четные на нечетные.

Петухов говорил так веско, что загипнотизировал даже Ежикова. Ежиков вытащил облигацию и убедился, что ему не повезло. Серия 06 № 0660243.

«Всегда мне не прет», — подумал Ежиков и пошел к кассиру.

Кассир сказал, что больше облигаций нет.

— Позвольте, а серия? — спросил секретарь у Петухова.

— Серию можно будет предсказать не ранее пятого тиража, то есть в 1924 году, — ответил Петухов, — но приблизительно могу сказать, что это будет (он сделал карандашом какую-то выкладку на обороте своего удостоверения) или третья, или пятая, а вернее всего, наша шестая.

— Я тогда в Париж уеду, — сказала машинистка.

— Продам я ее сейчас, — сказал забуддыга исходящий.

— Не имеет смысла, — посоветовал кассир, — завтра тираж. Лучше в банке заложите. А вдруг выиграете!

По улице Ежиков шел, полный мыслей о золотом займе. Со всех стен глядели плакаты с надписью «Золотой заем» и притягивали взоры.

«...Возможность каждому выиграть огромную сумму в золоте, — машинально повторял Ежиков, — гм, каждому. В сущности говоря, почему я не могу выиграть? Я такой же каждый, как и всякий. Вообразите себе, что младенец лезет в это самое колесо и вытаскивает 06. А после этого 0660. Уже хорошо.

Ну-с, а что вы скажете, если он после этого потянет случайно 243. Это, знаете ли, будет такая штука, такая штука... Совершенно неопишемая штука...»

30-го вечером Ежиков, купив «Вечернюю Москву», убедился, что он еще ничего не выиграл. Младенец таскал какую-то чепуху, совершенно не похожую ни на 660, ни на 243.

2 января младенец снова осрамился.

3-го тоже. Самый близкий номер был 0660280.

4-го Ежиков узнал из «Известий», что происходит розыгрыш главных выигрышей, хотел поехать в Новый театр, но вместо этого заснул у себя на диване.

Проснулся Ежиков от стука в дверь. На приглашение: «Войдите» вошел неизвестный бойкий человек с огромным листом в руках.

Взглянув на всклоченного Ежикова, человек всплеснул руками и воскликнул:

— Как вам это нравится! А? Он спит на диване, как какой-нибудь невинный младенец, в то время как ему надо плясать самый настоящий фокстрот! Позвольте представиться: комиссионер Илья Семенович.

— Чем же я могу вам служить, — пролепетал изумленный Ежиков.

Эксцентричный посетитель залился веселым смехом.

— Нет, этот гражданин Ежиков самый настоящий оригинал. Он спрашивает, чем он может служить! А? И ему не приходит в голову спросить, чем я могу служить! Ну, так я сам скажу — вот чем!

С этими словами Илья Семенович развернул перед Ежиковым лист, оказавшийся газетой «Известия». Комната мгновенно заходила ходуном. На листе Ежиков увидел огромные красные буквы и цифры: «Выигрыш в 50 000 руб. золотом — сер. 06,0660243».

— Как? — сказал он, чувствуя, что в голове у него все перевернулось вверх дном. — Как? Да ведь это же... — из горла у Ежикова вместо голоса вылезал какой-то скрип, — да ведь это мой номер...

— А разве я говорю, что он мой? — радостно ответил Илья Семенович. — Позвольте вас поцеловать, мой дорогой гражданин Ежиков?

С этими словами Илья Семенович обнял Ежикова и поцеловал поочередно в обе щеки.

— Вот так младенец... — сказал Ежиков, не помня себя.

— Никаких младенцев, — энергично ответил Илья, — позвольте, уважаемый гражданин Ежиков, узнать, чего вы желаете?

Но опустившийся в изнеможении на диван Ежиков ничего не желал. Он молчал и хотел только одного — чтобы в голове у него перестало вертеться колесо.

Способность желать вернулась к нему лишь после того, как Илья обрызгал его водой.

Тогда Ежиков разомкнул уста и сипло сказал:

— Я желаю жениться на мадам Мухиной, но она не согласна.

— Она не согласна? — вскричал Илья. — Нет, вы уморите меня, милый Ежиков. Желал бы я хоть одним глазком видеть такую дуру, которая не согласна выйти замуж за человека, выигравшего пятьдесят тысяч чистым золотом. Успокойтесь: она уже да, согласна!

И Илья Семенович мгновенно привел из передней мадам Мухину. Мадам Мухина застенчиво улыбнулась, поправила пунцовую розу в волосах и сказала:

— Я всегда любила вас, Жан...

Затем события закрутились в сладостном тумане. Ежиков, сидя на диване, целовал мадам Мухину и излагал Илье Семеновичу свои желания. Оказалось, что он жаждет золотые часы, ехать в Крым, фиолетовые кальсоны, зернистую икру, идти на «Анду», бюст Льва Толстого, ковер, охотничье ружье, три комнаты с кухней, автомобиль...

И Илья Семенович волшебным образом доставал все. Ежиков в течение одного мгновенья побывал в Крыму, носил в кармане золотые часы, сидел в ложе Большого театра, ездил по Страстной площади в вонючем таксомоторе и покупал мадам Мухиной соболью шубу на Сухаревке.

Жизнь Ежикова превратилась в ошеломляющий винт, и помнил Ежиков только две вещи — номер своего текущего счета и... что он ни одной минуты не был трезвый.

Так продолжалось месяц, а в конце концов произошел скандал.

Явился какой-то со знаком Воздушного Флота на груди и вежливо сказал:

— А ведь ты, Ежиков, в сущности говоря, свинья. 50 тысяч свалились тебе на голову, и хоть бы одну копейку ты пожертвовал на Воздушный Флот.

Угрызения совести охватили Ежикова.

— Жертвую, в таком случае, 20 тысяч. — Целый аэроплан, — вскричал Ежиков, — но с условием: чтобы он назывался «№ 0660243 — гражданина фоккер-Ежикова».

— Пожалуйста, — снисходительно усмехнулся воздухофлотский.

И вот тут выскочила мадам Мухина и все погубила.

— Как, — вскричала она, — да ты одурел, идиот. Двадцать тысяч. Да пока я жива, не позволю.

— Мои деньги! — взревел Ежиков, багровея. — Вон!..

И от собственного рева проснулся на диване и увидел, что ничего нет: ни Ильи Семеновича, ни бюста Льва Толстого, ни мадам Мухиной.

В последний день розыгрыша Ежиков явился на службу и не утерпел, чтобы не поделиться:

— А я, представьте, — видел во сне, будто бы я 50 тысяч выиграл. И так реально.

— Ваш номер не может выиграть, — уверенно сказал Петухов, — выиграет нечетный номер, оканчивающийся на 5 или на 7, в крайнем случае — на 3.

Минута в минуту в 4 часа в канцелярию принесли «Вечернюю Москву».

Возбужденный Ежиков развернул ее и, чувствуя биение сердца, глянул на 4-ю страницу. Кислая улыбка пробежала по его лицу.

50 тысяч — серия не та.

И двадцать тысяч — не то.

И 10 тысяч.

И 5 тысяч.

— Э-хе-хе, — вздохнул Ежиков и машинально скользнул по таблице в 500 рублей золотом.

И сперва он увидал 06. Затем он увидел 066 и побледнел, как зубной порошок. Потом конец номера — 43 и затем уже сквозь туман середину — 02.

Со службы Ежиков уходил необычным образом. По лестнице за ним шла вся канцелярия и неизвестные небритые люди из 3-го этажа, показывавшие на него пальцами, курьеры и мальчишки-папиросники. С обеих сторон Ежикова под руки держали две машинистки.

Ежиков говорил расслабленно:

— Может быть, это еще опечатка. Я покупаю себе комнату...

Отдельно уходил унылый и молчаливый Петухов. Его номер от ежиковского разнился только на одну единицу. Навеки Петухов получил кличку «Теория вероятности».

Если кто-нибудь думает, что я выдумал этот рассказ, пусть посмотрит таблицу выигрышей в 500 рублей золотом.

«Вечерняя Москва», 5 января 1924 г.



СПЕКТАКЛЬ В ПЕТУШКАХ

1. ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕНАВИДЕЛ ТЕАТР

Он был в теплой кацавейке на вате, в штанах и сапогах. Обыкновенные усы, бородака, нос средний. Особая примета у этого человека, впрочем, имелась — человек ненавидел театр.

Ненависть его питалась каждый день и выросла в конце концов в злобную фурию, слопавшую человека без остатка, — он начал подозрительно кашлять, и на щеках у него появился пятнистый румянец. Театр стоял тут же, в двух шагах, на ст. Петушки, где человек служил в качестве ПЗП (говорю «служил», потому что, может быть, его уже убили).

2. ЗЛОВЕЩАЯ БУМАГА

Однажды человек получил таинственную бумагу и уткнулся в нее носом. Дочитав ее, он стал багровый от радости. Глаза его засияли, как звезды.

— Ладно... ладно... ладно, — забормотал он, — ладно... я тебя отгорожу! Я тебя так отгорожу, — тут он набрал воздуха в истощенную грудь и гаркнул: — Эй!!

И перед человеком появились рабочие. Не известно никому, какие распоряжения он дал честным труженикам (они не виноваты, повторяю это тысячу раз). Известно, что к вечеру вокруг театра появились, как свечка, вколотенные столбы. Многие видели эти столбы, но так как никому и в голову не могли прийти подозрения насчет адского плана человека, то на столбы особенного внимания никто не обратил.

— Опять наш ПЗП какую-то ерунду придумал, — сказали некоторые и разошлись.

3. КОЛЮЧАЯ ПРОВОЛОКА ПРИЕХАЛА

К сожалению, никто не видел, как она появилась, потому что все были, как полагается, на работе.

Честные труженики натаскали громадные круги колючей проволоки, разматывали их, а затем наглухо затянули по столбам весь театр кругом. Вы думаете, что это было сделано как-нибудь, наспех? Паршиво? Ошибаетесь. Это было мощное, проволочное, окопного типа ограждение, о которое могли бы разбиться лучшие железные полки. Был оставлен только один лаз, и этот лаз был шириной в одну сажень...

4. СПЕКТАКЛЬ В ПЕТУШКАХ

И вот, дорогие граждане, вечером был назначен спектакль. О спектакле знали все, а о колючей проволоке вокруг спектакля никто не знал.

И в сумерки со всех концов к театру потекли весело улыбающиеся железнодорожники со своими семьями.

Вой стоял над Петушками! Стон и скрежет зубовой!! Лучшая и самая прочная материя, купленная по рабочему кредиту, рвалась, как папиросная бумага. Одного прикосновения к проклятому ограждению было достаточно, чтобы штаны превратить в клочья.

Железнодорожная рать легла на проволочных ограждениях вся до последнего человека и оставила на них юбки, кофты, лоскутья пальто и жирные куски ваты из подкладки.

Рваная рать лезла в театр, роняя капли крови, и крыла ПЗП такими словами, что их в газете напечатать нельзя.

— _____...!!

— _____...!!!

5. ПОЖАР!!

Скажем теоретически: может быть в Петушковском театре пожар? Ответьте прямо: может или нет?

— Может. От этого не застрахован ни один театр.

— Ну-с, представьте себе, что произойдет в театре, который снаружи закутан наглухо колючей проволокой. Вот то-то.

Телеграмма ПЗП в Петушки:
Уберите проволоку к чертям.

Мих. Б.

«Гудок», 12 января 1924 г.



КАК ОН СОШЕЛ С УМА

1

Дверь в отдельную камеру отворилась, и вошел доктор в сопровождении фельдшера и двух сторожей. Навстречу им с развороченной постели, над которой красовалась табличка: «Заведующий Чаадаевской школой на Сызранке. Буйный», поднялся человек в белье и запел, сверкая глазами:

— От Севильи до Грена-а-ды!! Наше вам, гады!! В тихом сумраке ночей! Раздаются, сволочи, серенады!! Раздается звон мечей!..

— Тэк-с... Серенады. Позвольте ваш пульсик, — вежливо сказал доктор и протянул руку. Левым глазом он при этом мигал фельдшеру, а правым сторожам.

Белый человек затрясся и взвыл:

— Мерзавец!! Признавайся: ты Пе-Де шестьдесят восемь?

— Нет, заблуждаетесь, — ответил доктор, — я доктор... Как температурка? Тэк-с... покажите язык.

Вместо языка белый человек показал доктору страшный волосатый кукиш и, ударив вприсядку, запел:

— Ужасно шумно в доме Шнеерсона...

— Кли бромати, — сказал доктор, — по столовой ложке...

— Бромати?! — завыл белый человек. — А окна без стекол ты видел, каналья? Видел нуль?.. Какой бывает нуль, видел, я спрашиваю тебя, свистун в белом халате?!!

— Морфий под кожу, — задушевно шепнул доктор фельдшеру.

— Морфи?! — завопил человек. — Морфи?! Бейте, православные, Пе-Де шестьдесят восемь.

Он размахнулся и ударил доктора по уху так страшно и метко, что у того соскочило пенсне.

— Берите его, братики, — захныкал доктор, подтирая носовым платком кровь из носа, — наденьте на него горячую рубашку...

Сторожа, пыхтя, навалились на белого человека.

— Кар-раул!! — разнесся крик под сводами Канатчиковой дачи. — Карр! шестьдесят вос!.. ап!!

2

В кабинете доктора через два месяца сидел печальный, похудевший человек в пальто с облезлым воротником и мял в руках шапку. Вещи его, стянутые в узел, лежали у ног.

— А насчет буйства, — вздыхая, говорил человек, — прощения просим. Не обижайтесь. Сами изволите понимать, не в себе я был.

— Вздор, голубчик, — ответил доктор, — это у нас часто случается. Вот микстурку будете принимать через два часа по столовой ложке. Ну, и, конечно, никаких волнений.

— За микстурку благодарим, — ответил человек, вздыхая, — а насчет волнений... Нам без волнений нельзя. У нас должность такая, с волнениями, — он тяжело вздохнул.

— Да что такое, голубчик, — посочувствовал доктор, — вы расскажите...

Печальный человек крякнул и рассказал:

— Зима, понимаете ли, холодно... Школа-то наша Чаадаевская без стекол, отопление не в порядке, освещение тоже. А ребят, знаете ли, вагон. Нуте-с, что тут делать? Начал я писать нашему ПД-68 на Сызранке. Раз пишу — никакого ответа нету. Два пишу — присылает ответ: как же... обязательно... нужно сделать и прочее тому подобное. Обрадовался я. Но только проходит порядочное время, а дела никакого не видно. Ребята между тем в школе пропадают. Ну-с, я опять ПД-68. Он мне ответ: как же, следует обязательно. Я ему опять. Он — мне. Я ему. Он. Нет, думаю. Так нельзя. Пишу тогда ПЧ, так, мол, и так, составьте, сделайте ваше одолжение, акт. Что же вы думаете? Молчание. Бросил я тогда. Пе-Де-68 начал шпарить к Пе-Че. Я ему. Он в ответ: копия вашего уважаемого письма прислана к Пе. Я ему опять. А он к Пе опять. Я ему. А он — Пе. Пе... тьфу... ему. Он — Пе. Я, он, он, я. Что тут прикажешь делать?! Он —

молчок. Что ж это, думаю, за наказание? А? И началось тут у меня какое-то настроение скверное. Аппетиту нету. Мелькание в глазах. Чепуха. Однажды выхожу из школы и вижу: бабушка моя покойная идет. Да-с, идет, а в руках у нее крендель в виде шестьдесят восемь. Я ей: бабушка, вы ж померли? А она мне: пошел вон, дурак! Я к доктору нашему. Посмотрел меня и говорит — вам надо бромати пить. Это не полагается, чтобы бабушек видеть...

Осатанел я, начал писать кому попало: в доркультотдел шесть раз написал — не отвечают. Написал тогда в управление дороги четыре раза — зачем, черт меня знает! Не отвечают. Я еще раз. Что тут началось — уму непостижимо человеческому. Приходит телеграмма: никаких расходов из эксплуатационных средств на культнужды не производить. Ночью бабушка: «Что, говорит, лежишь, как колода? Напиши Эн. Они — добрый господин». Уйди, говорю, ведьма. Померла и молчи! Швырнул в нее подсвечником, да в зеркало и попади. А наутро не утерпел — написал Эн. Приходит телеграмма — произвести необходимый ремонт. Я, конечно, Пе. А от Пе телеграмма — произвести необходимейший ремонт. Во! Необходимейший. Я доркультотделу — письмо: ага, пишу, съели? Даешь ремонт! А оттуда телеграмма: «Не расходовать школьные средства от обложений». Батюшки? Выхожу и вижу: стоит Петр Великий и на меня кулаком. Невзвидел я свету, выхватил ножик да за ним. Ну, тут, конечно, меня схватили и к вам...

Человек вдруг замолчал... выкатил глаза и стал приподниматься.

Доктор побледнел и отшатнулся.

— Ква... ква!! — взвизгнул человек. — Шестьдесят восемь! Где ремонт? А? Бей-й! А-а!!

— Сторожа... На помощь! — закричал доктор.

С громом вылетели стекла в кабинете.

— Рано выписывать, — сказал доктор вбежавшим белым халатам, — в 6-ю палату и рубашку.

Эм.



ЧАСЫ ЖИЗНИ И СМЕРТИ

(С натуры)

В Доме Союзов, в Колонном зале — гроб с телом Ильича. Круглые сутки — день и ночь — на площади огромные толпы людей, которые, строясь в ряды, бесконечными лентами, теряющимися в соседних улицах и переулках, вливаются в Колонный зал.

Это рабочая Москва идет поклониться праху великого Ильича.

Стрела на огненных часах дрогнула и стала на пяти. Потом неуклонно пошла дальше, потому что часы никогда не останавливаются. Как всегда, с пяти начали садиться на Москву сумерки. Мороз лютый. На площадь к Белому Дому стал входить эскадрон.

— Эй, эгей, со стрелки, со стрелки!

Стрелочник вертелся на перекрестке со своей вечной штангой в руках, в боярской шубе, с серебряными усами. Трамваи со скрежетом ломились в толпу. Машины зажгли фонари и выли.

— Эй, берегись!!

Эскадрон вошел с хрустом. Шлемы были наглухо застегнуты, а лошади одеты инеем. В морозном дыму завертелись огни, трамвайные стекла. На линии из земли родилась мгновенно черная очередь. Люди бежали, бежали в разные концы, но увидели всадников, поняли, что сейчас пустят. Раз, два, три... сто, тысяча!..

— Со стрелки-то уйдите!

— Трамвай!! Берегись! Машина стрелой — берегись!

— К порядочку, товарищи, к порядочку. Эй, куда?

— Братики, Христа ради, поставьте в очередь проститься. Проститься!

— Опоздала, тетка. Тет-ка! Ку-да-а?
— В очередь! В очередь!
— Батюшки, по Дмитровке-то хвост ушел!
— Куда ж деться-то мне, головушке горькой? Сквозь землю, что ль, провалиться?

Запрыгал салоп, заметался, а кони милицейские гигантские так и лезут. Куда ж бедной бабе деваться. Провались, баба... Кепи и красные, кони танцуют. Змеей, тысячей звеньев идет хвост к Параскеве Пятнице, молчит, но идет, идет! Ах, быстро попадем!

— Голубчики, никого не пушайте без очереди!
— Порядочек, граждане.
— Все померем...
— Думай мозгом, что говоришь. Ты помер, скажем, к примеру, какая разница. Какая разница, ответь мне, гражданин?

— Не обижайте!
— Не обижаю, а внушить хочу. Помер великий человек, поэтому помолчи. Помолчи минуту, сообрази в голове происшедшее.

— Куды?! Эгей-й!! Эй! Эй!
— Рота, стой!!
Ближе, ближе, ближе. Хруст, хруст. Хруст... Хруст... Стоп... двери. Голубчики родные, река течет!

— По три в ряд, товарищи.
— Вверх! Вверх!
— Огней, огней-то! Караулы каменные вдоль стен. Стены белые, на стенах огни кустами. Родилась на стрелке Охотного река и течет, попирая красный ковер.

— Тише ты. Тш...
— Шапки сняли, идут? Нет, не идут, не идут, не идут. Это не идут, братишки, а плывет река в миллион. На ковре ложится снег.

И в море белого света протекает река.

Лежит в гробу на красном постаменте человек. Он желт восковой желтизной, а бугры лба его лысой головы круты. Он молчит, но лицо его мудро, важно и спокойно. Он мертвый. Серый пиджак на нем, на сером красное пятно — орден Знамени. Знамена на стенах белого зала в шашку — черные,

красные, черные, красные. Гигантский орден — сияющая розетка в кустах огня, а в середине ее лежит на постаменте, обреченный смертью на вечное молчание человек.

Как словом своим на слова и дела подвинул бессмертные шлемы караулов, так теперь убил своим молчанием караулы и реку идущих на последнее прощание людей.

Молчит караул, приставив винтовки к ноге, и молча течет река.

Все ясно. К этому гробу будут ходить четыре дня по лютomu морозу в Москве, а потом в течение веков по дальним караванным дорогам желтых пустынь земного шара, там, где некогда, еще при рождении человечества, над его колыбелью ходила бессменная звезда.

Уходит, уходит река. Белые залы, красный ковер, огни. Стоят красноармейцы, смотрят сурово.

— Лиза, не плачь. Не плачь... Лиза... Воды, воды дайте ей!

— Санитара пропустите, товарищи!

Мороз. Мороз. Накройтесь, накройтесь, братишки. На дворе лютый мороз.

— Батюшки? Откуда ж зайтить-то?!

— Нельзя здесь!

— Порядочек, граждане!

— Только выход. Только выход.

— Товарищ дорогой, да ведь миллион стоит на Дмитровке! Не дождусь я, замерзну. Пустите? А?

— Не могу, — очередь!

Огни из машины на ходу бьют взрывами. Ударят в лицо — погаснет.

— Эй! Эгей! Берегись! Берегись! Машина раздавит. Берегись!

Горят огненные часы.

М. Б.

«Гудок», 27 января 1924 г.



ГЕРКУЛЕСОВЫ ПОДВИГИ СВЕТОЙ ПАМЯТИ БРАНДМЕЙСТЕРА НАЗАРОВА

ПРЕДИСЛОВИЕ

Был у нас на ст. Можайск Белорусско-Балт. ж. д. брендмейстер, гражданин Назаров.

Вот это был Назаров так Назаров!

Нет таких других Назаровых на свете.

Совершил брендмейстер ряд подвигов, и сразу все убедились, что он чистой воды Геркулес — наш брендмейстер, храбрый брендмейстер можайский.

ПОДВИГ 1

Борьба с теплом

Первым долгом налетел брендмейстер на временные железные печи решительно во всех помещениях и все их разобрал в пух. Так что наши можайские железнодорожники, товарищи-граждане, братья, сестрицы, вымерзли, как клопы.

ПОДВИГ 2

Клубная атака

Налетел Назаров в каске, сверкая как рыцарь, на наш клуб и хотел его уничтожить.

Прогревели, как гром, слова Назарова:

— Клуб антипожарный, замок на него повешу!

И шел строем на Назарова наш местком, имея взводным командиром нашего председателя, в полном составе, и был с брендмейстером неимоверный бой — семь дней и ночей, как на Перекопе.

Насчет клуба загнали месткомовские Назарова в пузырь, а на библиотечном фланге насыпал Назаров с факелами — изничтожил печную идею, и льдами покрылся товарищ Бухарин с азбукой в 5 экземплярах и Львом Толстым, и прекратилось население в библиотеке.

Отныне, во веки веков и вовеки.

ПОДВИГ 3

Подарок годовщине Октябрьской Революции

— Я ей сделаю подарок, — возвестил брандмейстер на пожарном дворе с трубными звуками. И сделал.

К годовщине пожарную машину до последнего винта разобрал. И не собрал.

Так что годовщина имеет себе кой-что.

ПОДВИГ 4

Исчезновение сквозь землю

И пропадал. Так пропадал, что найти его мог только один человек в мире — плательщик жалованья. И то только двенадцать раз в году — 20 числа каждого месяца.

ПОДВИГ 5

Червонный

В кассе взаимопомощи ссуду в один червонец взял, и уехал взаимный червонец наш, по какому курсу, неизвестно. Ходили слухи, будто наш червонец держал курс на ст. Ново-Сокольники.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Было назаровского жития на станции Можайск Московско-Белорусско-Балтийской железной дороги советской ровно два месяца. Настала у нас полная тишина с морозом на Северном полюсе.

Да будет Назарову земля пухом, но червонец он пускай
вернет под замок нашей несгораемой взаимопомощи.

Поздравляем вас, братики, ново-сокольниковцы! Будете
вы иметь!

Маг.

«Гудок», 19 февраля 1924 г.



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЛЕКЦИЯ

Науки юношей питают, отраду
старцам подают,
Науки сокращают нам жизнь,
короткую и без того.

В коридоре Рязанского строительного техникума путей сообщения прозвучал звонок. Классное помещение наполнилось учениками — красными, распаренными и дышащими со свистом.

Открылась дверь, и на кафедру взвошел многоуважаемый профессор электротехники, он же заведующий мастерской.

— Т-тиша! — сказал электрический профессор, строго глянув на багровые лица своих слушателей, — по какому поводу такой вид? Безобразный?

— Вентилятор качали для кузнечного горна! — хором взревели сто голосов.

— Ага, а почему я не вижу Колесаева?

— Колесаев умер вчера, — ответил хор, как в опере, ба-сами.

— Докачался! — отозвался хор тенором.

— Тэк-с... Ну, царство ему небесное. Раз умер, ничего не поделаешь. Воскресить я не властен. Верно?!

— Верно!! — грянул хор.

— Не ревите дикими голосами, — посоветовал учениый. — На чем, бишь, мы остановились в прошлый раз?

— Что такое электричество! — ответил класс.

— Правильно. Нуте-с, приступаем дальше. Берите тетрадки, записывайте мои слова...

Как листья в лесу, прошелестели тетрадки, и сто карандашей застрочили по бумаге.

— Прежде чем сказать, что такое электричество, — загну-дело с кафедры, — я вам... э... скажу про пар. В самом деле, что такое пар? Каждый дурак видел чайник на плите... Видели?

— Видели!!! — как ураган, ответили ученики.

— Не орите... Ну, вот, стало быть... кажется со стороны простая штука, каждая баба может вскипятить, а на самом деле это не так. Может ли баба паровоз пустить? Я вас спрашиваю? Нет-с, миленькие, баба паровоз пустить не может. Во-первых, не ее это бабье дело, а в-третьих, чайник — это ерунда, а в паровозе пар совсем другого сорта. Там пар под давлением, почему под означенным давлением, исходя из котла, прет в колеса и толкает их к вечному движению, так называемому перпетуум-мобиле.

— А что такое перпетуум? — спросил Куряковский-ученик.

— Не перебивай! Сам объясню. Перпетуум такая штука... это, братишки... ого-го! Утром, например, сел ты на Брянском вокзале в Москве и покатыл, и, смотришь, через 24 часа ты в Киеве, в совершенно другой советской республике, так называемой Украинской, и все это по причине концентрации пара в котле, проходящего по рычагам к колесам так называемым поршнем по закону вечного перпетуума, открытого известным паровым ученым Уан-Степом в 18 веке до Рождества Христова при взгляде на чайник на самой обыкновенной плите в Англии, в городе Лионе...

— А нам говорили по механике вчера, что плиты до Рождества Христова не было! — пискнул голос.

— И Англии не было! — буркнул другой.

— И Рождества Христова не было!!

— Го-го-го! Го!! — загремел класс...

— Молчать! — громыхнул преподаватель.

— Харюзин, оставь класс! Подстрекатель, вон!

— Вон! Харюзин, — взвыл класс. Харюзин, разливаясь в бурных рыданиях, встал и сказал:

— Простите, товарищ преподаватель, я больше не буду.

— Вон! — я о тебе доложу в совете преподавателей, и ты у меня в 24 часа!

— На перпетууме вылетнись, урра!! — подхватил взволнованный класс.

Тогда Харюзин впал в отчаяние и дерзость.

— Все равно пропадать моей голове, — залихватски рывкнул он, — так уж выложу я все! Накипело у меня на душевнике!

— Выкладывай, Харюзин! — ответил хор, становясь на сторону угнетенного.

— Сами вы ни черта не знаете! — захныкал Харюзин, адресуясь к профессору, — ни про перпетуум, ни про электротехнику, ни про пар. Чепуху мелете!

— Ого-го?! — запел заинтересованный класс.

— Я? Как ты сказал? ...Не знаю? — изумился профессор, становясь багровым. — Ты у меня ответишь за такие слова! Ты у меня, Харюзин, наплачешься!

— Не боюсь никого, кроме Бога одного! — ответил Харюзин в экстазе. — Мне теперь нечего терять, кроме своих цепей! Вышибут? Вышибай!! Пей мою кровь за правду-матку!!

— Так его! Крой, Харюзин!! — гремел класс. — Пострадай за правду.

— И страдаю, — вскричал Харюзин, — только мозги морочите! Околесицу порете! Двигатель для вентилятора поставить не можете!

— Пр-равильно, — бушевал восхищенный класс, — замучили качанием! Рождества не было. Уан-Степа не было! Сам, старый черт, ничего не знаешь!!!

— Это... бунт... — прохрипел профессор, — заговор! Да я! Да вы!

— Бей его! — рухнул класс в грохоте.

В коридоре зазвонил звонок, и профессор кинулся вон, а вслед ему засвистел разбойничьим свистом класс.

Михаил Б.

«Гудок», 15 марта 1924 г.



ВОСПОМИНАНИЕ...

У многих, очень многих есть воспоминания, связанные с Владимиром Ильичем, и у меня есть одно. Оно чрезвычайно прочно, и расстаться с ним я не могу. Да и как расстанешься, если каждый вечер, лишь только серые гармонни труб нальются теплом и приятная волна потечет по комнате, мне вспоминается и желтый лист моего знаменитого заявления, и вытертая кацавейка Надежды Константиновны...

Как расстанешься, если каждый вечер, лишь только нальются нити лампы в 50 свечей, и в зеленой тени абажура я могу писать и читать, в тепле, не помышляя о том, что на дворе ветерок при 18 градусах мороза.

Мыслимо ли расстаться, если, лишь только я подниму голову, встречаю над собой потолок. Правда, это отвратительный потолок — низкий, закопченный и треснувший, но все же он потолок, а не синее небо в звездах над Пречистенским бульваром, где, по точным сведениям науки, даже не 18 градусов, а 271, — и все они ниже нуля. А для того, чтобы прекратить мою литературно-рабочую жизнь, достаточно гораздо меньшего количества их. У меня же под черными фестонами паутины — 12 выше нуля, свет, и книги, и картонка жилтоварищества. А это значит, что я буду существовать столько же, сколько и весь дом. Не будет пожара — и я жив.

Но расскажу все по порядку.

Был конец 1921 года. И я приехал в Москву. Самый переезд не составил для меня особенных затруднений, потому что багаж мой был совершенно компактен. Все мое имущество помещалось в ручном чемоданчике. Кроме того, на

плечах у меня был бараний полушубок. Не стану описывать его. Не стану, чтобы не возбуждать в читателе чувство отвращения, которое и до сих пор терзает меня при воспоминании об этой лохматой дряни.

Достаточно сказать, что в первый же рейс по Тверской улице я шесть раз слышал за своими плечами восхищенный шепот:

— Вот это полушубочек!

Два дня я походил по Москве и, представьте, нашел место. Оно не было особенно блестящим, но и не хуже других мест: также давали крупу и также жалование платили в декабре за август. И я начал служить.

И вот тут в безобразнейшей наготе предо мной встал вопрос... о комнате. Человеку нужна комната. Без комнаты человек не может жить. Мой полушубок заменял мне пальто, одеяло, скатерть и постель. Но он не мог заменить комнаты, так же как и чемоданчик. Чемоданчик был слишком мал. Кроме того, его нельзя было отапливать. И, кроме того, мне казалось неприличным, чтобы служащий человек жил в чемодане.

Я отправился в жилотдел и простоял в очереди 6 часов. В начале седьмого часа я в хвосте людей, подобных мне, вошел в кабинет, где мне сказали, что я могу получить комнату через два месяца.

В двух месяцах приблизительно 60 ночей, и меня очень интересовал вопрос, где я их проведу. Пять из этих ночей, впрочем, можно было отбросить: у меня было 5 знакомых семейств в Москве. Два раза я спал на кушетке в передней, два раза — на стульях и один раз — на газовой плите. А на шестую ночь я пошел ночевать на Пречистенский бульвар. Он очень красив, этот бульвар, в ноябре месяце, но ночевать на нем нельзя больше одной ночи в это время. Каждый, кто желает, может в этом убедиться. Ранним утром, лишь только небо над громадными куполами побледнело, я взял чемоданчик, покрывшийся серебряным инеем, и отправился на Брянский вокзал. Единственно, чего я хотел после ночевки на бульваре, — это покинуть Москву. Без всякого сожаления я оставлял рыжую крупу в мешке и ноябрьское жалование, которое мне должны были выдавать в феврале. Купола, крыши, окна и московские люди были мне ненавистны, и я шел на Брянский вокзал.

Тут и случилось нечто, которое нельзя назвать иначе как чудом. У самого Брянского вокзала я встретил своего приятеля. Я полагал, что он умер.

Но он не только не умер, он жил в Москве, и у него была отдельная комната. О, мой лучший друг! Через час я был у него в комнате.

Он сказал:

— Ночуй. Но только тебя не пропишут.

Ночью я ночевал, а днем я ходил в домовое управление и просил, чтобы меня прописали на совместное жительство.

Председатель домового управления, толстый, окрашенный в самоварную краску человек в барашковой шапке и с барашковым же воротником, сидел, растопырив локти, и медными глазами смотрел на дыры моего полушубка. Члены домового управления в барашковых шапках окружали своего предводителя.

— Пожалуйста, пропишите меня, — говорил я, — ведь хозяин комнаты ничего не имеет против того, чтобы я жил в его комнате. Я очень тихий. Никому не буду мешать. Пьянствовать и стучать не буду...

— Нет, — отвечал председатель, — не пропишу. Вам не полагается жить в этом доме.

— Но где же мне жить, — спрашивал я, — где? Нельзя мне жить на бульваре.

— Это меня не касается, — отвечал председатель.

— Вылетайте, как пробка! — кричали железными головами сообщники председателя.

— Я не пробка... я не пробка, — бормотал я в отчаянии, — куда же я вылечу? Я — человек. Отчаяние съело меня.

Так продолжалось пять дней, а на шестой явился какой-то хромой человек с банкой от керосина в руках и заявил, что, если я не уйду завтра сам, меня уведет милиция.

Тогда я впал в остервенение.

Ночью я зажег толстую венчальную свечу с золотой спиралью. Электричество было сломано уже неделю, и мой друг освещался свечами, при свете которых его тетка вручила свое сердце и руку его дяде. Свеча плакала восковыми слеза-

ми. Я разложил большой чистый лист бумаги и начал писать на нем нечто, начинавшееся словами: Председателю Совнаркома Владимиру Ильичу Ленину. Все, все я написал на этом листе: и как я поступил на службу, и как ходил в жилотдел, и как видел звезды при 270 градусах над храмом Христа, и как мне кричали:

— Вылетайте, как пробка.

Ночью, черной и угольной, в холоде (отопление тоже сломалось) я заснул на дырявом диване и увидел во сне Ленина. Он сидел в кресле за письменным столом в круге света от лампы и смотрел на меня. Я же сидел на стуле напротив него в своем полушубке и рассказывал про звезды на бульваре, про венчальную свечу и председателя.

— Я не пробка, нет, не пробка, Владимир Ильич.

Слезы обильно струились из моих глаз.

— Так... так... так... — отвечал Ленин.

Потом он звонил.

— Дать ему ордер на совместное жительство с его приятелем. Пусть сидит веки вечные в комнате и пишет там стихи про звезды и тому подобную чепуху. И позвать ко мне этого каналью в барашковой шапке. Я ему покажу совместное жительство.

Приводили председателя. Толстый председатель плакал и бормотал:

— Я больше не буду.

Все хохотали утром на службе, увидев лист, писанный ночью при восковых свечах.

— Вы не дойдете до него, голубчик, — сочувственно сказал мне заведующий.

— Ну так я дойду до Надежды Константиновны, — отвечал я в отчаянии, — мне теперь все равно. На Пречистинский бульвар я не пойду.

И я дошел до нее.

В три часа дня я вошел в кабинет. На письменном столе стоял телефонный аппарат. Надежда Константиновна в вытертой какой-то меховой кацавейке вышла из-за стола и посмотрела на мой полушубок.

— Вы что хотите? — спросила она, разглядев в моих руках знаменитый лист.

— Я ничего не хочу на свете, кроме одного — совместного жительства. Меня хотят выгнать. У меня нет никаких надежд ни на кого, кроме Председателя Совета Народных Комиссаров. Убедительно вас прошу передать ему это заявление.

И я вручил ей мой лист.

Она прочитала его.

— Нет, — сказала она, — такую штуку подавать Председателю Совета Народных Комиссаров?

— Что же мне делать? — спросил я и уронил шапку.

Надежда Константиновна взяла мой лист и написала сбоку красными чернилами:

«Прошу дать ордер на совместное жительство».

И подписала:

Ульянова.

Точка.

Самое главное то, что я забыл ее поблагодарить.

Забыл.

Криво надел шапку и вышел.

Забыл.

В четыре часа дня я вошел в прокуренное домовое управление. Все были в сборе.

— Как? — вскричали все. — Вы еще тут?

— Вылета...

— Как пробка? — зловеще спросил я. — Как пробка? Да?

Я вынул лист, выложил его на стол и указал пальцем на заветные слова.

Барашковые шапки склонились над листом, и мгновенно их разбил паралич. По часам, что тикали на стене, могу сказать, сколько времени он продолжался:

Три минуты.

Затем председатель ожил и завел на меня угасающие глаза:

— Улья?.. — спросил он суконным голосом.

Опять в молчании тикали часы.

— Иван Иванович, — расслабленно молвил барашковый председатель, — выпиши им, друг, ордерок на совместное жительство.

Друг Иван Иванович взял книгу и, скребя пером, стал выписывать ордерок в гробовом молчании.

Я живу. Все в той же комнате с закопченным потолком. У меня есть книги, и от лампы на столе лежит круг. 22 января он налился красным светом, и тотчас вышло в свете передо мной лицо из сонного видения — лицо с бородкой клинышком и крутые бугры лба, а за ним — в тоске и отчаянье седоватые волосы, вытертый мех на кацавейке и слово красными чернилами.

Ульянова.

Самое главное, забыл я тогда поблагодарить.

Вот оно неудобно как...

Благодарю вас, Надежда Константиновна.

Михаил Б.

*Журнал «Железнодорожник»,
1924, № 1 — 2.*

М. А. Булгаков действительно долго не мог добиться прописки в комнате, которую уступил ему и его жене А. М. Земской. В домоуправлении, вспоминала Т. Н. Лаппа, были горькие пьяницы. Прописали их тогда, когда Крупская прислала в домком записку: «Прошу прописать...»

А первая московская машинистка М. А. Булгакова И. С. Раабен вспоминала, как печатала эту записку: «Он жил по каким-то знакомым, потом решил написать письмо Надежде Константиновне Крупской. Мы с ним это вместе долго сочиняли. Когда оно уже было напечатано, он мне вдруг сказал: «Знаете, пожалуй, я его лучше перепишу от руки». И так и сделал. Он послал это письмо, и я помню, какой он довольный прибежал, когда Надежда Константиновна добила для него большой 18-метровой комнаты в районе Садовой...» («Воспоминания о Михаиле Булгакове», М., 1988, с. 129).



ДЬЯВОЛИАДА

*Повесть о том, как близнецы
погубили делопроизводителя*

1. ПРОИСШЕСТВИЕ 20-ГО ЧИСЛА

В то время, как все люди скакали с одной службы на другую, товарищ Коротков прочно служил в Главцентрбазспимате (Главная Центральная База Спичечных Материалов) на штатной должности делопроизводителя и прослужил в ней целых 11 месяцев.

Пригревшись в Спимате, нежный, тихий блондин Коротков совершенно вытравил у себя в душе мысль, что существуют на свете так называемые превратности судьбы, и привил взамен нес уверенность, что он — Коротков — будет служить в базе до окончания жизни на земном шаре. Но, увы, вышло совсем не так...

20 сентября 1921 года кассир Спимата накрылся своей противной ушастой шапкой, уложил в портфель полосатую ассигновку и уехал. Это было в 11 часов пополудни.

Вернулся же кассир в 4 1/2 часа пополудни, совершенно мокрый. Приехав, он стряхнул с шапки воду, положил шапку на стол, а на шапку — портфель и сказал:

— Не напирайте, господа.

Потом пошарил зачем-то в столе, вышел из комнаты и вернулся через четверть часа с большой мертвой курицей со свернутой шеей. Курицу он положил на портфель, на курицу — свою правую руку и молвил:

— Денег не будет.

— Завтра? — хором закричали женщины.

— Нет, — кассир замотал головой, — и завтра не будет, и послезавтра. Не налезайте, господа, а то вы мне, товарищи, стол опрокинете.

— Как? — вскричали все, и в том числе наивный Коротков.

— Граждане! — плачущим голосом запел кассир и локтем отмахнулся от Короткова. — Я же прошу!

— Да как же? — кричали все и громче всех этот комик Коротков.

— Ну, пожалуйста, — сипло пробормотал кассир и, вытащив из портфеля ассигновку, показал ее Короткову.

Над тем местом, куда тыкал грязный ноготь кассира, наискось было написано красными чернилами:

«Выдать. За т. Субботникова — Сенат».

Ниже фиолетовыми чернилами было написано:

«Денег нет. За т. Иванова — Смирнов».

— Как? — крикнул один Коротков, а остальные, пыхтя, навалились на кассира.

— Ах ты, Господи! — растерянно заныл тот. — При чем я тут? Боже ты мой!

Торопливо засунув ассигновку в портфель, он накрылся шапкой, портфель сунул под мышку, взмахнул кулаком, крикнул: «Пропустите, пожалуйста!» — и, проломив брешь в живой стене, исчез в дверях.

За ним с писком побежала бледная регистраторша на высоких заостренных каблуках, левый каблук у самых дверей с хрустом отвалился, регистраторша качнулась, подняла ногу и сняла туфлю.

И в комнате осталась она, — босая на одну ногу, и все остальные, в том числе и Коротков.

II. ПРОДУКТЫ ПРОИЗВОДСТВА

Через три дня после описанного события дверь отдельной комнаты, где занимался товарищ Коротков, приоткрылась, и женская заплаканная голова злобно сказала:

— Товарищ Коротков, идите жалованье получать.

— Как? — радостно воскликнул Коротков и, насвистывая увертюру из «Кармен», побежал в комнату с надписью: «касса». У кассирского стола он остановился и широко открыл рот. Две толстых колонны, состоящие из желтых пачек, возвышались до самого потолка. Чтобы не отвечать ни на какие вопросы, потный и взволнованный кассир кнопкой пришил к стене ассигновку, на которой теперь имелась третья надпись зелеными чернилами:

«Выдать продуктами производства.

За т. Богоявленского — Преображенский.

И я полагаю — Кшесинский».

Коротков вышел от кассира, широко и глупо улыбаясь. В руках у него было 4 больших желтых пачки, 5 маленьких зеленых, а в карманах 13 синих коробок спичек. У себя в комнате, прислушиваясь к гулу изумленных голосов в канцелярии, он упаковал спички в два огромных листа сегодняшней газеты и, не сказавшись никому, отбыл со службы домой. У подъезда Спимата он чуть не попал под автомобиль, в котором кто-то подъехал, но кто именно, Коротков не разглядел.

Прибыв домой, он выложил спички на стол и, отойдя, полюбовался на них. Глупая улыбка не сходила с его лица. Затем Коротков взъерошил белокурые волосы и сказал самому себе:

— Ну-с, унывать тут долго нечего. Постараемся их продать.

Он постучался к соседке своей, Александре Федоровне, служащей в Губвинскладе.

— Войдите, — глухо отозвалось в комнате.

Коротков вошел и изумился. Преждевременно вернувшаяся со службы Александра Федоровна в пальто и шапочке сидела на корточках на полу. Перед нею стоял строй бутылок с пробками из газетной бумаги, наполненных жидкостью густого красного цвета. Лицо у Александры Федоровны было заплакано.

— 46, — сказала она и повернулась к Короткову.

— Это чернила?.. Здравствуйте, Александра Федоровна, — вымолвил пораженный Коротков.

— Церковное вино, — всхлипнув, ответила соседка.

— Как, и вам? — ахнул Коротков.

— И вам церковное? — изумилась Александра Федоровна.

— Нам — спички, — угасшим голосом ответил Коротков и закрутил пуговицу на пиджаке.

— Да ведь они же не горят! — вскричала Александра Федоровна, поднимаясь и отряхивая юбку.

— Как это так, не горят? — испугался Коротков и бросился к себе в комнату. Там, не теряя ни минуты, он схватил коробку, с треском распечатал ее и чиркнул спичкой. Она с

шипением вспыхнула зеленоватым огнем, переломилась и погасла. Коротков, задохнувшись от едкого серного запаха, болезненно закашлялся и зажег вторую. Та выстрелила, и два огня брызнули от нее. Первый попал в оконное стекло, а второй — в левый глаз товарища Короткова.

— А-ах! — крикнул Коротков и вырвал коробку.

Несколько мгновений он перебирал ногами, как горячая лошадь, и зажимал глаз ладонью. Затем с ужасом заглянул в бритвенное зеркальце, уверенный, что лишился глаза. Но глаз оказался на месте. Правда, он был красен и источал слезы.

— Ах, Боже мой! — расстроился Коротков, немедленно достал из комода американский индивидуальный пакет, вскрыл его, обвязал левую половину головы и стал похож на раненого в бою.

Всю ночь Коротков не гасил огня и лежал, чиркая спичками. Вычиркал он таким образом три коробки, причем ему удалось зажечь 63 спички.

— Врет, дура, — ворчал Коротков, — прекрасные спички.

Под утро комната наполнилась удушливым серным запахом. На рассвете Коротков уснул и увидал дурацкий, страшный сон: будто бы на зеленом лугу очутился перед ним огромный, живой бильярдный шар на ножках. Это было так скверно, что Коротков закричал и проснулся. В мутной мгле еще секунд пять ему мерещилось, что шар тут, возле постели, и очень сильно пахнет серой. Но потом все это пропало; поворочавшись, Коротков заснул и уже не просыпался.

III. ЛЫСЫЙ ПОЯВИЛСЯ

На следующее утро Коротков, сдвинув повязку, убедился, что глаз его почти выздоровел. Тем не менее повязку излишне осторожный Коротков решил пока не снимать.

Явившись на службу с крупным опозданием, хитрый Коротков, чтобы не возбуждать кривотолков среди низших служащих, прямо прошел к себе в комнату и на столе нашел бумагу, в коей заведующий подотделом укомплектования запрашивал заведующего базой, — будет ли выдано машинисткам обмундирование. Прочитав бумагу правым глазом,

Коротков взял ее и отправился по коридору к кабинету заведующего базой т. Чекушина.

И вот у самых дверей в кабинет Коротков столкнулся с неизвестным, поразившим его своим видом.

Этот неизвестный был настолько маленького роста, что достигал высокому Короткову только до талии. Недостаток роста искупался чрезвычайной шириной плеч неизвестного. Квадратное туловище сидело на искривленных ногах, причем левая была хромая. Но примечательнее всего была голова. Она представляла собою точную гигантскую модель яйца, насаженного на шею горизонтально и острым концом вперед. Лысой она была тоже как яйцо и настолько блестящей, что на темени у неизвестного, не угасая, горели электрические лампочки. Крохотное лицо неизвестного было выбрито до синевы, и зеленые маленькие, как булавочные головки, глаза сидели в глубоких впадинах. Тело неизвестного было одето в расстегнутый, сшитый из серого одеяла френч, из-под которого выглядывала малороссийская вышитая рубашка, ноги в штанах из такого же материала и низеньких с вырезом сапожках гусара времен Александра I.

«Т-типик», — подумал Коротков и устремился к двери Чекушина, стараясь миновать лысого. Но тот совершенно неожиданно загородил Короткову дорогу.

— Что вам надо? — спросил лысый Короткова таким голосом, что нервный делопроизводитель вздрогнул. Этот голос был совершенно похож на голос медного таза и отличался таким тембром, что у каждого, кто его слышал, при каждом слове происходило вдоль позвоночника ощущение шершавой проволоки. Кроме того, Короткову показалось, что слова неизвестного пахнут спичками. Несмотря на все это, недалековидный Коротков сделал то, что делать ни в коем случае не следовало, — обиделся.

— Гм... довольно странно. Я иду с бумагой... А позволяете узнать, кто вы так...

— А вы видите, что на двери написано?

Коротков посмотрел на дверь и увидел давно знакомую надпись: «Без доклада не входить».

— Я и иду с докладом, — сглупил Коротков, указывая на свою бумагу.

Лысый квадратный неожиданно рассердился. Глазки его вспыхнули желтоватыми искорками.

— Вы, товарищ, — сказал он, оглушая Короткова каструльными звуками, — настолько неразвиты, что не понимаете значения самых простых служебных надписей. Я положительно удивляюсь, как вы служили до сих пор. Вообще тут у вас много интересного, например, эти подбитые глаза на каждом шагу. Ну, ничего, это мы все приведем в порядок. («А-а!» — ахнул про себя Коротков.) Дайте сюда!

И с последними словами неизвестный вырвал из рук Короткова бумагу, мгновенно прочел ее, вытащил из кармана штанов обгрызенный химический карандаш, приложил бумагу к стене и косо написал несколько слов.

— Ступайте! — рявкнул он и ткнул бумагу Короткову так, что чуть не выколол ему и последний глаз. Дверь в кабинет взвыла и проглотила неизвестного, а Коротков остался в оцепенении, — в кабинете Чекушина не было.

Пришел в себя сконфуженный Коротков через полминуты, когда вплотную налетел на Лидочку де Руни, личную секретаршу т. Чекушина.

— А-ах! — ахнул т. Коротков. Глаз у Лидочки был закутан точно таким же индивидуальным материалом с той разницей, что концы бинта были завязаны кокетливым бантом.

— Что это у вас?

— Спички! — раздраженно ответила Лидочка. — Проклятые.

— Кто там такой? — шепотом спросил убитый Коротков.

— Разве вы не знаете? — зашептала Лидочка, — новый.

— Как? — пискнул Коротков, — а Чекушин?

— Выгнали вчера, — злобно сказала Лидочка и прибавила, ткнув пальчиком по направлению кабинета: — Ну и гу-усь. Вот это фрукт. Такого противного я в жизнь свою не видала. Орет! Уволить!.. Подштанники лысые! — добавила она неожиданно, так что Коротков выпучил на нее глаз.

— Как фа...

Коротков не успел спросить. За дверью кабинета грянул страшный голос: «Курьера!» Делопроизводитель и секретарша мгновенно разлетелись в разные стороны. Прилетев в свою комнату, Коротков сел за стол и произнес сам себе такую речь:

— Ай, яй, яй... Ну, Коротков, ты влопался. Нужно это дельце исправлять... «Неразвить»... Хм... Нахал... Ладно! Вот ты увидишь, как это так Коротков неразвит.

И одним глазом делопроизводитель прочел писание лысого. На бумаге стояли кривые слова: «Всем машинисткам и женщинам вообще своевременно будут выданы солдатские кальсоны».

— Вот это здорово! — восхищенно воскликнул Коротков и сладострастно дрогнул, представив себе Лидочку в солдатских кальсонах. Он немедленно вытащил чистый лист бумаги и в три минуты сочинил:

«Телефонограмма.

Заведующему подотделом укомплектования точка. В ответ на отношение ваше за № 0,15015 (6) от 19-го числа запятая Главспимат сообщает запятая что всем машинисткам и вообще женщинам своевременно будут выданы солдатские кальсоны точка Заведывающий тире подпись Делопроизводитель тире Варфоломей Коротков точка».

Он позвонил и явившемуся курьеру Пантелеймону сказал:

— Заведующему на подпись.

Пантелеймон пожевал губами, взял бумагу и вышел.

Четыре часа после этого Коротков прислушивался, не выходя из своей комнаты, в том расчете, чтобы новый заведывающий, если вздумает обходить помещение, непременно застал его погруженным в работу. Но никаких звуков из страшного кабинета не доносилось. Раз только долетел смутный чугунный голос, как будто угрожающий кого-то уволить, но кого именно, Коротков не расслышал, хоть и припадал ухом к замочной скважине. В 3 1/2 часа пополудни за стеной канцелярии раздался голос Пантелеймона:

— Уехали на машине.

Канцелярия тотчас зашумела и разбежалась. Позже всех в одиночестве отбыл домой т. Коротков.

IV. ПАРАГРАФ ПЕРВЫЙ — КОРОТКОВ ВЫЛЕТЕЛ

На следующее утро Коротков с радостью убедился, что глаз его больше не нуждается в лечении повязкой, поэтому

он с облегчением сбросил бинт и сразу похорошел и изменился. Напившись чаю на скорую руку, Коротков потушил примус и побежал на службу, стараясь не опоздать, и опоздал на 50 минут из-за того, что трамвай вместо шестого маршрута пошел окружным путем по седьмому, заехал в отдаленные улицы с маленькими домиками и там сломался. Коротков пешком одолел три версты и, запыхавшись, вбежал в канцелярию, как раз когда кухонные часы «Альпийской розы» пробили одиннадцать раз. В канцелярии его ожидало зрелище совершенно необычайное для одиннадцати часов утра. Лидочка де Руни, Милочка Литовцева, Анна Евграфовна, старший бухгалтер Дрозд, инструктор Гитис, Намеракский, Иванов, Мушка, регистраторша, кассир — словом, вся канцелярия не сидела на своих местах за кухонными столами бывшего ресторана «Альпийской розы», а стояла, сбившись в тесную кучку у стены, на которой гвоздем была прибита четвертушка бумаги. При входе Короткова наступило внезапное молчание, и все потупились.

— Здравствуйте, господа, что это такое? — спросил удивленный Коротков.

Толпа молча расступилась, и Коротков прошел к четвертушке. Первые строчки глянули на него уверенно и ясно, последние сквозь слезливый, ошеломляющий туман.

«ПРИКАЗ № 1

§ 1. За недопустимо халатное отношение к своим обязанностям, вызывающее вопиющую путаницу в важных служебных бумагах, а равно и за появление на службе в безобразном виде разбитого, по-видимому, в драке лица, тов. Коротков увольняется с сего 26-го числа, с выдачей ему трамвайных денег по 25-е включительно».

Параграф первый был в то же время и последним, а под параграфом красовалась крупными буквами подпись:

«Заведующий Кальсонер».

Двадцать секунд в пыльном хрустальном зале «Альпийской розы» царило идеальное молчание. При этом лучше всех, глубже и мертвеннее молчал зеленоватый Коротков. На двадцать первой секунде молчание лопнуло.

— Как? Как? — прозвенел два раза Коротков совершенно как разбитый о каблук альпийский бокал, — его фамилия Кальсо — нер?..

При страшном слове канцелярские брызнули в разные стороны и вмиг расселись по столам, как вороны на телеграфной проволоке. Лицо Короткова сменило гнилую зеленую плесень на пятнистый пурпур.

— Ай, яй, яй, — загудел в отдалении, выглядывая из grossбуха, Скворец, — как же вы это так, батюшка, промахнулись? А?

— Я ду-думал, думал... — прохрустел осколками голоса Коротков, — прочитал вместо «Кальсонер» «Кальсоны». Он с маленькой буквы пишет фамилию!

— Подштанники я не одену, пусть он успокоится! — хрустально звякнула Лидочка.

— Тсс! — змеей зашипел Скворец, — что вы?

Он нырнул, спрятался в grossбухе и прикрылся страницей.

— А насчет лица он не имеет права! — негромко выкрикнул Коротков, становясь из пурпурного белым, как горноста́й, — я нашими же сволочными спичками выжег глаз, как и товарищ де Руни!

— Тише! — пискнул побледневший Гитис, — что вы? Он вчера испытывал их и нашел превосходными.

Д-р-р-р-р-р-р-р, — неожиданно зазвенел электрический звонок над дверью... и тотчас тяжелое тело Пантелеймона упало с табурета и покатилося по коридору.

— Нет! Я объяснюсь. Я объяснюсь! — высоко и тонко спел Коротков, потом кинулся влево, кинулся вправо, пробежал шагов десять на месте, искаженно отражаясь в пыльных альпийских зеркалах, вынырнул в коридоре и побежал на свет тусклой лампочки, висящей над надписью «Отдельные кабинеты». Запыхавшись, он стал перед страшной дверью и очнулся в объятиях Пантелеймона.

— Товарищ Пантелеймон, — заговорил беспокойно Коротков. — Ты меня, пожалуйста, пусти. Мне нужно к заведующему сию минуту...

— Нельзя, нельзя, никого не велено пушать, — захрипел Пантелеймон и страшным запахом луку затушил решимость Короткова, — нельзя. Идите, идите, господин Коротков, а то мне через вас беда будет...

— Пантелеймон, мне же нужно, — угасая, попросил Коротков, — тут, видишь ли, дорогой Пантелеймон, случился приказ... Пустите меня, милый Пантелеймон.

— Ах ты ж, Господи... — в ужасе обернувшись на дверь, забормотал Пантелеймон, — говорю вам, нельзя. Нельзя, товарищ!

В кабинете за дверью грянул телефонный звонок и ухнул в медь тяжкий голос:

— Еду! Сейчас!

Пантелеймон и Коротков расступились; дверь распахнулась, и по коридору понесся Кальсонер в фуражке и с портфелем под мышкой. Пантелеймон впритруску побежал за ним, а за Пантелеймоном, немного поколебавшись, кинулся Коротков. На повороте коридора Коротков, бледный и взволнованный, проскочил под руками Пантелеймона, обогнал Кальсонера и побежал перед ним задом.

— Товарищ Кальсонер, — забормотал он прерывающимся голосом, — позвольте одну минуточку сказать... Тут я по поводу приказа...

— Товарищ! — звякнул бешено стремящийся и озабоченный Кальсонер, сметая Короткова в беге. — вы же видите, я занят? Еду! Еду!..

— Так я насчет прика...

— Неужели вы не видите, что я занят?.. Товарищ! Обратитесь к делопроизводителю.

Кальсонер выбежал в вестибюль, где помещался на площадке огромный брошенный орган «Альпийской розы».

— Я ж делопроизводитель! — в ужасе облившись потом, визгнул Коротков, — выслушайте меня, товарищ Кальсонер!

— Товарищ! — заревел, как сирена, ничего не слушая, Кальсонер и, на ходу обернувшись к Пантелеймону, крикнул — Примите меры, чтоб меня не задерживали!

— Товарищ! — испугавшись, захрипел Пантелеймон, — что ж вы задерживаете?

И не зная, какую меру нужно принять, принял такую, — ухватил Короткова поперек туловища и легонько прижал к себе, как любимую женщину. Мера оказалась действительной, — Кальсонер ускользнул, словно на роликах скатился с лестницы и выскочил в парадную дверь.

— Пит! Питт! — закричала за стеклами мотоциклетка, выстрелила пять раз и, закрыв дымом окна, исчезла. Тут только Пантелеймон выпустил Короткова, вытер пот с лица и проревел:

— Бе-да!

— Пантелеймон... — трясущимся голосом спросил Коротков, — куда он поехал? Скорей скажи, он другого, понимаешь ли...

— Кажись, в Центроснаб.

Коротков вихрем сбежал с лестницы, ворвался в шишелевую, схватил пальто и кепку и выбежал на улицу.

V. ДЬЯВОЛЬСКИЙ ФОКУС

Короткову повезло. Трамвай в ту же минуту поравнялся с «Альпийской розой». Удачно прыгнув, Коротков понесся вперед, стукаясь то о тормозное колесо, то о мешки на спинах. Надежда обжигала его сердце. Мотоциклетка почему-то задержалась и теперь тарахтела впереди трамвая, и Коротков то терял из глаз, то вновь обретал квадратную спину в туче синего дыма. Минут пять Короткова колотило и мяло на площадке, наконец у серого здания Центроснаба мотоциклетка стала. Квадратное тело закрылось прохожими и исчезло. Коротков на ходу вырвался из трамвая, повернулся по оси, упал, ушиб колено, поднял кепку и под носом автомобиля поспешил в вестибюль.

Покрывая полы мокрыми пятнами, десятки людей шли навстречу Короткову или обгоняли его. Квадратная спина мелькнула на втором марше лестницы, и, задыхаясь, он поспешил за ней. Кальсонер поднимался со странной, неестественной скоростью, и у Короткова сжималось сердце при мысли, что он упустит его. Так и случилось. На 5-й площадке, когда делопроизводитель совершенно обессилел, спина растворилась в гуще физиономий, шапок и портфелей. Как молния Коротков взлетел на площадку и секунду колебался перед дверью, на которой было две надписи. Одна золотая по зеленому с твердым знаком «Дортуар пепиньерок», другая черным по белому без твердого «Начканшуправделснаб». Наудачу Коротков устремился в эти двери и увидел стеклянные огромные клетки и много белокурых женщин,

бегавших между ними. Коротков открыл первую стеклянную перегородку и увидел за нею какого-то человека в синем костюме. Он лежал на столе и весело смеялся в телефон. Во втором отделении на столе было полное собрание сочинений Шеллера-Михайлова, а возле собрания неизвестная пожилая женщина в платке взвешивала на весах сушеную и дурно пахнущую рыбу. В третьем царил дробный непрерывный грохот и звоночки — там за шестью машинами писали и смеялись шесть светлых, мелкозубых женщин. За последней перегородкой открывалось большое пространство с пухлыми колоннами. Невыносимый треск машин стоял в воздухе, и виднелась масса голов, — женских и мужских, но Кальсонеровой среди них не было. Запутавшись и завертевшись, Коротков остановил первую попавшуюся женщину, пробегающую с зеркальцем в руках.

— Не видели ли вы Кальсонера?

Сердце в Короткове упало от радости, когда женщина ответила, сделав огромные глаза:

— Да, но он сейчас уезжает. Догоняйте его.

Коротков побежал через колонный зал туда, куда ему указывала маленькая белая рука с блестящими красными ногтями. Проскакав зал, он очутился на узкой и темноватой площадке и увидел открытую пасть освещенного лифта. Сердце ушло в ноги Короткову, — догнал... пасть принимала квадратную одеяльную спину и черный блестящий портфель.

— Товарищ Кальсонер, — прокричал Коротков и окоченел. Зеленые круги в большом количестве запрыгали по площадке. Сетка закрыла стеклянную дверь, лифт тронулся, и квадратная спина, повернувшись, превратилась в богатырскую грудь. Все, все узнал Коротков: и серый френч, и кепку, и портфель, и изюминки глаз. Это был Кальсонер, но Кальсонер с длинной ассирийско-гофрированной бородой, ниспадавшей на грудь. В мозгу Короткова немедленно родилась мысль: «Борода выросла, когда он ехал на мотоциклете и поднимался по лестнице, — что же это такое?» И затем вторая: «Борода фальшивая, — это что же такое?»

А Кальсонер тем временем начал погружаться в сетчатую бездну. Первыми скрылись ноги, затем живот, борода, последними глазки и рот, выкрикнувший нежные теноровые слова:

— Поздно, товарищ, в пятницу.

«Голос тоже привязной», — стукнуло в коротковском чепе. Секунды три мучительно горела голова, но потом, вспомнив, что никакое колдовство не должно останавливать его, что остановка — гибель, Коротков двинулся к лифту. В сетке показалась поднимающаяся на канате кровля. Томная красавица с блестящими камнями в волосах вышла из-за трубы и, нежно коснувшись руки Короткова, спросила его:

— У вас, товарищ, порок сердца?

— Нет, ох нет, товарищ, — выговорил ошеломленный Коротков и шагнул к сетке, — не задерживайте меня.

— Тогда, товарищ, идите к Ивану Финогеновичу, — сказала печально красавица, преграждая Короткову дорогу к лифту.

— Я не хочу! — плаксиво вскричал Коротков, — товарищ! Я спешу. Что вы?

Но женщина осталась непреклонной и печальной.

— Ничего не могу сделать, вы сами знаете, — сказала она и придержала за руку Короткова. Лифт остановился, выплюнул человека с портфелем, закрылся сеткой и опять ушел вниз.

— Пустите меня! — визгнул Коротков и, вырвав руку, с проклятием кинулся вниз по лестнице. Пролетев шесть мраморных маршей и чуть не убив высокую перекрестившуюся старуху в наколке, он оказался внизу возле огромной новой стеклянной стены под надписью сверху серебром по синему «Дежурные классные дамы» и внизу пером по бумаге «Справочное». Темный ужас охватил Короткова. За стеной ясно мелькнул Кальсонер. Кальсонер иссиня бритый, прежний и страшный. Он прошел совсем близко от Короткова, отделенный от него лишь тоненьким слоем стекла. Стараясь ни о чем не думать, Коротков кинулся к блестящей медной ручке и потянул ее, но она не подалась.

Скрипнув зубами, он еще раз рванул сияющую медь и тут только в отчаянии разглядел крохотную надпись: «Кругом, через 6-й подъезд».

Кальсонер мелькнул и сгинул в черной нише за стеклом.

— Где шестой? Где шестой? — слабо крикнул он кому-то. Прохожие шарахнулись. Маленькая боковая дверь открылась, и из нее вышел люстриновый старичок в синих

очках с огромным списком в руках. Глянув на Короткова поверх очков, он улыбнулся, пожевал губами.

— Что? Все ходите? — зашамкал он, — ей-богу, напрасно. Вы уж послушайте меня, старичка, бросьте. Все равно я вас уже вычеркнул. Хи-хи.

— Откуда вычеркнули? — остоленел Коротков.

— Хи. Известно откуда, из списков. Карандашиком — чирк, и готово — хи-кхи. — Старичок сладострастно засмеялся.

— Поз...вольте... Откуда же вы меня знаете?

— Хи. Шутник вы, Василий Павлович.

— Я — Варфоломей, — сказал Коротков и потрогал рукой свой холодный и скользкий лоб, — Петрович.

Улыбка на минуту покинула лицо страшного старичка.

Он уставился в лист и сухим пальчиком с длинным когтем провел по строчкам.

— Что ж вы путаете меня? Вот он — Колобков, В. П.

— Я — Коротков, — нетерпеливо крикнул Коротков.

— Я и говорю: Колобков, — обиделся старичок. — А вот и Кальсонер. Оба вместе переведены, а на место Кальсонера — Чекушин.

— Что?.. — не помня себя от радости, крикнул Коротков. — Кальсонера выкинули?

— Точно так-с. День всего успел поуправлять, и вышибли.

— Боже! — ликуя воскликнул Коротков, — я спасен! Я спасен! — и, не помня себя, он сжал костлявую когтистую руку старичка. Тот улыбнулся. На миг радость Короткова померкла. Что-то странное, зловещее мелькнуло в синих глазных дырках старика. Странна показалась и улыбка, обнажавшая сизые десны. Но тотчас же Коротков отогнал от себя неприятное чувство и засуетился.

— Стало быть, мне сейчас в Спимат нужно бежать?

— Обязательно, — подтвердил старичок, — тут и сказано: — в Спимат. Только позвольте вашу книжечку, я пометочку в ней сделаю карандашиком.

Коротков тотчас полез в карман, побледнел, полез в другую, еще пуще побледнел, хлопнул себя по карманам брюк и с заглушенным воплем бросился обратно по лестнице, глядя себе под ноги. Сталкиваясь с людьми, отчаянный Коротков взлетел до самого верха, хотел увидеть красавицу с камня-

ми, у нее что-то спросить, и увидел, что красавица превратилась в уродливого, сопливого мальчишку.

— Голубчик! — бросился к нему Коротков, — бумажник мой, желтый...

— Неправда это, — злобно ответил мальчишка, — не брал я, врут они.

— Да нет, милый, я не то... не ты... документы.

Мальчишка посмотрел исподлобья и вдруг заревел басом.

— Ах, Боже мой! — в отчаянии вскричал Коротков и пошел вниз к старичку.

Но когда он прибежал, старичка уже не было. Он исчез. Коротков кинулся к маленькой двери, рванул ручку. Она оказалась запертой. В полутьме пахло чуть-чуть серой.

Мысли закрутились в голове Короткова метелью, и выпрыгнула одна новая: «Трамвай!» Он ясно вдруг вспомнил, как жали его на площадке двое молодых людей, один из них худенький, с черными, словно приклеенными, усиками.

— Ах, беда-то, вот уж беда, — бормотал Коротков, — это уж всем бедам беда.

Он выбежал на улицу, пробежал ее до конца, свернул в переулок и очутился у подъезда небольшого здания неприятной архитектуры. Серый человек, косой и мрачный, глядя не на Короткова, а куда-то в сторону, спросил:

— Куда ты лезешь?

— Я, товарищ, Коротков, Вэ Пэ, у которого только что украли документы... Все до единого... Меня забрать могут...

— И очень просто, — подтвердил человек на крыльце.

— Так вот позвольте...

— Пушай Коротков самолично и придет.

— Так я же, товарищ, Коротков.

— Удостоверение дай.

— Украли его у меня только что, — застонал Коротков, — украли, товарищ, молодой человек с усиками.

— С усиками? Это, стало быть, Колобков. Беспременно он. Он в нашем районе специально работает. Ты его теперь по чайным ищи.

— Товарищ, я не могу, — заплакал Коротков, — мне в Спимат нужно к Кальсонеру. Пустите меня.

— Удостоверение дай, что украли.

— От кого?

— От домового.

Коротков покинул крыльцо и побежал по улице.

«В Спимат или к домовому? — подумал он. — У домового прием с утра; в Спимат, стало быть».

В это мгновение часы далеко пробили четыре раза на рыжей башне, и тотчас из всех дверей побежали люди с портфелями. Наступили сумерки, и редкий мокрый снег пошел с неба.

«Поздно, — подумал Коротков, — домой».

VI. ПЕРВАЯ НОЧЬ

В ушке замка торчала белая записка. В сумерках Коротков прочитал ее.

«Дорогой сосед!

Я уезжаю к маме в Звенигород. Оставляю вам в подарок вино. Пейте на здоровье — его никто не хочет покупать. Они в углу.

Ваша А. Пайкова».

Косо улыбнувшись, Коротков прогремел замком, в двадцать рейсов перетащил к себе в комнату все бутылки, стоящие в углу коридора, зажег лампу и, как был в кепке и пальто, повалился на кровать. Как зачарованный, около получаса он смотрел на портрет Кромвеля, растворяющийся в густых сумерках, потом вскочил и внезапно впал в какой-то припадок буйного характера. Сорвав кепку, он швырнул ее в угол, одним взмахом сбросил на пол пачки со спичками и начал топтать их ногами.

— Вот! Вот! Вот! — провыл Коротков и с хрустом давил чертовы коробки, смутно мечтая, что он давит голову Кальсонера.

При воспоминании об яйцевидной голове появилась вдруг мысль о лице бритом и бородатом, и тут Коротков остановился.

— Позвольте... как же это так?.. — прошептал он и провел рукой по глазам, — это что же? Чего же это я стою и занимаюсь пустяками, когда все это ужасно. Ведь не двойной же он в самом деле?

Страх пополз через черные окна в комнату, и Коротков, стараясь не глядеть в них, закрыл их шторами. Но от этого

не полегчало. Двойное лицо, то обрастая бородой, то внезапно обрываясь, выплывало по временам из углов, сверкая зеленоватыми глазами. Наконец, Коротков не выдержал и, чувствуя, что мозг его хочет треснуть от напряжения, тихо-нечко заплакал.

Наплакавшись и получив облегчение, он поел вчерашней скользкой картошки, потом опять, вернувшись к проклятой загадке, немного поплакал.

— Позвольте... — вдруг пробормотал он, — чего же это я плачу, когда у меня есть вино?

Он залпом выпил пол чайного стакана. Сладкая жидкость подействовала через пять минут, — мучительно заболел левый висок, и жгуче и тошно захотелось пить. Выпив три стакана воды, Коротков от боли в виске совершенно забыл Кальсонера, со стоном содрал с себя верхнюю одежду и, томно закатывая глаза, повалился на постель. «Пирамидону бы...» — шептал он долго, пока мутный сон не сжалился над ним.

VII. ОРГАН И КОТ

В 10 часов утра следующего дня Коротков наскоро вскипятил чай, отпил без аппетита четверть стакана и, чувствуя, что предстоит трудный, хлопотливый день, покинул свою комнату и перебежал в тумане через мокрый асфальтовый двор. На двери флигеля было написано: «Домовой». Рука Короткова уже протянулась к кнопке, как глаза его прочитали: «По случаю смерти свидетельства не выдаются».

— Ах ты, Господи, — досадливо воскликнул Коротков, — что же это за неудачи на каждом шагу. — И добавил: — Ну, тогда с документами потом, а сейчас в Спимат. Надо разузнать, как и что. Может, Чекушин уже вернулся.

Пешком, так как деньги все были украдены, Коротков добрался до Спимата и, пройдя вестибюль, прямо направил свои стопы в канцелярию. На пороге канцелярии он приостановился и приоткрыл рот. Ни одного знакомого лица в хрустальном зале не было. Ни Дрозда, ни Анны Евграфовны, словом — никого. За столами, напоминая уже не воронна проволоке, а трех соколов Алексея Михайловича, сидели три совершенно одинаковых бритых блондина в светло-серых клетчатых костю-

мах и одна молодая женщина с мечтательными глазами и бриллиантовыми серьгами в ушах. Молодые люди не обратили на Короткова никакого внимания и продолжали скрипеть в гроссбухах, а женщина сделала Короткову глазки. Когда же он в ответ на это растерянно улыбнулся, та надменно улыбнулась и отвернулась. «Странно», — подумал Коротков и, запнувшись о порог, вышел из канцелярии. У двери в свою комнату он поколебался, вздохнул, глядя на старую милую надпись: «Делопроизводитель», открыл дверь и вошел. Свет немедленно померк в коротковских глазах, и пол легонечко качнулся под ногами. За коротковским столом, растопырив локти и бешено строча пером, сидел своей собственной персоной Кальсонер. Гофрированные блестящие волосы закрывали его грудь. Дыхание перехватило у Короткова, пока он глядел на лакированную лысину над зеленым сукном. Кальсонер первый нарушил молчание.

— Что вам угодно, товарищ? — вежливо проворковал он фальцетом.

Коротков судорожно облизнул губы, набрал в узкую грудь большой куб воздуха и сказал чуть слышно:

— Кхм... я, товарищ, здешний делопроизводитель... То есть... ну да, ежели помните приказ...

Изумление изменило резко верхнюю часть лица Кальсонера. Светлые его брови поднялись, и лоб превратился в гармону.

— Извиняюсь, — вежливо ответил он, — здешний делопроизводитель — я.

Временная немота поразила Короткова. Когда же она прошла, он сказал такие слова:

— А как же? Вчера то есть. Ах, ну да. Извините, пожалуйста. Впрочем, я спутал. Пожалуйста.

Он задом вышел из комнаты и в коридоре сказал себе хрипло:

— Коротков, припомни-ка, какое сегодня число?

И сам же себе ответил:

— Вторник, то есть пятница. Тысяча девятьсот.

Он повернулся, и тотчас перед ним вспыхнули на человеческом шаре слоновой кости две коридорных лампочки, и бритое лицо Кальсонера заслонило весь мир.

— Хорошо! — грохнул таз, и судорога свела Короткова, — я жду вас. Отлично. Рад познакомиться.

С этими словами он пододвинулся к Короткову и так пожал ему руку, что тот встал на одну ногу, словно аист на крыше.

— Штат я разверстал, — быстро, отрывисто и веско заговорил Кальсонер. — Трое там, — он указал на дверь в канцелярию, — и, конечно, Манечка. Вы — мой помощник. Кальсонер — делопроизводитель. Прежних всех в шею. И идиота Пантелеймона также. У меня есть сведения, что он был лакеем в «Альпийской розе». Я сейчас сбегая в отдел, а вы пока напишите с Кальсонером отношение насчет всех и в особенности насчет этого, как его... Короткова. Кстати: вы немного похожи на этого мерзавца. Только у того глаз подбитый.

— Я. Нет, — сказал Коротков, качаясь и с отвисшей челюстью, — я не мерзавец. У меня украли все документы. До единого.

— Все? — выкрикнул Кальсонер, — вздор. Тем лучше.

Он впился в руку тяжело задышавшего Короткова и, пробежав по коридору, втащил его в заветный кабинет и бросил на пухлый кожаный стул, а сам уселся за стол. Коротков, все еще чувствуя странное колебание пола под ногами, съехал и, закрыв глаза, забормотал: «Двадцатое было понедельник, значит, вторник, двадцать первое. Нет. Что я? Двадцать первый год. Исходящий № 0,15, место для подписи тире Варфоломей Коротков. Это значит я. Вторник, среда, четверг, пятница, суббота, воскресенье, понедельник. И понедельник на Пэ, и пятница на Пэ, а воскресенье... вскрсс... на Эс, как и среда...»

Кальсонер с треском расчеркнулся на бумаге, хлопнул по ней печатью и ткнул ему. В это мгновение яростно зазвонил телефон. Кальсонер ухватился за трубку и заорал в нее:

— Ага! Так. Так. Сию минуту приеду.

Он кинулся к вешалке, сорвал с нее фуражку, прикрыл ею лысину и исчез в дверях с прощальными словами:

— Ждите меня у Кальсонера.

Все решительно помутилось в глазах у Короткова, когда он прочел написанное на бумажке со штампом:

«Предъявитель сего суть действительно мой помощник т. Василий Павлович Колобков, что действительно верно. Кальсонер».

— О-о! — простонал Коротков, роняя на пол бумагу и фуражку, — что же это такое делается?

В эту же минуту дверь спела визгливо, и Кальсонер вернулся в своей бороде.

— Кальсонер уже удрал? — тоненько и ласково спросил он у Короткова.

Свет кругом потух.

— А-а-а-а... — взвыл, не вытерпев пытки, Коротков и, не помня себя, подскочил к Кальсонеру, оскалив зубы. Ужас изобразился на лице Кальсонера до того, что оно сразу пожелтело. Задом навалившись на дверь, он с грохотом отпер ее, провалился в коридор, не удержавшись, сел на корточки, но тотчас выпрямился и бросился бежать с криком:

— Курьер! Курьер! На помощь!

— Стойте. Стойте. Я вас прошу, товарищ... — опомнившись, выкрикнул Коротков и бросился вслед.

Что-то загремело в канцелярии, и соколы вскочили, как по команде. Мечтательные глаза женщины взметнулись у машины.

— Будут стрелять. Будут стрелять! — пронесся ее истерический крик.

Кальсонер вскочил в вестибюль на площадку с органом первым, секунду поколебался, куда бежать, рванулся и, круто срезав угол, исчез за органом. Коротков бросился за ним, поскользнулся и, наверно, разбил бы себе голову о перила, если бы не огромная кривая и черная ручка, торчащая из желтого бока. Она подхватила полу коротковского пальто, гнилой шевиот с тихим писком расползся, и Коротков мягко сел на холодный пол. Дверь бокового хода за органом со звоном захлопнулась за Кальсонером.

— Боже... — начал Коротков и не кончил.

В грандиозном ящике с запыленными медными трубами послышался странный звук, как будто лопнул стакан, затем пыльное, утробное ворчание, странный хроматический писк и удар колоколов. Потом звучный мажорный аккорд, бодрая полнокровная струя и весь желтый трехъярусный ящик заиграл, пересыпая внутри залежи застоявшегося звука:

Шумел, гремел пожар московский...

В черном квадрате двери внезапно появилось бледное лицо Пантелеймона. Миг, и с ним произошла метаморфоза. Глазки его засверкали победным блеском, он вытянулся, хлестнул правой рукой через левую, как будто перекинул невидимую салфетку, сорвался с места и боком, косо, как пристяжная, покатил по лестнице, округлив руки так, словно в них был поднос с чашками.

Ды-ым расстился по реке-е.

— Что я наделал? — ужаснулся Коротков.

Машина, провернув первые застоявшиеся волны, пошла ровно, тысячеголовым, лвиным ревом и звоном наполняя пустынные залы Спимата.

А на стенах ворот кремлевских...

Сквозь вой и грохот и колокола прорвался сигнал автомобиля, и тотчас Кальсонер возвратился через главный вход, — Кальсонер бритый, мстительный и грозный. В злобном синеватом сиянии он плавно стал подниматься по лестнице. Волосы зашевелились на Короткове, и, взвизгивая, он через боковые двери по кривой лестнице за органом выбежал на усыпанный щебнем двор, а затем на улицу. Как на угонке полетел он по улице, слушая, как вслед ему глухо рокотало здание «Альпийской розы»:

Стоял он в сером сюртуке...

На углу извозчик, взмахивая кнутом, бешено рвал клячу с места.

— Господи! Господи! — бурно зарыдал Коротков, — опять он! Да что же это?

Кальсонер бородатый вырос из мостовой возле пролетки, вскочил в нее и начал лупить извозчика в спину, приговаривая тоненьким голосом:

— Гони! Гони, негодай!

Кляча рванула, стала лягать ногами, затем под жгучими ударами кнута понеслась, наполнив экипажным грохотом улицу. Сквозь бурные слезы Коротков видел, как лакированная шляпа слетела у извозчика, а из-под нее разлетелись

в разные стороны выющиеся денежные бумажки. Мальчишки со свистом погнались за ними. Извозчик, обернувшись, в отчаянии натянул вожжи, но Кальсонер бешено начал тужить его в спину с воплем:

— Езжай! Езжай! Я заплачу.

Извозчик, выкрикнув отчаянно:

— Эх, ваше здоровье, погибать, что ли? — пустил клячу карьером, и все исчезло за углом.

Рыдая, Коротков глянул на серое небо, быстро несущееся над головой, пошатался и закричал болезненно:

— Довольно. Я так не оставляю! Я его разъясню.

Он прыгнул и прицепился к дуге трамвая. Дуга пошатала его минут пять и сбросила у девятиэтажного зеленого здания. Вбежав в вестибюль, Коротков просунул голову в четырехугольное отверстие в деревянной загородке и спросил у громадного синего чайника:

— Где бюро претензий, товарищ?

— 8-й этаж, 9-й коридор, квартира 41-я, комната 302, — ответил чайник женским голосом.

— 8-й, 9-й, 41-я, триста... триста... сколько бишь... 302, — бормотал Коротков, избегая по широкой лестнице. — 8-й, 9-й, 8-й, стоп, 40... нет, 42... нет, 302, — мычал он, — ах, Боже, забыл... да 40-я, сороковая...

В 8-м этаже он миновал три двери, увидел на четвертой черную цифру «40» и вошел в необъятный двухсветный зал с колоннами. В углах его лежали катушки рулонной бумаги, и весь пол был усеян исписанными бумажными обрывками. В отдалении маячил столик с машинкой, и золотистая женщина, тихо мурлыча песенку, подперев щеку кулаком, сидела за ним. Растерянно оглянувшись, Коротков увидел, как с эстрады за колоннами сошла, тяжело ступая, массивная фигура мужчины в белом кунтуше. Седоватые отвисшие усы виднелись на его мраморном лице. Мужчина, улыбаясь необыкновенно вежливой, безжизненной, гипсовой улыбкой, подошел к Короткову, нежно пожал ему руку и молвил, щелкнув каблуками:

— Ян Собесский.

— Не может быть... — ответил пораженный Коротков.

Мужчина приятно улыбнулся.

— Представьте, многие изумляются, — заговорил он с неправильными ударениями, — но вы не подумайте, това-

рищ, что я имею что-либо общее с этим бандитом. О нет. Горькое совпадение, больше ничего. Я уже подал заявление об утверждении моей новой фамилии — Соцвосский. Это гораздо красивее и не так опасно. Впрочем, если вам неприятно, — мужчина обидчиво скривил рот, — я не навязываюсь. Мы всегда найдем людей. Нас ищут.

— Помилуйте, что вы, — болезненно выкрикнул Коротков, чувствуя, что и тут начинается что-то странное, как и везде. Он оглянулся травленным взором, боясь, что откуда-нибудь вынырнет бритый лик и лысина-скорлупа, а потом добавил суконным языком: — Я очень рад, да, очень...

Пестрый румянец чуть проступил на мраморном человеке; нежно поднимая руку Короткова, он повлек его к столу, приговаривая:

— И я очень рад. Но вот беда, вообразите: мне даже негде вас посадить. Нас держат в загоне, несмотря на все наше значение (мужчина махнул рукой на катушки бумаги). Интриги... Но-о, мы развернемся, не беспокойтесь... Гм... Чем же вы порадуете нас новеньким? — ласково спросил он у бледного Короткова. — Ах да, виноват, виноват тысячу раз, позвольте вас познакомиться, — он изящно махнул белой рукой в сторону машинки, — Генриетта Потаповна Персимфанс.

Женщина тотчас же пожала холодной рукой руку Короткова и посмотрела на него томно.

— Итак, — сладко продолжал хозяин, — чем же вы нас порадуете? Фельетон? Очерки? — закатив белые глаза, протянул он. — Вы не можете себе представить, до чего они нужны нам.

«Царица небесная... что это такое?» — туманно подумал Коротков, потом заговорил, судорожно переводя дух:

— У меня... э... произошло ужасное. Он... Я не понимаю. Вы не подумайте, ради Бога, что это галлюцинации... Кхм... ха-кха... (Коротков попытался искусственно засмеяться, но это не вышло у него.) Он живой. Уверяю вас... но я ничего не пойму, то с бородой, а через минуту без бороды. Я прямо не понимаю... И голос меняет... кроме того, у меня украли все документы до единого, а домового, как на грех, умер. Этот Кальсонер...

— Так я и знал, — вскричал хозяин, — это они?

— Ах, Боже мой, ну, конечно, — отозвалась женщина, — ах, эти ужасные Кальсонеры.

— Вы знаете, — перебил хозяин взволнованно, — я из-за него сижу на полу. Вот-с, полюбуйтесь. Ну что он понимает в журналистике?.. — Хозяин ухватил Короткова за пуговицу. — Будьте добры, скажите, что он понимает? Два дня он пробыл здесь и совершенно меня замучил. Но, представьте, счастье. Я ездил к Федору Васильевичу, и тот наконец убрал его. Я поставил вопрос остро: я или он. Его перевели в какой-то Спимат или черт его знает еще куда. Пусть воняет там этими спичками! Но мебель, мебель он успел передать в это проклятое бюро. Всю. Не угодно ли? На чем я, позвольте узнать, буду писать? На чем будете писать вы? Ибо я не сомневаюсь, что вы будете наш, дорогой (хозяин обнял Короткова). Прекрасную атласную мебель Луи Каторз этот прохвост безответственным приемом спихнул в это дурацкое бюро, которое завтра все равно закроют к чертовой матери.

— Какое бюро? — глухо спросил Коротков.

— Ах, да эти претензии или как их там, — с досадой сказал хозяин.

— Как? — крикнул Коротков, — как? Где оно?

— Там, — изумленно ответил хозяин и ткнул рукой в пол.

Коротков в последний раз окинул безумными глазами белый кунтуш и через минуту оказался в коридоре. Подумав немного, он полетел налево, ища лестницы вниз. Минут пять он бежал, следуя прихотливым изгибам коридора, и через пять минут оказался у того места, откуда выбежал. Дверь № 40.

— Ах, черт! — ахнул Коротков, потоптался и побежал вправо и через 5 минут опять был там же. № 40. Рванув дверь, Коротков вбежал в зал и убедился, что тот опустел. Лишь машинка безмолвно улыбалась белыми зубами на столе. Коротков подбежал к колоннаде и тут увидел хозяина. Тот стоял на пьедестале уже без улыбки, с обиженным лицом.

— Извините, что я не попрощался... — начал было Коротков и смолк. Хозяин стоял без уха и носа, и левая рука у него была отломана. Пятясь и холодея, Коротков выбежал опять в коридор. Незаметная потайная дверь напротив

вдруг открылась, и из нее вышла сморщенная коричневая баба с пустыми ведрами на коромысле.

— Баба! Баба! — тревожно закричал Коротков, — где бюро?

— Не знаю, батюшка, не знаю, кормилец, — ответила баба, — да ты не бегай, миленький, все одно не найдешь. Разве мыслимо — десять этагов.

— У-у... д-дура, — стиснув зубы, рыкнул Коротков и бросился в дверь. Она захлопнулась за ним, и Коротков оказался в тупом полутемном пространстве без выхода. Бросаясь в стены и царапаясь, как засыпанный в шахте, он наконец навалился на белое пятно, и оно выпустило его на какую-то лестницу. Дробно стуча, он побежал вниз. Шаги послышались ему навстречу снизу. Тоскливое беспокойство сжало сердце Короткова, и он стал останавливаться. Еще миг, — и показалась блестящая фуражка, мелькнуло серое одеяло и длинная борода. Коротков качнулся и вцепился в перила руками. Одновременно скрестились взоры, и оба завyli тонкими голосами страха и боли. Коротков задом стал отступать вверх, Кальсонер попятился вниз, полный неизбежного ужаса.

— Пойдите, — прохрипел Коротков, — минутку... вы только объясните...

— Спасите! — заревел Кальсонер, меняя тонкий голос на первый свой медный бас. Оступившись, он с громом упал вниз затылком: удар не прошел ему даром. Обернувшись в черного кота с фосфорными глазами, он вылетел обратно, стремительно и бархатно пересек площадку, сжался в комок и, прыгнув на подоконник, исчез в разбитом стекле и паутине. Белая пелена на миг заволокла коротковский мозг, но тотчас свалилась, и наступило необыкновенное прояснение.

— Теперь все понятно, — прошептал Коротков и тихонько рассмеялся, — ага, понял. Вот оно что. Коты! Все понятно. Коты.

Он начал смеяться все громче, громче, пока вся лестница не наполнилась гулкими раскатами.

VIII. ВТОРАЯ НОЧЬ

В сумерки товарищ Коротков, сидя на байковой кровати, выпил три бутылки вина, чтобы все забыть и успокоить-

ся. Голова теперь у него болела вся: правый и левый висок, затылок и даже веки. Легкая муть поднималась со дна желудка, ходила внутри волнами, и два раза тов. Короткова рвало в таз.

— Я вот так сделаю, — слабо шептал Коротков, свесив вниз голову, — завтра я постараюсь не встречаться с ним. Но так как он вертится всюду, то я пережду. Пережду: в переулочке или в тупичке. Он себе мимо и пройдет. А если он погонится за мной, я убегу. Он и отстанет. Иди себе, мол, своей дорогой. И я уж больше не хочу в Спимат. Бог с тобой. Служи себе и заведующим и делопроизводителем, и трамвайных денег я не хочу. Обойдусь и без них. Только ты уж меня, пожалуйста, оставь в покое. Кот ты или не кот, с бородой или без бороды, — ты сам по себе, я сам по себе. Я себе другое местечко найду и буду служить тихо и мирно. Ни я никого не трогаю, ни меня никто. И претензий на тебя никаких подавать не буду. Завтра только выправлю себе документы — и шабаш...

В отдалении глухо начали бить часы. Бам... бам... «Это у Пеструхиных», — подумал Коротков и стал считать. Десять... одиннадцать... полночь, 13, 14, 15... 40...

— Сорок раз пробили часики, — горько усмехнулся Коротков, а потом опять заплакал. Потом его опять судорожно и тяжело стошнило церковным вином.

— Крепкое, ох крепкое вино, — выговорил Коротков и со стоном откинулся на подушку. Прошло часа два, и непотушенная лампа освещала бледное лицо на подушке и растрепанные волосы.

IX. МАШИННАЯ ЖУТЬ

Осенний день встретил тов. Короткова расплывчато и странно. Боязливо озираясь на лестнице, он взобрался на 8-й этаж, повернул наобум направо и радостно вздрогнул. Нарисованная рука указывала ему на надпись «Комнаты 302 — 349». Следуя пальцу спасительной руки, он добрался до двери с надписью «302 — бюро претензий». Осторожно заглянув в нее, чтобы не столкнуться с кем не надо, Коротков вошел и очутился перед семью женщинами за машинками. Поколебавшись немного, он подошел к крайней — смуглой

и матовой, поклонился и хотел что-то сказать, но брюнетка вдруг перебила его. Взоры всех женщин устремились на Короткова.

— Выйдем в коридор, — резко сказала матовая и судорожно поправила прическу.

«Боже мой, опять, опять что-то...» — тоскливо мелькнуло в голове Короткова. Тяжело вздохнув, он повиновался. Шесть оставшихся взволнованно зашушукали вслед.

Брюнетка вывела Короткова и в полутьме пустого коридора сказала:

— Вы ужасны... Из-за вас я не спала всю ночь и решилась. Будь по-вашему. Я отдамся вам.

Коротков посмотрел на смуглое с огромными глазами лицо, от которого пахло ландышем, издал какой-то гортанный звук и ничего не сказал. Брюнетка закинула голову, страдальчески оскалила зубы, схватила руки Короткова, притянула его к себе и зашептала:

— Что ж ты, молчишь, соблазнитель? Ты покори меня своею храбростью, мой змий. Целуй же меня, целуй скорее, пока нет никого из контрольной комиссии.

Опять странный звук вылетел изо рта Короткова. Он пошатнулся, ощутил на своих губах что-то сладкое и мягкое, и огромные зрачки оказались у самых глаз Короткова.

— Я отдамся тебе... — шепнуло у самого рта Короткова.

— Мне не надо, — сипло ответил он, — у меня украли документы.

— Тэк-с, — вдруг раздалось сзади.

Коротков обернулся и увидел люстринового старичка.

— А-ах! — вскрикнула брюнетка и, закрыв лицо руками, убежала в дверь.

— Хи, — сказал старичок, — здорово. Куда ни придешь, вы, господин Колобков. Ну и хват же вы. Да что там, целуй не целуй, не выцелуете командировку. Мне, старичку, дали, мне и ехать. Вот что-с.

С этими словами он показал Короткову сухенький маленький шиш.

— А заявлениице я на вас подам, — злобно продолжал люстрин, — да-с. Растлили трех в главном отделе, теперь, стало быть, до подотделов добираетесь? Что их ангелочки теперь плачут, это вам все равно? Горюют они теперь, бед-

ные девочки, да ау, поздно-с. Не воротишь девичьей чести. Не воротишь.

Старичок вытащил большой носовой платок с оранжевыми букетами, заплакал и засморкался.

— Из рук старичка подъемные крохи желаете выдрать, господин Колобков? Что ж... — Старичок затрясся и зарыдал, уронил портфель. — Берите, кушайте. Пушай беспартийный, сочувствующий старичок с голоду помирает... Пушай, мол. Туда ему и дорога, старой собаке. Ну, только попомните, господин Колобков, — голос старичка стал пророчески грозным и налился колоколами, — не пойдут они вам впрок, денежки эти сатанинские. Колом в горле они у вас станут, — и старичок разлился в бурных рыданиях.

Истерика овладела Коротковым; внезапно и неожиданно для самого себя он дробно затопал ногами.

— К чертовой матери! — тонко закричал он, и его больной голос разнесся по сводам. — Я не Колобков. Отлезь от меня! Не Колобков. Не еду! Не еду!

Он начал рвать на себе воротничок.

Старичок мгновенно высох, от ужаса задрожал.

— Следующий! — каркнула дверь. Коротков смолк и кинулся в нее, свернув влево, миновав машинки, и очутился перед рослым, изящным блондином в синем костюме. Блондин кивнул Короткову головой и сказал:

— Покороче, товарищ. Разом. В два счета. Полтава или Иркутск?

— Документы украли, — дико озираясь, ответил растерзанный Коротков, — и кот появился. Не имеет права. Я никогда в жизни не дрался, это спички. Преследовать не имеет права. Я не посмотрю, что он Кальсонер. У меня украли до...

— Ну, это вздор, — ответил синий, — обмундирование дадим, и рубахи, и простыни. Если в Иркутск, так даже и полушубок подержанный. Короче.

Он музыкально звукнул ключом в замке, выдвинул ящик и, заглянув в него, приветливо сказал:

— Пожалте, Сергей Николаевич.

И тотчас из ясеневового ящика выглянула причесанная, светлая, как лен, голова и синие бегающие глаза. За ними изогнулась, как змея, шея, хрустнул крахмальный воротничок, показался пиджак, руки, брюки, и через секунду за-

конченный секретарь, с писком «Доброе утро», вылез на красное сукно. Он встряхнулся, как выкупавшийся пес, соскочил, заправил поглубже манжеты, вынул из карманчика патентованное перо и в ту же минуту застрочил.

Коротков отшатнулся, протянул руку и жалобно сказал синему:

— Смотрите, смотрите, он вылез из стола. Что же это такое?..

— Естественно, вылез, — ответил синий, — не лежать же ему весь день. Пора. Время. Хронометраж.

— Но как? Как? — зазвенел Коротков.

— Ах ты, Господи, — взволновался синий, — не задерживайте, товарищ.

Брюнеткина голова вынырнула из двери и крикнула возбужденно и радостно:

— Я уже заслала его документы в Полтаву. И я еду с ним. У меня тетка в Полтаве под 43 градусом широты и 5-м долготы.

— Ну и чудесно, — ответил блондин, — а то мне надоела эта волынка.

— Я не хочу! — вскричал Коротков, блуждая взором. — Она будет мне отдаваться, а я терпеть этого не могу. Не хочу! Верните документы. Священную мою фамилию. Восстановите!

— Товарищ, это в отделе брачующихся, — запищал секретарь, — мы ничего не можем сделать.

— О, дурашка! — воскликнула брюнетка, выглянув опять. — Соглашайся! Соглашайся! — кричала она суфлерским шепотом. Голова ее то скрывалась, то появлялась.

— Товарищ! — зарыдал Коротков, размазывая по лицу слезы. — Товарищ! Умоляю тебя, дай документы. Будь другом. Будь, прошу тебя всеми фибрами души, и я уйду в монастырь.

— Товарищ! Без истерики. Конкретно и абстрактно изложите письменно и устно, срочно и секретно — Полтава или Иркутск? Не отнимайте время у занятого человека! По коридорам не ходить! Не плевать! Не курить! Размен денег не затруднять! — выйдя из себя, загремел блондин.

— Рукопожатия отменяются! — кукарекнул секретарь.

— Да здравствуют объятия! — страстно шепнула брюнетка и, как дуновение, пронеслась по комнате, обдав ландышем шею Короткова.

— Сказано в заповеди тринадцатой: не входи без доклада к ближнему твоему, — прошамкал люстриновый и пролетел по воздуху, взмахивая лапами крылатки... — Я и не вхожу, не вхожу-с, — а бумажку все-таки подброшу, вот так, хлоп!.. подпишешь любую — и на скамье подсудимых. — Он выкинул из широкого черного рукава пачку белых листов, и они разлетелись и усеяли столы, как чайки скалы на берегу.

Муть заходила в комнате, и окна стали качаться.

— Товарищ блондин! — плакал истомленный Коротков, — застрели ты меня на месте, но выправь ты мне какой ни на есть документик. Руку я тебе поцелую.

В мути блондин стал пухнуть и вырастать, не переставая ни на минуту бешено подписывать старичковы листки и швырять их секретарю, который ловил их с радостным урчанием.

— Черт с ним! — загремел блондин, — черт с ним. Машинистки, гей!

Он махнул огромной рукой, стена перед глазами Короткова распалась, и тридцать машин на столах, звякнув звоночками, заиграли фокстрот. Колыша бедрами, сладострастно поводя плечами, взбрасывая кремовыми ногами белую пену, парадом-алле двинулись тридцать женщин и пошли вокруг столов.

Белые змеи бумаги полезли в пасти машин, стали свиваться, раскраиваться, сшиваться. Вылезли белые брюки с фиолетовыми лампасами. «Предъявитель сего есть действительно предъявитель, а не какая-нибудь шантрапа».

— Надевай! — грохнул блондин в тумане.

— И-и-и-и, — тоненько заскулил Коротков и стал биться головой об угол блондинова стола. Голове легло на минутку, и чье-то лицо в слезах метнулось перед Коротковым.

— Валерьянки! — крикнул кто-то на потолке.

Крылатка, как черная птица, закрыла свет, старичок зашептал тревожно:

— Теперь одно спасение — к Дыркину в пятое отделение. Ходу! Ходу!

Запахло эфиром, потом руки нежно вывели Короткова в полутемный коридор. Крылатка обняла Короткова и повлекла, шепча и хихикая:

— Ну, я уж им удружил: такое подсыпал на столы, что каждому из них достанется не меньше пяти лет с поражением на поле сражения. Ходу! Ходу!

Крылатка порхнула в сторону, потянуло ветром и сыростью из сетки, уходящей в пропасть...

Х. СТРАШНЫЙ ДЫРКИН

Зеркальная кабина стала падать вниз, и двое Коротковых упали вниз. Второго Короткова первый и главный забыл в зеркале кабины и вышел один в прохладный вестибюль. Очень толстый и розовый в цилиндре встретил Короткова словами:

— И чудесно. Вот я вас и арестую.

— Менья нельзя арестовать, — ответил Коротков и засмеялся сатанинским смехом, — потому что я неизвестно кто. Конечно. Ни арестовать, ни женить меня нельзя. А в Полтаву я не поеду.

Толстый человек задрожал в ужасе, поглядел в зрачки Короткову и стал оседать назад.

— Арестуй-ка, — пискнул Коротков и показал толстяку дрожащий бледный язык, пахнувший валерьянкой, — как ты арестуешь, ежели вместо документов — фи́га? Может быть, я Гогенцоллерн.

— Господи Иисусе, — сказал толстяк, трясущейся рукой перекрестился и превратился из розового в желтого.

— Кальсонер не попадался? — отрывисто спросил Коротков и оглянулся. — Отвечай, толстун.

— Никак нет, — ответил толстяк, меняя розовую окраску на серенькую.

— Как же теперь быть? А?

— К Дыркину, не иначе, — пролепетал толстяк, — к нему самое лучшее. Только грозен. Ух, грозен! И не подходит. Двое уж от него сверху вылетели. Телефон сломал нынче.

— Ладно, — ответил Коротков и залихватски сплюнул, — нам теперь все равно. Подымай!

— Ножку не ушибите, товарищ уполномоченный, — нежно сказал толстяк, подсаживая Короткова в лифт.

На верхней площадке попался маленький лет шестнадцати и страшно закричал:

— Куда ты? Стой!

— Не бей, дяденька, — сказал толстяк, съезжившись и закрыв голову руками, — к самому Дыркину.

— Проходи, — крикнул маленький.

Толстяк зашептал:

— Вы уж идите, ваше сиятельство, а я здесь на скамеечке вас подожду. Больно жутко...

Коротков попал в темную переднюю, а из нее в пустынный зал, в котором был распростерт голубой вытертый ковер.

Перед дверью с надписью «Дыркин» Коротков немного поколебался, но потом вошел и оказался в уютно обставленном кабинете с огромным малиновым столом и часами на стене. Маленький пухлый Дыркин вскочил на пружине из-за стола и, вздыбив усы, рывкнул:

— М-молчать!.. — хоть Коротков еще ровно ничего не сказал.

В ту же минуту в кабинете появился бледный юноша с портфелем. Лицо Дыркина мгновенно покрылось улыбкавыми морщинами.

— А-а! — вскричал он сладко, — Артур Артурыч. Наше вам.

— Слушай, Дыркин, — заговорил юноша металлическим голосом, — ты написал Пузыреву, что будто бы я учредил в эмеритурной кассе свою единоличную диктатуру и попер эмеритурные майские деньги? Ты? Отвечай, паршивая сволочь.

— Я?.. — забормотал Дыркин, колдовски превращаясь из грозного Дыркина в Дыркина добряка, — я, Артур Диктатурыч... Я, конечно... Вы это напрасно...

— Ах ты, мерзавец, мерзавец, — раздельно сказал юноша, покачал головой и, взмахнув портфелем, треснул им Дыркина по уху, словно блин выложил на тарелку.

Коротков машинально охнул и застыл.

— То же будет и тебе, и всякому негодяю, который позволит себе совать нос в мои дела, — внушительно сказал

юноша и, погрозив на прощание Короткову красным кулаком, вышел.

Минуты две в кабинете стояло молчание, и лишь подвески на канделябрах звякали от проехавшего где-то грузовика.

— Вот, молодой человек, — горько усмехнувшись, сказал добрый и униженный Дыркин, — вот и награда за усердие. Ночей недосыпаешь, недосдаешь, недопиваешь, а результат всегда один — по морде. Может быть, и вы с тем же пришли? Что ж... Бейте Дыркина, бейте. Морда у него, видно, казенная. Может быть, вам рукой больно? Так вы канделябрик возьмите.

И Дыркин соблазнительно выставил пухлые щеки из-за письменного стола. Ничего не понимая, Коротков косо и застенчиво улыбнулся, взял канделябр за ножку и с хрустом ударил Дыркина по голове свечами. Из носа у того закапала на сукно кровь, и он, крикнув «караул», убежал через внутреннюю дверь.

— Ку-ку! — радостно крикнула лесная кукушка и выскочила из шюренбергского разрисованного домика на стене.

— Ку-клукс-клан! — закричала она и превратилась в лысую голову. — Запишем, как вы работников лупите!

Ярость овладела Коротковым. Он взмахнул канделябром и ударил им в часы. Они ответили громом и брызгами золотых стрелок. Кальсонер выскочил из часов, превратился в белого петушка с надписью «исходящий» и юркнул в дверь. Тотчас за внутренними дверями разлился вопль Дыркина: «Лови его, разбойника!», и тяжкие шаги людей полетели со всех сторон. Коротков повернулся и бросился бежать.

XL ПАРФОРСНОЕ КИНО И БЕЗДНА

С площадки толстяк скакнул в кабину, забросился сетками и ухнул вниз, а по огромной, изгрызенной лестнице побежали в таком порядке: первым — черный цилиндр толстяка, за ним — белый исходящий петух, за петухом — канделябр, пролетевший в верхушке над острой белой головкой, затем Коротков, шестнадцатилетний с револьвером в руке и еще какие-то люди, топчущие подкованными сапогами. Лестница застонала бронзовым звоном, и тревожно захлопали двери на площадках

Кто-то свесился с верхнего этажа вниз и крикнул в рупор:
— Какая секция переезжает? Несгораемую кассу забыли!
Женский голос внизу ответил:
— Бандиты!!

В огромные двери на улицу Коротков, обогнав цилиндр и канделябр, выскочил первым и, заглотав огромную порцию раскаленного воздуха, полетел на улицу. Белый петушок провалился сквозь землю, оставив серный запах, черная крылатка соткалась из воздуха и поплелась рядом с Коротковым с криком тонким и протяжным:

— Артельщики бьют, товарищи!

По пути Короткова прохожие сворачивали в стороны и вползали в подворотни, вспыхивали и гасли короткие свистки. Кто-то бешено порскал, улюлюкал, и загорались тревожные, силплые крики: «Держи». С дробным грохотом опускались железные шторы, и какой-то хромой, сидя на трамвайной линии, визжал:

— Началось!

Выстрелы летели теперь за Коротковым частые, веселые, как елочные хлопушки, и пули жикали то сбоку, то сверху. Рычащий, как кузнечный мех, Коротков стремился к гиганту — одиннадцатизэтажному зданию, выходящему боком на улицу и фасадом в тесный переулок. На самом углу — стеклянная вывеска с надписью «Restoran i pivo» треснула звездой, и пожилой извозчик пересел с козел на мостовую с томным выражением лица и словами:

— Здорово! Что ж вы, братцы, в кого попало, стало быть?..

Выбежавший из переулка человек сделал попытку ухватить Короткова за полу пиджака, и пола осталась у него в руках. Коротков завернул за угол, пролетел несколько саженей и вбежал в зеркальное пространство вестибюля. Мальчик в галунах и золоченых пуговках отскочил от лифта и заплакал.

— Садись, дядя. Садись! — проревел он. — Только не бей сироту!

Коротков вонзился в коробку лифта, сел на зеленый диван напротив другого Короткова и задышал, как рыба на песке. Мальчишка, всхлипывая, влез за ним, закрыл дверь, ухватился за веревку, и лифт поехал вверх. И тотчас внизу, в вестибюле, загремели выстрелы и завертелись стеклянные двери.

Лифт мягко и тошно шел вверх, мальчишка, успокоившись, утирал нос одной рукой, а другой перебирал веревку.

— Деньги покрад, дяденька? — с любопытством спросил он, всматриваясь в растерзанного Короткова.

— Кальсонера... атакуем... — задыхаясь, отвечал Коротков, — да он в наступление перешел...

— Тебе, дяденька, лучше всего на самый верх, где бильярдные, — посоветовал мальчишка, — там на крыше отсидишься, если с маузером.

— Давай наверх... — согласился Коротков.

Через минуту лифт плавно остановился, мальчишка распахнул двери и, шмыгнув носом, сказал:

— Вылазь, дяденька, сыпь на крышу.

Коротков выпрыгнул, осмотрелся и прислушался. Снизу донесся нарастающий, поднимающийся гул, сбоку — стук костяных шаров через стеклянную перегородку, за которой мелькали встревоженные лица. Мальчишка шмыгнул в лифт, заперся и провалился вниз.

Орлиным взором окинув позицию, Коротков поколебался мгновение и с боевым кличем: «Вперед!» — вбежал в бильярдную. Замелькали зеленые площадки с лоснящимися белыми шарами и бледные лица. Снизу совсем близко бухнул в оглушительном эхо выстрел, и со звоном где-то посыпались стекла. словно по сигналу игроки побросали кии и гуськом, топоча, кинулись в боковые двери. Коротков, метнувшись, запер за ними дверь на крюк, с треском запер входную стеклянную дверь, ведущую с лестницы в бильярдную, и вмиг вооружился шарами. Прошло несколько секунд, и возле лифта выросла первая голова за стеклом. Шар вылетел из рук Короткова, со свистом прошел через стекло, и голова мгновенно исчезла. На ее месте сверкнул бледный огонь, и выросла вторая голова, за ней — третья. Шары полетели один за другим, и стекла полопались в перегородке. Перекатывающийся стук покрыл лестницу, и в ответ ему, как оглушительная зингеровская швейка, завыл и затряс все здание пулемет. Стекла и рамы вырезало в верхней части как ножом, и тучей пудры понеслась штукатурка по всей бильярдной.

Коротков понял, что позицию удержать нельзя. Разбежавшись, закрыв голову руками, он ударил ногами в третью стеклянную стену, за которой начиналась плоская асфальти-

рованная кровля громады. Стена треснула и высыпалась. Коротков под бушующим огнем успел выкинуть на крышу пять пирамид, и они разбежались по асфальту, как отрубленные головы. Вслед за ними выскочил Коротков, и очень вовремя, потому что пулемет взял ниже и вырезал всю нижнюю часть рамы.

— Сдавайся! — смутно донеслось до него.

Перед Коротковым сразу открылось чудосочное солнце над самой головой, бледненькое небо, ветерок и промерзший асфальт. Снизу и снаружи город дал знать тревожным, смягченным гулом. Попрыгав на асфальте и оглянувшись, подхватив три шара, Коротков подскочил к парапету, влез на него и глянул вниз. Сердце его замерло. Открылись перед ним кровли домов, казавшихся приплюснутыми и маленькими, площадь, по которой ползали трамваи, и жучки-народ, и тотчас Коротков разглядел серенькие фигурки, проплывавшие к подъезду по щели переулка, а за ними тяжелую игрушку, усеянную золотыми сияющими головками.

— Окружили! — ахнул Коротков. — Пожарные.

Перегнувшись через парапет, он прицелился и пустил один за другим три шара. Они взвились, затем, описав дугу, ухнули вниз. Коротков подхватил еще одну тройку, опять влез и, размахнувшись, выпустил и их. Шары сверкнули, как серебряные, потом, снизившись, превратились в черные, потом опять засверкали и исчезли. Короткову показалось, что жучки забегали встревоженно на залитой солнцем площади. Коротков наклонился, чтобы подхватить еще порцию снарядов, но не успел. С несмолкающим хрустом и треском стекол в проломе бильярдной показались люди. Они сыпались, как горох, выскакивая на крышу. Вылетели серые фуражки, серые шинели, а через верхнее стекло, не касаясь земли, вылетел люстриновый старичок. Затем стена совсем распалась, и грозно выкатился на роликах страшный бритый Кальсонер со старинным мушкетеном в руках.

— Сдавайся! — завывало спереди, сзади и сверху, и все покрыл невыносимый оглушающий кастрюльный бас.

— Конечно, — слабо прокричал Коротков, — конечно! Бой проигран. Та-та-та! — запел он губами трубный отбой.

Отвага смерти хлынула ему в душу. Цепляясь и балансируя, Коротков взобрался на столб парапета, покачнувшись на нем, вытянулся во весь рост и крикнул:

— Лучше смерть, чем позор!

Преследователи были в двух шагах. Уже Коротков видел протянутые руки, уже выскочило пламя изо рта Кальсонера. Солнечная бездна поманила Короткова так, что у него захватило дух. С пронзительным победным кликом он подпрыгнул и взлетел вверх. Вмиг перерезало ему дыхание. Неясно, очень неясно он видел, как серое с черными дырами, как от взрыва, взлетело мимо него вверх. Затем очень ясно увидел, что серое упало вниз, а сам он поднялся вверх к узкой щели переулка, которая оказалась над ним. Затем кровавое солнце со звоном лопнуло у него в голове, и больше он ровно ничего не видал.

Альманах «Недра», кн. 4, март 1924.



СОВЕТСКАЯ ИНКВИЗИЦИЯ

Из записной книжки репортера

I

Последнее, заклочительное злодейство, совершенное палачами из ЧК, расстрел в один прием 500 человек, как-то заслонило собою ту длинную серию преступлений, которыми изобиловала в Киеве работа чекистов в течение 6 — 7 месяцев.

Сообщения в большевистской печати дают в Кисве цифру, не превышавшую 800 — 900 расстрелов. Но помимо имен, попавших в кровавые списки, ежедневно расстреливались десятки и сотни людей.

И большинство этих жертв остались неизвестными, безымянными... Имена их Ты, Господи, веши...

Кроме привлечшего уже общественное внимание застенка на Садовой, 5 — большинство убийств, по рассказам содержащихся в заточении, производилось в темном подвале под особняком князя Урусова на Екатерининской, № 16.

Несчастные жертвы сводились поодиночке в подвал, где им приказывали раздеться догола и лечь на холодный каменный пол, весь залитый лужами человеческой крови, забрызганный мозгами, раздавленной сапогами человеческой печенью и желчью... И в лежащих голыми на полу, зарывшихся лицом в землю людей, стреляли в упор разрывными пулями, которые целиком сносили черепную коробку и обезображивали до неузнаваемости.

Многие из заклоченных, впрочем, передают о грозе киевской чрезвычайки, матросе Терехове, излюбленным делом которого было — продержатъ свою жертву долгое время в смертельном страхе и трепете под мушкой, прежде чем прикончить ее. Этот советский Малота Скуратов, стреляя в обреченных, нарочно давал промах за промахом и

только после целого десятка выстрелов, раздроблял им голову последним...

Отсылка в ужасный подвал также часто практиковалась как особый вид утонченной пытки с целью вынудить у заключенного нужное признание или показание. Пытаемого держали голым на холодном скользком полу под прицелом и «неудачными» выстрелами час и более... И как часто бывало, что после этого молодые и цветущие люди возвращались в камеру поседевшими стариками, с трясущимися руками, с дряблыми поблекшими лицами и помутневшими глазами...

Таким путем собирались показания заключенных. А вот случай, показывающий, какие меры применялись в ЧК для пресечения попыток к побегу заключенных. Содержавшийся в одной из камер товарищ прокурора Д., выведенный однажды на допрос, сделал попытку бежать и был застрелен своим конвоиром. В назидание остальным заключенным из той же камеры труп Д. был повешен снаружи над самым окном камеры, где висел несколько дней с надписью: «Так будет со всяким, кто попытается бежать».

Горячечно-бредовым пятном представляется дело чиновника Солнцева.

Солнцев без всяких улик и оснований был заподозрен <в> желании взорвать склады снарядов и пороховые погреба в Дарнице. В течение нескольких недель его изо дня в день подвергали чудовищным, бесчеловечным пыткам и истязаниям, в результате которых он сошел с ума. И потом, больного, с помутившимся рассудком, умирающего, мятущегося, в последнем градусе сумасшествия, Солнцева расстреляли на виду у группы других заключенных, арестованных по тому же делу...

Молодой студент Бравер, фамилия которого опубликована четырнадцатой в последнем списке, был приговорен к расстрелу в порядке красного террора как сын состоятельных родителей. Над несчастным юношей беспощадно издевались как над «настоящим, породистым буржуем», в последние дни его несколько раз в шутку отпускали домой, а в самый день расстрела, дежурный комендант объявил ему об «окончательном, настоящем» освобождении и велел ему собрать вещи. Его выпустили на волю...

Но лишь только обрадованный и просветлевший юноша переступил порог страшного узилища, его со злым хохотом вернули обратно и повели к расстрелу...

Но подобных фактов, надо думать, десятки и сотни. И комиссия по расследованию кровавых преступлений чекистов должна раскрыть их, собрать воедино и дать полную картину инквизиторской «работы» советской опричнины.

Мих. Б.

II

В «работе» чекистов поражает не только присущая им рафинированная, утонченно-садическая жестокость. Поражает всеобщая исключительная бесцеремонность в обращении с живым человеческим материалом. В глазах заплечных дел мастеров из ЧК не было ничего дешевле человеческой жизни.

По рассказам лиц, побывавших в чрезвычайке, нередко бывали случаи, когда люди расстреливались просто для округления общей цифры за день, для получения четного числа и т. д.

Весьма часты также бывали случаи, когда заключенные расстреливались без всякого допроса. Случалось, что арестованный просиживал месяц, полтора и более в заточении — никто не допрашивал его, никто не вспоминал о нем, пока в один прекрасный день неожиданно не вызовут и сразу не поведут на убой...

В канцеляриях ЧК постоянно велись две книги, из которых одна называлась «книгой прихода», а другая — «книгой расхода». В первую вносились фамилии арестованных по мере их прибытия, во вторую — фамилии лиц, расстрелянных чрезвычайкой. Совершенно отдельно велся перечень выпущенных на свободу. Сообразно с этим в обиходе палачей из ЧК не существовало слова «расстрелять»; вместо него жаргон чекистов ввел слово — «израсходовать»: такой-то «пущен в расход», его «израсходовали» и т. д.

Имели также место в советских застенках случаи расстрела «по ошибке». Таким роковым образом, например, по показанию родных был расстрелян народный учитель — украинец из Васильковского уезда Антон Прусаченко вместо

своего однофамильца Андрея Прусаченко, обвинявшегося в бандитизме.

Слободской еврейке Дорфман «центральным исполнительным комитетом» было выдано удостоверение в том, что она «пользуется правом на получение единовременного пособия из советской казны в размере 5000 рублей, так как муж ее случайно (sic!) был расстрелян» киевской губернской чрезвычайкой. Дорфман, задержанный за спекуляцию «царскими» деньгами, был расстрелян вместо некоего Дорстмана, немца-колониста, обвинявшегося в участии в одном из партизанских отрядов на Волыни. Ошибка была исправлена тем, что немедленно по ее обнаружении приговор был вторично приведен в исполнение, на этот раз уже над настоящим Дорстманом.

Впрочем, мы будем несправедливы, если скажем, что человеческие головы совершенно уж ни во что не ценились чрезвычайкой. Когда красноармейский отряд при ЧК отказался приводить в исполнение слишком участвовавшие смертные приговоры своего начальства, была составлена специальная группа расстреливателей, куда входили, по преимуществу, китайцы и латыши, в том числе четыре женщины: «пресловутая» Роза Шварц, некая Егорова и две латышки, фамилии которых пока еще не выяснены. Кровавым «спецам» было положено по 100 рублей за каждую голову, и бывали среди них такие, которым иной раз случалось за ночь «выработать» от 1000 до 1500 рублей. Некоторые заключенные передавали о китайце Ниянь Чу, который таким «трудом» скопил себе довольно круглый капиталец...

Достойна внимания совершенно новая для нашего времени, но известная история средних веков, чисто инквизиционная, процессуальная форма расследования, широко практиковавшаяся следователями из ЧК. Обвинение предъявлялось не только за то или иное реально совершенное деяние, не только за покушение или обнаруженный умысел, но также за совершенно несодеянное преступление, которое, по некоторым предположениям, лишь «могло быть совершенно» данным лицом.

Вот, например, момент из допроса местного профессора-историка С***, который содержался свыше месяца в ВУЧК по подозрению в сношениях со штабом ген. Деникина:

— Вам ген. Деникин известен лично, вы знакомы с ним или нет? — спрашивает следователь.

— С именем ген. Деникина я, как всякий интеллигент, знаком по газетам, лично же я не имею чести быть знакомым с ним.

— Да, но ведь ваше звание и положение этого не исключают, хотя фактические данные как будто и не дают достаточных подтверждений.

Далее следователь-чекист прочитывает целый перечень лиц, занимающих видные посты в штабе главнокомандующего.

— А эти лица вам знакомы?

— В первый раз слышу о них.

— Собственно, у меня нет определенных данных, говорящих за то, что вы были знакомы и поддерживали связь с этими лицами, но у меня также нет основательных доказательств, что вы их совершенно не знаете. А при таком положении, согласитесь, не исключена же возможность, вы ведь могли...

— В чем же, собственно, я обвиняюсь? Как вы формулируете обвинение против меня? — прервал профессор.

— В том, что, будучи знакомым и находясь в связи с ген. Деникиным и его ближайшими сотрудниками, вы доставляли им сведения о военном положении; или, ежели это положение фактически не подтвердится, то в том, что вы могли это сделать. Ведь вы — профессор, а профессора, известно, по своим убеждениям не левее кадета, значит, вы, несомненно, деникинец, а потому более чем вероятно, что вы находились в связи с генералом Деникиным и передавали ему нужные сведения...

Спустя несколько дней после этого допроса С*** только на основании столь рискованных логических построений был приговорен к расстрелу, от которого спасся лишь благодаря чисто случайному стечению обстоятельств, не имевших прямого отношения к его делу.

Мих. Б.

III

Играя роль «культурных и гуманных» деятелей, Раковский и Мануньский, как передают заключенные, иногда

пытались сдержать кровавый пыл чрезвычайек, но Лацис, игравший роль маленького Фуке Тиенвилля и находящийся в неприязненных отношениях с «предсовнаркомом» и его заместителем, стремился всегда идти своей дорогой, принимал меры к тому, чтобы известия об арестах видных в городе лиц не доходили до «совнаркомовцев» и чтобы вынесенные приговоры исполнялись без промедлений в самом ускоренном порядке.

Среди многих, содержащихся в заключении, существует уверенность, что «трения» эти сыграли свою роковую роль в деле убийства покойного В.П. Науменко. Лацис и его приближенные боялись, что «мягкий человек и дипломат» Раковский под влиянием хлопот извне примет какие-либо меры к спасению В.П., и потому-то вся процедура ареста, допроса и расправы с покойным была проделана с такой исключительной быстротой и поспешностью...

В концентрационном лагере при киевской чрезвычайке долгое время содержался некий Ясинский, молодой судебный следователь из Москвы, сын очень богатых родителей. По общему признанию заключенных, это был душевнобольной ненормальный человек. Его манией было желание продать родовое имение, купить на вырученную сумму аэроплан и улететь на нем в Париж. Советская охранка в этом ребяческом больном бреде усмотрела скрытые заговорщические планы.

Перед уходом большевиков из Киева «товарищ» Мануильский, назначенный председателем комиссии по разгрузке мест заключения, посетил концентрационный лагерь, обратил свое внимание на нервнобольного Ясинского и обещал на следующий день лично рассмотреть его дело. Узнав об этом, комендант ВУЧК Алтохин на рассвете следующего дня явился в автомобиле и поспешно увез Ясинского во всеукраинскую чрезвычайку, где он в тот же день был расстрелян...

В одной из камер ВУЧК вместе с «контрреволюционерами» и «заклятыми врагами советской власти» сидел инспектор всероссийской чрезвычайки, *persona grata*, специально присланная Лениным из Москвы для ревизии чрезвычайек на Украине.

Причиной такого внимания послужила излишняя взыскательность и ревностность, проявленная им при рассмотре-

нии делопроизводства ЧК, в особенности в деле матроса Пиранова — убийцы киевского художника проф. Мурашко. «Ревизор» Ленина настоял на расстреле бандита Пиранова вопреки решению Лациса и К^о, находивших, что элементы вроде Пиранова особенной опасности для общества не представляют.

Такого рода линия поведения московского «ревизора», проявленная им в целом ряде дел, была признана нежелательной и даже опасной, и он был временно «изъят из обращения» в целях усыпления излишней пытливости...

Интересный случай из закулисной жизни чрезвычайки, случай, вполне подходящий для «романа загадочных приключений», рассказал нам проф. С., просидевший долгое время в ВУЧК.

Однажды к ним в камеру под усиленным конвоем доставили группу арестованных, состоявшую из молоденькой сестры милосердия, врача в военной форме и помощника коменданта всеукраинской чрезвычайки Никифорова, слывшего за одного из наиболее жестоких застрельщиков в ВУЧК.

Из расспросов доктора и сестры милосердия выяснилась такая картина. Во всеукраинской чрезвычайке содержалась в заточении польская графиня М., которая была приговорена «коллегией» ВУЧК к расстрелу. Приведение приговора в исполнение было поручено Никифорову. И вот на сей раз, вопреки своей обычной меткости и точности, палач Никифоров только подстрелил свою жертву, слегка ранив ее. После этого М. в глубоком обморочном состоянии была свалена на «покойницкую тележку» вместе с трупами убитых. Но это не было ошибкой или случайностью. По дороге за город телега остановилась у одной из больниц на Печерске. М. была снята, ей была сделана перевязка, и она бесследно и счастливо скрылась при помощи поджидавших ее друзей...

Одновременно с бегством графини М. из кабинета Лациса пропало также большинство документов по ее делу. Сам Никифоров по этому поводу говорил заключенным, что он к документам никакого отношения иметь не мог, так как ключей от своего кабинета Лацис никому не доверял...

Каково же было всеобщее удивление, когда через несколько дней все трое — и врач, и сестра, и Никифоров,

были в спешном порядке выпущены на волю, как передавали, по приказу самого Лациса...

Злая молва среди заключенных по этому поводу утверждала, что Лацис, ставший в результате загадочного приключения с графиней М. обладателем большого состояния, смягчился душой и первый опыт своего милосердия проявил на одном из любимых опричников своих Никифорове...

Мих. Б.

«Киевское эхо», август—сентябрь 1919 г.

Публикация Григория Файмана

(«Конец века» № 4)

Публикуется по публикации в еженедельнике «Литературные новости», № 6, 1994 г.



СОДЕРЖАНИЕ

<i>Виктор Петелин. Часы жизни и смерти</i>	<i>5</i>
--	----------

Дьяволиада

Грядущие перспективы	85
В кафе	88
Неделя просвещения	92
Торговый ренессанс	98
Рабочий город-сад	102
Необыкновенные приключения доктора	105
Спиритический сеанс	117
Записки на манжетах.....	125
Москва краснокаменная.....	163
Похождения Чичикова	165
Красная корона	181
В ночь на 3-е число	187
№ 13. Дом Эльпит-Рабкоммуна	201
Столица в блокаде.....	210
Чаша жизни	225
В театре Зимина.....	231
Сорок сороков	234
Под стеклянным небом	242
Московские сцены.....	246
Китайская история	253
Бенефис лорда Керзона.....	264
Путевые заметки	268
Каэппе и Капе.....	271
В школе городка III Интернационала	277
I-я детская коммуна	282
Птицы в мансарде	287
Комаровское дело	292

Киев-город.....	298
Самоцветный быт	309
Самогонное озеро	314
Шансон д'Этэ	321
День нашей жизни	326
Псалом	332
Золотистый город	337
Беспокойная поездка.....	353
Остерегайтесь подделок!.....	357
Арифметика	359
Тайны Мадридского Двора.....	362
Ноября 7-го дня	366
Как разбился Бузыгин	368
Лестница в рай.....	373
Налет	375
Сильнодействующее средство	382
Серия ноль шесть № 0660243.....	386
Спектакль в Петушках.....	391
Как он сошел с ума	394
Часы жизни и смерти	397
Геркулесовы подвиги светлой памяти брандмейстера Назарова.....	400
Электрическая лекция.....	403
Воспоминание... ..	406
Дьяволиада	412
П р и л о ж е н и е	
Советская инквизиция	449

Булгаков М.А.

Б 90 Собрание сочинений в 10 томах. Т. 1. Дьяволиада. — М.: Голос, 1995. — 464 с.

ISBN 5-7117-0305-6

ISBN 5-7117-0304-8

В первый том Собрания сочинений Михаила Булгакова вошли ранние повести, рассказы, очерки, фельетоны, написанные автором в период 1919 — 1924 (до марта) годов.

Первый том, как и последующие в дальнейшем тома, открывается вступительной статьей, рассказывающей о жизни и творчестве писателя в данный период.

УДК 882

ББК 84 (2Рос -Рус) 6

Михаил Афанасьевич БУЛГАКОВ

Собрание сочинений

Том 1

ДЬЯВОЛИАДА

Редактор *С. Фрольцова*

Художественный редактор *В. Савченко*

Технический редактор *Н. Александрова*

Корректоры *Л. Китс, Л. Новикова*

Лицензия на издательскую деятельность ЛР № 040020 от 6.07.91
Сдано в набор 30.01.95. Подписано в печать 10.05.95. Формат 84x108¹/32.
Печать высокая. Бумага офсетная № 1. Гарнитура "Таймс".
Усл. печ. л. 24,36. Тираж 20000 экз. Заказ 1354

Издательство «Голос»: 113184, г. Москва, ул. Пятницкая, д. 52, стр. 1

Оригинал-макет изготовлен ТОО «Компания ДЛШ»,
Новокузнецкая ул., 24, стр. 2. (т. 233-03-38).

Отпечатано на издательско-полиграфическом
предприятии «Правда Севера»,
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.





